

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО



ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · 3 · 1

РАПП и ИНСТИТУТ ЛИЯ КОМАКАДЕМИИ

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

1

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 1

Обложка работы
И. Ф. РЕРБЕРГА

Уполн. Главлита № В—18071. Зак. № 3692 Тираж 5000.
Центр. тип. НКВМ им. Клима Ворошилова. Москва, ул. Маркса и Энгельса, 17.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, — писал Ленин, — только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру». Эта мысль Ленина является основополагающей в отношении к культурному наследству старого мира: пролетариат не только не отказывается от него, но именно он, единственный, оказывается законным преемником классической культуры.

Ленин неоднократно развивал эту мысль. «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», говорил Ленин в исторической речи на III с'езде комсомола. Ленин настойчиво подчеркивал значение культурного наследства именно перед коммунистической молодежью, ибо для нее особенно важно понять этот момент, так как в ее среде нередко можно встретить нигилистическое отношение к старой культуре, огульное отрицание ее, неумение и нежелание оценить ее роль для коммунистической учебы.

Разумеется Ленин говорил это не только молодежи. Когда на I с'езде Пролеткульта т. Луначарский не сумел дать достаточного отпора богдановскому толкованию пролетарской культуры, Ленин в тот же день поставил перед ЦК партии вопрос о необходимости вмешаться в это дело и тут же набросал проект резолюции о пролетарской культуре. В этом проекте особый пункт посвящен именно культурному наследству.

«4. Марксизм завоевал себе свое всемирноисторическое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что он, марксизм, отнюдь не отбросил ценнейшие завоевания буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая (практическим) опытом диктатуры пролетариата как последней борьбы его против всякой эксплоатации, может быть признана развитием действительно пролетарской культуры».

Здесь видим и другой основной решающий момент в ленинском подходе к «наследству». В то время как меньшевики (в том числе и Троцкий) вместе со всем II Интернационалом отрицают даже возможность пролетарской культуры, отдавая тем самым рабочий класс в плен буржуазной культуре, мы не заимствуем и перенимаем буржуазную культуру, а критически пересматривая и перерабатывая ее под углом зрения марксизма-ленинизма, строим, «одухотворяя опытом диктатуры пролетариата», пролетарскую культуру.

Из этого отношения к культурному наследству в целом вытекает и отношение к той частице наследства, разработке которой посвящено наше издание. Художественное наследство, которое берет пролетариат у мировой литературы, давно нуждается в критическом пересмотре. Надо развернуть борьбу за большевистскую переоценку наследства классиков художественной литературы, в первую очередь литературы народов СССР. Ленин и здесь оставил нам ряд прямых указаний: «Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой народнической демократии», — писал Ленин. Ту же мысль аргументирует Ленин на примере произведений Льва Толстого: «... в его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет и над этим наследством рабо-

тает российский пролетариат». Если Ленин считал интересным и полезным знакомить со Щедриным десятки тысяч рабочих читателей старой дореволюционной «Правды», если Ленин считал, что пролетариат должен взять положительное из наследства Толстого, то понятно, насколько актуальнее стоит задача освоения пролетариатом литературного наследства сейчас, когда пролетариат завоевал власть и строит социализм, когда культурная революция приобрела гигантский размах в нашей стране. Развертывание ленинского этапа в литературоведении обязывает нас вплотную подойти к этому участку, всерьез заняться вопросами истории литературы, изучения и освоения литературного наследства.

Задача нашего издания — поднять эти проблемы на политическую и принципиальную высоту, ведя с ленинских позиций последовательную и непримиримую борьбу со всеми буржуазными взглядами, с троцкистской контрабандой, с право- и «лево»-оппортунистическими уклонами от ленинской теории и с гнилым либерализмом.

В свете письма т. Сталина в редакцию «Пролетарской Революции» вопросы усвоения и критической переработки культурного наследства прошлого приобретают особую актуальность. Письмо т. Сталина прежде всего учит партийной воинственности и непримиримости в борьбе с классовым врагом на идеологическом фронте и с гнилым либерализмом в отношении ко всяким извращениям марксизма-ленинизма, повышает нашу бдительность к попыткам под видом изучения прошлого (в первую очередь истории нашей партии) протащить контрреволюционную троцкистскую контрабанду.

На примере «работы» Слуцкого «Большевики о германской социал-демократии в период ее предвоенного кризиса» т. Сталин показал, куда ведет «метод копания в случайно подобранных бумагах» вместо «обращения к действительным делам и действительной истории большевизма». Письмо т. Сталина имеет решающее поворотное значение не только для историков партии, но и для всего идеологического фронта; решающее значение оно имеет и для нашего участка.

До сих пор в изучении историко-литературных памятников господствовала оторванность от практики классовой борьбы пролетариата. Сплошь и рядом публиковался документ только потому, что он не издан; любая, незначительная записка писателя, снабженная крохоборческими биографическими «изысканиями»-комментариями, печаталась с единственной мотивировкой: она, мол, «впервые вводится в оборот». Какое научное значение имеет этот документ, что дает нового, какой смысл имеет его опубликование, — эти вопросы зачастую не ставились. Письмо т. Сталина, заостряя воинствующую партийность в науке, большевистскую нетерпимость ко всем и всяческим проявлениям классово враждебных взглядов, направлено также против слепого фетишизма и «академического» подхода к изучению и публикации документов, оно требует борьбы с отношением «архивных крыс» к наследству прошлого. Эти указания т. Сталина определяют и характер нашего издания.

***

Если литературный фронт отстает от задач социалистического строительства, то данный его участок является наиболее отсталым. Без преувеличения можно назвать это положение прорывом. Ни РАПП, ни Институт Литературы и Искусства Комакадемии, которые в первую очередь за него отвечают и которые должны были возглавить борьбу на этом участке, не сделали всего возможного и необходимого, чтобы укрепить здесь гегемонию марксистско-ленинского литературоведения. Историко-литературный участок является такой же ареной классовой борьбы, как экономика, философия и т. д., и естественно, что слабость коммунистического влияния была использована классовым врагом. В самом деле, достаточно бросить беглый взгляд на недавнее положение дел здесь, чтобы в этом убедиться.

Одно из крупнейших учреждений, специально призванное заниматься этим делом, б. Пушкинский Дом Академии Наук, под видом работы над историко-лите-

ратурными материалами развил прямую контрреволюционную, вредительскую деятельность. Бывшее руководство Пушкинского Дома во главе с Платоновым, являвшееся в то же время верхушкой монархической организации, в числе многих «деяний» проводило вредительскую тактику по отношению к ряду ценнейших архивных фондов. Были сокрыты архивы ПК РСДРП за 1906 г., ЦК меньшевиков, ЦК кадетов, архивы Лаврова, Струве, Водовозова. Связки различных царских документов скрывались с прямыми контрреволюционными целями. Так классовый враг пользовался всякой возможностью для борьбы с пролетарской революцией.

В своей издательской деятельности руководство Пушкинского Дома занималось в основном печатанием материалов, относящихся к буржуазно-дворянской линии истории литературы. Основная часть публикаций падала на пушкинскую эпоху, и то работа шла больше по части крохоборческих разысканий ненужных биографических подробностей из жизни писателей. Материалы же по писателям-демократам, писателям-разночинцам, писателям-революционерам, не говоря уже о пролетарских писателях, почти никогда не разрабатывались и даже прятались от советской общественности.

Наконец комментарий к литературному документу строился, как правило, лишь по линии бесконечных генеалогических и геральдических экскурсов, из-за чего получалась сплошная монархическая апология в характеристиках дворянских представителей литературных группировок прошлого столетия. Такое построение комментария, созданное школой Саитова—Модзалевского и почти безраздельно господствовавшее до сих пор в публикациях историко-литературных памятников, имеет свою ярко выраженную классовую сущность. Такой комментарий, выдержанный в духе внеклассовой, аполитичной, «чистой информации», уводит в сторону от социальных проблем, затушевывает классовую борьбу в литературе, не облегчает, а затрудняет усвоение материала.

Вся деятельность Пушкинского Дома в этом направлении сводилась таким образом к реставрации не имеющих ни художественного, ни научного значения аксессуаров дворянско-буржуазной литературы, к пропаганде и проталкиванию в массы классово враждебных пролетариату настроений, взглядов и идеек. В то же время изо всех сил тормозилась разработка революционно-демократической литературы, предшественников пролетарской литературы. Буржуазные «ученые», засевшие в Пушкинском Доме, препятствовали пролетариату овладеть литературным наследством и популяризовать его в массах.

Смена старого руководства Пушкинского Дома не повлекла за собой коренной ломки старых методов работы, ограничившись по существу лишь переменой вывески. Группа б. литфронтовцев (троцкист Горбачев, Родов, Майзель и др.), возглавлявших до последних дней Институт Новой Литературы (ранее П. Д.), за два года своей работы в этом крупнейшем в СССР хранилище архивов литературных и общественных деятелей прошлого века не подвинула марксистско-ленинскую разработку литературного наследства ни на шаг. А ведь к их услугам были представлены гигантские возможности Академии Наук СССР (в состав которой входит Институт). Между тем академические «Известия по русскому языку и словесности» продолжают заполняться откровенно антимарксистскими «трудами» Карских, Перетцев, Истриных, Сперанских на сугубо «актуальные» темы вроде: «Никоновский летописный свод и Иоасаф как один из его составителей», «Сказание об индейском царстве», «Слово о полку Игореве» и древнеславянский перевод библейских книг», «Тютчев в поэтической культуре русского символизма» (все это из недавно вышедшего об'емом в 42 печатных листа третьего тома «Известий по русскому языку и словесности»). И вместо того чтобы разоблачить эту реакционную деятельность и поставить ценнейшие архивные фонды Академии Наук на службу пролетариату, руководство Института Новой Литературы выпускает сборник «Литература» — эклектический винегрет, носящий по признанию самой редакции «случайный характер». Нельзя пройти мимо политически ошибочных утверждений передовой статьи журнала, принадлежащей перу его редактора, т. Луначарского, где дается «теоретическое» обоснование литературного либера-

лизма. «В области литературоведения, — пишет т. Луначарский, — относительная терпимость является законом». Тов. Луначарский считает, что в теоретической работе, в отличие от партийной, заблуждения не должны «рассматриваться с такой же острой точки зрения», и судить о терпимости этих заблуждений, на его взгляд, дело не журнала, а «других инстанций». Эта философия либерализма насквозь гнила, она враждебна ленинизму и не имеет ничего общего с учением о партийности науки. Не поощрять заблуждения, а беспощадно бороться с ними, выковывая марксистско-ленинскую науку, — такова задача всякого большевистского журнала и всякого литератора-коммуниста.

Подобные вышеприведенным взгляды тормозили и мешали своевременному разоблачению агентуры классового врага, укрывшегося в некоторых наших изданиях. Гнилой либерализм становится прикрытием и поощрением классово враждебных сил на одном из ответственнейших участков идеологического фронта. Лишь недостатком бдительности у некоторой части коммунистов-литературоведов можно об'яснить тот факт, что с таким громадным опозданием ставится во всю ширь вопрос о классовом враге на участке истории литературы и публикации документов и материалов.

До чего доходит наглость классового врага, орудующего под маской историко-литературных публикаций, можно судить по небезызвестному пушкинисту Н. Лернеру, который, печатая «новооткрытые» [1] строфы пушкинской «Юдифи», сопроводил ее следующими строками: «Подвиг еврейской национальной героини был для Пушкина не только благодарной художественной темой, над которой пробовали свои силы многие мастера пера и кисти. Юдифь была ему гораздо ближе. Недаром он сам создал образ русской женщины (Полины в «Рославлеве»), которая в 1812 г. задумала «явиться во французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук». В наше беспримерно печальное безвременье, когда враги топчут нашу несчастную родину, когда подавлено патриотическое чувство и забыт бог, — знаменательно звучит этот донесшийся до нас сквозь ряд неблагоприятных случайностей загробный голос великого поэта-патриота, который воспел великую народную героиню, — звучит и упреком и ободрением. Вновь от низин, где мы барахтаемся, поднимает наши взоры excelsior к своей вышине, поэзия Пушкина, белоснежная Ветулия нашего искусства, «божий дом» русского слова и духа».

Классовый враг, прикрываясь Пушкиным, открыто взывал здесь к Розе Каплан, к террористическим актам. И это сошло ему с рук. Ныне этот контрреволюционер, меняя формы борьбы и маскируясь, окопался в харьковском «Литературном Архиве». Если в годы гражданской войны Лернер позволял себе, прикрываясь публикацией материалов, прямые террористические призывы, то теперь он нарочито подобранным документом и тенденциозными комментариями хочеть опорочить самую идею революции. Найдя недавно в Публичной Библиотеке реакционную записку Гоголя к А. Я. Булгакову, посвященную революции 1848 г., Лернер тщательно подбирает «об'ективный» комментарий — все мракобесные высказывания об этой революции Гоголя и Жуковского — и ни одним словом не поясняет истинного значения этой революции и причин их отрицательного отношения к ней. Не приходится сомневаться в том, что публикация этой записки понадобилась Лернеру лишь для того, чтобы подкрепить отрицательное отношение к революции именами Гоголя и Жуковского. И опять-таки только отсутствием бдительности, только гнилым либерализмом по отношению к вылазкам классового врага со стороны редакции украинского «Литературного Архива» можно об'яснить появление этой публикации на страницах первой книжки журнала за 1930 г.

Не менее показательно поведение издательства «Колос», выпустившего «Письма Леонида Андреева» с комментариями Георгия Чулкова. «Будущее России темно и неизвестно», пишет здесь Чулков.

[1] На самом же деле сфабрикованные С. Бобровым и подсунутые им Лернеру, чтобы доказать полнейшее незнание Лернером Пушкина.

Приведенные примеры далеко не единичны, — можно привести еще десятки не менее выразительных [1]. Насколько глубоко пустили корни на историко-литературном участке классово враждебные пролетариату элементы, достаточно наглядно показывает помещенный в настоящем сборнике обзор учебников истории русской литературы. Из него явствует, что на этом участке почти бесконтрольно хозяйничали формалисты и другие буржуазные ученые, их подголоски—меньшевики и троцкисты. И не случайно, что именно сюда и устремились все выбитые со своих позиций буржуазные и мелкобуржуазные литературоведы. Тов. Каганович в своей речи на юбилее ИКП вскрыл политический смысл устремления троцкистов к истории нашей партии. Как они рассуждают?

«Ну что ж, вы — большевики, вы — цекисты, вы заняты строительством Магнитогорска, Днепростроя, новой Москвы, Кузнецкстроя, Бобриков, вы заняты планом и трактором, вас беспокоит картошка, уголь и т. д., — ну и занимайтесь этим делом, а мы займемся историей, мы будем подготовлять исподволь, потихонечку будем ужом ползать, а там, где не поможет хитрость, прикроемся глупостью, используем гнилой либерализм некоторых большевиков, но свое попробуем взять, наляжем на воспитание молодежи, имея в виду, по указке своего обанкротившегося вождя, «дальний прицел».

Та же логика действует и у наших врагов в области литературоведения. Битые и разгромленные в открытой борьбе с ленинским литературоведением, они применяют обходный маневр, пытаясь закрепиться в тылу и оттуда взять под свое влияние молодые литературоведческие кадры.

Но эта карта будет бита, как были биты все предшествовавшие!



Поворот РАПП к конкретной критике означает и усиление внимания к участку истории литературы. Победоносно наступая по всему фронту, ленинское литературоведение добьет классового врага и на этом участке. Издание «Литературного Наследства» призвано сыграть в этом свою роль. «Литературное Наследство» в борьбе за ленинизм в истории литературы, разрабатывая наследство классиков марксизма: Маркса, Энгельса и Ленина, развертывая ленинский этап в литературоведении, возьмет в свои руки разработку и издание вновь находимых и неизданных историко-литературных материалов. Здесь нужно ударить по переверзевскому отрицанию за архивными материалами практического значения в деле изучения литературы и нужно отбросить взгляд, что если материалы в свое время не появились в свет, то они малозначительны, неинтересны. С такой точки зрения нечего было разрабатывать и ленинское литературное наследство, но именно на примере вышедших 18 Ленинских сборников можно увидеть то громадное значение, которое имели посмертные разыскания произведений Ленина в деле разработки его наследства.

[1] Таково например совершенно реакционное, мистическое «творчество» покойного М. Гершензона, об'явившего интуицию источником познания. Гершензон решил, что для того, чтобы понять и изучить писателя, надо только уметь прочесть его. Он пришел к заключению, что никто до него не умел читать например Пушкина, и что ключ к Пушкину дан ему, Гершензону, в процессе мистического восприятия. Это «интуитивное», по существу сугубо идеалистическое, реакционное понимание творений поэта выражено у Гершензона очень ярко. В 1919 г. он выпустил книгу «Мудрость Пушкина», в которой опубликовал «скрижаль Пушкина» — якобы неизданный автограф поэта. «Приведенная страница — ключ к пониманию Пушкина. Так вот каким светом светит его поэзия! — пишет Гершензон. — Он в опыте твердо узнал небытие воплощенного мира и открытым взором созерцал проблески совершенной красоты сквозь земную явь: он не только видел иной мир, — он и сознавал, что видит его. *Не случайно, что эта страница открылась впервые мне*, от юных лет познавшему на земле одну эту правду: правду о лучшем мире». Между тем эта «впервые открывшаяся» Гершензону «скрижаль» принадлежит Жуковскому и уже много десятков лет печатается во всех собраниях его сочинений.

И если орган ИНЛИ Академии Наук — «Литература» — заранее заявляет: «мы и не претендуем на то, чтобы журнал наш оказался систематическим», то «Литературное Наследство» именно задается целью быть систематическим, строго плановым и целостным изданием, которое внесет наконец хоть некоторую упорядоченность в разработку и публикацию литературного наследства.

Покончив с крохоборчеством и гробокопательством, с работой «по личному вкусу», руководясь степенью политической значимости и необходимости той или иной связки материалов для ленинского литературоведения, мы используем разработки и публикации для показа подлинного лица классической литературы, а также для построения и создания марксистско-ленинской истории литературы.

Благодаря содействию, оказанному нашему изданию новым руководством Института Маркса—Энгельса—Ленина, мы надеемся планомерно публиковать новые материалы по марксистско-ленинскому литературоведению. Уже столько лет идут литературоведческие споры в нашей марксистской критике, но лишь теперь выяснилось, что меньшевик и предатель Рязанов прятал ценнейшие неизданные материалы из литературоведческого наследства Маркса и Энгельса.

Совершенно неудовлетворительно поставлено изучение истории большевистской печати. Еще к 1922 г. относится единственная попытка создания такого издания. Это — журнал московского Института Журналистики «Современник». «В особом отделе «Архив печати» редакция «Современника» будет помещать исследования, статьи, воспоминания и заметки по истории, теории и практике периодической печати», возвещала редакция в первом номере. Но ни одного слова не было в этом издании о ленинском учении о печати, зато журнал широко пропагандировал взгляды Троцкого на печать. Так из нью-йоркской газеты «Новый Мир» была перепечатана без всякого примечания статья Троцкого «Какая газета вам нужна». «У «Нового Мира» одна задача, одна цель, одна программа: бороться против тьмы, суеверий, рабских мыслей и чувств», — вот к чему сводил меньшевик Троцкий задачи революционной печати в эпоху империализма. И эту антиленинскую дребедень «Современник» хотел взять как знамя, под которым должно было вестись изучение истории большевистской журналистики. Вышедшие три номера этого журнала ярко свидетельствуют о том, к чему приводит историков журналистики игнорирование ленинского наследства, как они скатываются на буржуазные позиции. В этой области «Литературное Наследство» должно бороться за большевистское изучение прошлого революционной и пролетарской печати.

Являясь первой попыткой издания марксистско-ленинского историко-литературного журнала, «Литературное Наследство» стоит перед рядом трудностей, что неизбежно отразится на первых его шагах. Преодолевая с помощью товарищеской критики свои недостатки, «Литературное Наследство» надеется занять свое место в первых рядах пролетарского литературного движения.

Свыше 30 лет назад в статье «От какого наследства мы отказываемся» Ленин писал: «само собой разумеется, что «ученики» хранят наследство не так, как архивариусы хранят старую бумагу». Эти слова особенно актуальны в наши дни.

Тов. Каганович в речи, произнесенной на юбилее Института Красной Профессуры, очень хорошо сказал: «В особенности нужно по-большевистски, по-ленински подойти к истории прошлого, к истории вчерашнего дня, и подойти так, чтобы историю этого вчерашнего дня увязать с генеральной линией партии, с теми грандиозными новыми задачами, которые стоят перед нами сегодня и которые будут еще стоять завтра. В этом суть партийности в учебе, в этом смысл марксистско-ленинского воспитания, за это нужно по-большевистски бороться».

За эти лозунги и будет бороться «Литературное Наследство».

Задача освоения наследства для нас не самодовлеюща, не самоцель, а подчинена задачам, которые выдвигает практика социалистического строительства, развитие культурной революции. «Хранить наследство — вовсе не значит ограничиваться наследством», говорит Ленин. И наши сборники должны стать не «академическим» журналом, убежищем «архивных крыс», а боевым большевистским органом, достойным тех задач, которые ставят перед наукой партия и рабочий класс.

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС О ЛИТЕРАТУРЕ

НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА ЭНГЕЛЬСА С ПАУЛЕМ ЭРНСТОМ

Предисловие Института Маркса—Энгельса—Ленина
Комментарии Ф. Шиллера

Письмо Энгельса к Паулю Эрнсту полностью еще нигде не опубликовано; отдельные отрывки из него напечатаны в статье Энгельса «Ответ господину Паулю Эрнсту» в с.-д. газете «Berliner Volksblatt» от 5 октября 1890 г.

Письмо написано по поводу полемики на страницах журнала «Die Freie Bühne» между двумя молодыми писателями раннего немецкого натурализма — Германом Баром и Паулем Эрнстом, только недавно пришедшим к социал-демократической партии.

Предметом полемики служил женский вопрос в драмах Ибсена. Письмо Энгельса, являющееся ответом на запрос Эрнста по поводу полемики, представляет собой один из лучших анализов Энгельса на конкретном литературном материале; оно направлено прежде всего против механистической литературоведческой концепции Эрнста и против его вульгарно-эклектической трактовки социальной категории «мещанства». Как метко Энгельс определил методологическую путаницу Эрнста, при которой исторический материализм превращается в свою противоположность, в идеализм, показывает дальнейшее развитие этого «марксиста»: в 1890—93 гг. Эрнст занимал неустойчивую позицию в партии, сочувствовал мелкобуржуазным, анархоиндивидуалистическим лидерам оппозиции «молодых», затем вышел из партии, сделался главой «неоклассической» идеалистической школы в литературе, а сейчас является фашистским писателем. А тогдашний его оппонент, Г. Бар, также сделался националистом и мистиком.

Письмо Энгельса не потеряло своей актуальности и поныне, когда против марксистско-ленинского литературоведения выступают всякие механистические и эклектические «теоретики».

Институт Маркса—Энгельса—Ленина

Лондон, 5 июня 1890 г.

Милостивый государь,

К сожалению, я не могу исполнить вашей просьбы — написать вам такое письмо, которое вы могли бы использовать против г. Бара. Это втянуло бы меня в открытую полемику, для которой мне пришлось бы буквально украсть у себя время. Поэтому то, что я вам пишу, предназначено только лично для вас.

К тому же я совершенно не знаком с тем, что вы называете скандинавским женским движением, знаю только несколько драм Ибсена и абсолютно не представляю себе, в какой мере можно считать Ибсена ответственным за более или менее истерические [стремления более или менее зрелых норвежских дев] бдения буржуазных и мещанских карьеристок.

Да и вся область, которую привыкли называть женским вопросом, так обширна, что в пределах письма невозможно высказать о ней ничего исчерпывающего или даже хоть сколько-нибудь удовлетворительного. Но несомненно, во всяком случае, одно, — а именно, что Маркс не мог «стоять на точке зрения», которую ему приписывает г. Бар. Для этого он бы должен был быть сумасшедшим.

Что касается вашей попытки проанализировать вопрос материалистически, то прежде всего я должен сказать, что материалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руководящей нитью при историческом исследовании, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраивают исторические факты. И если г. Бар полагает, что он поймал вас на месте преступления, то мне кажется, что у него есть на это кое-какие основания.

Всю Норвегию и все, что там происходит, вы подводите под категорию мещанства, а затем, не обинуясь, приписываете этому норвежскому мещанству то, что считаете характерным для немецкого мещанства. Но тут помехой являются два обстоятельства.

Во-первых, когда во всей Европе победа над Наполеоном ознаменовала собой победу реакции над революцией, и лишь на своей родине, во Франции, революция еще настолько внушала страх, что из рук вернувшейся легитимной власти была вырвана буржуазно-либеральная конституция, Норвегия сумела завоевать себе конституцию более демократическую, чем все, существовавшие тогда в Европе.

И, во-вторых, за последние двадцать лет Норвегия пережила такой расцвет в области литературы, каким не может гордиться ни одна страна, кроме России. Считать ли их мещанами или нет, но во всяком случае норвежцы создают гораздо больше духовных ценностей, чем другие нации, и накладывают свою печать также и на другие литературы, в том числе и на немецкую.

Если вы взвесите эти факты, то должны будете признать, что они не вполне совместимы с включением норвежцев в категорию мещан, и притом мещан чисто немецкого пошиба; по моему мнению, факты эти обязывают нас точнее определить специфические особенности норвежского мещанства.

И вот вы, вероятно, найдете, что тут обнаруживается большая разница. В Германии мещанство является плодом неудавшейся революции, прерванного и задержанного развития; оно получило свой своеобразный и резко выраженный характер трусости, ограниченности, беспомощности и неспособности к какой-бы то ни было инициативе благодаря Тридцатилетней войне и следующей за ней эпохе, когда все остальные крупные народы переживали бурный рост. Характер этот немецкое мещанство сохранило и впоследствии, когда Германию снова подхватил поток исторического развития; он был достаточно силен, чтобы наложить свою печать и на все остальные общественные слои Германии в качестве всеобщего немецкого типа, пока, наконец, наш рабочий класс не прорвал эти узкие рамки. Немецкие рабочие как раз в том отношении являются самыми ярыми «отрицателями отечества», что они сбросили с себя немецкую мещанскую ограниченность.

Таким образом, в немецком мещанстве надо видеть не нормальный исторический этап, а доведенную до предела карикатуру, образец вырождения [подобно тому как польский еврей является карикатурой на евреев. Оно классично лишь в лице предельно очерченной и утрированной мелкой буржуазии]. Английский, французский и т. д. мелкий буржуа отнюдь не стоит на одном уровне с немецким.



ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

С фотографии (1889 г., Лондон), хранящейся в музее Института Маркса и Энгельса

Напротив, в Норвегии мелкое крестьянство и мелкая буржуазия с небольшой примесью средней буржуазии — какими они примерно были в Англии и во Франции в XVII веке — в течение ряда столетий представляют собой нормальное состояние общества. Здесь не может быть речи о насильственном возвращении к устарелым этапам развития из-за неудавшегося крупного движения и из-за кокой-нибудь Тридцатилетней войны. Вследствие своей изолированности и природных условий страна отстала, но общее ее состояние все время соответствовало производственным условиям и благодаря этому было нормальным. Лишь в самое последнее время в стране спорадически появляются начатки крупной промышленности, но для самого могучего рычага концентрации капиталов — для биржи — тут нет места; к тому же консервирующее влияние оказывает огромный размах морской торговли. В то время как повсюду в других государствах пароход вытесняет парусные суда, Норвегия все увеличивает свое парусное судоходство и обладает если не самым крупным в мире, то вторым по величине парусным флотом, принадлежащим главным образом мелким и средним судохозяевам. Так или иначе это внесло движение в старое застойное существование, и движение это, повидимому, отражается на расцвете литературы.

Норвежский крестьянин никогда не был крепостным, и это обстоятельство — как и в Кастилии — накладывает свою печать на все развитие. Норвежский мелкий буржуа — сын свободного крестьянина, и вследствие этого он — настоящий человек по сравнению с жалким немецким мещанином. Точно так же норвежская женщина из мелкобуржуазной среды стоит неизмеримо выше немецкой мещанки. И каковы бы ни были недостатки ибсеновских драм, в них все же отображен — хотя и маленький, среднебуржуазный, — но неизмеримо выше немецкого стоящий мир, в котором люди ещё обладают характером, способны к инициативе и действуют самостоятельно, хотя часто и причудливо с точки зрения иноземного наблюдателя. Все это я считаю нужным основательно изучить, прежде чем выступать с своим суждением.

Возвращаясь снова к тому, с чего я начал, т. е. к г. Бару, я должен сказать, что меня удивляет, до какой степени всерьез принимают друг друга современные немцы. Остроумие и юмор, повидимому, более чем когда-либо стали запретными в Германии, и [даже евреи как будто напрягают все усилия, чтобы поглубже скрыть свое природное остроумие] скучный тон сделался гражданским долгом. Иначе вы, несомненно, несколько внимательнее рассмотрели бы «Женщину» г. Бара, которая лишена всех «исторически развившихся» черт. Исторически развилась ее кожа, ибо она должна быть белой или черной, желтой, коричневой или красной, — следовательно, не может быть человеческой кожей. Исторически развились ее волосы — курчавые или волнистые, кудрявые или прямые, черные, рыжие или белокурые. Следовательно, в человеческих волосах ей отказано. Что же остается, если отнять у нее вместе с кожей и волосами все исторически сложившееся и перед нами «предстанет женщина как таковая»? Просто напросто обезьяна anthropopitheca, и пусть г. Бар берет ее — «легко осязаемую и до дна прозрачную» — к себе в постель вместе с ее «естественными инстинктами»[1].

[1] Текст письма Энгельса публикуется по снимку с автографа, хранящегося в Институте Маркса—Энгельса—Ленина. Строки, зачеркнутые Энгельсом, поставлены в квадратные скобки.

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС И МЕХАНИСТИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 90-Х ГГ.

Публикуемое выше письмо Энгельса к Паулю Эрнсту от 5 июня 1890 г. впервые появляется в печати полностью; оно имеет свою историю, и высказанные в нем методологические замечания, не потерявшие своей актуальности и поныне, станут нам понятнее, если мы исследуем спорные вопросы, обсуждавшиеся в 90-х гг. в марксистском литературоведении в Германии и вызвавшие это письмо, и вскроем корни тех ошибочных положений, против которых выступает Энгельс.

Прежде всего о дискуссии между Эрнстом и Германом Баром, послужившей поводом для обращения Эрнста к Энгельсу. В конце 80-х гг. молодой германский империализм стремился обеспечить себе при разделе колоний рынки сбыта; это был период превращения Германии мелкого производства в крупно-капиталистическую, империалистическую державу, с одной стороны, а с другой стороны, бурного роста многомиллионной армии пролетариата, организующегося в мощную социал-демократическую партию. Во время закона против социалистов, срок которого истекал в сентябре 1890 г., партия не погибла, как на это рассчитывал Бисмарк, а, наоборот, вышла окрепшей и сильной из этой борьбы. Этот рост капитализма повлек за собой сильное ослабление и разорение мелкой буржуазии и ремесленничества. И вот идеологи этих разоряющихся слоев, голодающая бунтарская интеллигенция в городах, часть так называемых ранних немецких натуралистов, сознавая обреченность мелкой буржуазии, примкнула к социал-демократической партии, видя в социализме новое «евангелие» спасения «человечества». Организационно эти литераторы и писатели группировались вокруг основанного в 1889 г. в Берлине Отто Брамом и др. театра «Свободная сцена» и журнала под этим же названием, а наиболее левая часть натуралистов, вступив в с.-д. партию, основала в 1890 г. «Свободную народную сцену», во главе которой стояли Бруно Вилле, Вильгельм Пельше и Юлий Тюрк. Характерно для этих мелкобуржуазных, индивидуалистически-анархистских, анти-авторитарно настроенных интеллигентов, что в программе «Свободной народной сцены» господствующее место занимали такие драмы Ибсена, как «Столпы общества» и «Враг народа», которые как нельзя лучше выражали идеологию этих групп с их вознесением личности над массами, презрением к «стадному» «партийному человеку», организованному в строго централизованной рабочей партии. И не случайно, что почти все лидеры анархо-индивидуалистического, путаного бунта в так называемой оппозиции «молодых» 1890—1892 гг. против партийного руководства были представителями этих писательских групп, сплотившихся вокруг «Свободной народной сцены» (Б. Вилле, К. Вильдерберг, Т. Тейстлер, Г. Ландауэр и др.).

К этим «ранним натуралистам» принадлежали тогда еще молодые Бар и Эрнст. Первый только в 1890 г. переехал из Парижа в Берлин и познакомил немецких натуралистов с «последней модой» на берегах Сены, с французскими салонами импрессионистов; его натуралистические драмы «Новые люди» и «Великий грех», прошедшие ранее почти незамеченными, стали теперь пользоваться громадной известностью; молодой, 27-летний австро-немецкий писатель быстро сделал в Берлине карьеру и вместе с Брамом стал соредактором журнала «Свободная сцена» («Freie Bühne»). В то время Бар «кокетничал» с марксизмом, и так как в эти дни переводились старые и каждая новая драма Ибсена и социальные проблемы, выдвинутые великим норвежским драматургом, возбуждали живейшие споры, то неудивительно, что завязалась полемика между Баром, представителем идеологии «Свободной сцены», и П. Эрнстом, бывшим тогда уже довольно известным с.-д. публицистом и чуть ли не официальным интерпретатором Ибсена на страницах главного теоретико-марксистского органа партии «Neue Zeit».

Пауль Эрнст в своих литературно-критических статьях и рецензиях подходил к анализу творчества, в частности творчества Ибсена, типично механистически. Во-первых, он выводил литературу непосредственно из экономики, несмотря на то, что сам метал гром и молнии на других, грешивших этим, критиков; он ставит знак равенства между социально-экономическим развитием «эпохи» и «идеями времени». Дальше он совершенно механистически понимает взаимоотношения писателя и класса: писатель органически не в состоянии выйти за пределы своей классовой идеологии, он фаталистически вращается только в кругу *своих* классовых представлений. Так и Ибсен не может выйти за границы идеологии чрезвычайно шаблонно понятой Эрнстом социальной категории «мещанства». «Диалектика мещанина, — пишет он в одной рецензии об Ибсене, — это котенок, кусающий свой собственный хвост: хвост принадлежит котенку, котенок — хвосту» (см. «Neue Zeit» 1890 г., стр. 43). Эрнст совершенно *неисторически* и *отвлеченно* подходил к пониманию «мещанства»: у него было свое представление о *немецком* мещанстве 1890 г., и этот на веки-веков выработанный взгляд он приложил упрощенно, как готовый шаблон, к критике скандинавского, русского и французского мещанства и его писателей, о творчестве которых он помещал рецензии в «Neue Zeit» и в заграничном центральном органе партии — «Социал-демократе».

Непосредственным поводом к полемике между Эрнстом и Баром послужили статьи Л. Маргольм в журнале «Свободная сцена» «Женщины в скандинавской литературе» (построенные главным образом на материале творчества Ибсена и Стриндберга). Они вызвали большую дискуссию, открывшуюся статьей Пауля Эрнста «Женский и социальный вопрос»[1]. Возражая против чрезмерного внимания уделяемого в статьях Маргольм элементам чисто биологическим, Эрнст правильно подчеркивает социальный характер женского вопроса и рассматривает женское движение (не только в Скандинавии), как продукт общественного развития. Но вместе с тем он, подводит всю проблематику скадинавского женского движения и его выражения в литературе под категорию немецкого мещанства и видит разрешение женского вопроса в чисто пассивном развитии производственных отношений. «Нет никакого сомнения, — пишет Эрнст, — что женский вопрос будет решен таким же образом, как все «вопросы» — сам собою, простым развитием производственных отношений». Таким образом Эрнст здесь совершенно отрицает значение идеологической борьбы, в частности в литературе.

Против этой статьи Эрнста с резким ответом «Эпигоны марксизма» выступил Герман Бар[2]. Он считает точку зрения Эрнста «типичнейшим документом распада и саморазложения» эпигонов марксизма, превращающих, по его мнению, «критический метод» Маркса в «догматическую аксиому». Он сравнивает Эрнста с автоматом, который, если в него опустить гривенник, сразу же выбрасывает «непогрешимую длинную главу марксистской мудрости». Методу исследования таких «марксититистов» (так Бар называет Эрнста и компанию, в отличие от «настоящих марксистов», к которым он однако себя не причисляет) он противопоставляет метод якобы самого Маркса. «Я сейчас не помню, — пишет Бар, — писал ли Маркс что-нибудь о женском вопросе, но я себе ясно представляю его подход к этому вопросу». По мнению Бара, Маркс установил бы признаки, характерные для каждой женщины, и из сравнения этих признаков вывел бы типичное для всех женщин; он установил бы среду, в которой мог и должен бы был развиваться такой тип, а не иной, и в конце концов нашел бы при помощи своего материалистического метода «созидающие причины» в экономической почве, вскрыл бы «вечную связь между материальным базисом и идеологическим отражением». Таким образом, Маркс «уловил бы» в крупной бюргерше, мещанке и работнице «ту женщину», из которой экономика оформила эти три различные типа. И дальше Бар пишет: «Для Маркса, как и для Тэна и Золя, человек — кусок мяса. Этот кусок мяса имеет свое выражение — дух. Этот дух подвергается влияниям среды, формирующим и наполняющим его. Таким образом, каждый человек, взятый в отдельности, представляет собою: естественного человека, как он вышел из утробы матери, унаследовав свойства своих физических предков, плюс человека экономического, как он оформился в своих отношениях к природе. Экономический человек всегда оформляет естественного человека». Такова, по мнению Бара, точка зрения Маркса, между тем как эпигоны марксизма отрицают «естественного человека» и признают только «экономического». Сам Бар не согласен ни с «точкой зрения Маркса», им самим сконструированной, ни с «эпигонами». Он считает, что кроме «влияния среды» (экономики) и «наследственности от предков» в каждой женщине следует различать еще «третью женщину» — чистую самку. Эта «третья женщина» и есть, по мнению Бара, подлинная женщина, «женщина, как таковая»; она не подвержена ни экономическим, ни историческим влияниям, и «отсюда только начинается женский вопрос, эта ужасная и убийственная загадка»... Поэтому Бар требует, чтобы при «анализе женщины» всегда проводилась четкая грань между «естественными инстинктами» и «исторически сложившимся» свойствами; только при условии вычитания последних можно обнаружить «женщину, как таковую». Вывод Бара: женский вопрос останется «вечной проблемой между мужчиной и женщиной», ибо они «никогда не поймут друг друга, а будут вечно бороться».

Статья Бара появлялась в «Свободной сцене» 28 мая 1890 г. И тогда Эрнст обратился к Энгельсу со следующим письмом от 31 мая 1890 г.

«Милостивый государь.

Простите мне, совершенно Вам незнакомому человеку, что я отваживаюсь обеспокоить Вас просьбой.

При этом я беру на себя смелость переслать Вам два номера журнала «Свободная сцена». В одном из них помещена моя статья о скандинавском женском движении, а в другом — полемика Германа Бара против этой статьи. Бар упрекает меня в том, что в данном случае я неправильно применил марксистский метод, и во многом другом.

По многим причинам мне хотелось бы знать, правилен ли упрек Бара и думал ли Маркс иначе о женском движении, или, точнее, как он думал бы в данном

1 Paul Ernst, Frauenfrage und sociale Frage. «Die Freie Bühne», Heft 15, от 14 мая 1890 г.
2 Herman Bahr, Die Epigonen des Marxismus. «Die Freie Bühne», Heft 17, от 28 мая 1890 г.

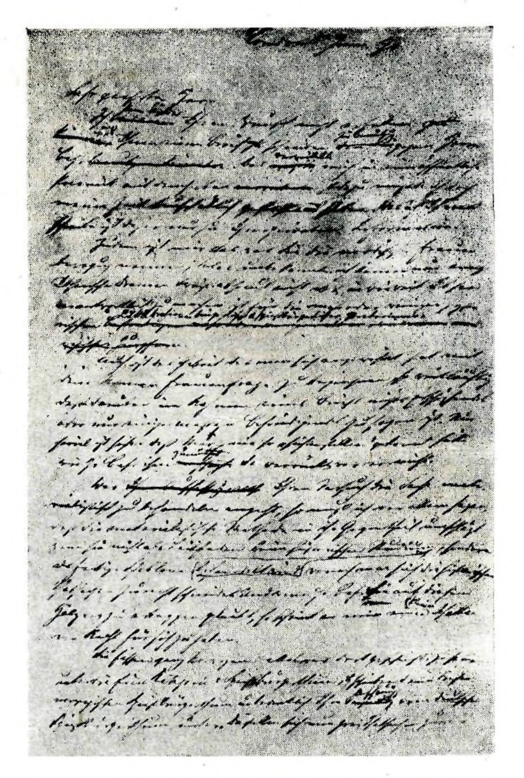
случае. Во-первых, потому, что я защищаю свои взгляды и в других органах (напр. в «Социал-демократе») и подобные вещи, если они неверны, оказывают вредное влияние; во-вторых, потому, что Бар, как Вы увидите из статьи, обращается со мною с невероятным бесстыдством.

По-моему, Бар вообще понимает все совершенно неверно и делает из женского вопроса половой вопрос. Если помещенный в конце статьи многословный тезис правилен, то он, думаю я, выражает нечто существовавшее еще во времена Адама и Евы. Я считаю это, безусловно, только личным опытом автора. Во всяком случае, это не имеет никакого отношения к женскому вопросу, который возник лишь при определенных общественных условиях. Я вовсе не отличаюсь высокомерием, которое старается приписывать мне Бар: я хочу только действовать практически по мере сил моих. Тем боле оскорбительны подобные инсинуации.

Вы бы меня крайне обязали, если бы были настолько любезны и исполнили мою просьбу, сообщив мне в двух строках, совпадают ли мои взгляды со взглядами Маркса, или нет. И, кроме того, разрешили бы мне использовать Ваше письмо против Бара.

С глубочайшим уважением, преданный Вам

Пауль Эрнст».



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЭНГЕЛЬСА К ПАУЛЮ ЭРНСТУ ОТ 5 ИЮНЯ 1890 г.
С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина.

На этот запрос последовал вышеприведенный ответ Энгельса; в нем Энгельс указывает на две основных методологических ошибки Эрнста: 1) механистичность его метода и 2) его неисторичность, отвлеченно-шаблонный подход к исследованию классовой детерминированности творчества такого писателя, как Ибсен.

Ошибку Эрнста по первому пункту Энгельс формулирует следующим образом: «Что касается Вашей попытки проанализировать вопрос материалистически, то прежде всего я должен сказать, что материалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руководящей нитью при историческом исследовании, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраивают исторические факты. И если г. Бар полагает, что он поймал Вас на месте преступления, то мне кажется, что у него есть на это кое-какие основания». При этом определении метода Эрнста Энгельс, конечно, имел в виду, — как он это позднее и подтверждает, — не только присланную ему статью в «Свободной сцене». Энгельс, следивший регулярно за «Социал-демократом» и «Neue Zeit», сам сотрудничавший в этих органах, был хорошо знаком с литературно-критическими статьями Эрнста и сделал этот вывод из всей совокупности известных тогда работ своего адресата.

А по второму пункту Энгельс противопоставляет неисторическому, механистически-шаблонному перенесению представления Эрнста о немецком мещанстве на скандинавское, т. е. на социальные корни творчества Ибсена, глубокий исторический анализ специфических особенностей, отличавших тогдашнее норвежское «мещанство» от немецкого, или от той социальной категории, которая в Германии называлась тогда мещанством. Этот анализ Энгельса является классическим примером того, как марксист должен подходить к такому сложному явлению в литературе, каким было творчество Ибсена, как нужно вскрывать специфичности, сложившиеся в определенном социально-экономическом ходе развития определенного класса, в реальном соотношении классовых сил. Этот анализ социальных корней творчества Ибсена уясняет нам многое из того, что так сильно запутано еще и сейчас буржуазными и псевдомарксистскими исследователями. Резюмируя свой анализ, Энгельс пишет: «Каковы бы ни были недостатки ибсенов-

ских драм, в них все же отображен — хотя и маленький, среднебуржуазный, — но неизмеримо выше немецкого стоящий мир, в котором люди еще обладают характером, способны к инициативе и действуют самостоятельно, хотя часто и причудливо с точки зрения иноземного наблюдателя. Все это я считаю нужным основательно изучить, прежде чем выступать с своим суждением».

Письмо Энгельса, хотя и написанное только «для личного сведения», Эрнст использовал в своей ответной статье Бару[1] следующим образом: «Я бы ответил на статью г. Бара «Женский вопрос» сразу же, — сообщает здесь Эрнст, — но так как он так храбро противопоставляет взгляды Маркса — как Маркс рассуждал бы в данном вопросе — взглядам «марксиститов»... то я обратился с запросом к Энгельсу... как Маркс в действительности смотрел бы на этот вопрос. Энгельс был настолько любезен, что ответил мне и подтвердил в подробном письме, что мое понимание вопроса очень близко к пониманию Маркса (!) (разрядка наша.—*Ф. Ш*). Но Энгельс не желает опубликования своего письма, чтобы не быть втянутым в полемику с г. Баром, которого он очень боится. Таким образом, я один должен набраться храбрости...» В дальнейшем Эрнст настаивает на своем понимании «женского вопроса» и характеризует точку зрения Бара как «половой вопрос». На этом полемика между ним и Баром, повидимому, закончилась.

Как же реагировал однако Эрнст на общие указания, сделанные ему в письме Энгельса как члену партии, как молодому публицисту, подававшему, по мнению многих, большие надежды? Реагировал он очень своеобразно: когда некоторое время спустя выступила открыто существовавшая уже в то время оппозиция «молодых» против партийного руководства Бебеля-Либкнехта, то Эрнст, хотя и не солидаризируясь полностью со всеми требованиями ультралевых лидеров этой оппозиции, все же примкнул к ней и даже стал редактором берлинской оппозиционно настроенной с.-д. газеты «Народная трибуна». И вот, когда Энгельс в лондонском «Социал-демократе» квалифицировал выступления лидеров оппозиции «молодых» как «бунт студентов и литераторов», Эрнст, а с ним и другие идеологи этой мелкобуржуазно-полуанархической оппозиции против партии, снова повторил свою ошибку, применив к оценке политической ситуации и соотношения классовых сил в стране такой же механистический и неисторический метод, как это им делалось в литературе: правооппортунистические элементы были провозглашены большинством партии, выродившейся, якобы, в мелкобуржуазную парламентскую партию от начала до конца, и если тогдашний центр Бебеля-Либкнехта тоже не был свободен от ряда ошибок, то все же называть его сплошь оппортунистическим было неправильным перенесением ошибок правых на всю партию, означало игнорирование реальной борьбы фракций внутри партии под углом зрения «ультралевой» оппозиции. И вот Эрнст в ответ на письмо Энгельса и на его статью о «молодых» выступает с собственной статьей в оппозиционной газете «Magdeburger Volksstimme» (от 16 сент. 1890 г.), в которой он пишет по адресу Энгельса: «И если Энгельс называет сейчас нашу оппозицию «студенческим бунтом», то пусть он, пожалуйста, укажет, где наши взгляды расходятся с его собственными и Маркса...»[1].

На этот вызов Эрнста Энгельс выступил со статьей «Ответ Паулю Эрнсту»[2], где он квалифицирует механистический метод Эрнста как общий метод всей путанной, неустойчивой, анархоиндивидуалистической оппозиции «молодых» вообще и пишет: «Что же касается самого г. Эрнста, то мне незачем ему это повторять. Я говорил ему это еще четыре месяца тому назад и должен, хочешь, не хочешь, докучать публике этой моей «серьезной» [3] корреспонденцией». Затем он рассказывает, как Эрнст обратился 31 мая с письмом к нему, приводит важнейшие отрывки из своего ответа 5 июня и продолжает: «Здесь, следовательно, я, хотя и в вежливой форме, но тем не менее ясно и определенно указал г. Эрнсту, где (он расходится с Марксом и Энгельсом. — *Ф. Ш.*) именно—в им самим присланной мне статье в «Свободной сцене». И когда я ему там растолковывал, что он пользуется марксистским методом, как готовым шаблоном, по которому он выкраивает исторические факты, то это как раз пример того «глубокого непонимания» того же самого метода, в котором я упрекал этих господ (т. е. «молодых».—*Ф. Ш.*). И если я ему доказываю затем на его собственном примере Норвегии, что приложенный им к Норвегии изготовленный по немецкому образцу шаблон мещанства явно противоречит историческим фактам, то этим самым я уже заранее относил на его собственный счет то «грубое незнакомство» с решающими во всяком вопросе историческими фактами, в которых я также обвинял тех господ. Хочется ли г. Эрнсту

[1] Paul Ernst, Frauenfrage und Geschlechtsfrage. «Die Freie Bühne», Heft 21 от 25 июня 1890 г., стр. 569—570.

[2] «Antwort an Paul Ernst». «Berliner Volksblatt» № 232, от 5 окт. 1890 г.

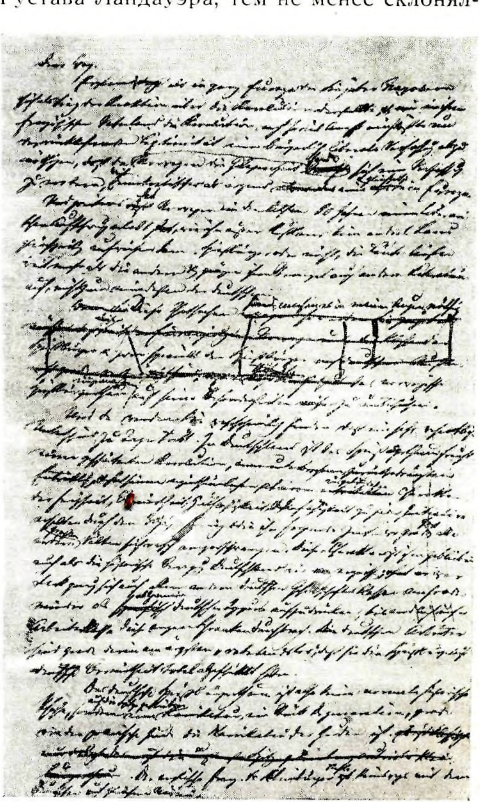
[3] Непереводимая игра слов: Ernst означает «серьезно».

еще знать «где»? Ну, напр., в статье в «Народной трибуне» об «опасностях марксизма», где он без многих слов присваивает себе странное утверждение метафизика Дюринга, что будто бы у Маркса история совершается совершенно автоматически, без содействия людей (которые ведь ее делают), и что экономические условия (сами — творения рук человеческих) играют этими людьми, как пешками. И если человек (Эрнст. — *Ф. Ш.*) способен смешать марксову теорию с искажением этой теории таким противником, как Дюринг, — пусть ему помогает другой, — я отказываюсь от этого». И указывая еще раз на ошибочность оценки «молодыми» положения внутри партии, Энгельс подчеркивает политическую опасность метода этих «литераторов», особенно «если они не в состоянии смотреть глазами на самые простые вещи и при оценке экономического или политического положения дел не могут беспристрастно взвесить ни относительного значения данных фактов, ни величины участвующих в них сил».

Таким образом, мы видим, что критика механистического метода Эрнста в письме Энгельса является критикой целой с и с т е м ы ошибок и не только в литературоведении, но и в политике, не только одного Эрнста, но и целой группы антипартийных оппозиционеров; взгляды этой группы на политику и искусство неразрывно связаны между собой. И как «молодые» — после выхода из партии в 1891 г., — упорно отстаивая свой механистический метод, последовательно пришли к л и к в и д а т о р с т в у (часть «молодых» стала архи-оппортунистической правой в с.-д. партии, другая стала анархистами) в области п о л и т и к и, выдвигая лозунг исключительно э к о н о м и ч е с к о й борьбы, — так и в области и с к у с с т в а они стали стопроцентными ликвидаторами.

Пауль Эрнст также н е преодолел своих механистических ошибок; его политическая эволюция 1890—94 гг. не только не содействовала их изжитию, но, наоборот, привела его также к «ультра-левому» ликвидаторскому взгляду на искусство: его партийная позиция этих лет была неустойчивой, его идеология — выражением вечно шатающихся мелкобуржуазно-интеллигентских элементов в с.-д. партии. Он продолжал сотрудничать в с.-д. печати, но к своим ошибкам, указанным ему Энгельсом, он прибавил еще новые, и когда в 1892 г. на страницах «Neue Zeit» развернулась большая дискуссия по вопросам искусства, он, хотя и возражал против стопроцентно-ликвидаторской теории Густава Ландауэра, тем не менее склонялся сам к ликвидаторству и «чистому искусству», проповедуя теорию «незаинтересованности» искусства и резкого разграничения его от политики. Известно также, что в 1892 г. он выступил в «Neue Zeit» с довольно путанной, по существу такой же механистической критикой «Легенды о Лессинге» Меринга.

Это ликвидаторство в области искусства последовательно вытекало из его ликвидаторства в области политики, свойственного в той или иной форме всем этим неустойчивым, мелкобуржиазным теоретикам оппозиции «молодых». Об этом именнно и свидетельствует названная полемика в «Neue Zeit». Вот что Густав Ландауэр, бывший тогда редактором «Социалиста», органа «молодых», пишет в своей статье в «Neue Zeit», озаглавленной «Будущее и искусство» (1890): «Все почему-то ждут нового расцвета искусства, нового гения, подобного Гете; но я не лелею этой надежды, или, вернее сказать, больше не лелею. Я не думаю, что ближайшее будущее будет стоять под знаком искусства, и очень жалел бы, если бы все-таки так случилось. Прежде всего, у нас больше нет времени для искусства. Искусство нуждается в покое; мы нуждаемся в борьбе. Искусство на высшей своей ступени «braucht Abgeklärkeit», мы нуждаемся в брожении. Искусство... опирается на прошлое и спокойно созерцает настоящее; мы преклоняемся



ВТОРАЯ СТРАНИЦА ТОГО ЖЕ ПИСЬМА ЭНГЕЛЬСА К ПАУЛЮ ЭРНСТУ.

перед будущим и стараемся разглядеть его. Искусство должно быть сытым; мы голодны и хотим пробудить чувство голода. Искусство — суб'ект, он наблюдает, впитывает в себя; мы живем и действуем, надеемся сделаться достойным об'ектом искусства позднейших времен; мы хотим быть Ахиллесом; искусство — Гомер. Нужно, наконец, энергично избавиться от болезненной мании прикладывать к вещам мерку, которая им не подходит; говорить о развитии и законах развития, когда нет ничего, что могло бы развиваться. Искусство и литература — отвлеченности, больше ничего, которые не имеют своего собственного развития... Тот, кто сегодня и в ближайшем будущем заботится о немецкой поэзии, не может считаться истинным потомком наших великих гениев. В наше время Гете был бы, может быть, гениальным государственным деятелем, или же родственным Ницше пророком, — это решить невозможно; а Ленау, по всей вероятности, преодолел бы мировую скорбь и сделался горящим страстью социалистическим агитатором».

Итак, литература и искусство только механистическое, спокойное, пассивное отражение развития общественного процесса, которые наилучшие для их развития условия находят во времена спокойствия и равновесия сил, но не в революционные эпохи, не при выступлениях воинствующих молодых классов; поэтому социалистическому движению, рабочему классу в его борьбе за освобождение литература и искусство совершенно не нужны, они вредны, и опять появятся закономерно лишь в социалистическом обществе, когда можно будет безмятежно наблюдать и созерцать прошлое. Ландауэр в этой статье проповедывал ликвидаторство искусства в наиболее последовательной его форме. Но и Эрнст, выступая в «Neue Zeit» 1890 года против Ландауэра, утверждает, что искусство существует для того, «чтобы им наслаждались», и «художники должны доставлять нам наслаждение». И если Эрнст раньше, в 1889—1891 гг., признавал еще политическую функцию искусства, то теперь он пишет: «Несомненно, многие художники вышли за пределы этой задачи (т. е. «доставлять нам наслаждение». — *Ф. Ш.*), и Ибсен, например, хочет не только доставлять наслаждение тому, кто его выслушивает, но и внушить ему определенные социальные взгляды». А для этой цели — по его мнению — лучше обратиться к какому-нибудь специальному исследованию. Ибсен, дескать, вмешался здесь не в свое дело. Тут у Эрнста уже отчетливо выступает кантианское понимание искусства, взявшее в скором времени верх в его дальнейшем развитии.

Такое понимание искусства встречается и у других авторов полемических статей в «Neue Zeit» из среды «молодых». Искусство как механистическое «отражение» развития общественного процесса не имеет своих задач и цели, а есть «просто явление» — вот точка зрения этих «ультралевых» ликвидаторов. Таким образом, — поясняют они, — пролетарское искусство возможно только после того, как рабочий класс построит социалистическое общество. Тут «ультралевые» ликвидаторы смыкаются и с правооппортунистическими теоретиками искусства 90-х гг., как вообще и некоторые официальные теоретики тогдашней германской социал-демократии, в частности Каутский, не стояли далеко от подобной концепции. Позже эти взгляды легли в основу эстетики II Интернационала. В советской литературе их проводил Троцкий, пытавшийся этим задержать развитие пролетарской литературы.

Итак, механистические ошибки, являющиеся следствием всего мировоззрения неустойчивых временных «попутчиков» марксизма 90-х гг., ошибки, от которых Энгельс предостерегал в письме к Эрнсту,—именно, что материалистический метод переходит в свою противоположность, если пользоваться им механистически, — привели Эрнста и его сторонников к идеализму. Пауль Эрнст вышел из партии и сделался эстетствующим идеалистом, основателем и главой так называемой неоклассической школы писателей и известным драматургом. А после войны он сделался попутчиком «умеренного» фашизма группы Гугенберга, написал книгу о «крахе» немецкого идеализма, а также и марксизма, в своей же последней вещи (1930 год) проповедует возврат к богу. Его оппонент в 1890 году, австрийский импрессионистский эстетствующий писатель Бар, прошедший все ступени развития буржуазной декадентской литературы от натурализма через символизм к экспрессионизму, также пришел к мистицизму и национализму. И если Эрнст говорит, что он еще и сейчас мог бы сдать марксистский минимум, — до того, якобы, он хорошо овладел в годы своей грешной молодости методом исторического материализма,—то это лишь подтверждает ту оценку, которую дал ему в письме Энгельс, говоривший, что Эрнст считает марксизм шаблоном, механистическим толкованием социального процесса. Куда ведет в конечном итоге такое понимание марксизма — об этом как нельзя лучше говорит эволюция самого Эрнста.

Ф. Шиллер

ИЗ НЕИЗДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ СОВЕЩАНИЯ РАСШИРЕННОЙ РЕДАКЦИИ «ПРОЛЕТАРИЯ»

БОРЬБА ЛЕНИНА С БОГОСТРОИТЕЛЬСТВОМ

Предисловие П. Юдина
Примечания К. Остроуховой

ЛЕНИН И ФИЛОСОФСКАЯ ДИСКУССИЯ 1908—1910 гг.

I

Одним из коренных положений марксизма является учение о единстве теории и практики. Это единство состоит в том, что революционная практика является исходным и решающим моментом в определении содержания всякой теории. Маркс в тезисах о Фейербахе писал, что вопрос о действительности познания вовсе не теоретический, а практический вопрос. Там же он писал, что философы до сих пор так или иначе об'ясняли мир, но дело состоит в том, чтобы его изменить. Эту точку зрения Маркс, Энгельс и Ленин проводят решительно во всех вопросах, во всей своей теоретической деятельности. «Капитал» Маркса был ответом на насущные запросы революционного движения пролетариата. Маркс, открыв в «Капитале» законы капиталистического общества, указал реальный путь борьбы пролетариата, путь, по которому надо итти, чтобы свергнуть капиталистический строй и построить социализм. «Анти-Дюринг» также является ответом на практические запросы революционного движения пролетариата второй половины XIX века. Среди немецких социал-демократов в это время было сильно влияние вульгарного материализма, позитивизма, проповедуемого Дюрингом. Дюринг, выступив против учения Маркса, старался заменить его буржуазным позитивизмом. Энгельс, выступив против Дюринга, разоблачив ненаучное и враждебное пролетариату содержание его учения, вместе с тем дал обоснование коренных вопросов философии марксизма. Подобно Марксу и Энгельсу, Ленин всю свою теоретическую деятельность теснейшим образом увязывал с насущными, коренными задачами пролетарского революционного движения. Каждое его теоретическое произведение есть вместе с тем ответ на очередные задачи, выдвигаемые ходом революционной борьбы пролетариата. Так например, «Что такое друзья народа» было ответом народникам, пытавшимся обосновать с точки зрения мелкобуржуазных суб'ективистско-идеалистических позиций свои взгляды на «судьбы России».

«Развитие капитализма в России» Ленина является обоснованием марксистско-ленинской точки зрения на пути развития капитализма в России. В этой замечательной работе Ленин дал исчерпывающий анализ развития экономики и классовых отношений в России второй половины XIX в. Исходя из этого анализа большевики строили свою политику и тактику в революцию 1905 года. Величайшее философское произведение Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», которое может быть поставлено в один ряд с такими творениями основоположников марксизма, как «Нищета философии», «Анти-Дюринг», «Людвиг Фейербах» и др., является ответом на коренные требования революционного движения в России после революции 1905 года.

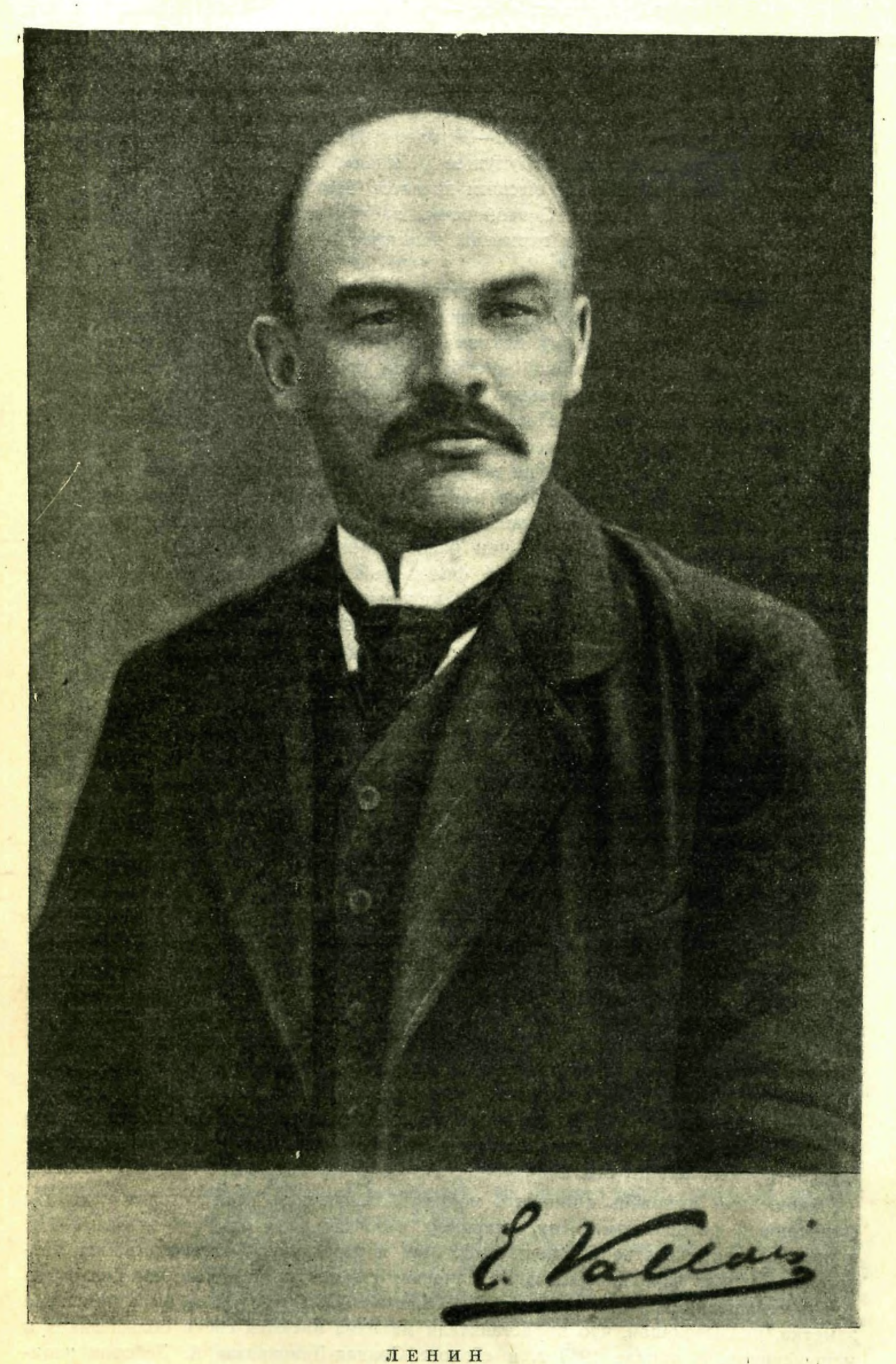
Маркс, Энгельс и Ленин к вопросам философии всегда подходили с пролетарско-классовой точки зрения. Партийность теории, партийность философии диалектического материализма — всегда было их руководящим принципом. В «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин писал, что новейшая философия так же партийна, как две тысячи лет тому назад. Еще раньше, в период борьбы со струвизмом, Ленин говорил, что марксист не ограничивается об'ективистским констатированием фактов, а открыто и прямо становится на точку зрения пролетариата и его партии. Марксизм, — писал Ленин, — включает в себя принцип партийности.

В печатаемых здесь впервые материалах совещания расширенной редакции «Пролетария» со всей ясностью вскрывается этот принцип партийности теории.

После разгрома революции 1905 г., в эпоху жесточайшей царской реакции, когда основные организации пролетариата — партия, профсоюзы — были загнаны в подполье, лучшие представители рабочего класса ссылались на каторгу, сажались в тюрьмы, отправлялись на виселицу, в среде социал-демократии, в менее устойчивой ее части, начинается политический и идейный разброд. В статье о Дицгене Ленин писал, что одни ликвидируют партию, другие — профсоюзы, третьи — марксистскую теорию. В статье «Наши упразднители» Ленин писал: «время общественной и политической реакции, время «переваривания» богатых уроков революции является не случайно тем временем, когда основные теоретические и в том числе философские вопросы для всякого живого направления выдвигаются на одно из первых мест». Там же он писал: «спор о том, что такое философский материализм, почему ошибочны, чем опасны и реакционны уклонения от него, всегда связан «живой реальной связью» с «марксистским общественно-политическим течением» — иначе это последнее было бы не марксистским, не общественно-политическим и не течением. Отрицать «реальность» этой связи могут только ограниченные «реальные политики» реформизма или анархизма» (т. XV, изд. II, стр. 88).

Разгоревшаяся в 1908—1910 гг. философская драка между Лениным, с одной стороны, и махистами — Богдановым, Базаровым, Луначарским и др. — с другой, была одной из форм проявления классовой борьбы. Богданов на протяжении ряда лет в ряде своих философских работ проводил ревизию философии марксизма с позиций махизма. Богданов ревизовал философию марксизма во всех ее основных вопросах. Он отрицал реальность внешнего мира в противоположность положению марксизма, что внешний материальный мир существует об'ективно и независимо от нашего сознания, утверждая, вслед за Махом, что вне человеческого опыта внешний мир не существует. Философию суб'ективного идеализма Маха Богданов старался облечь в марксистскую фразеологию. Так, например, он говорил, что внешний мир существует в коллективном опыте. Ленин, разоблачая Богданова, говорил, что словечком «коллективный» Богданов пытается подменить марксизм махизмом. Далее Богданов отрицал диалектику марксизма, пытаясь заменить ее своей «организационной наукой», от начала и до конца суб'ективно-идеалистической теорией.

Если раньше до поры до времени Богданов свои философские взгляды не связывал с вопросами политики, то теперь он с помощью своей философии начинает обосновывать свои отличные от большевизма политические взгляды. Сторонники Богданова — Луначарский, Базаров и др. — более последовательно и открыто стали увязывать философию махизма со своими политическими взглядами. Луначарский выступил с рядом статей и книг, в которых пытался по всем линиям теории и политики заменить марксизм махизмом. Суб'ективно-идеалистическая позиция Луначарского в вопросах философии прямо привела его к религиозному мистицизму. Научный социализм и марксизм, марксистскую философию Луначарский подменил религией. Так называемое богостроительство расцветает пышным букетом. Во втором сборнике «Литературный распад» Луначарский поместил статью, которая была предметом специального обсуждения расширенной редакции «Пролетария». В этой статье Луначарский писал: «Кто есть бог, творящий чудеса? Отец ли наш, или сын духа нашего? — говорит старик в «Исповеди» Горь-



ЛЕНИН

С фотографии (1910 г., Париж), хранящейся в Институте Ленина

кого». — Луначарский отвечает: «Бог — человечество, цельное социалистическое человечество. Это единственное божество, что нам доступно. Этот бог не родился еще — строится только. А кто богостроители? Конечно, сам пролетариат в первую голову, в тот исторический момент, который мы переживаем... Бог — есть человечество грядущего, строй его вместе с человечеством настоящего, примыкая к передовым его элементам» (стр. 92—93, изд. 1909 г.). В том же году в № 10 журнала «Образование», в статье «Будущее релегии», Луначарский писал: «Религия есть чувство связи индивида с высшим началом. Только в чрезвычайной мере оно выявляется в новой религии. С этой точки зрения научный социализм самое религиозное из всех религий, и истинный демократ — самый глубоко религиозный человек».

Против философии махизма и ее реакционных религиозных выводов, против всей этой мистики, которую стали разводить махисты, Ленин выступил со всей решительностью. Свою критику махизма Ленин увязывает с анализом классовых корней тех реакционных течений и с борьбой против тех политических течений, которые теснейшим и неразрывным образом увязывались с философией махизма. Против махизма выступил и Плеханов. Но характерно, что Плеханов критикует махизм больше и по преимуществу с чисто логической стороны, не доводя эту критику до классовых корней, не вскрывая буржуазной партийности этой философии. Полемика Плеханова против Богданова (см. его письма Богданову) блещет всеми прелестями и остротой плехановского остроумия. Плеханов больше издевается и высмеивает Богданова, чем разоблачает его, не показывая всей реакционности, всей враждебности этой философии пролетариату, не увязывая эту критику с теми основными задачами, которые стояли перед рабочим классом в эпоху жестокой реакции. Оно и понятно — этого Плеханов сделать не мог, так как сам он не стоял на последовательно пролетарской позиции, хотя в борьбе с ликвидаторством он иногда и приближался к Ленину. Критика Плеханова носит по преимуществу струвистско-об'ективистский характер.

Махисты свои философские взгляды пытались обосновать ссылками на новейшие достижения естествознания. И действительно, тот кризис, в который вступило естествознание в конце XIX и начале XX в., те реакционные идеалистические идеи, которые проповедывали буржуазные естествоиспытатели, явились питательной почвой махизма.

Ленин дал всесторонний и глубокий анализ кризиса в естествознании, сделав из этого все необходимые выводы.

Плеханов же совершенно прошел мимо этого кризиса и критику махизма не увязывал с теми течениями в области естествознания, к которым примыкал махизм. По этому поводу Ленин писал: «Нельзя взять в руки литературы махизма или о махизме, чтобы не встретить претенциозных ссылок на новую физику, которая-де опровергла материализм, и т. д. и т. п. Основательны ли эти ссылки, вопрос другой, но связь новой физики или, вернее, определенной школы в новой физике с махизмом и другими разновидностями современной идеалистической философии не подлежит ни малейшему сомнению. Разбирать махизм, игнорируя эту связь,— как это делает Плеханов,— значит издеваться над духом диалектического материализма, т. е. жертвовать методом Энгельса ради той или иной буквы Энгельса» (Ленин, т. XIII, стр. 206).

Меньшевики пытались приписать махизм большевикам, отождествляя махизм с философией большевизма. Так, например, в «Neue Zeit» от 14 февраля 1908 г. в предисловии к статье Богданова «Э. Мах и революция» указывалось, что разногласие между Плехановым и Богдановым становится разногласием большевиков и меньшевиков. Но уже 20 марта 1908 г. в той же «Neue Zeit» была помещена заметка, указывающая, что представители махизма имеются среди большевиков и меньшевиков. В апреле 1908 г. в «Голосе Социал-Демократа» А. Деборин написал специальную статью «Философия Маха и русская революция», в которой доказывал, что большевики — это представители мелкой буржуазии, а философия

махизма является теоретическим обоснованием политических взглядов большевиков. Деборин писал:

«Печать «суб'ективизма» и «волюнтаризма», лежит на всей тактике т. н. большевизма, философским выражением которого является махизм. Махизм — это мировоззрение без мира — в качестве философии суб'ективизма и индивидуализма образует в сочетании с ницшевским иммрорализмом, дающим оправдание «зла», эксплоатации и проч., идеологический туман, окутывающий практические стремления буржуазии. Большевистские философы в «идеологии» своей не переходят за пределы мелкобуржуазного кругозора. Большевистские же стратеги, тактики с их романтическим революционизмом и мелкобуржуазным радикализмом, прилагают на практике теоретические принципы философвского нигилизма, в основе которого лежит отрицание об'ективной истины и признание права за каждой личностью определять характер дозволенного и недозволенного, инстинного и ложного, доброго и злого, справедливого и несправедливого. Наши махообразные марксисты — сознательные большевики, «осмысливающие» практику и тактику последних. Большевистские же тактики и практики — бессознательные махисты и идеалисты. Об'ективно махизм представляет, т. о. на русской почве идеологию революционного и радикального слоя буржуазии и в этих пределах знаменует собою прогрессивное явление. По отношению же к марксизму — мировоззрению пролетариата — махизм играет реакционную роль... Бессилие и политическая отсталость буржуазии заставляют ее искать временных союзников среди других классов населения. Самым же надежным и революционно-последовательным союзником является пролетариат. Но чтобы «расположить» к себе последний в целях хотя бы «диктатуры пролетариата и крестьянства», приходится прибегать к марксистской фразеологии, дающей возможность прикрывать мелкобуржуазную «сущность». Ведь наши эс-эры «тоже марксисты», и разве наши махообразные «тоже марксисты» не «тоже суб'ективисты»? Общественное положение мелкой буржуазии характеризуется, как известно, помимо всего прочего, вечной раздвоенностью, которая необходимо отражается и в ее идеологии. Поэтому не всегда бывает легко отделить мелкобуржуазную «сущность» от прикрывающего ее тумана марксистской фразеологии» («Голос Социал-Демократа» 1908 г., № 4—5, стр. 12).

ВЛ. ИЛЬИНЪ.

МАТЕРІАЛИЗМЪ И ЭМПИРІОКРИТИЦИЗМЪ

критическія замѣтки объ одной реакціонной философіи.

ИЗДАНІЕ „ЗВЕНО“
МОСКВА
1909

ОБЛОЖКА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ ЛЕНИНА «МАТЕРИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ»

Деборин, клевеща на большевиков, по существу сам оправдывает махизм. Он пишет, что махизм на русской почве является прогрессивным явлением, поскольку отражает идеологию радикальной буржуазии. А так как Деборин, вместе со всеми меньшевиками, считал буржуазию как класс прогрессивным, революционной движущей силой в русской революции, то, следовательно, является прогрессивной и революционной и ее философия.

В отличие от меньшевиков (например Деборина) Ленин утверждал, что махизм от начала и до конца реакционное учение, что это поповщина худшего толка. В 1908 г. в статье «Марксизм и ревизионизм» Ленин со всей определенностью заявляет, что взгляды махистов ни в какой мере не являются взглядами большевиков. В примечании к своей статье Ленин писал: «см. книгу «Очерки философии марксизма» Богданова, Базарова и др. Здесь не место разбирать эту книгу, и я

должен ограничиться пока заявлениями, что в ближайшем будущем покажу в ряде статей или в особой брошюре, что все сказанное в тексте про неокантианских ревизионистов относится по существу дела и к тем «новым» неоюмистам и необерклеанским ревизионистам».

По предложению Ленина в номере «Пролетария» от 26 февраля 1909 г. была помещена заметка, где со всей решительностью указывалось, что махизм ни в какой мере не является философией большевиков и что махисты имеются и среди меньшевиков (Юшкевич, Валентинов и др.).

Разгоревшаяся драка показала, что только Ленин действительно до конца и последовательно дал всестороннюю критику махизма в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм». Не говоря уже о других меньшевиках, даже Плеханов не проделал и десятой доли всей необходимой работы по разоблачению махизма. В переписке Ленина с Горьким Ленин из года в год неустанно разоблачал махизм. В одном из писем к Горькому Ленин писал:

«За сочинениями Богданова по философии я следил с его энергетической книги об «Историческом взгляде на природу», каковую книгу штудировал в бытность мою в Сибири. Для Богданова эта позиция была лишь переходом к другим философским взглядам. Лично познакомился я с ним в 1904 году, причем мы сразу презентовали друг другу: я — «Шаги», он — одну свою тогдашнюю философскую работу. И я тотчас же (весной или в начале лета 1904 года) писал ему из Женевы в Париж, что он своим писанием сугубо разубеждает в правильности своих взглядов и сугубо убеждает в правильности взглядов Плеханова. С Плехановым, когда мы работали вместе, мы не раз беседовали о Богданове. Плеханов пояснял мне ошибочность взглядов Богданова, но считал это уклонение отнюдь не отчаянно большим... Плеханов смотрел тогда на Богданова как на союзника в борьбе с ревизионизмом, но союзника, ошибающегося постольку, поскольку он идет за Оствальдом и далее за Махом». И еще: «Вы должны понять и поймете, конечно, что раз человек партии пришел к убеждению в сугубой неправильности и вреде известной проповеди, то он обязан выступить против нее. Я бы не поднял шуму, если бы не убедился безусловно (и в этом убеждаюсь с каждым днем больше по мере ознакомления с первоисточником мудрости Базарова, Богданова и К°), что книга их — нелепая, вредная, филистерская, поповская вся от начала до конца, от ветвей до корня, до Маха и Авенариуса. Плеханов всецело прав против них по существу, только не умеет или не хочет или ленится сказать это конкретно, обстоятельно, просто, без излишнего запугивания публики философскими текстами. И я во что бы то ни стало скажу это по-своему».

Л. Троцкий и по настоящее время клевещет на Ленина, утверждая, что Ленин в 1904 году считал взгляды Богданова в области философии правильными, и что Ленин не соглашался с оценкой Плехановым Богданова как представителя одной из разновидностей философского идеализма, и что только в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин пришел к той же оценке Богданова, что и Плеханов (см. Троцкий «Моя жизнь», том I). Троцкий целиком стоит на позициях социал-фашизма и в этом вопросе. Нет особой нужды опровергать подобную меньшевистскую клевету Троцкого на Ленина.

После Маркса и Энгельса только Ленин защищал и дальше разрабатывал подлинные ортодоксальные взгляды марксизма. Каутский, Плеханов и др., выступавшие против того или иного вида ревизионизма, никогда не были до конца последовательными марксистами в области философии. Известно, что Каутский, выступив в 900-х годах против Бернштейна, проявил большое колебание и непоследовательность в этой борьбе. Точно так же Каутский занял неправильную позицию в борьбе с махизмом. В статье «Наши упразднители», когда Потресов пытался ссылкой на Каутского подтвердить, что махизм не враждебен марксизму (Каутский считал, что махизм — частное дело), Ленин писал: «Каутский ошибается в последнем пункте и особенно насчет русского махизма. Это несом-

енно». А в письме к Горькому от 13 февраля 1908 г. Ленин писал: «Материализм как философия везде у них в загоне. «Neue Zeit», самый выдержанный и знающий орган, равнодушен к философии, никогда не был ярым сторонником философского материализма, а в последнее время печатал, без единой оговорки, эмпириокритиков».

II

В печатаемых в № 1 «Литературного Наследства» материалах Совещания «Пролетария» со всей очевидностью вскрывается реакционнная сущность философских взглядов Богданова, Луначарского и др., связь этой реакционной философии с антибольшевистскими, антиленинскими взглядами в вопросах политики (отзовизм, ультиматизм) и непримиримая позиция Ленина по отношению к этой реакционной философии. Недаром Ленин придавал большое значение протоколам Совещания расширенной редакции «Пролетария» и хотел их опубликовать тогда же. В извещении об этом Совещании, напечатанном в приложении к № 46 газеты «Пролетарий» 1909 г., Ленин писал: «Редакция «Пролетария» приложит все усилия, чтобы изготовить и издать возможно более полные протоколы Совещания».

Расхождение Богданова, Луначарского и др. с Лениным как по вопросам политическим, так и теоретическим было настолько значительно, что они создали свой политический центр, каковым явилась организованная ими школа на Капри. Наличие этого раскола с особенной резкостью было выявлено Лениным на заседании расширенной редакции «Пролетария». Ленин говорил:

«Ясно ведь, что единства во фракции нет, а раскол полный» (см. публикуемый протокол).

В резолюции расширенной редакции «Пролетария», принятой специально о школе на Капри, указывалось: «Сделанные до сих пор группой инициаторов шаги уже с полной ясностью обнаруживают, что под видом этой школы создается новый центр, откалывающейся от большевиков фракции... Расширенная редакция «Пролетария» констатирует, что в связи с разногласиями, обнаружившимися в нашей фракции по вопросам об отзовизме, ультиматизме, отношении к проповеди богостроительства и вообще о внутрипартийных задачах большевиков, в связи с тем, что инициаторами, организаторами школы в NN [на Капри] являются исключительно представители отзовизма, ультиматизма, богостроительства, — идейно-политическая физиономия этого нового центра определяется с полной ясностью. В виду всего этого, расширенная редакция «Пролетария» заявляет, что большевистская фракция никакой ответственности за эту школу нести не может» (т. XIV, стр. 102).

Ленин в письме ученикам Каприйской школы от 30 августа 1909 г. писал: «Во всякой школе самое важное — идейно-политическое направление лекций. Чем определяется это направление? Всецело и исключительно составом лекторов. Вы прекрасно понимаете, товарищи, что всякий «контроль», всякое руководство, всякие «программы», «уставы» и проч., все это — звук пустой по отношению к составу лекторов. Никакой контроль, никакие программы и т. д. абсолютно не в состоянии изменить того направления занятий, которое определяется составом лекторов. И никогда и нигде в мире ни единая уважающая себя организация, фракция или группа не возьмется разделить ответственность за школу, направление которой уже предопределено составом лекторов, если это направление враждебное... Посмотрите, далее, тех лекторов, которых вы видите сейчас перед собой на Капри. Большевиков среди них нет. Зато все сторонники новой фракции (фракции защитников отзовизма и богостроительства) представлены почти полностью. Я едва ли во многом ошибусь, если скажу, что вы увидите среди каприйских лекторов Максимова (Богданова), Базарова, Луначарского, Лядова, Алексинского.. Отрицать, что вся эта группа товарищей ведет агитацию против «Пролетария», поддерживая и защищая отзовизм, значило бы насмехаться над известными всем в партии фактами. Отрицать, что остров Капри получил уже известность даже в общей русской литературе как литературный центр богостроительства, значило бы

издеваться над фактами. Вся русская печать давно уже указывала на то, что Луначарский с острова Капри повел проповедь богостроительства; ему помогал в России Базаров. Однородные философские взгляды защищал в десятке русских легальных книг и статей, в десятке заграничных рефератов Богданов» (т. XIV, стр. 118—119).

В прениях на заседании редакции «Пролетария» и в резолюции, принятой о статье Луначарского (напечатанной во втором сборнике «Литературный Распад»), взгляды Луначарского, Богданова, Базарова и др. характеризуются как антимарксистские, порывающие с основами марксизма и по существу реакционные. Далее, течение, представляемое Луначарским, Богдановым, Базаровым и др., характеризуется как форма проявления мелкобуржуазных тенденций в рядах пролетариата.

Защитники Луначарского пытались все дело свести к терминологии. Они говорили, что Луначарский употребляет всего лишь не совсем удачную и не совсем правильную терминологию, от которой его можно заставить отказаться. Но совершенно ясно, что дело было не в терминологии, а в антимарксистской сущности взглядов Луначарского, Богданова и К°.

На заседании расширенной редакции «Пролетария» только Ленин проводил до конца последовательную линию борьбы с махизмом, богостроительством и богоискательством. Характерно, что Томский в этом вопросе проявил прямое примиренчество по отношению к Луначарскому. По одному из важнейших пунктов резолюции, пункту 4-му с поправкой Виктора (Таратуты), что совещание считает правильным напечатание в № 42 «Пролетария» статьи «Не по дороге», — воздержались Градский (Каменев), Власов (Рыков) и Максимов (Богданов).

Проявленное примиренчество со стороны Томского по отношению к Луначарскому, Богданову и др. при решении редакцией «Пролетария» важнейших теоретических вопросов марксизма, имеющих прямое отношение к политическим взглядам отзовизма и ультиматизма, было, конечно, не случайно, как не случайна и неясность в позиции по некоторым пунктам резолюции, проявленная Рыковым. Опубликованные в XVIII Ленинском сборнике материалы (ленинская переписка) показывают, что Рыков, Каменев и др. занимали в ту пору примиренческую позицию в борьбе Ленина на два фронта — против ликвидаторов и отзовистов. Они в этом вопросе, что особенно ярко проявилось на январском пленуме ЦК в 1910 г., поддержали Троцкого и провели ряд решений в примиренческом духе. Самый факт участия Каменева в сборниках «Литературный Распад», в которых печатались все махисты, также является характерным. «Литературный Распад» об'единял вокруг себя по преимуществу махистов, богостроителей (Базаров, Юшкевич, Луначарский и др.), которые свои реакционные идеалистические взгляды выдавали за ортодоксальный марксизм. Так, например, в предисловии к первому сборнику «Литературного Распада» написано: «Участники предлагаемого вниманию читателей сборника стоят на почве пролетарского мировоззрения в его единственно научной форме — марксизме».

Богданов на совещании редакции «Пролетария» говорил, что «будущее покажет, кто был прав в этом вопросе» — Ленин или мы. И, действительно, будущее показало, что Ленин был от начала и до конца прав решительно во всех вопросах как теоретических, так и политических. Богданов же со своей реакционной философией все дальше и дальше отходил от революционного движения пролетариата, скатившись окончательно в лагерь его врагов.

В настоящее время махистские взгляды стали наряду с неокантианством официальной философией социал-фашистов. Такие патентованные «марксисты» II Интернационала, как Макс Адлер, не перестают доказывать, что махизм преодолевает «односторонность» марксизма.

Ленинизм во все вопросы марксизма вносит новое, поднимает марксизм на новую, высшую ступень. Ленин, изучив и обобщив новые закономерности как в области общественных отношений, — империализм, эпоха пролетарской революции, — так и в области развития естествознания, переработав весь этот огромный

материал с точки зрения материалистической диалектики, тем самым развил и углубил материалистическую диалектику. Законы материалистической диалектики есть не что иное, как законы самого внешнего материального мира, существующего об'ективно и независимо от нашего сознания и отражающиеся в нашем мышлении.

После Ленина дело дальнейшей разработки вопросов марксизма-ленинизма вообще и материалистической диалектики в частности находит свое блестящее вы-

PRIX 20 centimes. Supplément du „Prolétaire" 16|3 ИЮЛЯ 1909 г.

Россійская Соціальдемократическая Рабочая Партія.

Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!

ПРИЛОЖЕНІЕ къ № 46 ГАЗЕТЫ

„ПРОЛЕТАРІЙ"

Органа С.-Петербургск. и Московск. комитетовъ Р. С.-Д. Р. П.

Ниже читатели найдутъ текстъ резолюцій, принятыхъ на послѣднемъ совѣщаніи расширенной редакціи «Пролетарія». Составъ совѣщанія былъ слѣдующій: 4 члена редакціи «Пролетарія», 3 представителя большевиковъ, работающихъ въ *мѣстныхъ организаціяхъ*—Петербургской и области Москов. (центральн. Россія) и Уральской, и 5 членовъ Ц. К-та — б-ки.

Дебаты, развернувшіеся на совѣщаніи, имѣютъ, несомнѣнно, крупное обще-партійное значеніе. Они придали большую опредѣленность и до извѣстной степени законченность той политической линіи, которую систематически проводитъ за послѣднее время руководящій органъ б-ской фракціи и которая среди извѣстной части т. т., считающихъ себя б-ками, вызываетъ за послѣднее время не мало нападокъ. Необходимое объясненіе произошло на совѣщаніи, на которомъ оппозиція была представлена двумя товарищами.

Въ виду всего этого, ред. «Пролет.» приложитъ всѣ усилія, чтобы изготовить и издать возможно болѣе полные протоколы совѣщанія. Въ настоящемъ-же извѣщеніи мы хотимъ коснуться лишь тѣхъ пунктовъ, которые при извѣстномъ толкованіи могутъ вызвать — и вызываютъ уже среди заграничныхъ товарищей — недоразумѣнія. Пространныя и достаточно опредѣленныя резолюціи совѣщанія говорятъ, въ сущности, сами за себя; протоколы совѣщанія дадутъ достаточно матеріала для исчерпывающаго пониманія резолюцій въ цѣломъ. Задача настоящаго извѣщенія дать указанія, касающіяся главнымъ образомъ *внутри-фракціоннаго* значенія принятыхъ постановленій и резолюцій.

Начнемъ съ резолюціи «объ отзовизмѣ и ультимат.».

Что касается части резолюціи, направленной непосредственно противъ отзовизма, то она по существу не встрѣтила крупныхъ возраженій со стороны представителей оппозиціи на совѣщаніи. Оба представителя послѣдней признавали, что отзовизмъ, поскольку онъ складывается въ опредѣленное теченіе, все больше отходитъ отъ соціальдемократіи, что нѣкоторые представители отзовизма, въ частности его признанный вождь, тов. Ст., успѣли *пріобрѣсти даже* «нѣкоторый налетъ анархизма». Борьба упорная и систематическая съ отзовизмомъ, какъ теченіемъ, *единогласно* признавалась на совѣщаніи необходимой. Иное дѣло ультиматизмъ.

Оба представителя оппозиціи на совѣщаніи—называли себя ультиматистами. И оба они, въ письмен. заявленіи, поданномъ при голос. резолюціи, заявляли, что они—ультиматисты, что резолюція предлагаетъ отмежеваться отъ ульт-зма, что для нихъ это означало бы отмежеваться отъ самихъ себя, подъ чѣмъ они подписаться не могутъ. Впослѣдствіи, когда еще нѣкоторыя резолюціи были приняты противъ голосовъ оппозиціи, два представителя послѣдней письменно заявили, что они считаютъ резолюціи совѣщанія незаконными что, принимая ихъ, совѣщаніе провозглашаетъ расколъ фракціи что подчиняться имъ и проводить ихъ въ жизнь они не будутъ. На этомъ инцидентѣ мы остановимся въ дальнѣйшемъ изложеніи подробнѣе, потому-что онъ формально завершилъ собой отколъ одного изъ представителей оппозиціи, т. *Максимова, отъ расширен. редакціи «Прол».* Здѣсь же мы хотимъ подойти къ нему съ другой стороны.

При оцѣнкѣ ультиматизма, какъ, впрочемъ, и при оцѣнкѣ того послѣдовательнаго ультиматизма, имя которому — отзовизмъ, приходится, къ сожалѣнію, имѣть дѣло не столько съ писаніемъ, сколько съ преданіемъ. Ни ультиматизмъ, ни отзовизмъ не получили до сихъ поръ своего выраженія въ сколько-нибудь цѣльной «платформѣ». И приходится брать ультиматизмъ въ его единственно-конкретномъ выраженіи — въ требованіи предъявить думской с.-д. фракціи *ультиматума* быть строго-партійной и подчиняться всѣмъ дерективамъ партійныхъ центровъ, или отказаться отъ депутатскихъ полномочій. Но утверждать, что такая характеристика ультиматизма *вполнѣ* вѣрна и точна, какъ оказывается, нельзя. И вотъ почему. Т. Маратъ, одинъ изъ двухъ ультиматистовъ, принимавшихъ участіе въ совѣщаніи, заявилъ, что эта *характеристика къ нему не подходитъ*. Онъ, т. Маратъ, признаетъ, что дѣятельность с.-д. думской фракціи за послѣднее время значительно улучшается и что онъ и не думаетъ предъявлять ей ультиматумъ теперь-же, немедленно. Онъ только находитъ, что партія должна давить на думскую фракцію всѣми средствами, вплоть до предъявленія ей вышеизложеннаго ультиматума.

Съ *такими* ультиматистами сожительство внутри одной фракціи, конечно, возможно. *Такой* ультиматистъ долженъ сводить свой ультиматизмъ на нѣтъ по мѣрѣ того, какъ дѣятельность думской фракціи улучшается. *Такой* ультиматизмъ не исключаетъ, а, напротивъ, подразумѣваетъ длительную работу партіи съ думской фракціей и надъ фракціей, длительную и упорную работу партіи въ смыслѣ умѣлаго использованія думской дѣятельности для нуждъ агитаціи и организаціи. Разъ въ дѣятельности фракціи намѣтилась *ясно тенденція къ улучшенію,* то нужно, слѣдовательно, дальше упорно и настойчиво работать въ томъ-же направленіи. Ультиматизмъ *тѣмъ самымъ* потеряетъ постепенно свой объективный смыслъ. По отношенію къ *такимъ* ультиматистамъ-бо-викамъ не можетъ быть рѣчи о расколѣ. По отношенію къ нимъ едва-ли умѣстно и то отмежеваніе, о которомъ идетъ рѣчь въ резолюціи «Объ отзовизмѣ и ультиматизмѣ» и въ резолюціи «О задачахъ большевиковъ въ Партіи». *Такой* ультиматизмъ — просто на просто оттѣнокъ въ постановкѣ и рѣшеніи опредѣленнаго практическаго вопроса: сколько-нибудь замѣтнаго принципіальнаго разногласія здѣсь нѣтъ.

Ультиматизмъ, отъ котораго резолюція находитъ необходимымъ отмежевать большевизмъ, какъ идейное теченіе въ партіи, — явленіе иного рода. Этотъ ультиматизмъ,—а онъ, несомнѣнно, въ наличности имѣ-

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПРИЛОЖЕНИЯ К № 46 ГАЗЕТЫ «ПРОЛЕТАРИЙ» ОТ 16 ИЮЛЯ 1909 г., В КОТОРОМ БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕЩАНИЯ РАСШИРЕННОЙ РЕДАКЦИИ «ПРОЛЕТАРИЯ»

ражение в работах т. Сталина. Сталин, во всех своих работах последовательно проводя точку зрения Маркса, Энгельса и Ленина, с исключительной проницательностью и ясностью вскрывает то новое, что дает эпоха социалистического строительства и международная борьба пролетариата. Основные законы материалистической логики, как то: закон единства и борьба противоположностей, в работах Сталина получают дальнейшую разработку. Точно так же и другие категории материалистической логики — сущность и явление, возможность и действительность.

диалектика всеобщего и особенного разрабатываются Сталиным в духе ленинских традиций на основе изучения и вскрытия закономерности в самой об'ективной действительности. Письмо т. Сталина в редакцию «Пролетарской революции» со всей решительностью ставит вопрос о борьбе за ленинский этап в марксизме, за большевистскую партийность теории и за непримиримую борьбу со всякого рода гнилым либерализмом.

Борьба за ленинский этап на всех участках идеологического фронта является важнейшей задачей. Эта задача точно так же со всей остротой стоит и перед пролетарским литературным движением. Необходимо вплотную приступить к разработке ленинского этапа в области литературоведения. Одним из условий этой работы является непримиримая борьба со всякого рода фальсификацией марксизма-ленинизма и прямой меньшевистско-троцкистской контрабандой. Примером такой контрабанды может служить статья Добрынина, напечатанная в № 3 журнала «РАПП» «За ленинскую переоценку наследства Плеханова»[1]. Добрынин в этой статье пишет, что у большевиков и Ленина не было ясной позиции по отношению к махизму, — «неясность того положения, должны ли все социал-демократы держаться и в области философии взглядов Маркса и Энгельса». Далее Добрынин клеветнически утверждает, что, борясь вместе с Плехановым против махизма, Ленин якобы из «тактических соображений» проводил «отрыв философии от политики, от фракционной борьбы». Это им самим выдуманное обстоятельство Добрынин «об'ясняет» тем, что в этот период якобы «еще не было выработано твердого партийного мнения» в вопросах философии. Это есть не что иное, как перепев взглядов меньшевиков, проповедывавших в годы реакции то же самое и об'явивших в 1908—1910 гг. Ленина и большевиков махистами!

Печатаемый ниже «философский» протокол расширенного совещания редакции «Пролетария» наряду с другими ленинскими высказываниями имеет исключительное значение и для фронта пролетарской литературы. Эти материалы должны служить для наших литературоведов примером того, как по-ленински бороться за чистоту марксизма, за большевистскую партийность в науке, за ленинскую непримиримость ко всем и всяческим отклонениям от мировоззрения марксизма-ленинизма. Проблема ленинского этапа в области литературоведения до настоящего времени не разработана. К этой задаче по существу еще так, как этого требует сам вопрос, не приступлено.

Острота этой задачи об'ясняется еще и тем, что среди работников рапповского движения долгое время было некритическое отношение к плехановским литературоведческим взглядам. Ведь имел же широкое хождение лозунг «за плехановскую ортодоксию».

Развертывающаяся на основе указаний ЦК ВКП(б) перестройка работы РАПП одним из коренных моментов своего содержания должна поставить задачу всестороннего изучения ленинского теоретического наследства и полного преодоления плехановского и деборинского влияния. О необходимости большой критической работы свидетельствуют особо ярко работы т. Либединского, включая и его последние высказывания в печати (см. журнал «РАПП» № 1).

Подлинная, большевистская перестройка рядов пролетарского литературного движения возможна только на основе последовательного проведения ленинского принципа партийности науки. Материалы, печатаемые здесь, бесспорно окажут большую помощь всему пролетарскому литературному фронту в том, как надо понимать и как надо проводить этот принцип конкретно, в своей области.

П. Юдин

[1] Напечатание статьи Добрынина явилось грубой политической ошибкой журнала «РАПП», что и было признано самой редакцией со значительным запозданием, после того, как эта статья подвергалась критике в партийной печати (см. заявление редколлегии «РАПП» в № 348 «Правды»).

[ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ РАСШИРЕННОЙ РЕДАКЦИИ «ПРОЛЕТАРИЯ» ОТ 23 ИЮНЯ 1909 Г.]*

Собрание переходит к пункту «о богостроительстве»[1].

Градский [Л. Б. Каменев] (докладчик)[2]. Предлагаемая резолюция написана по поводу того, что вопрос о богостроит[ельстве] становится общественным явлением. Эпоха контрреволюции всколыхнула тенденции, оживляющие религиозные настроения. Это видно и из рефератов в Петерб[урге], это замечается и в литературе и в писаниях Луначарского[3]. Повышенный интерес к вопросам религии является отражением подавленности духа после подавления революции, подавленности духа, не имеющего сил построить свою линию на почве анализа революционных перспектив. В этой атмосфере ясно выступает подмен большевизма богостр[оительств]ом. Теперь они уже приравнены друг другу, — говорят уже не о Лунач[арском], Базарове[4], Горьком, а о большевизме. Мы не должны допустить и тени возможности сравнения «богостр[оительства]» с больш[евизм]ом. Этот вывод сделали уже наши враги. Заслуга ред[акции] «Прол[етария]» заключается в том, что она пошла вразрез с этими настроениями. Задача этого собрания в том, чтобы высказаться вполне определенно по этому поводу. Сваливать в одну реакционную кучу Лунач[арского] и Мережк[овского][5], Франка[6] и др. невозможно; это большая ошибка, мы должны констатировать, что те — реакционеры, а Лунач[арский] — только плохой революционер. Для меня важно то, что богостроительство есть скрытая форма борьбы с марксизмом, и Лунач[арский] дойдет до крайних пределов критики марксизма и тем самым исключит сам себя из партии. Исключить его из партии мы, к сожалению, не можем, но можем исключить из того идейного единства, в котором мы находимся. В своей резолюции мы должны указать на миросозерцание, которое явно противоречит марксизму. И даже если бы Лунач[арский] взял бы свою терминологию обратно, то это был бы только удачный ход, но не изменение сущности дела. Сущность же эта явно реакционна. Меня удивляет заявление Лунач[арского][7], который не видит никаких целей, кроме корыстных, в помещении ст[атьи] «Не по дороге» в № 42 и обвиняет ред[акцию] «Прол[етария]» в том, что она хватается за всякие разногласия. Ведь это относится не только к нам, но и к Марату [В. Л. Шанцеру][8]. Если я и Марат сошлись на том, что такая статья необходима, то слова о выискивании и раздувании разногласий со стороны Лун[ачарского] неуместны. Заявление его указывает на то, что это пишет человек, посторонний фракции. В 1905 году мы не выступали против религиозных тенденций, мы не могли разбивать настроения; во имя вооруженного восстания мы должны были это терпеть. И когда в Москве в 1905 г. один рабочий с помощью цитаты из евангелия разбивал противников вооруженной борьбы, мы не возражали. То, что прощать теперь было бы грехом, тогда было необходимостью. Теперь мы должны бороться против этого. Перенося свою проповедь на политич[ескую] почву, теперь Лунач[арский] подменяет идеи научного соц[иал]изма, идею гегемонии пролетариата в демократической революции и присоединения к нему крестьянства — идеей полного слияния социалистического пролетарита и крестьянства. Думаю, что заявление Лунач[арского] следует напечатать. Читает резолюцию о «б[огостроительств]е»:

* Документ печатается с разрешения Института Маркса — Энгельса — Ленина. Полный текст протоколов Совещаний расширенной редакции «Пролетария» готовится к печати Институтом. — *Ред.*

I. О БОГОСТРОИТЕЛЬСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В С[ОЦИАЛ]-Д[ЕМОКРАТИЧЕСКОЙ] СРЕДЕ [9]

«Принимая во внимание, что в настоящее время, когда в атмосфере упадка обществ[енного] движения рост религиозных настроений в контрреволюционной буржуазной интеллигенции придал этого рода вопросам важное общественное значение и что в связи с этим ростом религ[иозных] настроений делаются ныне и отдельными социал-демократами попытки связать с с.-д-тией проповедь веры и богостроительства и даже придать научному социализму характер религиозного верования,

Расширенная редакция «Пролетария» заявляет, что она рассматривает это течение, особенно ярко пропагандируемое в статьях т. Луначарского, как течение, порывающее с основами марксизма и приносящее по самому существу своей проповеди, а отнюдь не одной терминологией *, вред революционной социал-демократической работе по просвещению рабочих масс и что ничего общего с подобным извращением научного социализма большевистская фракция не имеет.

Далее, — констатируя, что это течение является формой борьбы мелкобуржуазных тенденций с пролетарским социализмом-марксизмом и, поскольку оно переходит к обсуждению политических вопросов (как, напр., в ст[атье] Луначарского в «Лит[ературном] Рас[паде]»), подменяет последний первым, — расширенная редакция «Пролетария» считает правильным напечатанье в № 42 «Пролетария» ст[атьи] «Не по дороге» ** и предлагает редакции, как и в прежнем, вести решительную борьбу с подобными тенденциями, разоблачая их антимарксистский характер.

II. ПО ПОВОДУ ПРОТЕСТА т. МАКСИМОВА [А. А. БОГДАНОВА] [10] В СВЯЗИ СО СТАТЬЕЙ «НЕ ПО ДОРОГЕ» (№ 42 «ПР[ОЛЕТАРИЯ]») [11]

По поводу поданного тов. Максимовым в р[асширенную] ред[акцию] «Пр[олетария]» протеста против помещения ред[акц]ией «Пр[олетария]» статьи «Не по дороге» — протеста, заключающего в себе угрозу расколом —

Р[асширенная] ред[акция] «Пролетария» считает нужным заявить:

1) что ссылки тов. Максимова на нарушение решения редакции не помещать философских статей на страницах нелегального органа совершенно неосновательны, ибо борьба со всевоз[можными] формами рел[игиозного] сознания и религиозными настроениями, откуда бы они ни исходили ***, является необходимой и одной из очередных задач руководящего органа фракции и стр[аницы] «Пролетария» ни под каким видом не могли быть закрыты для подобной борьбы;

2) что подобный протест должен быть рассматриваем как попытка прикрыть богостроительскую пропаганду в с.-д. среде и помешать «Пр[олетарию]» выполнять одну из его задач.

Максимов [А. А. Богданов]. Напоминаю рез[олюцию] редакции «Прол[етария]» по вопросу о нейтральности, вынесенную по поводу запроса Женевской группы [12]. Когда Лунач[арский] попросил места

* Приводится окончательный текст с поправкой, внесенной Таратутой (см. конец протокола); первоначальный текст: ...«течение, порывающее с основами марксизма и способное в случае своего распространения принести вред»... — *Ред.*

** Слова: «считает правильным напечатанье в № 42 «Пролетария» ст[атьи] «Не по дороге»—внесены согласно поправки Таратуты (см. конец протокола). —*Ред.*

*** Приводится окончательный текст резолюции; слова: «откуда бы они ни исходили» были вставлены в текст согласно принятой Совещанием поправке А. И. Рыкова (см. конец протокола). — *Ред.*

для об'яснения, ему отказали, основываясь на нейтральности. А потом сочли нужным все-таки напечатать ст[атью] «Не по дороге»; я нахожу, что она тоже относится к области философии. («Настаиваю на включении в протокол сопоставления Луначарского с Фейербахом [13] в докладе Максимова. Ленин»). У Лунач[арского] есть, конечно, злоупо-

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЛЕНИНА К МАКСИМУ ГОРЬКОМУ ОТ 16 НОЯБРЯ 1909 г.
(ПЕРИОД БОРЬБЫ С БОГОСТРОИТЕЛЬСТВОМ)

С подлинника, хранящегося в Институте Ленина

требление религиозной терминологией, хотя он и готов отказаться от нее теперь. Большевистское течение должно, разумеется, отбрасывать те или другие ереси. И если бы у нас была б[ольшевистск]ая конференция, я предложил бы приблизительно след[ующую] резолюцию: Ввиду того, 1) что мы сошли с позиции нейтральности, 2) что нужно выяснить пределы блужданий, 3) что революционная пропаганда нарушается религиозной терминологией, 4) что партия уже пережила борьбу с идеализмом (проповедь абсолютов пережита уже в борьбе с Бердяевым) [14], — необходимо обратить внимание т[оварища] Лунач[арского] на тот вред, который приносит пропаганда «богостр[оительст]ва» и абсолютов, что то, что он стремится проповедывать, является предметом веры, и вместе с тем я высказался бы за предоставление страниц «Пролет[ария]» т[оварищу] Лунач[арскому] по остальным вопросам.

Теперь отмечу некоторые неточности в словах Каменева, также ведь признающего метафизикой различные абсолюты. Я назвал бы эти неточности тенденциозной амнезией. Базаров никогда не проповедывал «богостр[оительства]», он признавал лишь его прогрессивным в противоположность реакционному богоискательству. Горький также не проповедывал богостр[оительст]ва. Наоборот, он противопоставил крестьянину-богостроителю рабочего-атеиста. Что касается меня, то меня всегда приводили в негодование всякие религиозные оболочки и выходки Луначарского, но чисто эстетически. Лунач[арский] хочет великое пролетарское движение втиснуть в авторитарные рамки; я против этого всегда протестовал.

Марат [В. Л. Шанцер]. Когда я прочел ст[атью] Лунач[арского] во 2-м томе «Литерат[урного] распада», первым движением моим было написать статью против него не для того, чтобы выбросить его за борт партии, а для того, чтобы доказать ему, что ему нужно повернуть от религии к науке, что его проповедь воспитывает пролетариат не в социалистическом духе. Я считаю нужным бороться против этого, потому что тут не только религиозная терминология, а и извращение большевистской идеи диктатуры пролетариата и крестьянства. Мы говорим, что крестьянство должно подчиниться волей-неволей гегемонии пролетариата; а у Луначарск[ого] выходит, что все продукты распада мещанства могут понять истины социализма. Это меня и вызвало на отпор, ибо я в статье видел не научный социализм, а формы мелкомещанского, утопического, средневекового социализма. Обязанность всякого с.-д. бороться с этим. История моей статьи такова. На собрании ред[акции] было решено печатать эту статью; я не считал возможным скрыть это от т. Максим[ова]; он внес протест, находя печатание этой статьи нарушением нейтральности. Тогда я предложил сообщить всем чл[енам] Б[ольшевистского] Ц[ентра] текст этой статьи, и мое мнение, что здесь нарушения нейтральности нет, а также спросить и их мнение. Сперва это было постановлено, но потом постановление отменено. Тогда я отказался печатать свою статью. Мне кажется, что вопрос об абсолютах не входит в компетенцию этого собрания. Что же касается религиозной терминологии, то я нахожу, что бороться с ней мы обязаны всегда и всюду. Поэтому я считаю нужным внести резолюцию, говорящую не о Лун[ачарском], а о богостроительстве.

Григорий [Г. Е. Зиновьев]. Максимов считает здесь этот вопрос пустяковым. Между тем я должен указать на ту роль, которую играл этот вопрос во фракции и в ред[акции]. Тогда тов[арищ] Максим[ов] грозил нам расколом по поводу этой статьи (читает документ, подписанный Григо[рием], Кам[еневым] и Мар[атом] — протокол собрания

ред[акции]). Тогда я остановился перед этой угрозой и думал, что нужно отложить статью. Я признаюсь теперь, что это была ошибка. Тов. Макс[имов]у от этого факта не отказаться. Фактически этот раскол начался тогда, когда вы увидели, что мы дальше терпеть таких шагов не станем. Тогда т. Марат говорил, что мы в плену у богостроителей: говорил, но печатно не выступал. Теперь т. Марат оказал-



ЛЕНИН У МАКСИМА ГОРЬКОГО НА КАПРИ
На переднем плане Ленин и А. А. Богданов
За вторым шахматным столом В. А. Базаров и Максим Горький
С фотографии (май 1908 г.), хранящейся в Институте Ленина

ся сам пленником богостроителей. Он обрекает себя на то, что и дальше останется пленником. Присоединяюсь к рез[олюции] т. Градского и считаю необходимым опубликовать как заявл[ение] Лунач[арского], так и заявл[ение] т. Максим[ова] по поводу статьи Лунач[арского] и разоблачить прикрывателей богостроительства. Заявляю также, что нейтральность была принята не в смысле равнодушия к философским



КАФЕ «CAPUT» НА AVENUE D'ORLEANS № 11 В ПАРИЖЕ, ГДЕ ПРОИСХОДИЛИ СОБРАНИЯ ПАРИЖСКОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГРУППЫ В 1909—1912 гг. С УЧАСТИЕМ ЛЕНИНА

Здесь же в июне 1909 г. происходили совещания расширенной редакции «Пролетария»

вопросам; это было просто административное постановление редакции не печатать в нелегальной газете философских статей.

Инок [И. Ф. Дубровинский] [15]. Речь Марата мне очень понравилась, когда он говорил, что в богостр[оительст]ве не может быть нейтральности. Но Максимов не дал ему сделать это. Из слов Марата вытекало бы, что ред[акц]ии «Прол[етария]» нужно вынести одобрение за борьбу против богостр[оительст]ва. Но у Марата вышло иначе. Теперь вы должны высказаться о бог[остроительст]ве, но вы должны также обсудить в расш[иренной] ред[акции] «Прол[етария]» и поведение т. Максимова. Максимов говорит, что он наш, а сам мешает нам бороться с бог[острои]телями. Нужно урегулировать дела фракции. Нужно или связать руки Максимову или развязать нас от Максимова (Максимов просит занести в протокол). Иначе работать нельзя.

Щур [Н. А. Скрыпник] [16]. Вопрос о напечатании заявлений Лунач[арского] и Максим[ова] предлагаю перенести в пункт о партийной прессе [17].

По существу присоединяюсь к рез[олюции] Градского. В своих статьях Лунач[арский] обстреливает научный социализм (цитата из «Религия и социализм») [18]. Против этого бороться необходимо. Мы, оставаясь революционными с[оциал]-д[емократ]ами, должны сказать, что с таким истолкованием социализма ничего общего не имеем. Рез[олюция] Градского бьет не только по Лун[ачарскому], но и по всем прикрывающим богостроит[ельст]во. В настоящее время мы имеем только издевательское обещание предложить в будущем резолюцию о богостроительстве. Позиция со стороны Макс[имова] осталась та же, с обещаниями считаться мы не можем. Скажите, что вы такое, какой политической позиции вы хотите; куда вы предлагаете нам итти — теперь, а не в будущем.

Томский [19]. Вполне подписываюсь под речью Марата. Жаль только, что он взял свою статью обратно. Остановлюсь на том, что предлагает Инок — на одобрении ред[акции] «Прол[етария]». За что ее благодарить? Ведь это ее обязанность — бороться с бого[строительств]ом. «История религии» Лун[ачарского] писалась в 1908 году, и там сказано между прочим, что «социализму должно быть отведено место в ряду других религиозных систем». Где была тогда ред[акция] «Прол[етария]»?

Не одобрение, а порицание за молчание нужно ей вынести. Молчать о Лунач[арском] нельзя, но я не согласен с формой рез[олюции] о Луначарском.

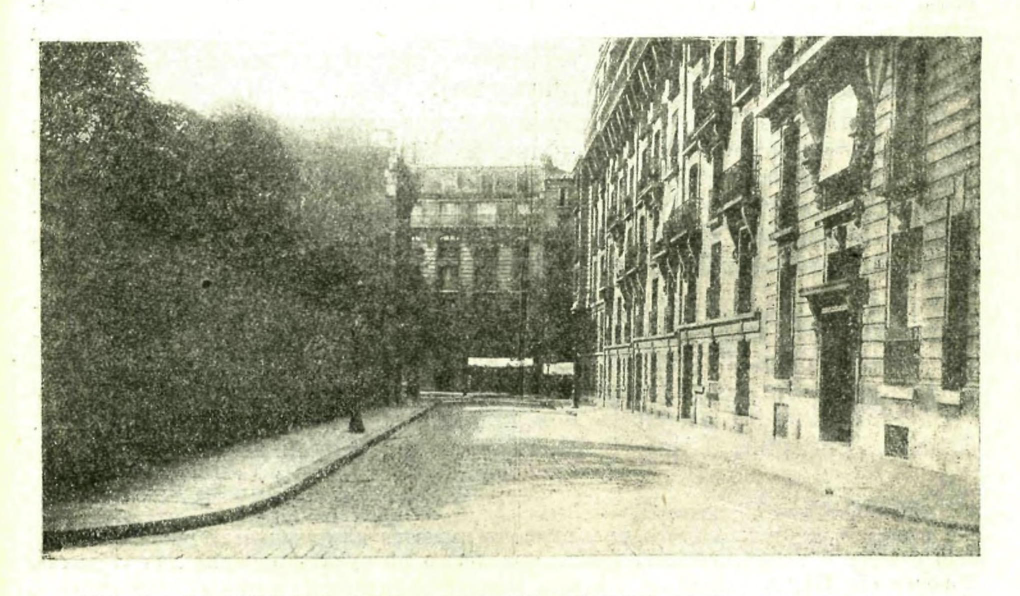
Марат думает, что в рез[олюции] можно указать на пример Лун[ачарск]ого, но прежде всего нужно указать общие основы бого[строитель]ства.

Власов [А. И. Рыков]. [20] В рез[олюции] бог[остроительст]во осуждено как политическое течение, там указаны общие причины, о Лун[ачарском] сказано лишь в скобках. В свое время ред[акция] дала Луначарскому] право ответить. Предлагаю теперь отменить это постановление и никому из бого[строите]лей места в «Прол[етарии]» не давать. Это относится также и к Лун[ачарском]у. Думаю, что наша рез[олюция] удовлетворяет и Мар[ата], и Томского; и Ленина. И надеюсь, что она единогласно будет принята.

Максимов. Существо дела в том, что требуется почва и повод для агитации — и вот вы ее теперь нашли. Будущее покажет, кто во всей этой истории лучше выражает марксизм. Лун[ачарски]й делал глупости (Григ[орий] просит занести в протокол); и впредь может быть будет их делать. Но раскалываться из-за этого не стоит. Дело тут не в негодовании против богостр[оительст]ва и абсолютов, а в теме для агитации. Я надеюсь, что Лун[ачарский] при первой возможности откажется от своей терминологии. Читает заявление:

«Принимая во внимание, что предлагаемая резолюция против богостроительства и пр. исходит не из чистой вражды к религиозным тенденциям, каковые мне антипатичны не в меньшей степени, а может быть и в большей, чем товарищам, внесшим резолюцию, а из стремления обострить организационные конфликты внутри большевизма, с целью закрепить об'явленный теми же товарищами раскол в большевистском течении, — я вынужден воздержаться при голосовании этой резолюции, оставляя за собою право дать затем более подробную мотивировку своего отношения к вопросу». Максимов.

Григорий. Прошу занести в протокол признание Максимовым того, что на него падает вина за то, что Луначарский не воспользовался предоставленным ред[акцией] «Прол[етария]» правом ответить на ст[атью] в № 42, т. е. что Максимов его убедил не отвечать в «Прол[етарии]».



ДОМ № 4 ПО RUE MARIE ROSE В ПАРИЖЕ, ГДЕ ЖИЛ ЛЕНИН С 1909 ПО 1912 г.

Каменев*. Максимов запутывал вопрос; вышло так, как будто он ничего не говорил по поводу ст[атьи] Марата. В действительности же он говорил о расколе. Моя резолюция действительно раскольная для тех, кто с нами не согласен по вопросу о бого[строительст]ве. Авторитарное мышление, о к[о]т[о]р[ом] говорил Максим[ов], никакого касательства к делу не имеет. Макс[имов] не имеет права заподазривать Ленина, будто он придирался к Лун[ачарскому]. Сам же Макс[имов] все время молчал и даже запрещал Марату выступать. У вас групповые интересы преобладают над идейными. Вы прикрываете групповые интересы всеми мерами нейтральности и пр. Характер бого[строительст]ва как течения противоречит марксизму. А для тех, кто, говоря, что с нами согласен, вместе с тем отказывается от борьбы против бог[остроительст]ва, для тех у нас места нет?

Что касается прикрывательства бого[строительст]ва со стороны Макс[имова], то насчет этого у меня есть документ. Этот документ рассказывает о том, какой характер носила статья Лун[ачарского] в своем первоначальном виде. Вот цитаты из одного частного письма ко мне: «Вышло это по поводу статьи Лун[ачарского] в «Распаде». Он написал «религ[иозную]» статью с массой выходок против «окаменелой догмы», «букварей», «тупой ортодоксии», «программы» и т. п., с проповедью «бого[строительст]ва», «узкого и широкого (!) марксизма» и т. д... Я заявил, что статья не может быть принята, тогда Баз[аров] заговорил о стеснении «свободы мнения» и заявил, что в таком случае он уходит, и «Распад» не выйдет. Пришлось пойти на компромисс. Я во всяком случае заявил, что никаких выходок против «ортодокс[ов]», «программы», «букварей» и «немецких брошюрок» не допущу, равно как проповеди «богостроит[ельст]ва», «широкого марксизма» и полемики с Плехан[овым] по поводу «религии». После бесполезных споров и ссор, неоднократной переделки и сокращения статьи удалось сговориться. Я насколько мог постарался вытравить из статьи все пошлости; кое-что осталось, но самое ужасное, кажется, устранено. Посылая свою статью, Лун[ачарский] счел уместным написать мне, что ее читал и одобрил Богданов (!!?) и требовал, чтобы я непременно сообщил об этом Баз[арову]!». Так вот, если нам подают глупость, мы должны выступать резко и открыто. А борьба Макс[имо]ва — это не борьба, а прикрытие. Что же касается терминологии, то вот мнение К. Маркса, писавшего в 1847 г. об этом [цитирует].

Максимов. По поводу статьи Луначарского здесь была прочитана из частного письма ссылка на другое письмо, в котором, будто бы, утверждается, что я одобрил ст[атью] Луначарского в подлиннике, я заявляю, что статью Лунач[арского] я читал и именно тех ее особенностей, о которых идет речь, не одобрил, что высказал Лунач[арско]му прямо, а об означенных письмах понятия не имею.

Власов. По поводу просьбы т. Лунач[арско]го дать ему возможность ответить на страницах «Прол[етария]» на статью «Не по дороге»—Расши[ренная[ред[акция]» «Прол[етария] постановляет: «состоявшееся раньше постановление узкой редакции о предоставлении ему этой возможности отменить и в просьбе т. Луначарскому отказать». Власов, Григорий, Донат [В. М. Шулятиков], Мешк[овский] **.

* Сверху надпись «Градский». — *Ред.*
** К оригиналу текста этого предложения имеются следующие приписки:
«По существу присоединяюсь, внести предлагаю по пункту порядка дня «Пресса». Георгий Щур.
Предлаг[аем] внести сейчас. Донат. Мешк[овский]». — *Ред.*

Ленин присоединяется к предл[ожению] Вл[асова]. Ясно, ведь, что единства во фракции нет, а раскол полный. (Максимов [просит внести] в протокол: «из речи т. Ленина: ясно, что единства во фракции нет, а раскол полный». Максим[ов]).

Марат. Откола никакого не произошло. В своем заявлении я только сказал, что уходить с постов не буду. Несмотря на это заявление, я говорю, что работать в партии буду.

Голосуется резолюция Градского о бог[-строительст]ве. За основу—за одиннадцать, Максим[ов] воздерживается.



ЛЕНИН У МАКСИМА ГОРЬКОГО НА КАПРИ ИГРАЕТ В ШАХМАТЫ С А. А. БОГДАНОВЫМ

В группе слева направо: А. М. Игнатьев (часть лица), В. А. Базаров (стоит), И. П. Ладыжников (сидит), М. Горький, Зиновий Пешков, Н. Б. Богданова, А. А. Богданов, Ленин
С фотографии (май 1908 г.), хранящейся в Институте Ленина

По пунктам:

п[ункт] 1 — принимается;

п[ункт] 2 — с поправкой Виктора [Таратуты] «не только по терминологии, но и по существу своему» — принимается.

п[ункт] 3 — принимается. Иннок[ентий] предлагает вставить одобрение ред[акции] «Прол[етария]» за помещение ст[атьи] в № 42 «Прол[етария]». Отклоняется.

п[ункт] 4 * с поправкой Виктора: «считает правильным напечатание в № 43 «Прол[етария]» — ст[атьи] «Не по дороге» (при этом Градский, Власов и Максим[ов] воздержив[аются]) — принимается.

Резолюция в целом принимается при возд[ержавшемся] Максим[ове].

Вторая рез[олюция] (о Лунач[арском]). Принимается поправка Власова: «после слова «настроения[ми]» вставить: «откуда бы они ни вытекали». Власов.

Поправка Щура «(эмпириомонизма, эмпириокритицизма и т. д.)» отклоняется **. Григорий при голосовании этой поправки возд[ерживается] с мотивировкой:

«Я воздерживался по поправке Щура («эмириомонизм» и пр.) отнюдь не потому, что считаю, что из эмпириомонизма не вытекает богостроительство».

Поправка Марата: «выбросить часть абзаца о прикрытии Максимовым богостроительства Луначарского» — отклоняется.

* В тексте резолюции этот пункт как отдельный не выделен, содержание его входит в пункт третий. — *Ред.*

** Эта поправка, повидимому, вносилась к последнему абзацу второй резолюции (см. стр. 28) после слов: «как попытка прикрыть богостроительскую пропаганду»... В оригинале поправки рукой Скрыпника (Щура) приписано: «Поправка к поправке [резолюции] Каменева». — *Ред.*

Марат вносит заявление: «Мне приходится голосовать против резолюции ввиду несогласия с последним ее абзацем и отвергнут[ием] моей поправки. Марат».

Томский — заявление: «Принимая первую часть резолюции и будучи не согласен со второй — воздерживаюсь от голосования резолюции в целом. Мих[аил] Томский».

Рез[олюция] в целом принимается 9 голосами против Марата, при возд[ержавшихся] Томском и Максимове.

Предложение Градского: «Б. Ц. постановляет заявление т. Луначарского напечатать с ответом редакции. Каменев». Отклоняется 6 голосами против 3 при возд[ержании] Томского. Предлож[ение] Власова принимается 9 гол[осами] *.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Печатаемый документ является частью протокола третьего заседания Совещания расширенной редакции «Пролетария» (большевистского органа, выходившего с сентября 1906 по декабрь 1909 г. как орган Московского и Петербургского комитетов, Московского окружного комитета, Пермского, Курского и Казанского комитетов, — сначала в Выборге, затем в Женеве и Париже), происходившего с 21 по 30 июня 1909 г. в Париже.

На Совещании присутствовали девять членов Большевистского центра: В. И. Ленин, А. А. Богданов (Максимов), В. Л. Шанцер (Марат), В. К. Таратута (Виктор), Г. Е. Зиновьев (Григорий), Л. Б. Каменев (Градский), И. Ф. Дубровинский (Иннокентий), А. И. Рыков (Власов), Гольденберг-Мешковский (Вишневский) и три представителя от областей: от Московской области — В. М. Шулятиков (Донат), от Питера — М. П. Томский, от Урала — Н. А. Скрыпник (Щур). Кроме того, на Совещании присутствовал А. Голубков (Давыдов) — секретарь русского бюро ЦК, а также Н. К. Крупская и А. И. Любимов (Марк), которые вели протоколы Совещания.

Вопросы, обсуждавшиеся на Совещании: 1) конституирование собрания; 2) большевистский с'езд или большевистская конференция; 3) отзовизм и ультиматизм; 4) богостроительство; 5) задачи большевиков в партии; 6) задачи большевиков по отношению к думской деятельности; 7) заграничная школа; 8) отчеты цекистов; 9) вопрос об единстве фракции и пр.

[2] Л. Б. Каменев на Совещании расширенной редакции «Пролетария» выступал докладчиком по вопросу о богостроительстве; автор статьи «Не по дороге», помещенной в № 42 «Пролетария» и направленной против богостроительства А. Луначарского. (Подробно биографические сведения о Л. Б. Каменеве см. Сочинения Ленина, т. XXVII, стр. 571—572.)

[3] В литературе сторонником идей богостроительства в тот период являлся М. Горький. Разбору его повести «Исповедь» и посвящена отчасти упоминаемая в протоколах Совещания статья Л. Б. Каменева «Не по дороге». Критику богостроительских идей Горького см. в письмах Ленина за ноябрь—декабрь 1913 г. (Ленинский сборник I, стр. 145—151).

Что касается Луначарского, то он проводил богостроительские идеи в ряде статей, помещенных в различных сборниках, — в статье «Двадцать третий сборник «Знания» (в сборнике «Литературный распад», книга II, 1908 г.), в статье «Атеизм» (в сборнике «Очерки по философии марксизма»), в книге «Религия и социализм» и пр. Статья Каменева «Не по дороге» была написана по поводу вышеупомянутой статьи Луначарского во II книге «Литературного распада».

В этой статье Луначарский считает возможным «облечь научный социализм в религиозную форму» как более «высокую» и вместе с тем более «доступную для понимания полупролетарских масс». Редакция «Пролетария», помещая статью Каменева «Не по дороге», осудила статью Луначарского как вредную, ничего общего с марксизмом не имеющую. Самое название статьи Каменева подчеркивало, что большевикам с проповедью такого социализма «не по дороге». «Вместо того, — писал Каменев,—чтобы осуществлять критическую задачу социализма—разрушать... ту психику, те методы мышления, которые выражаются в поисках бога, Луначарский пытается облечь социализм в такие формы, которые бы этот метод мышления удовлетворили». «Социализм, приспособленный к религиозной психике полукре-

* См. выше (стр. 34) предложение А. И. Рыкова: «По поводу просьбы т. Луна-ч[арского] дать ему возможность ответить на страницах «Пролетария» на статью «Не по дороге»... — *Ред.*

стьян и этим думающий облегчить «революционное сотрудничество», по-нашему, заслуживает того же, что социалистическая политика, приспособленная к тому, чтобы «не запугать либеральную буржуазию».

Решительное осуждение большевистским центром богостроительства Луначарского побудило последнего сделать попытку оправдаться и «рассеять накопившиеся недоразумения». В особом листке «Ко всем товарищам», изданном им и А. Богдановым в конце 1909 — начале 1910 г., в статье «Несколько слов о моем богостроительстве», он, протестуя против «клички богостроителя», вместе с тем заявляет об отказе от своей «терминологии» как затрудняющей «истинное понимание его идей».

[4] В. Базаров (В. А. Руднев) после раскола на II с'езде РСДРП примкнул к большевикам. В годы реакции отошел от большевиков. Во время войны был интернационалистом, сотрудничал в «Современнике», «Летописи», в 1917 г. — в «Новой жизни». В 1919 г., в период деникинщины, участвовал в меньшевистском журнале «Мысль», издававшемся в Харькове. В области философии — махист. Важнейшие философские статьи: «Авторитарная метафизика и автономная личность» (в сб. «Очерки реалистического мировоззрения» 1904 г.), «Мистицизм и реализм нашего времени» (в сб. «Очерки по философии марксизма» 1908 г.).

В 1930 г. привлечен по делу контрреволюционной организации меньшевиков-интервенционистов. (См. Сочинения Ленина, т. XIII, стр. 355—356.)

[5] Д. С. Мережковский—поэт, беллетрист-символист. После Октябрьской революции — выразитель религиозно-мистических настроений белой эмиграции.

[6] С. Л. Франк — русский философ, проделавший эволюцию от материализма к идеализму. В годы реакции принимал участие в кадетском сборнике «Вехи», в котором была напечатана его статья «Этика нигилизма». В 1922 г. эмигрировал за границу. (См. Сочинения Ленина, т. XV, стр. 720.)

[7] В этом заявлении, представленном во время первого заседания Совещания, А. Луначарский выставил ряд пунктов с обвинениями редакции «Пролетария» в излишней по отношению к нему придирчивости и поспешности выводов относительно его выступлений, обвинял редакцию «Пролетария» в связи с помещением в № 42 статьи Каменева «Не по дороге» в нарушении прежнего постановления о «философском нейтралитете» и пр. В заключение просил предоставить ему возможность ответить в «Пролетарии» на «практические» придирки редакции, а также «обстоятельно ответить по существу философских вопросов, поднятых в статье, в легальной партийной печати».

[8] Марат — В. Л. Шанцер (1867—1911) — большевик, революционер-профессионал. На V с'езде РСДРП был избран в ЦК от большевиков, входил в расширенную редакцию «Пролетария». Написав в начале 1909 г. статью для «Пролетария» «Есть же пределы», направленную против богостроительства Луначарского (опубликована в № 6 «Пролетарской Революции» за 1924 г.), он после протеста Богданова, обвинявшего редакцию в нарушении ранее принятого постановления о «нейтральности» по отношению к философским вопросам, взял статью обратно.

На Совещании расширенной редакции «Пролетария» занимал примиренческую позицию по отношению к отзовистам-ультиматистам и богостроителям. Подписал протест против постановления Совещания об исключении А. Богданова из состава редакции «Пролетария»; позднее принял участие в организации отзовистско-ультиматистской группы «Вперед». (См. Сочинения Ленина, т. XIV, стр. 613.)

[9] Резолюции Совещания: «О богостроительских тенденциях в социал-демократической среде» и «По поводу протеста т. Максимова в связи со статьей «Не по дороге» (№ 42 «Пролетария») — напечатаны в XIV т. Соч. Ленина, стр. 451—452.

[10] А. А. Богданов (литературный псевдоним А. А. Малиновского) (1873—1928). В 1907 г. выступил с защитой бойкота III Государственной Думы. В декабре 1908 г. был докладчиком от отзовистов на всероссийской конференции (в Париже). В дальнейшем отстаивал ультиматизм и прикрывал отзовизм и богостроительство. Совещание расширенной редакции «Пролетария» отмежевалось от Богданова, ская школа на Капри (в Италии), признанная Совещанием «центром откалываю- Совещания, Соч. Ленина, т. XIV, стр. 103.)

Под руководством А. Богданова была организована отзовистско-ультиматистская школа на Капри (в Италии), признанная «Совещанием» «центром откалывающейся от большевиков фракции». В декабре 1909 г. Богданов стал во главе ультиматистско-отзовистской группы «Вперед». Пытался создать собственную философскую систему «эмпириомонизм», встретившую резкую критику со стороны В. И. Ленина в книге «Материализм и эмпириокритицизм». С 1913 г. начинает сотрудничать в «Правде», но после отказа поместить его махистскую статью («Идеология») окончательно порывает с большевизмом. (Подробно см. Сочинения Ленина, т. XVII, стр. 755—756.)

[11] Приводим отрывок из этого протеста А. Богданова:

«Уважаемые товарищи! Тов. Марат сообщил мне, что редакция «Пролетария» переменила свое решение по вопросу о напечатании статьи против Луначарского в «Пролетарии». Ознакомившись с наличными статьями на эту тему, констатирую, что новое постановление грубо нарушает решения, принятые всей русской частью Б. Ц. зимой прошлого года и всей заграничной его частью в августе. Этими последними постановлениями запрещается всякая полемика по философским вопросам в нелегальных органах фракции и допускается при условии формального равенства сторон в изданиях легальных, напр. сборника типа «Литературного распада». Попытка обойти решение ссылкою на то, что философская нейтральность не нарушается борьбою против религии, есть явная увертка, потому что в нашей фракции не найдется, я думаю, человека настолько наивного, чтобы смешать философское употребление Дицгеном, Луначарским и некоторыми другими терминов религиозного происхождения с религией в историческом и политическом значении этого слова»... (Листок «Ко всем товарищам», статья А. Богданова «Благочестивая редакция».)

[12] Речь идет об обращении Женевской группы к редакции «Пролетария» о помещении «об'яснительного письма» А. Луначарского в связи с его рефератом, а затем дискуссией в 1908 г. в Женеве на тему «Религия и социализм». (См. листовку-письмо «Ко всем товарищам», статью А. Луначарского «Несколько слов о моем богостроительстве».)

[13] Фейербах Людвиг (1804—1872) — виднейший немецкий философ-материалист. (Подробно см. Сочинения Ленина, т. XIII, стр. 381—382).

[14] Н. А. Бердяев — философствующий публицист, проделавший эволюцию от марксизма к идеализму, затем к мистицизму. После революции пятого года — один из участников кадетского сборника «Вехи». С 1922 г. — эмигрант. (См. Сочинения Ленина, т. XVII, стр. 754.)

[15] И. Ф. Дубровинский (Иннокентий) (1877—1913) — в годы реакции работал в редакции «Пролетария» и был участником Совещания расширенной редакции «Пролетария». Участвовал на январском пленуме ЦК 1910 г.; занимал примиренческую позицию, на которой он оставался и в период работы в составе русской коллегии ЦК вместе с А. И. Рыковым, Гольденбергом-Мешковским, Ногиным и Линдовым. (Подробно см. Соч. Ленина, т. XV, стр. 687.)

[16] «Щур» — Н. А. Скрыпник — в 1905 г. работал в Петербурге как секретарь П. К. и руководитель боевой организации. В 1908—1909 гг. работал в Москве и на Урале, откуда и являлся делегатом на Совещание расширенной редакции «Пролетария». С 1909 по 1913 г. находился в ссылке в Вилюйском округе. (См. о нем Соч. Ленина, т. XXIII, стр. 626—627.)

[17] Просьба А. Луначарского о напечатании его заявления была отклонена на данном заседании (см. резолюцию А. И. Рыкова, принятую в конце заседания). В пункте «о прессе» разбирался вопрос об отношении Ц. О. («Социал-Демократа») к философским вопросам; была принята резолюция, что представители расширенной редакции «Пролетария» в том случае, если в ЦО встанут философские вопросы, «должны занять определенную позицию диалектического материализма Маркса—Энгельса».

[18] Возможно, что Н. А. Скрыпник приводил следующую цитату из книги А. Луначарского «Религия и социализм»: «С новым пониманием подходя к философии Маркса, взвешивая эмоциональный смысл ее, связь ее с мировоззрениями и оценками прошлого, я, в отличие от других товарищей, работающих над дальнейшим развитием первооснов философии Маркса, осмеливаюсь сказать, что философия эта есть философия религиозная, что она вытекает из религиозных исканий прошлого, оплодотворенных фактом экономического роста человечества, что она дает самое светлое, самое реальное, самое активное разрешение тем «проклятым вопросам» человеческого самосознания, которые иллюзорно разрешались старыми религиозными системами» («Религия и социализм», т. II, стр. 326).

[19] М. П. Томский — участник Совещания расширенной редакции «Пролетария», на котором занимал примиренческую позицию по отношению к А. Богданову. При голосовании резолюции по поводу протеста Максимова (Богданова) в связи со статьей «Не по дороге» Томский воздержался от голосования резолюции, заявив о несогласии со второй ее частью, т. е. с обвинением Богданова редакцией «Пролетария» в прикрытии богостроительской пропаганды. (Подробно о нем см. Соч. Ленина, т. XXVI, стр. 719).

[20] А. И. Рыков (Власов) — в годы реакции (в 1910 г.) входил в состав русской коллегии ЦК, причем в период организационной работы по созыву пленума ЦК (1911 г.) проявил себя примиренцем по отношению к ликвидаторам, пытаясь наладить с ними совместную работу. Переписка В. И. Ленина с А. И. Рыковым, опубликованная в XVIII Ленинском сборнике (стр. 7—35), со всей полнотой вскрывает колебания, которые обнаружил А. И. Рыков в своей практической работе за этот период. (Подробно см. Соч. Ленина, т. XXVII, стр. 588.)

НЕИЗДАННЫЕ И ЗАБЫТЫЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПЛЕХАНОВА

Предисловие И. Ипполита
Примечания Дома Плеханова

Г. В. ПЛЕХАНОВ ПО НОВОНАЙДЕННЫМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИМ РАБОТАМ

I

Ленинский этап в развитии марксизма охватывает все области идеологии. Нет такого участка пролетарской борьбы, куда бы Ленин не внес нового начала, который не был бы поднят Лениным на высшую ступень. Борьба за ленинизм составляет основную задачу для всех отраслей науки, в том числе литературоведения.

Задача освоения и теоретической разработки ленинского наследства стоит здесь во всей остроте. Есть мнение, будто Ленин, в отличие от Плеханова, был чужд вопросам литературы. Это нельзя расценить иначе, как меньшевистскую клевету на Ленина и попытку разоружить марксистско-ленинское литературоведение. В действительности у Ленина есть ряд работ, непосредственно относящихся к литературе: статья «Партийная организация и партийная литература» является ключом к пониманию ленинской установки о партийности литературы; статьи о Толстом дают основные методологические установки для марксистской критики; многочисленные упоминания и характеристики отдельных писателей, содержащиеся в сочинениях и переписке Ленина, представляют неоценимый материал для историка литературы. Далее, письма Ленина к Горькому наряду с рядом ценнейших методологических указаний дают глубочайший урок идейно-воспитательной работы с писателями и большевистского руководства ими. Литературовед почерпнет для своей работы из ленинского наследства так же много, как историк или экономист: философские и исторические труды Ленина, его учение о культурной революции, о двух путях капиталистического развития России, об империализме, высказывания о роли теории, о партийности науки, наряду со всеми работами Ленина, имеют громадное значение для марксистско-ленинского литературоведения. Подобно тому как «Капитал» является классическим образцом материалистической диалектики, на котором воспитываются не только экономисты, но работники всех отраслей науки, так каждая книга, каждая статья и указание Ленина учат применению материалистической диалектики ко всякому вопросу теории и практики рабочего движения.

В свете ленинских установок по-новому встают все основные проблемы литературного фронта. На основе разработки ленинских взглядов марксистское литературоведение развертывает жесточайшую борьбу со всеми антиленинскими теориями, отражающими влияние классовых врагов пролетариата, пересматривая под этим углом зрения весь свой прежний теоретический багаж. И первым, что здесь придется пересмотреть, будет наследство Плеханова.

Необходимость коренного его пересмотра осознана только недавно. До самого последнего времени система литературоведческих взглядов Плеханова пользовалась непререкаемым, абсолютным авторитетом. В литературной полемике последних лет апелляция к Плеханову часто подменяла все остальные аргументы; на самого Плеханова критика не распространялась.

Достаточно указать, что Плеханов расценивался (а кое-кем расценивается и доныне) как «основоположник» марксистской эстетики. Это неверно. Не Плеханов, а Маркс и Энгельс заложили основы марксистской эстетики. Плеханов в ряде отношений был шагом назад от Маркса.

«Последовательное проведение принципов диалектического материализма в литературной критике, связь этой критики с революционным движением, принципиальная четкость в защите ортодоксального марксизма — эти три качества, неразрывно связанные друг с другом, были теми условиями, которые обеспечили за Плехановым положение «основателя научной эстетики» (В. М. Фриче), сделали его основоположником марксистской критики», — так характеризовал Плеханова организатор и руководитель «литфронта» — И. Беспалов. Его учитель, меньшевик проф. Переверзев, также не упускал случая расписаться в своей верности идеям Плеханова. В свою очередь, критик Переверзева — С. Щукин — Плеханова же сделал исходной точкой своего наступления.

Плеханов или Переверзев? — так был поставлен вопрос т. Щукиным. Не Переверзев, но и не Плеханов, — так должна быть решена эта дилемма: ленинизм определяет следующую после Маркса ступень марксистской литературной науки. Во время переверзевской дискуссии т. Щукин решительно выступил против этой точки зрения. «Что Плеханов был политически меньшевиком, что он вел целый ряд битв против большевиков — это общеизвестные факты, — говорил т. Щукин. — Но товарищи пытаются обосновать иную мысль: Ленин — вот истинный представитель и опора марксизма. Такая постановка чрезвычайно опасна для обеих сторон». Для т. Щукина мысль о противопоставлении Ленина как истинного представителя марксизма Плеханову казалось «чрезвычайно опасной», почти еретической. И — что гораздо хуже — т. Щукин был не одинок в своих опасениях.

В несомненной связи с влиянием утверждений т. Щукина стоит и лозунг «За плехановскую ортодоксию!», выброшенный в то время руководством РАПП. «Плеханова необходимо углублять и дополнять, — гласила передовая статья «На литературном посту» в октябре 1929 г.[1], — но исходить (подчеркнуто «На лит. посту») нужно из плехановских положений». Критика—писалось там—«будет развиваться под знаменем плехановской ортодоксии в вопросах литературоведения».

В чем об'ективный смысл подобной переоценки Плеханова? Не только в том, что этим смазываются ошибки Плеханова, но и в том, что недооценивается значение Ленина как философа. Непонимание ленинского этапа как высшей ступени в развитии диалектического материализма — вот основа лозунга «За плехановскую ортодоксию!». Но непонимание и отрицание ленинского этапа является одной из характернейших черт меньшевиствующего идеализма, нашедшего у нас представителей в лице т. Деборина и его учеников. Таким образом, провозглашение плехановской ортодоксии было ошибкой, отражающей влияние меньшевиствующего идеализма на руководство РАПП. Но так как РАПП исходила в своей деятельности из ленинских установок и вела в основном правильную теоретическую линию, чуждые влияния не могли глубоко укрепиться в ней (как это, например, было с группой т. Беспалова, стоявшей целиком на позициях меньшевиствующего идеализма), и в частности этот лозунг был вскоре снят и признан ошибочным. Органическое участие в практике социалистического строительства позволило РАПП нащупать у Плеханова ряд ценных моментов, которые останутся в арсенале марксистско-ленинского литературоведения. Однако отбор этих положений не был достаточно критическим (отсюда многие из ошибок тт. Авербаха, Ермилова, Либединского и др.), и борьба с некритическим отношением к плехановскому наследству в РАПП не снимается с повестки дня.

Историческое письмо т. Сталина, повышающее партийную бдительность в борьбе за чистоту большевистской теории, заостряющее воинствующую партийность и

[1] Еще в январе 1931 г. передовая статья журнала «РАПП» говорила о «недостаточности» плехановской эстетики.

непримиримость против троцкистско-меньшевистских контрабандистов и гнилого либерализма, обязывает коммунистов-литературоведов развернуть критику плехановской эстетики. Именно пороки последней породили Переверзева, Воронского и Аксельрод; ошибки Плеханова питали Фриче и многих других. Под флагом систематизации плехановской эстетики, используя ее как защитный цвет, развертывались вреднейшие эклектические (Зивельчинская) и идеалистические (Андрузский, Яковлев) взгляды, заостренные против ленинского литературоведения. Не случайно русская ветвь литературных представителей II Интернационала, все эти Кубиковы, Львовы-Рогачевские, Переверзевы и смыкающиеся с ним троцкистские контрабандисты типа Горбачева, Лелевича, Майзеля, так охотно прибегли к аргументации «от Плеханова», никогда не позволяя себе ни одного слова, ни тени критики по отношению к Плеханову. В свое время Ваганьян, прикрываясь Плехановым, выступал с ревизией истории большевизма; в наши дни апологеты Плеханова, прикрываясь им, выступают против ленинского литературоведения.

Это обязывает акцентировать критику на выяснении слабых сторон плехановской эстетики, ее ошибок и недостатков. Надо требовать внимательного и глубокого изучения всего, написанного Плехановым, тщательной, серьезной и вдумчивой критики, не подменяя ее визгом и ругательствами, не позволяя забывать и отбрасывать то положительное, что внес Плеханов в нашу науку. Повторим, что только целиком стоя на позиции ленинизма, глубоко осознав и последовательно применяя ленинский метод, можно дать истинную оценку взглядов Плеханова и его значения для литературной науки; только с ленинских позиций можно по-настоящему критиковать Плеханова. Для всякой иной критики Плеханов неуязвим.

II

Как подошел к Плеханову Щукин? Да, конечно, — говорил Щукин, — Плеханов был меньшивиком, не спорю, но докажите, что он не был ортодоксом в философии искусства. С точки зрения Деборина можно, разумеется, сочетать ортодоксию в философии с оппортунизмом в политике, но это и есть точка зрения меньшевистски извращающая революционный марксизм, точка зрения, воплощающая вреднейшие традиции II Интернационала. С ленинизмом она не имеет ничего общего. Нельзя придерживаться философских взглядов Эммануила Канта или современных его потомков, какого-нибудь Гуссерля, либо Когена, и быть одновременно пролетарским критиком: философия неотделима от политики, литература неотделима от политики и философии и т. д.

С этим критерием надо подойти и к Плеханову: невозможно допустить, чтоб политический оппортунизм Плеханова не был в родстве с отступлениями от марксизма в философии. Ленин неоднократно показывал, «как из мелких фракционных интересов Плеханов и К° дошли до *защиты* (курсив Ленина) теоретического ревизионизма» (изд. III, т. XII, стр. 386). Даже борясь против общего врага — идеализма, Плеханов старался использовать свои философские труды для борьбы с большевиками. «Плеханов в своих замечаниях против махизма не столько заботился об опровержении Маха, — писал Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме», — сколько о нанесении фракционного ущерба большевизму» (т. XIII, стр. 290). Как видим, Плеханов не отделял философии от политики и не терял случая приспособить первую, даже в ущерб для нее[1], к фракционной борьбе. Какие же основания полагать, что для литературы Плеханов делал исключение? Нет таких оснований.

Напротив, есть много оснований утверждать обратное: Плеханов употреблял и литературную критику для поддержки своих политических взглядов. Известно, например, что Плеханов использовал пьесу Горького «Враги» для развернутого обоснования и защиты тактики меньшевиков, точно так же как свою критику Горького он использовал для нападок на большевиков. Не менее выразительные примеры дает и публикуемый ниже материал. В статье для сборника, вокруг которого

[1] «Плеханов вредит этой (марксистской. — *И.*) философии, связывая тут борьбу с фракционной», писал Ленин Горькому («Ленинский сборник» I, стр. 89).

об'единились эстеты и мистики, цвет русской буржуазной интелигенции, Плеханов под букетом воспоминаний о Скрябине прячет меньшевистский поклеп на «твердокаменных марксистов» (читай большевиков), будто бы они еще менее материалисты, нежели заядлый мистик Скрябин (см. стр. 118). Другой пример. Внимательный читатель безусловно обратит внимание на иллюстрацию, помещенную на стр. 100. Она воспроизводит форзац немецкого издания известной пьесы Ибсена «Враг народа» с пометками Плеханова, хранящейся в его библиотеке. В левом верхнем углу стоит надпись «52, Ленин». Раскроем 52 страницу плехановского экземпляра; на ней на полях надписано: «Ленин» и отчеркнуто нижеследующее:

«Говстад. Вы совершенно правы. Но редактор не всегда волен поступать, как ему желательно. Часто приходится считаться со вкусами и мнениями публики в менее важных вещах. Главное дело ведь политика — для газеты, по крайней мере; и если я хочу вести публику к свободе и прогрессу, мне нельзя запугивать ее. Увидав такой рассказ в «подвальных этажах» газеты, она охотнее поддастся тому, что печатается у нас в верхних... Это усыпляет мнительность читателей, укрепляет в них доверие к нам...

Петра. Фу! Не может быть, чтобы вы расставляли своим читателям такие тенета: не паук же вы».

Плеханов, старый сотрудник буржуазной печати, не постеснялся сравнить Ленина с желтым журналистом. Плеханов не отличался разборчивостью в средствах, когда вел фракционную борьбу, и нет сомнения, что при случае он бы не побрезговал бросить в Ленина и эту клевету. Этот камень так и остался у Плеханова за пазухой, но что он никогда не забывал о нем, свидетельствует сам Плеханов: в статье «Сын доктора Стокмана», отталкиваясь от Гамсуна, Плеханов обрушивается на «наиболее крайнее» крыло рабочей партии за то, что «им так ненавистно все то, что хоть издали походит на «мирную революцию». Выступая в роли адвоката «мирной революции», Плеханов добавляет сюда недвусмысленное примечание:

«Как это всем известно, значительная часть наших декадентов несколько лет тому назад примкнула к нашему рабочему движению, войдя в ту ее фракцию, которая казалась ей самой «левой»: г. Минский был редактором «Новой Жизни», Бальмонт об'явил себя на это время кузнецом, кующим стих на столбцах той же газеты, и т. д. Всем известно также, что эти господа внесли в названную фракцию свойственные им буржуазные идеологические предрассудки. Фракция эта до сих пор не вполне отделалась ни от «пролетариев» этого калибра, ни от столь характерной для них псевдореволюционной тактики» (т. XIV, стр. 249).

Для всякого не беззаботного в политике товарища очевидно, что это примечание — не что иное, как резкий антибольшевистский выпад. В обвинениях, выдвинутых Плехановым, вроде того, что большевики находились под влиянием «декадентов» типа Бальмонта, не было ни грана истины. В действительности именно против этой публики, в частности, направлена статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», которую он написал чуть ли не на третий день после приезда в Россию и вступления в редакцию «Новой Жизни», и которой не мог не знать Плеханов. В этой статье Ленин делал ударение именно на этой стороне вопроса: «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков!» — писал он. «В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, барскому анархизму и погоне за наживой, — социал-демократический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме» (т. VIII, стр. 387).

Как видим, Плеханов в любой из своих работ, какой бы отрасли они ни касались, проводил систему своих взглядов, стараясь в этот период каждую строку использовать для фракционной борьбы с большевизмом. И литературовед-партиец должен не рассекать Плеханова на мелкие кусочки, а прежде всего брать мировоззрение в целом, критикуя его с ленинских позиций.

III

С высоты той ступени, на которую поднял диалектический материализм Ленин, отчетливо обнаруживаются философские пороки Плеханова. Ленин неоднократно высказывался о Плеханове, и каждое его высказывание — пусть даже оно не относится непосредственно к плехановской эстетике — дает чрезвычайно много для уразумения и оценки Плеханова-литературоведа.

«Основная особенность литературной критики Плеханова состояла в том, что она являлась применением принципов диалектического материализма в частной области», — так писал т. Беспалов. Ленин придерживался на этот счет другой точки зрения : именно недостаток диалектики считал Ленин основным теоретическим грехом Плеханова: «диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма, — писал Ленин в записи «К вопросу о диалектике»: — вот на какую «сторону» дела (это не «сторона» дела, а суть дела) не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах» («Лен. сб.» XII, стр. 325). Конспектируя историю философии Гегеля, Ленин отмечал на полях: «N. В. Разработать: Плеханов написал о философии (диалектике) вероятно до 1000 страниц. Из них о большой логике, по поводу нее, ее мыслей (т. е. собственно диалектика, как философская наука) ничего!!» (стр. 223—225). Отрыв теории познания от диалектики обусловил ошибочность плехановской гносеологии: сюда восходят пороки его эстетики. Противопоставив ленинской теории отражения — теорию соответствия, Плеханов пришел к печально-знаменитым «иероглифам».

Недиалектичность влекла за собой абстрактность и логизирование, отчетливо сказавшиеся и на литературоведческих работах Плеханова. Плеханов не овладел материалистической диалектикой и потому скатывался на позиции «просветительского» и механистического подхода к предмету. Отсюда отрыв формы от содержания и, стало быть, отрыв социологического анализа произведения от эстетического; элементы кантианской эстетики, с одной стороны, и фейербаховской — с другой. В нашу задачу не входит развернутая критика плехановской эстетики; это должно стать делом целого коллектива исследователей, и за это пора взяться! — здесь мы хотим лишь вкратце рассмотреть в свете ленинских указаний нижепубликуемые статьи Плеханова.

В них Плеханов оперирует, в частности, известными законами подражания и антитезы, развитыми им еще в 90-х годах, законами, под которыми подпишется любой механический материалист. В «Монистическом взгляде» Плеханов посвящает несколько страниц их развитию и обоснованию, «углубляя» и подправляя Брюнетьера, а в «Письмах без адреса» сюда привлекается и Дарвин, которому, собственно, и принадлежит термин («начало антитеза»). В конспекте реферата «Французская драматическая литература» Плеханов исходит из тех же «законов», об'ясняя, например, возникновение мещанской драмы с ее морализующим резонерством — реакцией на дворянскую распущенность нравов или об'ясняя суровую простоту живописи Давида — реакцией на слащавость и манерность старой школы. Это и есть знаменитое брюнетьеровское «наоборот»: романтики «хотели сделать обратное» классикам. Пример типичен: вместо ленинского познания процессов в «самодвижении» как диалектического единства и борьбы противоположностей у Плеханова выступает механическая смена противоположностей, чередование их. Публикуемые конспекты имеют в этом отношении тот интерес, что благодаря сжатой, почти афористической форме выпукло обнаруживаются ошибки Плеханова, резче выступают его слабые места и недостатки.

Возьмем еще один существенный порок Плеханова: элементы кантианства. В политике они привели Плеханова к защите «простых законов нравственности и права» во время войны; в философии — к теории иероглифов; в эстетике — к кантовскому определению суждения вкуса как бескорыстного, созерцательного и непосредственного (см. ст. «Франц. драм. литература»). В той же статье Плеханов ниже говорит, что «у нас остается место и для кантовского взгляда на этот вопрос: суждение вкуса несомненно предполагает отсутствие всяких утилитарных сооб-

ражений у индивидуума, его высказывающего» (т. XIV, стр. 119). В статье эта мысль осталась совершенно неразвитой. По какой линии пошло бы ее дальнейшее развитие, превосходно показывает публикуемый конспект «Искусство с точки зрения материалистического об'яснения истории». В нем Плеханов с другой стороны подошел к интересующему нас вопросу. Он приводит рассказы путешественников о том, что у охотничьих племен часто встречаются изображения птиц, зверей и рыб, которыми они передают друг другу нужные сведения. Далее Плеханов говорит: «Рисование здесь еще не искусство, оно преследует утилитарную (подчеркнуто Плехановым. — *И.*) цель. Это орудие в борьбе за существование, средство производства» (? — *И.*). И ниже продолжает: «А раз нужда заставляет дикаря учиться рисовать, раз развивается эта его художественная способность, у него возникает потробность упражнять эту способность. Отсюда бескорыстное творчество (подчеркнуто Плехановым. — *И.*) — художественная деятельность». Здесь сказался сильнейший биологизм Плеханова, который сводит искусство к «потребности упражнять» «художественную способность», — но в данную минуту нас интересует другой вопрос. Противопоставление искусства утилитарного, орудия в борьбе за существование, искусству — «бескорыстному творчеству» целиком совпадает с кантовским критерием искусства. Марксизм противопоставляет всем этим теориям «чистого», «свободного», «незаинтересованного», «бескорыстного» искусства безоговорочное утверждение классового характера искусства, признание партийности искусства, искусства как острейшего оружия классовой борьбы. У ленинской эстетики не только не «останется места» для кантовской «аналитики прекрасного», но она непримиримо враждебна к ней, как и ко всякому другому выражению буржуазной идеологии. Кантианские элементы в эстетике Плеханова отражали отношение к Канту II Интернационала, который в наши дни целиком разделил основные посылки неокантианства. Они не случайны для Плеханова и ощущаются даже у «раннего» Плеханова, когда он был революционным марксистом (см. недавно опубликованный вариант ответа Плеханова Н. К. Михайловскому — «Под знаменем марксизма» 1931 г., № 4—5).

IV

Другим коренным пороком плехановской эстетики остается меньшевистский об'ективизм, отсутствие пролетарской партийности в науке. Об'ективизмом порождены ошибки Плеханова, подобные тем, которые встречаем в конспекте «Французская драматическая литература»: «мы не говорим искусство должно быть и т. д. Мы с нашей точки зрения можем удовольствоваться анализом». Это соответствует известному выражению Плеханова. «У нее (научной эстетики. — *И.*) все хорошо в свое время». Задача критика, выходит, состоит в том, чтобы, стоя в стороне, пассивно созерцать и об'яснять развертывающуюся перед его глазами литературную борьбу. Критик-большевик рассуждает иначе: он не сидит, как мудрый дьяк, в приказах поседелый, бесстрастно зря на правых и виновных, — он боец и вносит в свое дело всю страсть, на которую способен; он без церемоний говорит: такая-то трагедия хороша, а такая-то драма никуда не годится! Соскальзывая на дорожку об'ективизма, Плеханов придет к признанию внеклассового критерия красоты.

Тот же недостаток выражается и в недооценке гниющего искусства буржуазии. «Когда оно (искусство. — *И*) выражает тенденции падающего класса, оно не облегчает его борьбы за существование, — говорит Плеханов, — но просто развлекает его в праздности» (тот же конспект.). Плеханов неправ. И лучшим аргументом против него служит критерий практики. Кто посмеет сказать, что кулацкие барды типа Андрея Платонова или Сергея Клычкова «просто» развлекают нашего классового врага? Кулачество оказывает бешеное сопротивление социалистическому наступлению и вовсе не намерено отказаться от литературы как острого оружия борьбы против пролетариата.

Не случайна, таким образом, у Плеханова и меньшевистская концепция русского исторического процесса. Едва ли надо напоминать о введении к «Истории рус-

ской общественной мысли», где ход развития общества об'яснялся не только борьбой классов, но и их взаимным сотрудничеством. Едва ли надо напоминать также, что Плеханов до гробовой доски боролся с ленинским учением о двух путях развития капитализма в России; это обусловило представление Плеханова о расстановке классовых сил и о движущих силах революции в России, а стало-быть, и ту меньшевистскую тактику поддержки буржуазии, которую защищал Плеханов в революции 1905 и 1917 гг. и империалистическую войну. Естественно, ложная исходная позиция необходимо определяла ложные выводы, поэтому конкретно-исторические работы Плеханова по русской литературе и общественной мысли второй половины XIX в., которые содержат ряд бесспорно талантливых страниц, в целом нас удовлетворить не могут. Мы хотим доказать эту мысль на примере вырванной из забвения статьи Плеханова о Белинском.

Основной вопрос, который обязан решить критик-марксист, подходя к В. Г. Белинскому, сводится к определению его места и значения в истории классовой борьбы. «Спросите кого угодно, — отвечает на это Плеханов, — всякий скажет вам, что Белинский велик прежде всего как литературный критик. И это правда».

Поучительно сопоставить с этим ответом ленинскую оценку Белинского. Ленин называл Белинского предшественником русской социал-демократии. Плеханов считал наиболее существенным в Белинском то, что он был выдающимся литературным критиком, в этом он видит заслугу Белинского, которая делает его имя близким рабочему классу. Ленин же подчеркивал близость к пролетариату Белинского-революционера, Белинского-передового борца с крепостничеством, с помещичьей царской Россией. Для Ленина письмо Белинского к Гоголю, например, представляет замечательное явление совсем не потому, что оно могло бы служить надежным руководством при изучении Гоголя, а потому, что оно было актом протеста и борьбы за уничтожение крепостного права, борьбы против крепостнического гнета и тех проповедников кнута и апостолов невежества, которые этот гнет поддерживали своими писаниями.

И Ленин, конечно, гораздо вернее, чем Плеханов, уловил существо «неистового Виссариона». Белинский был критиком поневоле. Литературная арена была при Николае едва ли не единственно доступным полем борьбы, — вот почему Белинский ушел с головой в критику. «Если бы знали вы, — восклицал с тоской Белинский, — какое вообще мучение повторять зады, твердить одно и то же — все о Лермонтове, Гоголе и Пушкине, не сметь выходить из определенных рам — все искусство, да искусство! Ну какой я литературный критик? Я рожден памфлетистом!» Критика Белинского и была по сути дела образцом публицистики, публицистики насыщенной, зовущей, боевой. Белинский видел в ней лишь средство для пропаганды обуревавших его идей. И в историю общественной мысли наш гениальный критик войдет прежде всего как предтеча той партии, которая под знаменами коммунизма перестроит весь мир.

Но все же это не исчерпывающий ответ. Мы хотим понять, кем порождена гигантская фигура Белинского, какие силы двигали ею, на чем покоится ее мощь и величие? Увы, Плеханов ничего нам на это не ответит. Для него Белинский лишь эпизод в логическом развитии истины, великий критик для Плеханова — великий одиночка. Тщетно мы бы стали искать в «новой» его статье, как и в старых, разгадки социальной основы Белинского. Ответа на этот вопрос у Плеханова нет.

Зато нам ответит Ленин. Не в личности Белинского, а в борьбе классов кроется решение проблемы. Когда кадетские «Вехи», эта «энциклопедия либерального ренегатства», вылили ушат помоев на Белинского за его «интеллигентщину» в письме к Гоголю, Ленин издевался над кадетскими публицистами: «Может быть, по мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян?» Ленин дает классический пример конкретно-исторического анализа, уменья разглядеть за общественным деятелем классовые силы, которые им двигают. Белинский отражает в своем творчестве протест и борьбу миллионных крестьянских масс против сковывающих

их крепостнически-помещичьих пут. В этом «секрет» его влияния на следующие поколения, его неувядаемой популярности, созданной силой его отрицания. И поскольку борьба демократии с крепостничеством растянулась на десятилетия, продолжал жить и вдохновлять на борьбу новые тысячи и десятки тысяч читателей «неистовый Виссарион». Он будет жить и теперь, когда пролетарская революция осуществила то, о чем Белинский не мог и мечтать, будет жить так же, как Герцен, Чернышевский и все те, кто своей деятельностью расчищал путь для победы социализма. — Так снова сказывается ограниченность научного метода Плеханова.

V

После сказанного у читателя законен вопрос: к чему же печатать Плеханова, да еще в черновиках и фрагментах? Здесь надо об'ясниться.

Ленин в одной из своих тетрадей замечает, что «Плеханов критикует кантианство (и агностицизм вообще) более с вульгарно-материалистической, чем с диалектико-материалистической точки зрения, поскольку он лишь a limine отвергает их рассуждения, а не исправляет (как Гегель исправлял Канта) эти рассуждения, углубляя, обобщая, расширяя их, показывая связь и переходы всех и всяких понятий». Ирония истории состоит в том, что в наши дни сам Плеханов критикуется зачастую более с вульгарно-материалистической, чем с диалектико-материалистической точки зрения. Плехановскую эстетику, особенно за последнее время, часто отвергают сплошь, вместо того чтобы показать ее исторический характер, ее место и значение для нашей науки.

Такова, к примеру, та вульгарная критика плехановской эстетики, под флагом которой М. Добрынин (см. журнал «РАПП» 1931 г., № 3), смыкаясь с вылазками троцкистских контрабандистов типа Слуцкого и Волосевича, протаскивал меньшевистскую клевету на Ленина и партию.

Не отличается убедительностью и критика А. Михайлова в № 4 «Пролетарской литературы», не идущая дальше перечня отдельных ошибок Плеханова, не умеющая их обобщить, взглянуть на них с точки зрения ленинского этапа в литературоведении и сама, вслед за Плехановым, разделившая ряд его ошибок.

Как «с плеча» критикуют иногда Плеханова в авторитетных учреждениях, можно судить по реферату доклада М. В. Храпченко, прочитанного в Ин-те ЛИЯ Комакадемии (см. «Литература и искусство» 1931 г., № 5—6). В обширном докладе оратор разносит Плеханова, как говорится, на все корки и лишь «под занавес», в самый конец, вставляет две (две!!. — *И.*) строки насчет недопустимости выбрасывать Плеханова за борт. Но отговориться от заслуг Плеханова двумя словами — это и значит, пренебрегая ленинскими указаниями, выбросить Плеханова за борт.

Судя по реферату (нам хочется думать, что в этом впечатлении повинен не докладчик, а малограмотный репортер, исказивший его мысли), т. Храпченко утверждал, что Плеханов не понимал и «игнорировал» «классовое деление общества», «не понимал, что идеология теснейшим образом связана с процессом классовой борьбы», а насчет искусства полагал, что это «нечто, находящееся между классами». Спрашивается, да был ли Плеханов, на взгляд т. Храпченко, вообще материалистом? Видимо нет, хотя автор не решается сказать это всеми буквами.

Аргументация т. Храпченко зиждется на известной плехановской формуле: «искусство есть средство общения между людьми», формуле безусловно ошибочной. Но критиковать надо не одну (или даже сто) плехановских ошибочных формул, но основные принципы его эстетики, а для этого надо взять всю его теорию в целом, а не выдергивать одну-две-три устраивающих критика цитаты. И если уж говорить именно об этой криминальной цитате, то в публикуемом нами конспекте непосредственно за ней идет конец фразы: «а также и средство борьбы между ними». И дальше Плеханов, как бы предвидя критиков типа т. Храпченко, разжевывает: «в обществе, разделенном на классы, искусство выражает то, что считается хорошим и важным в том или другом классе и вообще то, что наиболее занимает данный класс в настоящее время (его мысли, вкусы и иллюзии, как выражается Маркс)». Толкуйте теперь, что плеханову искусство «внеклассово»!

Пусть даже Плеханов и не написал бы цитированных строк, не лишняя ссылка решает дело, а практика в целом. И практика показывает, что в чем угодно можно обвинить Плеханова, но никак не в непонимании «классового деления общества». К слову сказать, это обстоятельство понимали еще буржуазные историки начала прошлого века. Неужели т. Храпченко полагает, что Плеханов является шагом назад от них? Не в том беда Плеханова, что он не видел в современном обществе классов и классовой борьбы, — это-то он понимал прекрасно, — а в том, что он не делал отсюда всех необходимых выводов, по-меньшевистски подменял классовую борьбу классовым сотрудничеством, не признавал необходимости доведения классовой борьбы до диктатуры пролетариата. С этой точки зрения и надо критиковать слабость и недостатки Плеханова.

Вот еще свежий пример. В одном из декабрьских номеров «Литературной газеты» помещена статья т. Анисимова «За ленинскую критику взглядов Плеханова». Как квалифицируется в ней, скажем, эстетика Плеханова? Как «меньшевистская теория искусства», т. е. автор одним росчерком пера выкидывает всего Плеханова из обихода марксистско-ленинской критики. Не слишком ли это щедрый подарок меньшевикам? Автору и на ум не приходит, что Плеханова надо брать исторически. Ленин считал Плеханова в свое время (примерно до 1903 г.), несмотря на отдельные ошибки, революционным марксистом и никогда не смешивал его с позднейшим Плехановым — меньшевиком.

Столь р-р-революционная «левая» критика на самом деле является прямым извращением Ленина. Ленин еще в 1921 г. особо подчеркивал, «что нельзя стать сознательным *настоящим* коммунистом, без того, чтобы *изучать* — именно *изучать* все, написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей международной литературе марксизма» (т. XXVI, стр. 135, курсив Ленина). Ленин говорил, что плехановские статьи по философии «должны войти в серию обязательных учебников коммунизма», а через десять лет некоторые товарищи хотят зачеркнуть один из основных разделов этих статей. Это не борьба за ленинизм, а вульгаризация ленинизма, и, чтобы разбить «плехановских ортодоксов» — апологетов, надо дать отпор вульгаризаторам.

Отсюда вытекает и наше отношение к наследству Плеханова, и наш ответ на поставленный выше вопрос: мы не отказываемся от наследства, как думают вульгаризаторы, но внимательно проверяем его, чтобы отобрать все годное в борьбе за пролетарскую эстетику, а такого у Плеханова найдется не мало. Публикации неизданного Плеханова сыграют в этой разработке наследства свою роль.

Последовательно и до конца, с большевистской непримиримостью критикуя систему социал-демократических взглядов Плеханова, мы в то же время сохраняем для арсенала марксистской критики плехановские достижения. Преодолевая и перерабатывая Плеханова с позиций ленинизма, мы тем самым развиваем и углубляем ленинское литературоведение.

VI

В заключение несколько слов о составе нашей публикации.

Она составилась из материалов, предоставленных Домом Плеханова в Ленинграде в распоряжение «Литературного Наследства». Среди этого материала, представляющего громадный интерес для изучения развития эстетических взглядов Плеханова, есть вещи, публикуемые впервые, и есть прежде печатавшиеся, но по ряду причин широкому кругу читателей совершенно неизвестные. Само собой разумеется, ни в Ваганьяновскую библиографию, ни в изданное на ее основе Рязановым собрание сочинений Плеханова ни одна из них не вошла. Известно, что Рязанов никогда не был марксистом-ленинцем. Маркса он не понимал, по-меньшевистски выхолащивал его революционный дух, прятал от партии марксову критику оппортунизма и дошел до прямого предательства интересов партии и пролетариата. Рязановские предисловия к Плеханову — образец меньшевистской канонизации Плеханова; по этой линии Рязанов разоблачен полностью. Но за ним сохранилась еще кое у кого слава ученого знатока плехановских текстов. Печатаемый

нами материал доказывает, что и эта репутация Рязановым не заслужена. По его вине значительная часть плехановского наследства до сих пор не увидела света. Так, статья «Столетие со дня рождения В. Г. Белинского» напечатана за полной подписью Плеханова в легальном журнале и найти ее не представляло труда, тем не менее ни Рязанов, ни его «главный сотрудник» — присяжный библиограф Плеханова Ваганьян — не обратили на нее внимания. Еще более примечателен случай с IX главой брошюры о Г. Ибсене. К немецкому переводу статьи Плеханов добавил новую главу. Однако в XIV том она не попала, из-за чего из поля исследователей до сих пор выпадала существенная часть брошюры. Может быть, Рязанов не знал о немецком издании? Но нет, в предисловии к XIV тому Рязанов прямо ссылается на данное издание и даже упоминает о с в е р к е!

Заключительная глава к Ибсену приобретает особый интерес при сравнении с печатаемым выше письмом Энгельса: конкретно-исторический подход Энгельса к социальной трактовке Ибсена существенно отличен от плехановского, — новое доказательство, что Плеханов не сделал шага вперед от Энгельса.

Большой интерес представляют также две рецензии на книги Лансона по истории французской литературы. Хотя Плеханов безусловно переоценил Лансона, архибуржуазного литературоведа, характеристики которого, на наш взгляд, далеки от «безукоризненности» и который систематически замалчивал пролетарскую и революционно-демократическую литературу Франции, его рецензии дают существенный материал о тех требованиях, которые пред'являл Плеханов к истории литературы, и содержат интересные и заслуживающие внимания замечания об отдельных писателях (Бальзак, Корнель и др.). Рецензия о Могра любопытна как образец исторических взглядов Плеханова. Рецензия на книгу Быстренина, воскрешая этого малоизвестного автора, интересна как образец публицистической критики, типичной для «раннего» Плеханова. Стоит отметить, что в это время у Плеханова уже появляется противопоставление рассказа доказательству, таланта — логике, вытекающее из плехановского отрыва логики от теории познания.

Остальные заметки и конспекты Плеханова, публикуемые в настоящей книге, также заслуживают внимания не только исследователя, но и широкой аудитории; не представляя самостоятельного значения, они приобретают смысл как документы лаборатории плехановского творчества, как живые следы работы над материалом. Иной раз в таком конспекте мысль, выраженная лаконически, находит более яркое и запоминающееся выражение нежели в статье, где она подчас скрывается от читателя за горой привлеченного фактического и документального материала.

Настоящая публикация не исчерпывает литературоведческого наследства Плеханова, и редакция надеется в следующих книгах вернуться к нему, чтобы обстоятельней осветить роль плехановского наследства для марксистско-ленинской литературной науки.

И. Ипполит

Плехановский материал, предоставленный «Домом Плеханова» для настоящего номера журнала «Литературное Наследство», распадается на три категории. Часть статей публикуется впервые с рукописей плехановского архива. Сюда относятся: IX глава статьи об Ибсене, статья о Скрябине, два конспекта по искусству, два конспекта лекции о Герцене, план разбора драмы Андреева «Жизнь человека», а также отрывок разбора пьесы Зудермана «Среди цветов».

Затем приводятся статьи Плеханова, уже появлявшиеся в печати, но без его имени. Авторство этих статей устанавливается наличием в плехановском архиве их автографов. Таковы две рецензии на книги Лансона, опубликованные в «Новом слове» за 1897 г., и напечатанная там же рецензия на книгу Быстренина.

Наконец, к третьей категории относятся статьи, опубликованные за подписью Плеханова, но по тем или другим причинам не дошедшие до широкой аудитории. Сюда относится рецензия на книгу Могра, попавшая в последний конфискованный номер «Нового слова» за 1897 г. (декабрь, № 3), и популярная статья о Белинском, напечатанная в 1911 г. на страницах журнала «Наш путь».

Материалы подготовлены к печати сотрудниками «Дома Плеханова» А. С. Волиной, Е. С. Коц и Т. З. Лукашевской при ближайшем участии Р. М. Плехановой.

Дом Плеханова

[РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. БЫСТРЕНИНА «ЖИТЕЙСКИЕ БЫЛИ»]

Рецензия Г. В. Плеханова на книгу Быстренина «Житейские были» была опубликована в майской книге журнала «Новое слово» за 1897 г. (№ 8). Так как она была помещена среди анонимных рецензий без подписи, то до сих пор авторство ее не приписывалось Г. В. Плеханову. В настоящее время оно устанавливается с несомненностью, благодаря наличию в плехановском архиве рукописного оригинала той же статьи, подобранного из разрозненных листов и полностью совпадающего с печатным текстом.

Рукопись написана на 18 листах, из которых 5 представляют собой незаконченные отрывки и являются вариантами отдельных страниц статьи, почти не отличающимися от подлинника.

В. БЫСТРЕНИН. Житейские были. Очерки и рассказы. М. 1895 г. Ц. 1 р.

Каждому нашему сознательному действию предшествует известное волевое движение, а всякое данное волевое движение определяется целым рядом условий, коренящихся в состоянии нашего организма или во внешних влияниях на него. Одни из этих условий способствуют данному движению воли, другие препятствуют ему. Поэтому каждое такое движение является результатом целой алгебраической суммы условий. Процесс их суммирования совершается более или менее быстро и отражается в нашем сознании в виде борьбы различных чувств или взвешивания различных доводов в пользу данного действия или против него. Окончание процесса суммирования сознается нами, как торжество известного чувства или довода, за которым следует решение поступить так, а не иначе. Когда художник хочет изобразить психологию отдельного поступка или целой цепи поступков, он воспроизводит именно этот сознательный процесс борьбы различных чувств и доводов. Если воспроизведение удачно, то мы приобретаем твердое убеждение, что герой непременно должен был действовать так, как его заставил действовать художник, а если оно бледно или неполно, то развертываемая перед нами психологическая картина неубедительна. Большая или меньшая степень этой художественной убедительности зависит от размеров художественного таланта. Иногда художник и сам чувствует, что ее маловато в сделанном им изображении. Тогда он спешит указать причины, вследствие которых его герой не мог вести себя иначе. Но такая аргументация не поправляет дела. Мало-мальски опытный человек сейчас видит, что автор вообще не может справиться со своей задачей или еще не приобрел того уменья, той технической сноровки, без которой трудно использовать все природные силы таланта. И чем скорее художник отделается от дурной привычки доказывать там, где надо рассказывать, рассуждать там, где надо рисовать, тем лучше будет и для него самого, и для его читателей.

Эти мысли пришли нам в голову при чтении книги г. Быстренина [1], название которой выписано выше. Талант его невелик, да невелико пока и уменье пользоваться тем, что ему дала мать-природа. Когда г. Быстренин чувствует, что ему изменяет художественный талант, тогда он зовет на помощь силу логики, которая нередко изменяет ему еще коварнее. В очерке «На мирских хлебах» у него фигурирует подкидыш Васька, который уже в раннем возрасте обладает способностью соста-

влять «обширные планы» для борьбы за свое существование. Нет ничего удивительного в том, что ребенок, никогда не испытавший заботливого родительского ухода, очень рано привыкает рассчитывать только на себя и потому становится смелее, настойчивее и самостоятельнее своих, воспитанных в семьях, ровесников. Но г. Быстренин боится, что мы усомнимся в этой старой истине, и потому спешит привести в ее пользу несколько новых соображений. «Пусть Васька был круглым невеждой, — говорит он между прочим, — но жизненный инстинкт, способность приспособления и даже хитрость были развиты в нем весьма сильно. Может быть, это было влияние наследственности, потому что мать, вынужденная бросить ребенка, понятно, пережила до этого времени целый ряд потрясающих ощущений, и ощущения эти вошли в его плоть и кровь» (стр. 117). Этих соображений нельзя назвать удачными. Что женщина, которая тяжелыми обстоятельствами была принуждена забросить, как щенка, своего собственного ребенка, пережила много потрясающих ощущений еще до его рождения, это не подлежит ни малейшему сомнению. Но решительно непонятно, почему эти пережитые ею тяжелые ощущения должны были отразиться на характере ребенка в виде «хитрости» и «способности приспособления». По всему видно, что г. Быстренин вспомнил о «наследственности» по той простой, но печальной причине, что характер его героя ему самому показался невероятным. А между тем невероятного в характере Васьки ничего нет. Васька просто страдает недоделанностью, вследствие которой он только частью выступает, как живое лицо, частью остается неодушевленным рассуждением на данную психологическую тему. Недоделанностью страдают решительно все герои г. Быстренина. Поэтому в их действиях совсем нет внутренней необходимости. Так, например, в очерке «Судьба» рабочий Гордей Иваныч рассказывает, как он влюбился в одну девушку, которая вела прежде нехорошую жизнь, но сильно страдала от этого и даже покушалась на самоубийство. Прочитав этот рассказ, вы не подумаете, конечно, что Гордей Иваныч лжет; вы поверите ему, так как не имеете ни малейшего основания не верить. Но у вас не явится и убеждения в том, что это непременно так и было. Впечатление, производимое рассказом Гордея Иваныча, остается слабым и неопределенным.

Подобное же неопределенное впечатление производит и набросок «Святая ночь», хотя он написан несколько лучше. Накануне праздника Пасхи к сельскому учителю Матвею Николаевичу возвращается его жена, за несколько лет перед тем убежавшая с начальником соседней железнодорожной станции. Ее появление вызывает в нем мучительную борьбу противоположных чувств. С одной стороны, в нем кипит злоба человека, много настрадавшегося в одиночестве и вдобавок твердо убежденного в том, что измена жены марает «доброе имя» мужа. Ему хочется прогнать ее, «послав ей в догонку позорный, заслуженный ею (sic!) эпитет». С другой стороны, он невольно жалеет ее: она выглядит такой униженной и несчастной. Выйдя из дому, чтобы собраться с мыслями, Матв. Ник. попадает на могилу своего ребенка, родившегося еще в первый год его брачной жизни и скоро умершего. Там он находит носовой платок своей жены, которая, очевидно, уже успела навестить им обоим дорогую могилу. Сначала это неожиданное обстоятельство еще более усиливает царивший в его голове хаос противоположных мыслей. Но раздается удар колокола, зовущего верующих к торжественной пасхальной заутрени, и в умиленной душе Матвея Николаевича разом воцаряется мир и к человеком благоволение: он бежит христосоваться с женою, «увлекаемый какой-то неведомой

силой». И это, разумеется, очень хорошо. Когда г. Быстренин сообщает вам об этом, вы от души рады и за доброго, хотя неразвитого учителя, и за его бедную Елену Ивановну. Но ни «святая ночь», ни могилка, ни мокрый платок, ни даже жалкий вид измученной Елены Ивановны не внушают вам достаточного убеждения в том, что Матвей Николаевич

I

В. Быстренинъ. Житейскія были. Очерки и разсказы. Москва. 1895.

Каждому нашему сознательному дѣйствію предшествуетъ извѣстное волевое движеніе, а всякое данное волевое движеніе опредѣляется цѣлымъ рядомъ условій, коренящихся въ состояніи нашего организма или во внѣшнихъ вліяніяхъ на него. Одни изъ этихъ условій способствуютъ данному движенію воли, другія же препятствуютъ ему. Поэтому каждое данное волевое движеніе является результатомъ алгебраической суммы условій. Процессъ этого суммированія совершается болѣе или менѣе быстро и отражается въ нашемъ сознаніи въ видѣ борьбы различныхъ чувствъ или взвѣшиванія различныхъ доводовъ въ пользу даннаго дѣйствія или противъ него. Окончаніе процесса суммированія сознается нами какъ торжество извѣстнаго чувства или доводовъ, за которымъ слѣдуетъ рѣшеніе поступить такъ, а не иначе. Когда художникъ хочетъ изобразить психологію отдѣльнаго человѣка или цѣлой группы людей, онъ воспроизводитъ именно этотъ сознательный процессъ борьбы раз-

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ РЕЦЕНЗИИ Г. В. ПЛЕХАНОВА НА КНИГУ В. БЫСТРЕНИНА «ЖИТЕЙСКИЕ БЫЛИ»

С подлинника, хранящегося в Доме Плеханова.

непременно должен был помириться с нею. Если бы г. Быстренин сказал вам, что его герой окончательно рассвирепел, когда убедился, что женщина, «заслужившая позорный эпитет», позволила себе осквернить своим присутствием могилу его ребенка, и, подстрекаемый «какой-то неведомой силой», вытолкал бедную Елену Ивановну в шею, то вы поверили бы и этому, хотя и заметили бы про себя, что такая развязка очень легко могла бы совершиться и в обыкновенную ночь. А затем вы сейчас же и забыли бы о непримиримом Матвее Николаевиче, как

позабудете теперь о Матвее Николаевиче, умилившемся по случаю «Святой ночи». Это плохой знак. А мы взяли далеко не слабейшие произведения г. Быстренина. Вот в рассказе «Добился» дело обстоит еще хуже. Там выведен кулак, неизвестно почему вдруг почувствовавший, что «так жить нельзя», и решившийся покорить своею внезапною добродетелью тех самых крестьян, которых он прежде покорял рублем. Крестьяне крайне скептически относятся к его нравственному возрождению: «Так и поверили, говорят они, ишь дураков нашел, чорт зубастый! Живорез!» Мы понимаем этот скептицизм. Мы сами не верим, мы сами считаем совершенно ничем не обоснованным нравственный переворот, пережитый героем рассказа «Добился». Г. Быстренин уверяет, что его герой «является не более как одним из мучеников разлада, внесенного общим движением жизни и в ту среду, которая по справедливости зовется темным царством» (стр. 277). Может быть: но мы совсем не видим, каким образом этот разлад коснулся души его героя, а потому весь рассказ производит на нас очень неприятное впечатление выдуманности и неестественности. А при других условиях он имел бы большой интерес, потому что, действительно, «общее движение жизни», ломая наши старые экономические порядки, ломает также и некогда твердые взгляды людей, внося беспокойство и разлад туда, где еще недавно царили тишь да гладь да божья благодать. У г. Быстренина есть «этюд из крестьянской жизни» под названием «Вора поймали!» Крестьяне схватили конокрада, темной осенней ночью забравшегося на двор к одному из них. Связав ему руки, они толкуют, как поступить с ним. По старому обычаю его следовало бы «пришибить», как злого разорителя. К этому и склоняются «хозяйственные», зажиточные крестьяне. Но бедняки не согласны с этим. «Не ладно эдак-то, — кричит Ефим Борона, одетый не то в рваный пиджак, не то в бабью кофту, — отчего Пашка вор? Тоже надо это постигнуть!.. У него жена хворая, да трое ребятишек, а надел-то какой? Летом, как землю делили, зачем у него полторы души взяли? Ну-ка, умная голова, об'ясни мне эту самую причину? То-то и есть! У Пашки-то взяли, а тебе, Демьяныч (тот самый крестьянин, у которого на дворе поймали Пашку), прирезали, потому ты старикам угощение выставил», и т. д. (стр. 158). После жестокой взаимной брани и бесконечных взаимных обвинений вора отпускают целым и невредимым на все четыре стороны, и, когда он пускается бежать со всех ног, его защитник, оборванец Борона, заливается добродушным смехом: «Ах, ты проворный какой! Вишь обрадовался и не притворил двери-то... Ахти, грехи наши тяжкие!.. Ну, что ж, можно, чай, и по домам?» (стр. 166). Согласитесь, что это очень интересное нравственное явление, внесенное в нашу крестьянскую среду «общим движением жизни», так называемым расслоением деревенского населения по различным степеням зажиточности. Если бы Пашка имел дело с одними «хозяйственными» крестьянами, то ему пришлось бы плохо. Его спасло сочувствие бедняков, которые не могли не припомнить при этом, как много приходится терпеть им всем от «хороших» домохозяев. Они начинают разбирать, почему Пашка сделался вором, и вместо бесчеловечного приговора является гуманное решение, — это уже очень яркий луч света в некогда совершенно темном крестьянском царстве. Если бы наши беллетристы, изображающие народную жизнь, сумели совершенно отделаться от народнических предрассудков, то они наверное увидели бы много подобных явлений, которые мало-по-малу совершат целый переворот в психологии нашей трудящейся массы. Но, к сожалению, эти беллетристы пока еще охотнее созерцают зрелище смерти,

чем рожденья, охотнее изображают гибель старого, чем появление нового; их взоры прикованы к прошлому, а к будущему они упорно поворачиваются спиною.

Этюд «Вора поймали» есть положительно лучший из всех «этюдов», «набросков», очерков и т. д. г. Быстренина, хотя и он нечужд недостатков, свойственных этим очеркам. Г. Быстренин хорошо сделал бы, если бы почаще брался за подобные этюды. От этого его талант выиграл бы гораздо больше, чем от литературных упражнений, подобных «фантазии Es—moll». В этой «фантазии» чересчур уже много той ф а н т а з и и, которая близко граничит с ч е р т о в щ и н о й и которая ни к чему хорошему не приводила даже и очень талантливых писателей. Мы уже не говорим о том, что в ней очень силен элемент п о д р а ж а н и я.



ОБЛОЖКА МАЙСКОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «НОВОЕ СЛОВО» 1897 ГОДА, В КОТОРОМ НАПЕЧАТАНА РЕЦЕНЗИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА НА КНИГУ В. БЫСТРЕНИНА «ЖИТЕЙСКИЕ БЫЛИ»

Все это мы говорим вовсе не потому, что какая-нибудь «неведомая сила» заставляет нас придираться к г. Быстренину. Мы совершенно искренно желаем ему большого успеха в будущем. Его талант невелик, но, во-первых, мы небогаты даже и небольшими талантами; во-вторых, и небольшой талант может и должен совершенствоваться; в-третьих, и с небольшим талантом, особенно при разумном употреблении его в дело, можно принести много пользы читающей публике: нужны только добрая воля да уменье выйти на настоящую дорогу.

П Р И М Е Ч А Н И Я

[1] Б ы с т р е н и н, Владимир Порфирьевич, — беллетрист и публицист. Родился в 1856 г. в семье купца. Печататься начал в 80-х годах в провинциальной пензенской прессе. В 90-х годах был сотрудником разных журналов и газет. Отдельно издал: 1) «Очерки и рассказы» М. 1890; 2) «Свой суд» (совместно с рассказом Каронина «Счастливое открытие») М. 1892 г., 2-е издание, М. 1894 г., 3-е изд. М. 1897 г. 3) «Сухарь» М. 1893 г.; 4) «Житейские были» (сборник) М. 1895 г., 2-е изд. М. 1898 г.; 5) «Верное средство», М. 1896 г. Кроме того, ему принадлежат публицистическая брошюра «Земельный кредит и оскудение», П. 1895 г., корреспонденции на «провинциальные темы» в «Новом слове» (1896—97 гг.) и др.

Являясь продолжателем традиций народнической беллетристики, Быстренин свои реалистические «очерки», «этиды», «наброски» и пр. мелкие повествовательные произведения почти всецело посвятил изображению наиболее мрачных, часто переходящих в уголовщину, элементов деревенского быта и жизни всякого рода «захудалых людишек» захудалого уездного городка. Слабые в художественном отношении рассказы Быстренина, ныне совершенно забытые, пользовались однако у читателя 90-х годов известной популярностью. Их появление было сочувственно встречено либеральной «Русской мыслью» (1891 г., кн. 3), народническим «Русским богатством» (1890 г., кн. 12 и 1895 г., кн. 4), наконец, марксистскими «Миром божьим (1895 г. кн. 7) и «Новым словом» (1896 г., кн. 8 и 1897 г., кн. 8).

[ДВЕ РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ Г. ЛАНСОНА ПО ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ]

Рецензии Плеханова на два перевода книги Лансона были напечатаны в «Новом слове» за 1897 г. в отделе «Новые книги», первая в июньской книге (№ 9, стр. 62—67), вторая в сентябрьской (№ 12, стр. 30—36), обе без подписи автора. Авторство Плеханова устанавливается несколькими страницами рукописного оригинала этих статей, найденными среди разрозненных листов плехановского архива. Эти несколько страничек, большею частью обрывающихся на середине, являются местами точным подлинником опубликованных статей, местами слегка отличающимися от него вариантами. Из них 8 страниц относятся ко второй статье и только две — к первой (два варианта второй страницы). Некоторые из этих вариантов даны нами в примечаниях к статьям.

В переписке Плеханова имеется единственное упоминание, относящееся к его рецензиям на книгу Лансона. Это упоминание находится в письме заведующего издательством «Общественная Польза» С. Н. Салтыкова к Плеханову, датированном 23 апреля без указания года. По содержанию письмо несомненно относится к 1905 году, когда С. Н. Салтыков издавал сочинения Плеханова. В нем идет речь о сборнике плехановских статей «За 20 лет», вышедшем первым изданием в 1905 г., куда и должна была войти рецензия на книгу Лансона. Приводим то место письма, которое относится к этому вопросу:

> «Статья-рецензия на кн[игу] Скабичевского действительно не была у Вас в гранках. Но в книгу она вошла и уже давно отпечатана. Вот рецензия на кн[игу] Лансона по недосмотру не вошла. Но об этом я писал уже Вам два дня тому назад и жду Вашего решения до 27-го числа, конечно уж телеграммой, чтобы успеть приложить в конце книги хотя».

За отсутствием ответа Плеханова на это письмо, а также каких-либо иных указаний, трудно сказать, почему рецензии на Лансона так и не увидели света под именем автора и какую из них он имел в виду поместить в своем сборнике «За 20 лет».

В библиотеке Плеханова имеются оба перевода книги Лансона, рецензируемые в печатаемых статьях, второй с отметками Плеханова. Кроме того имеются два французских издания книги Лансона «Histoire de la littérature française» 1903 и 1908 годов. Пометки и надписи Плеханова на последнем из этих изданий показывают, что он работал над Лансоном для позднейших своих статей.

I

ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. XIX ВЕК. Г. Лансона, проф. Ecole Normale в Париже. Перевод с французского, под редакцией П. О. Морозова. Издание редакции «Образования». С.-Петербург. 1897 г.

Вы хотите переводить? Это хорошее намерение, но помните, что вы должны знать, во-первых, тот язык, с которого переводите; во-вторых, — тот, на который делается ваш перевод; в-третьих, — тот предмет, о котором идет речь в переводимом вами сочинении. Если не соблюдено хоть одно из этих условий, то вам лучше вовсе не браться за перо, потому что ваш перевод будет плох, и вы только введете читателей в заблуждение. Особенно не советуем вам полагаться на приятельские обещания «просмотреть» и «поправить» ваш перевод: по большей части, из них ровнехонько ничего не выходит, и если перевод плох, то он таким и остается, несмотря ни на какие «редакции». А сделать и напечатать плохой перевод хорошей книги

значит ввести в заблуждение и подвергнуть пытке читателя, виновного только в любознательности, да в незнании языка, на котором написана эта книга; согласитесь, что это чересчур строго.

Книга, название которой мы выписали выше, переведена плохо. По всему видно, что переводчик недостаточно владеет французским языком [1]. Он неловко передает мысли подлинника, и подчас у него попадаются настоящие курьезы по этой части. Так, на стр. 13 мы читаем о наружности Мирабо: «наконец, вся непропорционально-развившаяся голова его сидела на широком, неуклюжем туловище». Скажите, может ли быть такой человек, у которого не вся голова сидела бы на туловище? В подлиннике Лемерсье [2], свидетельство которого приводит здесь Лансон, заметив, что Мирабо был некрасив, и довольно подробно описав его лицо, заканчивает свое описание словами: «toute cette tête disproportionnée que portait une large poitrine». Это значит, что некрасива была вся его голова, сидевшая и проч., а не что вся голова сидела на туловище. На стр. 66 русского перевода говорится о Ройе-Колляре [3]: «Отличаясь изобретательностью как в области политических теорий, так и в области спекулятивной философии, он явился в палате главой школы, ученики которой носили название доктринеров, что прекрасно выражало их умственную посредственность». В подлиннике вместо «их умственной посредственности», стоит: leur esprit commun, что значит: свойственный им всем (т. е. всем ученикам этой школы) дух, или их общий дух. Эта ошибка сильно искажает мысль Лансона, который очень высоко ставит умственные способности некоторых доктринеров. В примечаниях, на стр. IX, в кратком жизнеописании Гизо находится такое место: «После этого (после отказа от политической деятельности) он принимается за свои литературные труды... совмещая эти занятия с управлением французской кальвинистской церковью и являясь в этих делах строгим католиком». Читатель недоумевает: как же это католик, да еще строгий католик, мог управлять кальвинистской церковью? И когда же это Гизо сделался католиком? Это недоумение может быть разрешено только справкой с подлинником. В подлиннике стоит: sevèrement orthodoxe, а это значит — строго правоверный или ортодоксальный Гизо был строго правоверным в кальвинистском смысле, а кальвинистское правоверие, как известно, очень далеко от католичества. Мы могли бы привести еще много подобных примеров, но вынуждены ограничиться указанием на то, что, благодаря плохому знакомству переводчика с французским языком и французской литературой, у него попадаются странные промахи при переводе на русский язык названий всем известных сочинений; так, «Compagnon du tour de France» Жорж Занда назван «Спутником в поездке по Франции» (!!), «La maison du chat, qui pelote» перекрещен в «Дом изнеженной кошки» (!?) и т. п. [4].

Вообще книга по-русски читается с трудом, и от ее чтения остается очень неэстетичное впечатление, хотя по-французски она хорошо написана. Переводчик не настолько владеет русским языком, чтобы, передавая на нем мысли иностранного писателя, сохранить свойственную этому языку гибкость и свежесть; напротив, он неловко и несвободно идет за подлинником, который, как мы уже видели, не всегда ему и понятен. Нельзя не пожалеть читателя и нельзя не упрекнуть г. П. О. Морозова в том, что он недостаточно внимательно отнесся к своей обязанности редактора.

Что касается до самой книги, составляющей часть «XIX век» довольно известного сочинения Лансона «Histoire de la littérature française»,

то она могла бы быть очень полезна русской читающей публике. Написана она с несомненным знанием умным и серьезным человеком. Правда, иногда у него попадаются ни с чем не сообразные литературные суждения. Так, он думает, что «у Жорж Занд больше психологии, чем у Бальзака». По этому поводу можно только развести руками. Автор вообще несправедлив к Бальзаку. По его словам, Бальзак был необузданный романтик, «но так как ему недоставало художественного чутья, поэтического гения и слога, то его романы и сцены, проникнутые романтическим вдохновением, сделались в настоящее время мертвыми частями, так как всегда были неудачны. Наоборот, он изображал в совершенстве души среднего или низкого уровня развития, нравы буржуазии или народа, материальные и чувственные предметы, и его темперамент оказался удивительно подходящим к сюжетам, на которых, повидимому, должно сосредоточиться у нас реальное искусство. Таким образом своими достоинствами и недостатками Бальзак отделил в романе романтизм от реализма. И все-таки в его сочинениях остается нечто громадное, какое-то ненужное изобилие, ни к чему не ведущее преувеличение, словом, нечто такое, что указывает на их романтическое происхождение *. Все это очень странно. Каково бы ни было происхождение сочинений Бальзака, не подлежит ни малейшему сомнению то обстоятельство, что между ним и романтиками — целая пропасть. Перечитайте предисловия, которые писал Гюго к своим драмам; вы увидите там, как понимали романтики задачу психологического анализа. Гюго обыкновенно сообщает, что он в данном своем сочинении хотел показать, к чему приводит такая-то страсть, поставленная в такие-то и такие-то условия. Человеческие страсти «берутся» им при этом в самом абстрактном виде и действуют в выдуманной, искусственной, можно сказать, совершенно утопической обстановке. С подобной же «психологией» мы, в огромном большинстве случаев, встречаемся в романах Жорж Занд. Сочинения Бальзака чужды этого недостатка. Он «брал» страсти в том виде, какой давало им современное ему буржуазное общество; он со вниманием естествоиспытателя следил за тем, как они растут и развиваются в данной общественной среде. Благодаря этому, он сделался реалистом в самом глубоком смысле этого слова, и его сочинения представляют собою незаменимый источник для изучения психологии французского общества времен реставрации и Людовика-Филиппа. Если его нельзя назвать отцом французского реализма, то разве лишь по той единственной причине, что между французскими реалистами не было ни одного человека, способного понять во всей ее полноте ту великую задачу, которую поставил себе гениальный автор «Comédie humaine»: дети оказались недостойными отца. Но в этом надо винить не Бальзака, а всю историю французского общества со времени февральской революции и июньских дней 1848 года.

Лансон не понимает значения Бальзака. Это плохо; но это не мешает ему очень хорошо понимать и очень метко характеризовать многих других французских писателей. Его характеристика Гюго безукоризненна (см. стр. 191—197 рус. перевода). О Ройе (т. е. правильнее — Руайэ) Колляре он говорит: «Он изобрел нового рода спиритуализм, ораторскую философию, философский либерализм — умеренное и

* Так сказано в русском переводе, а по-французски говорится просто, что в его сочинениях есть «что-то огромное, что-то излишнее и преувеличенное, изобличающее их романтическое происхождение».

удобное учение *, подогнанное как раз к умственному складу и интересам французского буржуа» (стр. 66 русск. перевода). Эти немногие слова лучше характеризуют Руайэ-Колляра, чем это могли сделать в специально посвященных ему сочинениях писатели вроде Спюллера [5]. Прекрасно понят им также Гизо: «Гизо был человек с оригинальным, властным и энергичным характером, — говорит он, — с умом могучим, узким, догматическим, ясным и непоколебимо-самоуверенным; идеи, полезные его классу, имели в его глазах всю силу разума и всегда представлялись ему в свете полной очевидности. Вне своей деятельности он нигде не видел удовлетворительного осуществления этих идей в правительственной политике. По его мнению, вся история Европы, а особенно Франции, начиная от нашествия варваров, как бы по особой воле Провидения, вела к тому, чтобы создать, возвысить, просветить и обогатить средний класс; задача его, как историка, состояла в том, чтобы изобразить это движение. Религию он считал необходимой «для порядка и для сохранения общества» и т. д. (см. стр. 67 русск. перевода, который мы, впрочем, несколько изменили в выписанных нами строках). Это как нельзя более справедливо. Далее Лансон замечает, что «феодальные вожделения не пугали Гизо: все его усилия были направлены против демократии. Он вызывает удивление и досаду своей политикой сопротивления, своим упрямым отождествлением буржуазии с Францией, а буржуазных интересов с требованиями разума... никогда не был он более блестящим оратором, никогда рассуждения его не достигали большей силы и речь большего одушевления, как в то время, когда, рискуя существованием всего дорогого ему порядка, он надменно шел против необходимости и справедливости, отстаивая неправду, царившую в пошатнувшемся обществе» (стр. 68 русск. перевода, который мы опять должны были несколько исправить). Тут есть большие неточности. До революции 1830 года Гизо о ч е н ь б о я л с я стремлений легитимистов [6]; тогда он энергично боролся с ними и в своей борьбе проявил те самые свойства, которые сказались потом в его борьбе с демократией. Доводы его достигали наибольшей силы именно в брошюрах, направленных (в самом начале двадцатых годов, после падения министерства Деказа) [7] против реакционных стремлений легитимистов. Несмотря на эти неточности, роль и взгляды Гизо рисуются здесь очень ярко. Возьмем еще пример совсем из другой области, именно из истории французского водевиля. Вот как характеризует Лансон Скриба [8]: «Скриб художник в том смысле, что его драматические комбинации не имеют никаких целей, кроме тех, которые в них заключаются. Для него театр — искусство, которое само себя удовлетворяет; ему не нужно ни мысли, ни поэзии, ни стиля: достаточно, чтоб пьеса была хорошо построена. Техника в его глазах — все, и в ней он мастер своего дела... Однако, сам того не подозревая, он вложил мораль в эти незначительные водевили, они наивно отражают миросозерцание автора и его публики, их ходячие мысли, которыми они руководились в своей деятельности и по которой судили о деятельности других. Эта мораль отличается самою вульгарною заурядностью; везде только и речи, что о деньгах, карьере, удаче; самый низменный идеал успеха и материального довольства — вот что Скриб и его публика называют здравым смыслом... Нельзя не чувствовать отвращения, видя, что каждый

* В русском переводе стоит: в е р н о е, во французском п о д л и н н и к е j u s t e. Но Лансон вовсе не хочет сказать, что учение Руайэ-Колляра было и с т и н н о; он хочет сказать только, что оно было чуждо крайностей, являлось настоящим «juste milieu».

акт честности, доброты, преданности неизбежно оплачивается деньгами, крупным приданым или хорошим наследством. Скриб мог бы внушить романтическую страсть к нравственным эксцентричностям» (стр. 31—32 русск. пер.). Это безусловно справедливо и прибавлять к этому нечего, кроме разве того, что, как это говорит и Лансон, публика, рукоплескавшая Скрибу, была именно буржуазная публика.

Читатель заметил, может быть, что в приведенных нами примерах Лансон рассматривает характеризуемых им писателей, как представителей буржуазии. Он вообще довольно охотно связывает развитие французской литературы с развитием общественного строя во Франции. Кто внимательно прочтет его книгу, тот найдет в ней немало доказательств той мысли, что, так как литература есть отражение общества, а общество есть, по выражению Белинского, единство противоположностей, то борьба этих противоположностей определяет собою ход литературного развития. Жаль только, что Лансон не понял всего значения этого взгляда, а потому и не сумел последовательно применить его к изучению истории литературы. Местами он готов даже восставать против него. Его мысль не вполне мирится с детерминизмом в применении к литературе, да, пожалуй, и вообще к историческим явлениям.

«Я отлично понимаю, — говорит он, — почему явилась французская трагедия; но почему именно Корнель или почему Расин, а не другие писали трагедии? Лафонтен в своих произведениях должен был проявить оригинальность, которую разбирает Тэн. Но почему он проявил ее именно в баснях, это неясно. Если не ввести в об'яснение элемент свободы, то три условия, о которых говорит Тэн *, недостаточно мотивируют результат». Тут самая очевидная и вопиющая путаница понятий. Во-первых, для истории литературы важно выяснить, как и почему явилась, как и почему исчезла французская трагедия; но почему именно Корнель, а не кто-нибудь другой написал «Сида», это вопрос не существенный для научного об'яснения литературной истории. Если бы на самом деле «Сид» был написан не Корнелем, а «кем-нибудь другим», то можно было бы спросить, наоборот: почему «кем-нибудь другим», а не Корнелем?

Подобные вопросы можно плодить до бесконечности, и они не заслуживают никакого внимания. И пусть не говорят нам, что, если мы не в состоянии перечислить всех условий, вызвавших собой появление данного литературного деятеля, то мы не можем научно об'яснить его литературную деятельность. Это довольно жалкий софизм. Чего можем мы требовать от научного об'яснения истории литературы? Указания тех общественных условий, которыми определилась эта история. А когда нас спрашивают, почему именно Корнель написал «Сида», то требуют, чтобы мы не только определили свойства той общественной среды, в которой жили Корнель и другие современные ему литераторы, но также перечислили все те обстоятельства частной жизни, которыми обусловливалось развитие личности Корнеля и всех его литературных современников.

Говорим — всех, потому что только подробное перечисление условий развития каждого отдельного писателя показало бы, почему только Корнель был Корнелем, а никто другой им не был и не мог быть. Наука никогда не будет в состоянии перечислить все эти условия. Но из этого не следует, что на помощь ей нужно призвать «элемент свободы». Механика может точно определить траекторию всякого данного

* Т. е. 1) раса, 2) среда, 3) исторический момент.

артиллерийского снаряда, но она не в состоянии сказать, почему данный осколок ядра полетел именно сюда, а не в другое место. Следует ли из этого, что мы должны ввести «элемент свободы» в об'яснение движения артиллерийских снарядов?

«Немыслимо, чтобы в литературе не отразилось обновление, которое, повидимому,совершается в мире общественном, политическом и нравственном, — говорит Лансон в последней главе своей книги: — Стоите вы за социализм или против него? Таков великий вопрос настоящего времени. Более, чем когда бы то ни было, бескорыстие и единомыслие стали необходимостью для буржуазии; она должна проникнуться духом солидарности, который один только в состоянии расширть круг идей и убить эгоизм» (стр. 237—238 русск. перев.). На основании того, что Лансон говорил о Гизо, можно было подумать, что он враждебен буржуазии. Теперь мы видим, что ему хотелось бы спасти ее посредством нескольких благодушно-утопических советов. Это кажущееся противоречие об'ясняется тем, что на самом деле он только против привилегий, которые могла бы присвоить себе, и действительно присвоила, крупная буржуазия, а вовсе не против буржуазного порядка вещей. Он знает, что во Франции этот порядок трещит по всем швам, но он не знает, чем можно заменить его. Поэтому его гибель кажется ему гибелью всякого человеческого общежития и всех плодов цивилизации. И вот он старается спасти его, взывая к «элементу свободы». Вера в этот «элемент» дает ему некоторый нравственный отдых. Иначе сказать: Лансон апеллирует от необходимости к свободе потому, что чувствует, как об'ективная необходимость все решительнее и решительнее обращается во Франции против «средних классов».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Вариант начала статьи (вторая страница рукописи):

«...излишней роскошью. Но «редактированный» г. Морозовым перевод указанных глав из рук вон плох: поэтому их надо перевести заново. К тому же самая мысль об издании их отдельной книгой была очень неудачна. В изложении Лансона литературная история каждого данного столетия тесно связана — как тому и следует быть — с предшествовавшим ей литературным развитием. Какое же значение может иметь для русского читателя знакомство...»

2 Lemercier N. Du second théâtre français.

3 Руайе-Коллар Пьер Поль (1763—1845) — французский политический деятель. В эпоху реставрации Бурбонов (1814—1830) был в палате депутатов вождем умеренно-консервативной буржуазной партии «доктринеров», отрицавших принципы великой революции и правомерность насильственного переворота, но признававших новый «гражданский», т. е. буржуазный порядок. Кроме Руайе-Коллара виднейшим представителем этой партии был Гизо.

4 Роман Жорж Занд «Compagnon du tour de France» печатался на русском языке под заглавием: «Пьер Гюгенен» (Современник» 1865 г., т. 9—12), «Замок Вильпра» (в изд. Кушнерева, 1892 г., т. 1) и др.

Роман Бальзака «La maison du chat qui pelote» из «Scènes de la vie privée» вышел на русском языке под заглавием «Слава и благополучие» (изд. 1833 г.) и позднее под заглавием «Фирма резвящейся кошки» (изд. Пантелеева, П., 1899 г., т. 17).

5 Spuller. E. Royer Collard Paris 1895.

6 Легитимисты — партия землевладельческого дворянства, возникшая во Франции после июльской революции 1830 г. и стремившаяся к восстановлению старого порядка, т. е. дворянской «легитимной» монархии с династией Бурбонов на троне.

7 Деказ Эли (1780—1860) — французский политический деятель, стремившийся в царствование Людовика XVIII об'единить вокруг трона всю Францию путем точного соблюдения конституционной хартии и осторожной политики лавирования между партиями (политика «коромысла»).

8 Скриб Эжен (1791—1861) — французский драматург эпохи июльской монархии и второй империи, идеолог крупной буржуазии, критиковавший нравы буржуазного общества, но преклонявшийся перед ним. Отличался большим мастерством в развертывании сложной драматической интриги.

II

ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Гюстава Лансона. Перевод со второго французского пересмотренного и дополненного автором издания. Издание К. Т. Солдатенкова. Том I. Москва, 1896. Ц. 3 р. 50 к.

Недавно — в июньской книжке «Нового Слова» — мы отметили появление в русском переводе под «редакцией» г. Морозова, части («девятнадцатый век») истории французской литературы Лансона. Теперь мы хотим указать читателям на существование другого — несравненно более тщательного и умелого — перевода того же сочинения. Это пока еще тоже не полный его перевод: вышел только первый том — с десятого до XVII века включительно. К сожалению, издание г. Солдатенкова чрезвычайно дорого и по своей цене будет многим совершенно недоступно. Это тем более жаль, что теперь более, чем когда-либо, нам надо усердно и внимательно изучать историю духовного развития человечества во всех областях и всюду, где она имела место: теперь у нас очень сильно распространяется так называемый (в нашем литературном просторечии) экономический материализм, согласно которому духовное развитие человечества определяется, в последнем счете, экономическими отношениями, отношениями производства. Это, конечно, совершенно правильный взгляд: лишь с точки зрения экономического (т. е. правильнее диалектического) материализма и возможно действительно научное об'яснение духовной истории человечества. Но такое об'яснение — как и всякое другое научное об'яснение — предполагает внимательное изучение фактов, хорошее знакомство с действительностью, которого не заменят никакие теории, никакие общие взгляды, хотя бы эти взгляды и теории и были в общем совершенно правильны. Кто, говоря о духовном развитии человечества, ограничивается ссылкой на то, что оно в последнем счете вызвано было развитием производительных сил, определившим собою все последовательные перемены в общественных отношениях людей, тот несомненно высказывает вполне верную мысль. Но мы еще не знаем, правильно ли понимает он эту несомненно правильную мысль, или она остается в его голове мертвой абстракцией, бесплодным догматом, взятым на веру и окостеневшим в своей величавой неподвижности. Диалектический материализм больше всякой другой философской системы пострадал бы от догматического к нему отношения, так как догматизм есть злейший враг диалектики. Диалектический материализм не совокупность окостенелых догматов; это прежде всего метод изучения явлений. Его значение поистине колоссально. Но оно навсегда останется не вполне понятным и ясным для тех, кто ограничивается одними методологическими рассуждениями и не старается применить свой правильный метод к изучению действительности.

Повторяем, теперь более, чем когда-либо, надо изучать духовную историю человечества. Очень полезным помощником в этом деле, поскольку оно касается истории французской литературы, может служить Лансон. Правда, его собственные взгляды на главную задачу, которую должны поставить перед собою люди, изучающие историю литературы, не могут быть признанными удовлетворительными; но этот важный недостаток выкупается глубоким знанием предмета, тонкостью литературного чутья и добросовестностью, которая не позволяет автору оставлять в тени или совсем замалчивать явления, резко противоречащие его любимым взглядам. От этой добросовестности

много выигрывает читатель, хотя в то же время очень проигрывает сам Лансон: написанная им история французской литературы уже сама в весьма значительной степени опровергает его ошибочные взгляды; а еще того лучше указывает он тот путь, который неизбежно ведет к обнаружению их ошибочности.

В июньской книжке мы уже отчасти указали как на слабые, так и на сильные стороны сочинений Лансона. Но мы сделали это именно только отчасти, потому что для полного их рассмотрения нужно было бы написать большую критическую статью. Мы пользуемся настоящей заметкой для того, чтоб досказать хоть кое-что из недосказанного нами.

«Изучение литературы, — говорит Лансон, — не может обойтись в настоящее время без научной подготовки; известное количество точных положительных знаний должно служить необходимой опорой и руководством при наших суждениях. С другой стороны ничего не может быть законнее всякой попытки связать, путем научного метода, наши идеи и отдельные впечатления и представить общую синтетическую картину хода развития * и преобразования литературы. Но не следует упускать из виду, что история литературы имеет целью характеристику отдельных писателей, и что в ее основе лежат индивидуальные впечатления, индивидуальные интуиции. Она изучает не виды или категории, по Корнелю, Расину или Гюго, и для изучения их она пользуется не такими приемами или опытами, которые могли бы быть повторяемы каждым и давали бы всегда неизменные результаты, а применением способностей, различных в каждой отдельной личности и дающих по необходимости относительные и недостоверные результаты. Ни по своей цели, ни по своим средствам литературные сведения не могут быть названы в строгом смысле научными» (стр. 7).

В четвертом французском издании своей книги Лансон, в особом примечании, старается устранить некоторые недоразумения, вызванные его взглядом на цель и средства изучения истории литературы. «Я не хочу сказать, — говорит он, — что надо вернуться к методу Сент-Бева [1] и составлять галлерею портретов. Я говорю только, что когда мы исчерпали все средства, способные об'яснить нам появление данного произведения; когда мы отдали должное расе, среде и моменту; когда мы приняли в соображение весь ход развития того литературного вида, к которому принадлежит это произведение, у нас остается нечто такое, чего не коснулись все эти об'яснения, чего не об'яснила ни одна из этих причин; это-то нечто, этот неопределенный и необ'ясненный остаток и составляет высшую оригинальность данного произведения; это-то нечто и вносится лично Корнелем или Гюго, составляет их литературную индивидуальность; поскольку этот личный остаток не поддается научному анализу, постольку и история литературы не может быть предметом строго-научного изучения».

Подобные взгляды приходится часто слышать не только в применении к истории литературы, но и в применении к истории вообще или даже ко всей общественной науке. По существу Лансон здесь совсем не оригинален. Но во всем, что говорит этот умный и серьезный человек, есть некоторый «л и ч н ы й о с т а т о к», придающий что-то оригинальное и убедительное мыслям, в сущности не оригинальным и совсем не верным. В интересующем нас случае оригинальна та формулировка, которую придал Лансон ходячему возражению против попыток научного об'яснения общественных явлений. Благодаря этой фор-

* У Лансона сказано — рост: — des accroissements.

мулировке, оно на первый взгляд кажется неотразимым: так как известный «личный остаток», вероятно, найдется в произведениях любого писателя, то, повидимому, надо признать, что Лансон прав, т. е., что «литературные сведения не могут быть названы в строгом смысле научными».

Но взглянем на дело несколько ближе и для этого возьмем одного из тех писателей, на которых ссылается Лансон, а именно: Корнеля. Корнелю посвящены страницы 545—564 разбираемой нами книги. Перечитаем эти страницы и посмотрим, какой именно «личный остаток» нашел наш автор у этого великого драматического писателя.

Начнем с «психологии корнелевского героя». По словам Лансона, «героизм Корнеля — не что иное, как экзальтированная воля, признаваемая безусловно свободной и безусловно могущественной». Корнелевский герой прежде всего человек, обладающий чрезвычайно сильной волей и сознающий это отличительное свойство своего характера: «Я властелин над собой так же, как и над вселенной», — говорит Август в «Цинне». Такими же господами над собой являются и другие герои Корнеля, и это относится не только к мужчинам: его женщины отличаются не менее гордой энергией, не менее величавой силой самообличения. Спрашивается, чем об'яснить это интересное литературное явление? «Влиянием общественной среды,—отвечает сам Лансон: — мы находим удивительную гармонию между психологическими сюжетами Корнеля и действительной психической жизнью того времени: даже в женщинах было тогда мало женственного, они жили более головой, нежели сердцем» (стр. 554). Отчего же это было так? Известно, что вторая половина XVI в. ознаменовалась во Франции чрезвычайно сильными общественными смутами, ожесточенной борьбой партий. Эта борьба и эти смуты вызывали сильное напряжение воли, закаляли характер. В литературе это отразилось в виде усиленного интереса к тем нравственным учениям, в которых воле отводится главное место: Дю-Вер [2] переводит Эпиктета [3], Дю-Плесси-Морнэ [4], Д'Юрфе [5] и другие перефразируют Сенеку [6] и т. д. «Это пробуждение нравственной энергии подготовляет картезианскую [7] теорию воли и корнелевскую теорию героизма, — говорит Лансон, — им же об'ясняется успех янсенизма [8], представлявшего собою суровую форму католицизма» (стр. 448). В том же направлении влияла и общественная жизнь первой половины XVII века. «Поколение, выросшее среди воспоминаний об ужасном прошлом и потрясений еще тревожного настоящего, люди эпохи Тридцатилетней войны и заговоров против Ришелье [9] отличались сильной и даже грубой натурой; они не чувствовали склонности к ребяческим забавам сантиментальной жизни... страсти людей этого типа были скорее грубы, нежели утонченны... в них не было абсолютно ничего женственного, ими управляли разум и воля... их романтический героизм соответствовал неодолимой потребности в усилии и деятельности» (стр. 512). Литература продолжает отражать эти выдающиеся черты общественной психологии: «Романы и эпические поэмы того времени — только карикатуры того энергичного и сильного типа, изображение которого мы находим у Корнеля, а определение — у Декарта». Во второй половине XVII века, когда прекратились смуты и когда полное торжество абсолютной монархии надолго закрыло те пути, по которым направлялась прежде энергия отдельных личностей (принадлежащих к более или менее привилегированным классам и слоям), — как в жизни, так и в литературе выдвигаются на первый план другие типы. Мы не станем вдаваться здесь в их характеристику; нам нужно было только отметить то, в высшей степени

важное для нас обстоятельство, что, по признанию самого Лансона, психология корнелевских героев [10] является верным отражением психических свойств современной ей общественной среды *. А теперь мы пойдем за нашим автором дальше и послушаем, что скажет он нам о «форме корнелевской драмы».

«Основным принципом произведений Корнеля, — говорит он, — была истина, сходство с жизнью Первое время он брел ощупью, так как вырос в такое время, когда никому не приходило в голову направлять драматическую поэзию к подобной цели; он устремлял свою фантазию в разные стороны... Но уже и тогда он создал свою особую, трезвую, серьезную, правдивую форму комедии... Затем он создал настоящую трагедию, на которой и остановился» (стр. 547).

На этот раз мы, повидимому, имеем дело с тем, что составляет «личный остаток» в произведениях Корнеля. В самом деле, если за основной принцип своих драматических произведений он взял истину, хотя вырос в такое время, когда о ней никто не думал, то, кажется, ясно, что важнейшей отличительной чертой своих произведений он обязан был самому себе, а не окружающей его общественной среде. Однако и тут приходится заметить, что такой вывод правилен только на первый взгляд. Истина корнелевской трагедии заключается в отсутствии той романтической запутанности, которая преобладала в драматических произведениях его предшественников и благодаря которой действие обусловливалось не характерами и положениями действующих лиц, а случайными сочетаниями случайных причин **. Лансон говорит, что Корнель никогда не прибегал к романтическим приемам. C'est trop dire [12]. Еще Лессинг в своей «Гамбургской драматургии» [13] показал, что не мало умышленно запутанного и неестественного встречается иногда даже в лучших произведениях Корнеля, например в «Rodogune» [14]. Тем не менее, все-таки неоспоримо, что в этих произведениях истины было несравненно больше, чем в сочинениях Гарди [15], Скюдери [16] и т. п. Поэтому все-таки необходимо признать Корнеля первым по времени представителем стремления к истине во французской драматической поэзии. Но это обстоятельство ничего не говорит в пользу взгляда Лансона на литературу. Дело в том, что стремление Корнеля к истине в драматической поэзии было простым выражением тех рационалистических стремлений, которые свойственны были всему тогдашнему обществу и которые сами явились естественной реакцией настроению, господствовавшему в предшествовавший исторический период. Вот, что говорит об этой реакции сам Лансон, перечисляя общие результаты XVI столетия: «Восстановлением абсолютной монархии и католической религии (при Генрихе IV) [17] французы отстраняют от себя все раздражающие и опасные вопросы. Монтэнь [18] уже ограничил область непознаваемого; но если он мог довольствоваться своим позитивизмом, то люди, нуждавшиеся в чем-нибудь несомненном, искали в религии ответа на вопросы, о которых молчал разум... Обеспечивши себя с этой стороны, ум, созревший в волнениях XVI в. и в изучении древних, признает себя верховным судьей всякой

* Еще нагляднее показано это в другом сочинении нашего автора, а именно в его книге «Nivelle de la Chaussé et la comédie larmoyante» (Paris (1887), deuxième partie, chapitre premier: origine de la comédie larmoyante [11] Было бы очень полезно приложить русский перевод этой интересной и прекрасно написанной главы ко второму тому «Истории французской литературы».

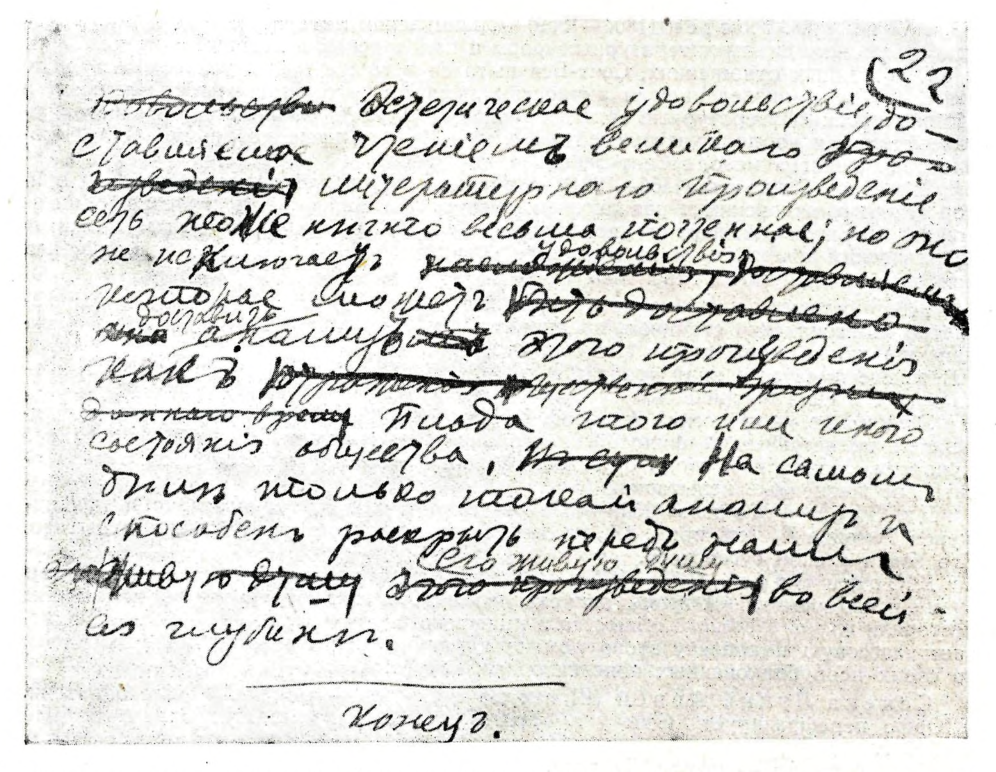
** В изображении этой истины было, в свою очередь, очень много условного соответственно привычкам и вкусам тогдашнего светского общества. Но речь идет теперь не об этом.

познаваемой истины, и литература проникается позитивным и научным рационализмом. Область веры ограничена, а все, выходящее из ее пределов, решается разумом... Литература, в которой начинает господствовать разум, стремится к всеобщему; ее об'ектами становятся истина и обычай» и т. д. (стр. 447, 448). При таких условиях стремление Корнеля к истине не представляет собою ровно ничего такого, чего нельзя было бы об'яснить общественными причинами, и можно удивиться только тому, что истина не восторжествовала в драматической поэзии еще раньше появления Корнеля.

Итак, Корнель явился во французской драматической поэзии первым гениальным представителем рационалистических стремлений, которые вообще были свойственны его эпохе и которые частью еще раньше, а частью одновременно выразились в других отраслях литературы, например в философии. Если мы не ошибаемся, такого рода «личные остатки» не могут препятствовать научному об'яснению развития всемирной литературы.

Перейдем к выбору сюжетов, Корнель «думал о сюжетах частной буржуазной жизни, о том, что мы называем в настоящее время драмой, — говорит Лансон, — и он дал формулу этой драмы; но сам он не применил этой формулы» (стр. 550). Почему же? Не составляет ли это обстоятельство какого-нибудь «личного остатка» в литературной деятельности Корнеля? Лансон думает, что оно было вызвано многими причинами. Во-первых, потому что «власть обнаруживает человека», как говорили древние греки: она освобождает его от многих стеснений частной жизни и дает возможность лучше исследовать природу его страстей. Это плохое об'яснение. Оно оставляет совершенно неразрешенным вопрос о том, почему же это соображение относительно влияния власти было убедительно для всех выдающихся писателей XVII в. и стало неубедительным в XVIII столетии, когда Нивель-де-ля-Шоссэ, Дидеро и Бомарше [19] начали в своих драматических произведениях выводить обыкновенных смертных вместо традиционных королей и героев. Не об'яснит ли дела вторая из перечисляемых Лансоном причин? «Во-вторых, — продолжает он, — в его (Корнеля) время судьба знаменитых людей интересовала публику больше судьбы простых буржуа и давала более поводов для проявления великих страстей». Вот это другое дело. Если во время Корнеля судьба простых буржуа была мало интересна театральной публике, то понятно, что писатели не делали этих буржуа героями своих драматических произведений. Скажем более — буржуазная жизнь того времени была и в самом деле неинтересна с точки зрения драматического действия. А если в следующем веке судьба буржуазных героев могла вызвать огромный интерес в зрителях, то для этого была совершенно достаточная причина в том общественном положении, которое тогда частью заняла, а частью стремилась занять французская буржуазия. «Наконец, — заключает Лансон, — в общем исторические интересы дают страстям более понятное для всех основание, чем профессиональные или финансовые интересы, являющиеся источником буржуазных страстей». Это и так, и не так. Источником буржуазных страстей не всегда являются одни только профессиональные или финансовые интересы: вот, например, в конце прошлого века буржуазию волновали также и великие «исторические интересы». Но, разумеется, они могли явиться у нее только при наличности известных условий, которые отсутствовали во времена Корнеля. Значит... значит и для выбора этим писателем сюжетов именно того, а не другого рода была совершенно достаточная общественная причина.

Легко было бы показать, — заметьте, на основании фактов и соображений, приводимых самим Лансоном — что «форма корнелевской драмы» во всех своих частностях прекрасно об'ясняется психологией и обычаями господствовавшего сословия, которое во время Корнеля собственно и составляло театральную «публику». Но где же тот «личный остаток», который непременно должен был оказаться в произведениях Корнеля, если бы была верна теория Лансона? Этого остатка мы не видим. И это не удивляет нас. Всякое литературное произведение есть выражение своего времени. Его содержание и его форма определяются вкусами, привычками и стремлениями этого времени, и чем крупнее писатель, тем сильнее и яснее эта зави-



22

Эстетическое удовольствие, доставляемое чтением великого литературного произведения, есть нечто, конечно, весьма почтенное; но оно не исключает удовольствия, которое может доставить анализ этого произведения, как плода того или иного состояния общества. На самом деле только такой анализ способен раскрыть перед нами его живую душу во всей ее глубине.

Конец.

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ РЕЦЕНЗИИ Г. В. ПЛЕХАНОВА НА КНИГУ ЛАНСОНА «ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

С подлинника, хранящегося в Доме Плеханова

симость характера его сочинений от характера его времени, т. е., иначе сказать, тем меньше в его сочинениях тот «остаток», который можно было бы назвать личным. Главнейшая личная особенность, «высшая оригинальность» (читатель помнит это выражение Лансона) великого человека замечается в том, что он в своей области выразил раньше или лучше, полнее других общественные или духовные нужды и стремления своей эпохи. Перед этою особенностью, составляющею его «историческую индивидуальность», исчезают все другие, как исчезают звезды при солнечном свете. А такая историческая индивидуальность вполне может быть предметом точного научного анализа.

«Я не допускаю, — говорит Лансон, — чтобы можно было изучать литературу с какою-нибудь другою целью, кроме саморазвития, и руководясь какою-нибудь другой причиной, кроме доставляемого ею

удовольствия». Это вполне понятно, принимая в соображение его теорию личных остатков. Понятно также, что с ним не согласится никто из тех, кто, подобно нам, считает эту теорию неосновательной. Литературу можно и должно изучать с тою же целью, с какою биолог изучает органическую жизнь. Едва ли надо прибавлять при этом, что подобное изучение не может итти вразрез с целями саморазвития, и что доставляемое им умственное наслаждение в своем роде не меньше и не ниже эстетического удовольствия, доставляемого чтением выдающихся художественных произведений [20].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Сент-Бев Огюстен (1804—1869)—французский литературный критик. Усматривая причину смены литературных форм и направлений в исторических условиях и общественных отношениях, Сент-Бев пытался в то же время установить тесную связь между произведением и личностью писателя, его биографией. Плеханов в своих статьях «Литературные взгляды Белинского» и «О роли личности в истории» указывает как на положительные, так и на отрицательные стороны «историко-биографического» метода Сент-Бева.

[2] Дю-Вер Гильом (1556—1621) — французский политический деятель и оратор эпохи гражданских и религиозных смут XVI и начала XVII столетия, один из вождей буржуазной партии «политиков», боровшихся с об'единенным в «лигу» католическим дворянством за мир, веротерпимость и абсолютную монархию, как наиболее надежную их гарантию.

Дю-Вер оставил несколько нравственных трактатов, основной идеей которых является «христианский стоицизм, предпочитающий деятельность созерцанию и гражданскую жизнь монастырю» (Лансон, стр. 438).

В тексте имеется в виду трактат Эпиктета, переведенный Дю-Вером под названием «Le manuel d' Epictète».

[3] Эпиктет — греческий философ I века, бывший в Риме рабом, один из виднейших представителей философии стоицизма, считавший человека, в силу его мудрости, господином своих страстей, обязанным стойко и хладнокровно переносить все жизненные испытания.

[4] Дю-Плесси-Морнэ (1549—1623) — солдат, купец, теолог, друг и приверженец Генриха IV (см. прим. 17), редактор его манифестов, автор ряда трактатов. Его звали «папой гугенотов».

[5] Д'Юрфе Онорэ (1568—1625) — французский дворянский романист, автор знаменитого романа «Астрея», написанного в 1610 г., изображавшего под видом пасторали жизнь светского общества и имевшего огромный успех. Плеханов вскрывает классовую подоплеку этого романа и увлечения им современников в одном из своих неопубликованных конспектов по искусству.

[6] Сенека Луций Анней (III век до хр. эры) — римский философ-стоик. Д'Юрфе перефразирует Сенеку в «Epitres morales», написанных им в тюрьме в 1595 г.

[7] Картезианство — школа Декарта.

[8] Янсенизм — религиозное учение, выдвинутое голландским богословом Корнелием Янсениусом в 1640 г. и отрицавшее свободу воли. Янсенисты боролись с иезуитами за свободу совести.

[9] Ришелье Арман Жан дю-Плесси (1585—1642) — французский кардинал и с 1622 г. всесильный министр, основной задачей которого было усиление королевской власти путем ликвидации старинных феодальных вольностей и феодальной раздробленности страны. Ришелье опирался в своей политике на служилое дворянство и буржуазию.

[10] Рукописный текст этого места после конца цитаты из Лансона:

«Во второй половине того же столетия, когда Франция успокоилась и отдохнула, наконец, под управлением «короля-солнца», как в жизни, так и в литературе начинают преобладать другие типы. Но мы не будем говорить об этих новых типах; нам нужно было только отметить то, в высшей степени важное для нас обстоятельство, что по признанию самого Лансона преобладающие черты психологии корнелевских героев...» (стр. рукописи 12).

[11] Нивель-де-ля-Шоссэ Пьер Клод (1691—1754) — французский драматург, пьесы которого относятся к жанру «слезливых комедий» или буржуазных драм. Пользовался большим успехом, как выразитель настроений французской буржуазии первой половины XVIII в. и явился предшественником позднейшей комедии нравов.

[12] Это уже слишком.

[13] «Гамбурская драматургия» (1767) — собрание театральных рецензий, в которых Лессинг, крупнейший представитель немецкого «просвещения», восходящей немецкой буржуазии, в борьбе за буржуазное искусство против придворной ложно-классической трагедии, ее регламентации, аристократической ограниченности и т. д. — дал теоретическое обоснование т. н. буржуазной драмы.

[14] Рукописный текст этого места:

«...не было неизбежным результатом характеров и положений действующих лиц, а определялось независимым от их воли случайным сочетанием случайных причин. Вот на это-то отсутствие романтической запутанности и указывает Лансон. «Корнель никогда не прибегал к романтическим приемам: вы не найдете в его произведениях ни одного переодевания, ни одного incognito, исключение составляют только «Don Sanche» которого нельзя назвать трагедией, и «Héraclius» но в последнем произведении подмена детей является не средством развития сюжета, а его сущностью, и поэт пользуется этим.

По мнению Лансона, Корнель никогда не прибегал к романтическим и т. д. Лессинг — в «Rodogune» действие умышленно запутано и неестественно».

Место в печатном тексте со слов «обусловливалось не характерами» до «тем не менее» в рукописи зачеркнуто.

[15] Гарди Александр (род. между 1569 и 1575 — умер около 1631—1632) — французский драматург, сыгравший большую роль в деле развития французского театра, способствовавший его переходу от средневековых драм к классическим. Ему удалось популяризовать французский театр перед широкой аудиторией. Гарди написал от 600 до 700 пьес: трагедий, пасторалей и траги-комедий.

[16] Скюдери Мадлена (1607—1701) — представительница изысканного жеманства (préciosité), царившего в светском обществе XVIII в. Большим успехом пользовался ее роман «Клелия», который Плеханов характеризует в одном из своих неопубликованных конспектов по искусству, как «настоящий учебник галантности».

Возможно, что в данном тексте речь идет о брате Мадлены Скюдери Жорже (1601—1667), драматическом поэте и романисте того же жеманного направления.

[17] Генрих IV Бурбон (1553—1610) — французский король, в начале вождь гугенотов, вел борьбу с феодальной католической лигой, опираясь на буржуазию и крестьянство. Позднее перешел в католичество и предоставил гугенотам религиозную свободу. Его царствование знаменовало расцвет абсолютизма и экономический под'ем страны.

[18] Монтэнь Мишель (1533—1592) — французский философ-скептик, подчеркивавший слабость человеческого разума и обманчивость чувств. В политических вопросах — сторонник сильной королевской власти, в которой видел спасение от гражданских и религиозных смут второй половины XVI века.

[19] Бомарше Пьер Огюстен Катон (1732—1799) — французский драматург и памфлетист предреволюционной эпохи, выразитель боевых настроений «третьего сословия».

[20] Рукописный вариант конца статьи (последних двух абзацев):

«...психологией и обычаями господствующего сословия, которое во время Корнеля собственно составляло и театральную публику. Но место не позволяет нам пускаться в подробности. Ограничимся тем общим замечанием, что единственный заметный «личный остаток» в сочинениях всякого великого писателя есть именно тот, что эти сочинения удачно выражают общественные стремления своего времени. Такой остаток не мен... Главная личная особенность, «высшая оригинальность», — чтобы употребить здесь выражение Лансона — великого человека заключается в его отношении к общественным (или духовным) нуждам и стремлениям своей эпохи. Перед этою особенностью — составляющею его историческую индивидуальность — исчезают все другие его особенности, как исчезают звезды при солнечном свете.

При своем взгляде на значение «личных остатков» Лансон совершенно прав, говоря: «Я не допускаю, чтобы можно было изучать литературу с какой-нибудь другой целью, кроме саморазвития, и руководясь какой-нибудь другой причиной, кроме доставляемого ею удовольствия». Однако, само собою понятно, что с ним не согласится никто из тех, кто, пободно нам, не придает «остаткам» никакого существенного значения. Саморазвитие — великое дело; но разве научное познание истории человеческого духа не может содействовать целям саморазвития? Эстетическое удовольствие, доставляемое чтением великого литературного произведения есть тоже нечто весьма почтенное; но оно не исключает удовольствия, которое может доставить анализ этого произведения как плода того или иного состояния общества. На самом деле только такой анализ и способен раскрыть перед нами его живую душу во всей ее глубине» (стр. рукописи 20, 21, 22).

[РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Г. МОГРА «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОДНОГО ОБЩЕСТВА»]

Печатаемая рецензия на книгу Могра написана Плехановым в 1897 г. для журнала «Новое слово». Она появилась в декабрьской книжке этого журнала (№ 3), но эта книга оказалась последней. Журнал был закрыт и декабрьский номер конфискован. В настоящее время этот номер «Нового слова» является библиографической редкостью; один экземпляр его сохранился в плехановской библиотеке. Там на стр. 116—119 имеется печатаемая нами рецензия. С другой стороны, в плехановском архиве сохранилась и рукопись этой статьи, написанная рукой Плеханова на 19 разрозненных тетрадочных листах. Все они написаны на оборотах рукописи: «Волынский. Русские критики. Литературные очерки», напечатанной в апрельской книжке «Нового слова».

Между рукописью и печатным текстом «Нового слова» почти нет отличий. Мы берем за основу печатный текст, отмечая в примечаниях более или менее существенные разночтения. Конец рукописи, опущенный в «Новом слове», приводится нами целиком после печатного текста.

Рецензируемая книга Могра сохранилась в плехановской библиотеке с его пометками.

ГАСТОН МОГРА. Последние дни одного общества. Герцог Лозэн и внутренняя жизнь двора Людовика XVI и Марии Антуанеты. Перевод с французского. С. Петербург. Издание Л. Ф. Пантелеева, 1897.

Книга, название которой мы выписали, не первая работа Могра. Он уже издал целый ряд исследований, написанных им отчасти в сотрудничестве с Люсьеном Перэ (псевдоним m-lle Эрпен) и касающихся жизни некоторых более или менее выдающихся людей Франции прошлого века. Таковы сочинения: «L'abbé Galiani», «La jeunesse de madame d'Epinay», «Les dernières années de madame d'Epinay», «La vie intime de Voltaire aux Délices et à Ferney», «Voltaire et Rousseau» [1]. Все эти сочинения свидетельствуют о трудолюбии их авторов (или автора), но они не блещут ни талантливостью изложения, ни глубиной мысли. Скажем более и откровеннее: Гастон Могра представляется нам довольно ограниченным человеком. Его взгляды очень узки, его суждения очень пристрастны. Его пугают «опасные утопии» Руссо [2] («Voltaire et Rousseau», p. 588); его ужасают события конца прошлого века [3]. Он не умеет взглянуть на них с об'ективной точки зрения. При такой впечатлительности и при таком отсутствии об'ективности можно только собирать материалы для историков, а самому нельзя сделаться историком. Такое значение материалов имеют все вообще сочинения Могра и, в частности, книга «Последние дни одного общества».

Героем этой книги является герцог Лозэн, в последнее время своей жизни носивший титул герцога Бирона. Известно, что многие нападали на Лозэна, как на крайне безнравственного человека. Могра оспаривает этот взгляд. По его мнению, конечно, Лозэн не был «ангелом невинности» в своих отношениях к женщинам, но это не личный его недостаток: в XVIII веке мужчины его сословия [4] и не умели иначе относиться к женщинам. Да и сами женщины этого класса не мечтали о вечных привязанностях; в любви они искали лишь временных развлечений. Лозэн очень любил такого рода развлечения, но в то же время он был добр, великодушен, отличался тонким умом, верностью

в дружбе, благородной гордостью и рыцарской отвагой. Он «был самым полным, самым блестящим воплощением конца восемнадцатого века, — говорит Могра, — он отличался всеми его недостатками, но и всеми его обаятельными сторонами, благородными и великодушными воззрениями». Это не верно. Без всякого сомнения, Лозэн был изящным, добрым и великодушным б а р и н о м. Но именно в силу своего б а р с к о г о воспитания, характера и образа жизни он не может считаться «п о л н ы м воплощением конца восемнадцатого века». Умственный труд играл в его жизни лишь самую незначительную случайную роль, а между тем энергичная и страстная работа мысли составляет отличительную черту восемнадцатого столетия и особенно второй его половины. Воззрения Лозэна действительно не лишены были благородства; он, повидимому, довольно горячо увлекался новыми стремлениями своего века, но и тут он оставался, собственно говоря, лишь добрым и великодушным барином. Сам Могра прекрасно понимает, что тогдашние французские аристократы сочувствовали новым учениям совсем не так, как сочувствовали им передовые представители третьего сословия. Он говорит: «Хороший тон требовал, чтобы смеялись над старинными обычаями этикета и старыми монархическими учреждениями. Прославляли свободу, явившуюся вместе с новым направлением. Увлекались новыми воззрениями, философией, демократией, равенством, но во всем этом замечалась игра и позировка; в глубине души эти люди были убеждены, что все останется неизменным в порядке вещей, просуществовавшем несколько столетий и имевшем для них свою приятность. Преимущества знатного происхождения должны были существовать и впредь, доставляя все выгоды и радости жизни. Аристократия и не думала отказываться от своих привилегий, что как нельзя лучше подтверждается, например, тем, что маршал Сегюр [5] выбрал именно эту критическую минуту, чтобы постановить, что офицерские места в армии будут предоставляемы исключительно дворянству. Вельможи, стоявшие во главе старинных аристократических фамилий, полагали, что их значение так же непоколебимо, как и сама французская монархия, и они со спокойной совестью предавались оппозиции, которую почитали безвредной для самых ее основ». Это как нельзя более справедливо и это очень хорошо об'ясняет ту реакционную роль, которую стала играть аристократия тотчас же, как только увидела, что дело идет не о салонных выходках против при-

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ РЕЦЕНЗИИ Г. В. ПЛЕХАНОВА НА КНИГУ МОГРА «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОДНОГО ОБЩЕСТВА»

С подлинника, хранящегося в Доме Плеханова

вилегий, а об их действительной отмене. Правда, Лозэн относился к новым стремлениям серьезнее, чем многие и многие из аристократов. В ночь на 4 августа он был в числе тех дворян, которые с энтузиазмом отказывались от своих привилегий. Но и в этом отказе было что-то до крайности легкомысленное: «Когда дело было кончено, — рассказывает Могра, — он (Лозэн) не мог воздержаться, чтобы не сказать своим друзьям: Господа, что мы сделали? Знает ли это кто-нибудь? И вокруг него каждый сознавался, что ничего не знает». Впоследствии Лозэн служил даже в войсках республики; но уже одно то обстоятельство, что он был дружен с герцогом Орлеанским [6] должно было вызвать крайне недоверчивое отношение к нему со стороны республиканцев. Да и сам он чувствовал себя очень неловко в новой для него среде, стремлениям которой он тогда уже решительно перестал сочувствовать. Он и погиб жертвой своего противоречивого положения. Нам кажется, что его политическая деятельность очень верно об'ясняется следующими словами герцога Леви, приводимыми Могра: «Главной причиной его несчастий не была, как то можно было предположить, ни пламенная любовь к свободе, ни экзальтированность республиканских воззрений . . . Одним словом, он слишком легкомысленно поверил возможности повторения времен Лиги [7] и Фронды [8], когда вельможи могли безнаказанно проявлять свое недовольство. Это-то и погубило его».

Но если, ввиду всего сказанного, Лозэна далеко нельзя считать самым полным и самым блестящим представителем конца 18-го века, то он все-таки представляет собою замечательную и, по-своему, весьма симпатичную фигуру. Могра не ошибался, когда думал , что изображение его полной треволнений жизни до известной степени воскресит перед нами все высшее французское общество, беспощадно и безвозвратно разрушенное революционной бурей. Французская аристократия того времени может служить интересным образчиком класса, находящегося в упадке и быстрыми шагами приближающегося к своей погибели. Западно-европейское дворянство вызвано было к жизни исторической необходимостью общественного разделения труда. В лучшую пору своего существования оно было правящим и военным сословием. Из этой его общественной службы выросли все его привилегии, которые первоначально не противоречили никакой справедливости, так как являлись единственным возможным в то время способом экономического обеспечения класса, по самому роду своей общественной службы не могущего принять непосредственное участие в общественном производстве. По мере того как развитие общественных производительных сил выдвигало новые общественные нужды, удавлетворить которые могла тогда лишь абсолютная монархия, и по мере того как с упрочением этой монархии росла бюрократия и постоянная армия, исчезал и исторический смысл существования дворянского сословия. Оно делалось все более и более бесполезным сословием, годным лишь на то, чтобы блистать в залах Версаля и других королевских резиденций. Сообразно с этим и привилегии его становились невыгодными для существующего общества и вредными для его дальнейшего общественного прогресса. Тогда и началось то оппозиционное движение некогда совершенно безответного третьего сословия, на почве которого возникли новаторские стремления восемнадцатого века в области философии, политики, литературы и искусства. Пока дело не дошло до отмены отживших свое время учреждений, образованная часть дворянства не только не восставала против этих новаторских стремлений, но даже сочувствовала им, — совершенно так, как сочувствовало когда-

то образованное духовенство Италии языческому духу Возрождения. Это явление очень интересно с точки зрения психологии классов: оно заслуживало бы подробного рассмотрения. Напомним хоть то, что в 18 веке французская аристократия — как светская, так и духовная — очень скептически относилась к религии [9]. В ней быстро распространился деизм и даже атеизм. «Однако и наиболее неверующие продолжают видеть в религиозности признак хорошего тона, — говорит Могра, — а главное — полезную узду для низших классов... Поэтому-то скептическое и атеистическое общество сохраняет религиозную обрядность и навязывает народу те самые верования, над которыми смеется. Оно ходит к обедне, причащается, призывает священника к одру умирающих; в некоторые особо торжественные дни церкви бывают переполнены; в празник тела Господня и другие большие праздники кардиналы, епископы, сановники в лентах, члены судебного ведомства в красных мантиях, все представители государственного управления теснятся вокруг святых даров; кортеж отличается величайшей торжественностью; пушки отдают салют, войска — военные почести, все присутствующие набожно опускаются на колени. Все исполняют религиозные обязанности, но сколько атеистов среди этих якобы верующих». Когда впоследствии это же самое общество рукоплескало бедным вандейским крестьянам, восставшим на защиту религии, то оно, конечно, руководствовалось соображениями, с религией неимеющими ничего общего. Замечательно, что один из самых даровитых и блестящих представителей французской аристократии, Шатобриан [10], в своем «Génie du Christianisme» [11], защищал христианскую религию главным образом с эстетической точки зрения. Всякий искренно верующий человек увидел бы в такой защите простое кощунство.

«В бога уже не верят»: но так как влечение к чудесному и сверх'естественному присуще человеческой природе — говорит Могра — то верят в Месмера [12], в Калиостро [13], в волшебство, верят гадальщицам и боятся пятницы, тяжелого дня» (стр. 9). В другом месте он удивляется: «Никто не веровал уже в бога, но все уверовали в Калиостро» и рассказывает, как его герой Лозэн, вместе с герцогом Шартрским [14] и другими светскими львами, занимался вызыванием дьявола и тому подобными нелепостями (стр. 402 и след.). Но что же показывает такое настроение высшего парижского общества? То, что это общество еще не доросло до трезвого философского взгляда на природу, но что в то же время его уже не могла удовлетворять та совокупность верований, которая сложилась в средние века на гораздо более низкой стадии общественного развития. Оставляя в стороне вопрос о том, как относится вера в чудесное к человеческой природе, можно с уверенностью сказать, что одной этой веры совершенно недостаточно для господства в данной среде данной системы догматов. Для такого господства нужно известное общественное настроение, обусловливаемое известными общественными отношениями. Во Франции прошлого века старые верования рушились именно потому, что все более и более расшатывались старые общественные отношения.

В настоящее время высшее французское общество тоже охотно развлекается всякого рода чертовщиной. Оно тоже состоит из декадентов [15]; оно тоже доживает последние дни. Ввиду этого можно спросить: насколько оно лучше или хуже французского аристократического общества конца прошлого века? Могра также задается таким вопросом, хотя и по другим соображениям: «Действительно ли это беспечное, утонченное и жизнерадостное общество было хуже нашего? — спрашивает он. — Не увидим ли мы, в трагические моменты револю-

ции, этих самых легкомысленных царедворцев, этих изнеженных женщин, то утопающих в удовольствиях, то подвергающихся истерии, не увидим ли мы их стоически переносящими разорение, нищету, тюремное заключение? Не всходили ли они на эшафот с улыбкой на устах, без крика, без слез, без жалоб?» На этот вопрос ответить не трудно: декадент-аристократ, как человеческий тип, несравненно выше декадента-буржуа, у декадента-аристократа остается некоторая традиция рыцарства, между тем как у декадента-буржуа нет ничего, кроме ненасытной утробы. Если типичным представителем склонившегося к упадку высшего французского общества можно считать герцога Лозэна, то типичными представителями нынешнего буржуазного общества во Франции являются персонажи вроде мопассановского Bel ami [16]. Но об этом излишне распространяться. Историческая миссия буржуазии заключалась вовсе не в культивировании рыцарских характеров, а в том высоком развитии общественных производительных сил, без которых цивилизованное человечество навсегда застряло бы в болоте застоя, несмотря на самые восхитительные «формулы прогресса» [17].

Перевод книги Могра не то, чтобы плох, но и не хорош. Местами он совсем не удачен. Вот, например, прочтите эти строки: «Пожалуйста, моя милая, [не воображайте, что под каким бы то ни было предлогом и какой бы оборот вы ни давали делу, мы ни за что на свете не примем услуги чрез посредство маршальши. Я предпочла бы всякие муки позору быть обязанной человеку, которого презираешь. Вспомните, что оказывать услуги друзьям нужно, только соображаясь с их вкусами, и что вернейший друг не простил бы услуги, купленной] ценою чести» [18]. Не воображайте, что мы не примем, — значит: мы непременно примем. На самом же деле это должно означать совершенно обратное: не примем ни в коем случае. На стр. 503 мы читаем: «Однако Бирон [повиновался в силу привычки к воинскому повиновению, однако же нисколько не обманывая себя относительно ожидавшей его участи»] [19]. Неужели нельзя было избежать таких описок? Кроме того, переводчик или — должно быть — переводчики различно пишут одни и те же имена: в некоторых местах книги мы имеем дело с г-жами Диллон, Дюдеффан и с кавалером Делилем, а в других эти лица превращаются в г-ж дю-Деффан и Дильон, в кавалера де л'Иля. Это неудобно. Неудобно также писать Бурбонне, Гемене, Лозен, когда произносить нужно: Бурбоннэ, Гименэ, Лозэн и т. д. Об английских именах и названиях мы уже не говорим, принца Уэльского переводчики называют принцем Валлийским, а Глостер — Глочестером.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Аббат Галиани», «Юность г-жи д'Эпинэ», «Последние годы г-жи д'Эпинэ», «Интимная жизнь Вольтера в Отрадном и Фернэ», «Вольтер и Руссо».

[2] Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский мыслитель, выступивший против условностей цивилизации за возврат к первобытному естественному состоянию людей. Современному государству он противопоставлял идеальное государство, образованное путем общественного договора, добровольно заключенного между собой равноправными гражданами, где коллективная воля стала бы на место индивидуальной. Руссо был идеологом мелкой буржуазии, противопоставлявшим себя всей феодальной монархической системе, буржуазному материализму и «просветительству». Учение Руссо оказало огромное влияние на деятелей французской революции.

[3] Этой фразе в рукописи предшествует другая, зачеркнутая очевидно по цензурным соображениям: «его до сих пор приводят в содрогание «ужасы революции».

[4] В рукописи вместо сословия — класса.

[5] Сегюр Филипп Анри (1724—1801) — маркиз, с 1780 по 1787 г. был военным министром.

[6] Герцог Орлеанский (1747—1793) — Филипп Эгалите — получил это прозвище за свои гражданские добродетели. В великую революцию примкнул к республике, боролся с королевской властью, сидел в Конвенте на скамьях монтаньяров. Пользовался огромной популярностью среди парижского населения, но это не спасло его от гильотины после измены генерала Дюмурье, в которой был замешан его сын.

[7] Лига — организация католической партии, основанная герцогом де-Гизом во Франции в 1576 г. Ее официальной задачей была защита католической религии против кальвинистов, на деле же она стремилась к свержению Генриха IV и возведению главарей Лиги, Гизов, на трон Франции.

[8] Фронда — обозначение целого ряда противоправительственных дворянских смут, имевших место во Франции в 1648—1652 г. Аристократический характер этого движения, разорительность его для большинства населения, слишком большая роль в нем личных интересов и личной вражды привели к тому, что «Фронда» осталась в памяти народа окруженной презрением и насмешками. Сейчас этим словом обозначается движение революционное только по внешности, по существу же пустое и несерьезное.

[9] Здесь в рукописи зачеркнута фраза: «Тэн рассказывает, что когда одного парижского священника спросили, религиозны ли на самом деле епископы, он после некоторого размышления ответил: «Возможно, что между ними еще есть четыре или пять человек, еще не утративших веры».

[10] Шатобриан Франсуа Рене (1768—1848) — французский писатель и реакционный политический деятель. В его творчестве, воспевающем одиноких гордых, непонятых «толпой» «аристократов духа», — характерные для деградирующего класса пессимизм, мистицизм, апология реакционной католической церкви.

[11] Дух христианства.

[12] Месмер — врач второй половины XVIII в., лечивший болезни посредством «животного магнетизма». Метод Месмера представлял собой зародыш современного научного лечения гипнозом, но был использован шарлатанами и обманщиками, как нечто таинственное и чудесное.

[13] Калиостро Джузеппе Бальзамо (1743—1795) — знаменитый авантюрист, выдававший себя в разных государствах за графа, алхимика и чародея и имевший шумный успех в аристократических салонах накануне великой революции.

[14] Герцог Шартрский — титул Филиппа Эгалите, герцога Орлеанского, до революции (см. прим. 6).

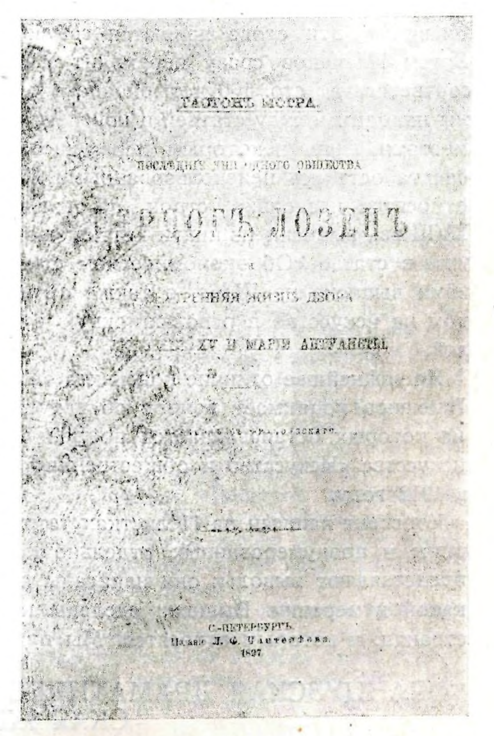
[15] Декадентство (упадочничество) — литературное течение, возникшее во Франции в 80-х годах XIX века (Бодлер, Верлен, Маллармэ и др.). Являясь протестом против буржуазного самодовольства и ограниченности, декадентство свидетельствовало в то же время о бессилии буржуазной интеллигенции найти выход из обострившихся классовых противоречий.

[16] «Милый друг» — роман Мопассана, в котором изображается блестящая карьера бездарного молодого человека, трамплином для которой послужила умная и ловкая женщина.

[17] На этом заканчивается статья в «Новом слове». Конец рецензии печатается с рукописи.

[18] Заключенное в скобках цитируется по рецензируемой книге Могра.

[19] То же самое.



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЭКЗЕМПЛЯРА КНИГИ МОГРА, ИСПЕЩРЕННОГО ПОМЕТКАМИ ПЛЕХАНОВА

Экземпляр книги хранится в Доме Плеханова

[КОНСПЕКТ РЕФЕРАТА «ФРАНЦУЗСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ»]

Предлагаемый конспект реферата, найденный в бумагах Плеханова, соответствует статье Плеханова «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии». Реферат этот, занявший два вечера, повидимому, предшествовал, как и все рефераты Плеханова, написанию статьи, опубликованной в московском журнале «Правда» в 1905 г., и с известной степенью вероятности может быть датирован тем же годом. Однако мысли, развитые в нем, занимали Плеханова с давних пор. Уже в статье «Волынский. Русские критики», напечатанной в 1897 г. в журнале «Новое слово», Плеханов затрагивает вопрос о ходе развития французской живописи XVIII века и довольно подробно останавливается на школах Бушэ и Давида. Но гораздо подробнее эти мысли развиты в его новонайденной статье «Об экономическом факторе», написанной в конце 1897—начале 1898 г. и впервые опубликованной в журнале «Литература и искусство» 1930 г., кн. 2 и 3—4 и в другой редакции в журнале «Под знаменем марксизма» 1931 г., кн. 4—5. Здесь мы находим ряд мыслей и цитат, которые почти без изменения вошли в предлагаемый нами конспект (см. особенно место о Шено, помещенное нами в примечаниях). Это об'ясняется тем, что статья «Об экономическом факторе» осталась ненапечатанной, и Плеханов использовал все эти места для своего реферата, а затем и для статьи «Французская драматическая литература».

В заголовке под словом «Конспект» находятся слова: «2-й вечер. Первая половина». Это об'ясняет, почему конспект начинается со слов: «Трагедия — 17 в.»: очевидно, эти слова являются ссылкой на тему и содержание первого вечера. Затем Плеханов сразу переходит к мещанской драме XVIII века, что в статье соответствует стр. 100 четырнадцатого тома собрания сочинений. Начиная отсюда, мы находим между статьей и конспектом строгое соответствие, которое нарушается местами лишь некоторым перемещением материала. Лишь немногие места конспекта остались неиспользованными и не нашли своего отражения в статье. Сюда относятся несколько строк об английских драматургах конца XVII и начала XVIII вв., выписки из книги Геттнера об искусстве XVIII века, которые мы находим уже в статье «Об экономическом факторе»; упоминание о Фрагонаре, указанная нами выписка из Шено, а также строки, где проводится аналогия между взглядом на искусство в революционную эпоху и взглядом на него наших просветителей.

Но важнейшее отличие конспекта от статьи — в его заключительной части. Здесь Плеханов поднимает вопрос об искусстве для искусства и намечает ряд мыслей, на которых останавливается подробно уже только в своей следующей статье об искусстве «Искусство и общественная жизнь», написанной значительно позднее — в 1912 году.

Конспект написан на 11 листках тетрадочного формата, исписанных с одной стороны и пронумерованных отдельно для каждой половины вечера. Исключение представляют выводы: они написаны на обеих сторонах листка, не имеющего никакой нумерации. Выписки сделаны на отдельных листках, с точным указанием страниц, к которым относятся. Мы приводим их в подстрочных примечаниях.

ФРАНЦУЗСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФРАНЦУЗСКАЯ ЖИВОПИСЬ

КОНСПЕКТ

2-й ВЕЧЕР. 1-я ПОЛОВИНА

Трагедия 17 в. [В] 18-м веке появляется мещанская драма (le drame bourgeois), иначе называемая слезливой комедией (comédie larmoyante). Это смешанный род, нечто среднее между комедией и трагедией. От-

куда взялся этот литературный genre[1]. Послушаем, что говорят историки? Брюнетьер[2]. Выписка *. Итак, по словам Брюнетьера, мещанская трагедия создана появлением на исторической сцене Франции третьего сословия, буржуазии, которая отсутствовала в 17 веке, как деятельный элемент в развитии общественного сознания. Это очень интересн[ая] и поучительная точка зрения. Остановимся на ней.

Брюнетьер говорит: буржуазия не могла помириться с вечным изображением на сцене одних только императоров и королей. Так ли это? Постараемся ознакомиться с психологией сторонников du drame bourgeois. Бомаршэ[5]. Выписка**. Тут протест против выбора действующих лиц; но у него же слышится и протест против выбора героев из греко-римского мира. На этом тоже стоит остановиться.

Подражание древности в эпоху Возрождения — реакция против старого феодализма с его идеологиями. Это увлечение из эпохи Ренессанса перешло и в век Людовика XIV. Тут было подражание не республиканскому веку Перикла, а монархическому веку Августа. Век Людовика XIV охотно сравнивался с золотым веком Августа. Когда буржуазия восстала против абсолютной сословной монархии, она начала очень скептично относиться к выбору сюжетов из древнего мира. Тот же Бомаршэ. Выписка***. В мещанской драме—герой тогдашний буржуа, подобно тому, как и в современной драме и комедии. Родоначальник мещанской драмы — Нивель де-ля Шоссэ[6]. Около 1750 г. она кажется установившимся genr'ом Дидро[7]: «Le fils naturel», 1757, «Père de famille», 1758 г. Он требует изображения не характеров, а положений, и именно общественных положений. Ему возражали: что такое le négociant en soi? Le juge en soi? N'est on pas obligé de donner à la profession le support du caractère?[8]. Но дело в том, что речь шла бы не о juge en soi, а о тогдашнем juge, не о négociant en soi, а о тогдашнем негоцианте. Замены стихов прозой. Мораль: реакция дворянской распущенности нравов.

* Мещанская драма. Брюнетьер. Со времени краха, постигшего банк Лау[3], — чтобы не заходить дальше — аристократия с каждым днем теряет почву под ногами. Она как будто торопится сделать все, что только может сделать данный класс для того, чтобы дискредитироваться... Но в особенности она разоряется, а буржуазия, третье сословие обогащается и, приобретая все больше и больше значения, приобретает также сознание своих прав. Существующее неравенство возмущает ее теперь более, чем когда-либо прежде. Злоупотребления кажутся ей теперь более несносными, чем раньше. Как выразился впоследствии один поэт, в сердцах зародилась ненависть одновременно с жаждой справедливости. Возможно ли, чтобы, располагая таким средством пропаганды и влияния, каким служит театр, буржуазия не воспользовалась им? Чтобы она не приняла всерьез, не взглянула с трагической точки зрения на те неравенства, которые только забавляли автора комедии «Bourgeois gentilhomme» и «Georges Dandin»[4]? А больше всего, возможно ли было, чтобы эта, уже торжествующая буржуазия помирилась с постоянным представлением на сцене императоров и королей и чтобы она, если можно так выразиться, не воспользовалась своими сбережениями для того, чтобы заказать свой портрет?

** Бошаршэ. Заметить о комедии. Он восстает против того, что трагедия берет своих действующих лиц лишь между королями. Он иронически восклицает: Изображать людей третьего сословия в несчастии! Fi donc! Их следует лишь осмеивать. Смешные граждане и несчастные короли — вот весь театр, возможный у нас. Lettre sur la critique du «Barbier de Séville». Тут протест против выбора действующих лиц. Но у него...

*** Бомаршэ. Какое дело мне, мирному гражданину монархического государства XVIII в., до революций, происходивших в Греции или в Риме? Может ли серьезно заинтересовать меня смерть какого-нибудь пелопонесского тирана или принесение в жертву в Авлиде молодой дочери государя? (Намек на Ифигению в Авлиде Расина.) Во всем этом нет для меня ничего поучительного, я не могу извлечь из этого для себя никакого полезного нравоучения («Essai sur le genre dramatique sérieux». Oeuvres, I).

Создание аристократии, трагедия господствовала безраздельно и неоспоримо, пока безраздельно и неоспоримо господствовала аристократия (в пределах, отведенных ей сословной монархией, которая сама есть результат борьбы классов, см. Aug. Thierry. Essai sur l'histoire du Tiers état [9]. Но в XVIII в[еке], говоря словами Маркса, производительные силы приходят в противоречие с производственными отношениями. Эпоха революцион[ного] освободит[ельного] движения буржуазии. Это отражается в литературе появлением нового литературного жанра: мещанской драмы, которая есть, по выражению Брюнетьера, портрет, списываемый буржуазией с самой себя.

Проверим это. Мещанская драма занесена во Францию из Англии. При каких условиях развилась она там?

Реставрация в Англии. Страшная, беспримерная распущенность дворянства. Она отразилась также и на театре (комедия). В буржуазии является реакция против этой распущенности. Она тоже отражается на театре. Сигнал этому движению в театральной области был дан Блэкмором, автором драмы «Prince Arthur» (1695) [10]. Комедия становится «достойной христиан». Буржуазия проповедует свою мораль (The conscious lovers [11] против дуэли). Colly Sibber: Careless Husband [12]. Lillo [13], Moore [14] и другие. Французская буржуазия взяла то, что соответствовало ее положению.

Моя точка зрения подтверждается целым рядом исследований. Например: Hermann Hettner: Geschichte der französischen Litteratur im achtzehnten Jahrhundert. Braunschweig, 1881 [15]. Выписка*. Взглянем на живопись. Я спросил, какое отношение имеет живопись Бушэ [16] к средствам производства? Посмотрим, чьи и какие именно вкусы выражало оно. И посмотрим опять, что говорили раньше нас исследователи, которых нельзя заподозрить в марксизме. Гонкур [17]. Выписка**. Я скажу от себя: этого мало; в ней масса кокетства, предназначенного для действия на изношенных, пресыщенных удовольствиями людей. «Элегантная вульгарность» — Бушэ. Fragonard [18]. Это было искусство отживавшего, дичавшего, как говорит Геттнер, дворянства. Дви-

* Геттнер об искусстве 18-го века.

Внутренний смысл того времени может быть всецело выражен следующими словами: Дворянство разоряется и дичает; буржуазия крепнет и приобретает неслыханные до тех пор силу и значение (S. 66). Рядом с развращенным дворянством неожиданно является полная молодых сил буржуазия, действия и требования которой с каждым днем становятся важнее и неотразимее (S. 72). Расцвет этого третьего сословия в корне подрывает старое государство (т. е. сословную монархию с преобладанием аристократии). Существующее право и существующая государственная форма не имеют смысла в глазах этой вновь возникшей силы и потому возникает революционная теория в области права и политики.

III глава «общественные противоречия».

Буржуазия, которая до тех пор фигурировала в искусстве разве только как предмет насмешек и глумления со стороны придворного общества, борется за свое равноправие в сфере поэтического изображения и завоевывает его. Благодаря этому расширяется как содержание искусства, так и его формы (SS. 97—98). Противоречия и борьба того времени отражаются поэтому с осязательнейшею ясностью в толстых романах и в комедиях. Если значение всего важного общественного движения того времени выражается в том, что дворянство падает, а среднее сословие приобретает большее значение и пользуется большим уважением, то и в литературе выражается то же самое. S. 99.

** Гонкур о Бушэ.

Когда век Людовика XIV сменился веком Людовика XV... идеал искусства от величественного перешел к приятному. Повсюду распространяется утонченность элегантности и тонкость чувственного наслаждения (p. p. 135—136). Тогда-то является Бушэ. Чувственное наслаждение — идеал Бушэ; в этом вся душа его живописи (145). Венера, о которой мечтает и которую рисует Бушэ, — чисто физическая Венера (145).

жение третьего сословия выразилось в реакции против этой *школы*. Дидеро громит Бушэ в своих Salons[19]. И посмотрите, как громит он его. Выписка*. Он противопоставляет Бушэ Греза[21] (хвалит L'accordée du village[22]). Грез — мой живописец: он первый догадался, что надо сделать искусство нравственным. Картины Греза — это та же слезливая комедия (например — «L'accordée du village»).

Итак, живопись Бушэ — это искусство отживавшего дворянства; живопись Греза — искусство, выдвинутое буржуазной реакцией против дворянской испорченности. С этой точки зрения мы, может быть, поймем и живопись Давида[23]. Посмотрим. Конец.

2-й ВЕЧЕР. 2-я ПОЛОВИНА

Слезливая комедия и жанр вроде жанра Греза были только первыми шагами буржуазии. Тут она является пока еще только добродетельной и сантиментальной. Еще шаг — и она становится революционной. Раз явились в ее среде революционные стремления, необходимо должно было явиться и сочувствие к революционерам других стран и веков и подражание им. Самые яркие примеры героического самоотвержения для блага родины давала тогда античная литература. И вот передовые люди третьего сословия увлекаются античной литературой с этой стороны. Увлечение Плутархом (Mad[ame] Ролан[24]). После этого неудивительно, что Давид рисует Брута, казнившего своих сыновей за измену республике. [Удивительно — официальный заказ. Раз'яснено Эрнестом Шэно. Выписка[25]. Д'Анживиллье был увлечен напором общественного мнения, а направление общественного мнения определилось тогдашними] общественными отношениями, которые в свою очередь созданы были развитием экономики, производительных сил Франции. Опять Шэно** Переворот огромный: от «маленьких развратных сатиров» до Брута переход не мал. Он об'ясняется только борьбою классов. Но не только выбор картин, изменилось отношение художника к своему делу. Манерность старой школы и слащавость и вычурность Ван Лоо[26]. Реакция: суровая простота. Образчиков опять стали искать в древности. Преобладающее искусство классич[еской] древности—скульптура (картины не дошли). У Давида — прекрасно нарисованная статуя, и он гордится этим. Потом упрекали Давида: мало воображения. Он резонер в искусстве. Но ведь это-то и нужно было тогда. Этого требовал еще Дидеро в своих Salons. Тут искусство на службе у общественной идеи. Этого же требовали наши просветители. Картины Давида — chefs-d'oeuvre de fierté républicaine[27]. Во время ре-

* Дидеро о Бушэ (из Salons).
«У него извращение вкуса, колорита, композиции, характеров, выражения, рисунка шаг за шагом шло за развращением нравов». 1765. По мнению Дидеро, Бушэ перестал быть художником «и в это-то время его делают peintre au roi»[20]. Особенно нападает Дидеро на амуров Бушэ, и характерна точка зрения, с которой он на них смотрит: «Во всей этой многочисленной толпе детей нет ни одного, который годился бы для действительной жизни, например, для того, чтобы учить свой урок, читать, писать или мять коноплю... Одно время он любил изображать девушек. Каковы же были эти девушки? Изящные представительницы полусвета. Его ангелы — маленькие развратные сатиры». 1765.

** Эрнест Шэно.
«Давид точно отражал национальное чувство, которое, рукоплеская его картинам, рукоплескало своему собственному изображению. Он писал тех самых героев, которых публика брала себе за образец; восторгаясь его картинами, она укрепляла свое собственное восторженное отношение к этим героям. Отсюда та легкость, с которой совершился в искусстве переворот, подобный перевороту, который происходил тогда в нравах и в общественном строе».

волюции. Тут еще более развивается склонность к тенденциозному искусству. Тот же Давид, в своем раппорте Конвенту, об Академии, которую третировали тогда как цех, говорит («La société républicaine») *. В 1793 г. жюри для присуждения премий. Флерио: Выписка **. Моды. Костюм. Греческий костюм в ходу. Ридикюль (Reticula)[28]. Выводы. Искусство для искусства. Теорию искусства для искусства мы рассматриваем с точки зрения теоретического разума. Мы не говорим, чем оно должно быть, а чем оно было. Чем же? В эпоху Людовика XIV — служило общественной идее. В эпоху Бушэ — искусство существовало для искусства. В эпоху Давида — служит общественной идее. В эпоху романтизма — опять искусство для искусства. А социалисты (напр. сен-симонисты) требуют от искусства служения обществу. Пушкин у нас. Подите прочь. Общее правило: в революционные эпохи — искусство служит идее. Но мы не говорим искусство должно быть и т. д. Мы с нашей точки зрения можем удовольствоваться анализом. Показывать классовое происхождение данного рода искусства значит развивать классовое самосознание того класса, который, по выражению Маркса, не может выпрямиться, не может пошевелиться, не пошатнув всего существующего порядка. Великая выгода нашего положения: мы можем быть совершенно об'ективны, т. е. безусловно правдивы, правдивы как натуралисты, и в то же время наши речи по необходимости должны действовать возбуждающим образом на всех тех, кто угнетен существующим порядком.

Выводы

Кант: бескорыстие; дано для индивида. А для общества польза.

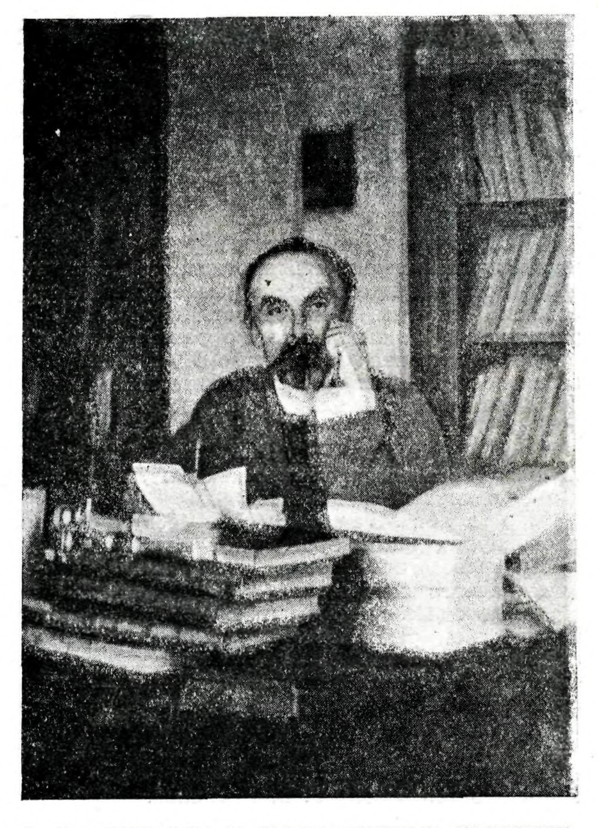
Искусство есть средство общения между людьми, а также и средство борьбы между ними. В обществе, разделенном на классы, искусство выражает то, что считается хорошим и важным в том или другом классе и вообще все то, что наиболее занимает данный класс в настоящее время (его мысли, вкусы и иллюзии, как выражается Маркс). Во Франции XVII и XVIII вв. это сознание того, что важно, не было религиозным (а в XVIII в. оно было даже антирелигиозным сознанием). Это сознание, в обществе, разделенном на классы, чаще всего определяется не непосредственно экономикой, а теми общественными отношениями и нуж-

* Давид об искусстве.
«Все виды искусства только и делали, что льстили гордости и капризам кучки сибаритов с карманами, полными золота, и цехи (академии) подвергали преследованию гениальных людей, и вообще всех тех, которые являлись к ним с чистыми идеями нравственности и философии». Вообще искусство старого режима обвинялось в том, что было рабом суеверия и игрушкой в руках сильных мира сего. Образовалось «La sociét républicaine des arts»; его цель: заставить искусство служить добродетели, т. е. республиканской добродетели.

** Fleurio и Гассенфрац об искусстве (в жюри).
Сожалеет, что барельефы, представленные для соискания премий, не проникнуты тем духом, который внушает великие принципы революции. Да и вообще, что за люди эти господа, занимающиеся скульптурой в то время, когда их братья проливают кровь за отечество? По моему мнению, не«надо премий!» Гебер соглашается с ним. Гассенфрац прибавляет: «я буду говорить откровенно: по-моему талант артиста — в его сердце, а не в руке; то, что может быть усвоено рукою, есть сравнительно неважная вещь». На замечание некоего Neveu, что надо же обращать внимание и на искусство руки (заметьте, речь идет о скульптуре), Гассенфрац горячо отвечает: гражданин Neveu, искусство руки — ничто; не надо основывать своих суждений на ловкости рук». Решено премий по искусству не давать. Во время прений о живописи тот же Гассенфрац опять говорит, что лучшие живописцы — те, которые дерутся на границе.

дами, которые развились на почве существующих экономических отношений. Когда искусство выражает тенденции восходящего и потому революционного класса, оно есть важное средство в борьбе этого класса за свое существование, важное орудие прогресса (школа Давида до революции). Когда оно выражает тенденции падающего класса, оно не облегчает его борьбы за существование, но просто развлекает его в его праздности. Расцветает золотой век апогея.

Вопрос — искусство ли для искусства? Рассмотрим.



Г. В. ПЛЕХАНОВ В СВОЕМ РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ В САН-РЕМО, (1909 ГОД)
Воспроизводится впервые с оригинала, хранящегося в Доме Плеханова

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Род, жанр.

[2] Брюнетьер Фердинанд (1849—1906) — французский критик, автор ряда работ по истории и теории литературы. В своих работах Брюнетьер придерживался эволюционного метода исследования, который применял к отдельным видам художественной литературы. Его основные работы — об эволюции литературных жанров. Последующая выписка взята из его книги «Les époques du théâtre français» (Эпохи французского театра).

[3] Лау (Ло) Джон (1671—1729) — шотландский экономист и финансист, с 1708 г. поселившийся в Париже. В 1716 г. французское правительство, под давлением финансового кризиса, приняло предложенный Ло проект реорганизации кредитного дела и разрешило ему устройство «Генерального банка» с правом выпуска банковых билетов. В 1718 г. банк этот стал государственным. Эмиссия приняла огромные размеры. В 1720 г. в результате ее наступило полное обесценение банкнот, повлекшее за собой крах и разорение широких слоев населения.

[4] Автор комедий «Bourgeois-gentilhomme» (Мещанин в дворянстве) и «Georges Dandin» (Жорж Данден) — Мольер.

[5] Бомарше Пьер Огюстен (1732—1799) — французский драматург и памфлетист предреволюционной эпохи, выразитель боевых настроений «третьего сословия».

[6] Нивель-де-ля-Шоссэ Пьер Клод (1691—1754) — французский драматург; о нем примечание на стр. 66.

[7] Дидро Дени (1713—1784) — знаменитый философ-материалист и писатель французской буржуазии предреволюционной эпохи. Основатель «Энциклопедии». Крупнейший теоретик и один из создателей буржуазной драмы во Франции.

[8] Что такое купец сам по себе? Судья сам по себе? Не следует ли дать в подкрепление профессии характер?

[9] Тьерри Огюстен. Опыт истории третьего сословия.

[10] Блэкмор Ричард (1650—1729) — автор обширных теологических и поэтических произведений. В 1695 г. написал поэму в 10 песнях «Принц Артур», в предисловии к которой нападал на распущенность современной ему комедии. У Плеханова «Принц Артур» ошибочно назван драмой.

[11] «The conscious lovers» (Сознательные любовники) — комедия известного английского писателя Ричарда Стиля (1672—1729), стремившегося в своих комедиях отрешиться от непристойностей драматургов эпохи реставрации и заменить их морализированием.

[12] Сиббер Колли (1671—1757) — автор ряда пьес социального характера, из которых особенно известна комедия «Careless Husband» (Беспечный муж).

[13] Лилло Джордж (1693—1739) — английский драматург, первый перенесший на сцену трагику простой мещанской жизни. Наиболее известна его трагедия «Джон Барнуэлл или Лондонский купец».

[14] Мур Эдуард (1712—1757) — поэт и драматург, автор буржуазной трагедии «Игрок», до сих пор еще удержавшейся на английской сцене.

[15] Геттнер Германн. История французской литературы восемнадцатого столетия. Брауншвейг. 1881.

[16] Бушэ Франсуа (1703—1770) — французский живописец, автор ряда картин, полных эротики и отличающихся грацией и изяществом, но поверхностных и манерных.

[17] Гонкуры братья Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870) — французские писатели, выдвинувшие в противовес «демократическому» натуралистическому роману Золя и др. теорию «документированного» романа о «высшем свете». Импрессионизм, эстетизм, изощренность, психологическая замкнутость их творчества характеризует его как искусство рантьерской аристократии. Ими написаны так же этюды о живописи «Искусство XVIII века» (1856—1865 гг., три тома), откуда и взята последующая выписка, приводимая Плехановым.

[18] Фрагонар Жан-Оноре (1734—1806) — французский живописец и гравер, ученик Бушэ.

[19] «Salons» (Салоны) — критические заметки Дидро о произведениях искусства, появлявшихся на периодических выставках в Париже («салонах»).

[20] Придворный живописец.

[21] Грез Жан-Батист (1725—1805) — французский живописец, автор картин, проникнутых духом буржуазной морали.

[22] «Деревенская невеста» — картина Греза, сюжетом которой служит подписание брачного контракта.

[23] Давид Жан Луи (1748—1825) — французский живописец эпохи Великой французской революции и империи, глава классической школы во Франции. В эпоху революции Давид был якобинцем и писал картины на революционные события или прославляющие республиканские доблести. В эпоху империи Давид— придворный живописец Наполеона. С Давида началось возрождение французского искусства, дошедшего до крайней степени манерности.

[24] Ролан Манон Жанна (1754—1793) — политическая деятельница Великой французской революции, жирондистка. Оставила интересные мемуары, которые и имеет здесь в виду Г. В. Плеханов.

[25] Плеханов имеет в виду книгу Ernest Chesneau, «Les chefs d'école» Paris. 1883. Книга эта имеется в библиотеке Плеханова с его отметками. На стр. 10 отчеркнуто карандашом несколько строк, которые, как видно из дальнейшего текста, и должны были явиться той выпиской, о которой упоминается здесь. Приводим ее.

«В последние годы царствования Людовика XVI всеобщее увлечение древними республиками вызвало в официальном мире живой интерес к художественному воспроизведению — в пластике, живописи и литературе — подвигов греческих и особенно римских героев. Уступая этому направлению французского вкуса, господин д'Анживиллье, директор всех королевских зданий, поручил Давиду нарисовать две картины, окончательно упрочившие его репутацию: «Клятва Горациев» и «Ликторы, приносящие Бруту тело его сына».

Все это место, заключенное нами в квадратные скобки (от слова «Удивительно» до слова «тогдашними») Плехановым зачеркнуто. Этим и об'ясняется отсутствие в конспекте выписки. Мы берем перевод ее из статьи Плеханова «Об экономическом факторе», где она приводится целиком. Последующая выписка взята из той же книги Chesneau, «Chefs d'école».

[26] Ван Лоо, Карл (1705—1765) — голландский художник, работавший во Франции. Работал одновременно с Бушэ во внешне сходном стиле, но отличался большей серьезностью замысла и исполнения. Историческая ценность его работ для XVIII в. весьма значительна.

[27] Шедевры республиканской гордости.

[28] Сеточка.

[КОНСПЕКТ РЕФЕРАТА «ИСКУССТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБ'ЯСНЕНИЯ ИСТОРИИ»]

Предлагаемый конспект есть один из многочисленных неопубликованных конспектов Плеханова по искусству. Значительная часть этих конспектов, подобно настоящему, относится к вопросам искусства первобытных народов и находится в тесной связи с статьями Плеханова о первобытном искусстве, известными под заглавием «Писем без адреса». Но опубликованные «Письма без адреса» не исчерпывают всего написанного Плехановым на эту тему. В его архиве имеются рукописи, подобранные из разрозненных листов, которые являются частью вариантами опубликованных «Писем без адреса», частью их продолжением. Соответственно с этим и некоторые конспекты плехановских лекций по первобытному искусству находятся в связи с этими, еще не опубликованными материалами. К таковым принадлежит и печатаемый ниже конспект.

Установить с точностью дату его написания не представляется возможным. Плеханов начинает интересоваться вопросами искусства с материалистической точки зрения уже в конце 90-х, начале 900-х гг., несмотря на то, что в этот период он был еще поглощен борьбой с бернштейнианством. «Письма без адреса» печатались в 1899—900 гг. В 1905 г. Плеханов снова возвращается к вопросам искусства, но уже у цивилизованных народов. Последняя его теоретическая статья об искусстве относится к 1912 г. За этот долгий период Плеханов неоднократно читал лекции об искусстве в Париже, в Женеве и других городах. Отсутствие более подробных сведений лишает нас возможности точной датировки настоящего конспекта. Единственное предположение, которое тут можно высказать с некоторым вероятием,—это что он относится скорей всего к началу 900-х гг., так как именно в это время Плеханов работал над статьями о первобытном искусстве. Такое предположение подтверждается и перепиской с Р. М. Плехановой, из которой видно, что в 1904 г. после Брюссельской международной конференции Плеханов прочел ряд лекций по первобытному искусству в русских колониях Брюсселя, Льежа и Парижа. В одном из писем, датированных 22 февраля 1904 г., он просит Р. М. выслать ему в Париж некоторые книги по первобытному искусству. Конечно, этот цикл лекций не был единственным.

Рукопись, с которой печатается настоящий конспект, представляет собой автограф, состоящий из 6 листов, исписанных с обеих сторон.

ИСКУССТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБ'ЯСНЕНИЯ ИСТОРИИ

Лекция I

Возможный упрек. Я социаль-демократ, но именно потому — человек: человек есмь и ничто человеческое мне не чуждо. А для того, кто не чужд ничего человеч[еского], вопросы теории, науки, философии всегда имели и всегда будут иметь огромное значение. А из этих вопросов так наз[ываемая] филос[офия] истории имеет едва ли не самый захватывающий интерес. Тут теория чрезв[ычайно] близко подходит к практике. Найти скрытые пружины общ[ественного] развития значит научиться содействовать [ему], значит облегчить себе работу на пользу людей. Выяснить себе, что надо делать, чтобы die Menschen zu bessern und zu bekehren[1]. Вот почему фил[ософия] истории всегда была одной из благ[ороднейших] задач человеч[еского] духа. Философия истории нашего времени = мат[ериалистическое] об'ясне-

ние истории. Разрабатывать его значит углубить ту теорию, которая ближе всего подходит к нашей практике. Но тут важнее всего об'яснить идеологии. Что политика вытекает из экономики, это понятнее. А вот об'ясни[те]религии, фил[ософию], искусство. Это я и попытаюсь сделать. Мне чужды всякие претензии, но мне хочется посмотреть, есть ли в современной науке мат[ериал], дающий возможность об'яснить искусство с точки зрения историч[еского] материализма.

Терминология. Что такое искусство?

I. Белинский [2].

II. Историч[еский] мат[ериализм] «все об'ясняет посредством экономии». А все об'яснять посредством экономии значит думать, что люди всегда руководствуются эгоистическим расчетом. Это пустяки. Примеры. Дикари с их коммунизмом. Тут надо об'яснить, каким образом их экономич[еская] деятельность и разные свойства этой деятельности развили этот альтруизм и вообще разные чувства. Значит мы не отрицаем этих чувств. То же самое и вообще с психологией. Мы не отрицаем, что есть известные психологические законы. Но мы спрашиваем, каковы были те исторические условия, под влиянием которых действие психологич[еских] законов привело к возникновению, положим, буржуазной драмы в Англии и Франции? Или школы Бушэ при Люд[овике] XV? И мы говорим: в последнем счете эти причины коренятся в экономии. Тут такая последовательность:

1) Экономия,

2) Общественный строй,

3) Общая психология среды,

4) Идеологии на основе этой психологии: частные случаи данного психологического состояния. Мы увидим, что это осложняется неоднородностью среды. Классы и их борьба. Но именно потому, что усложняется, возьмем общество без классов [3].

1) Самые низшие из известных нам: 1) бушмены; 2) австралийцы; 3) негритосы Филиппинских островов; 4) минкопы Андаманских; 5) огнеземельцы; 6) малорослые племена центральной Африки; 7) жители полярных стран. Это так называемые охотничьи племена.

2) Ископаемый человек, те племена, которые жили в средней Европе, когда в ней водился северный олень.

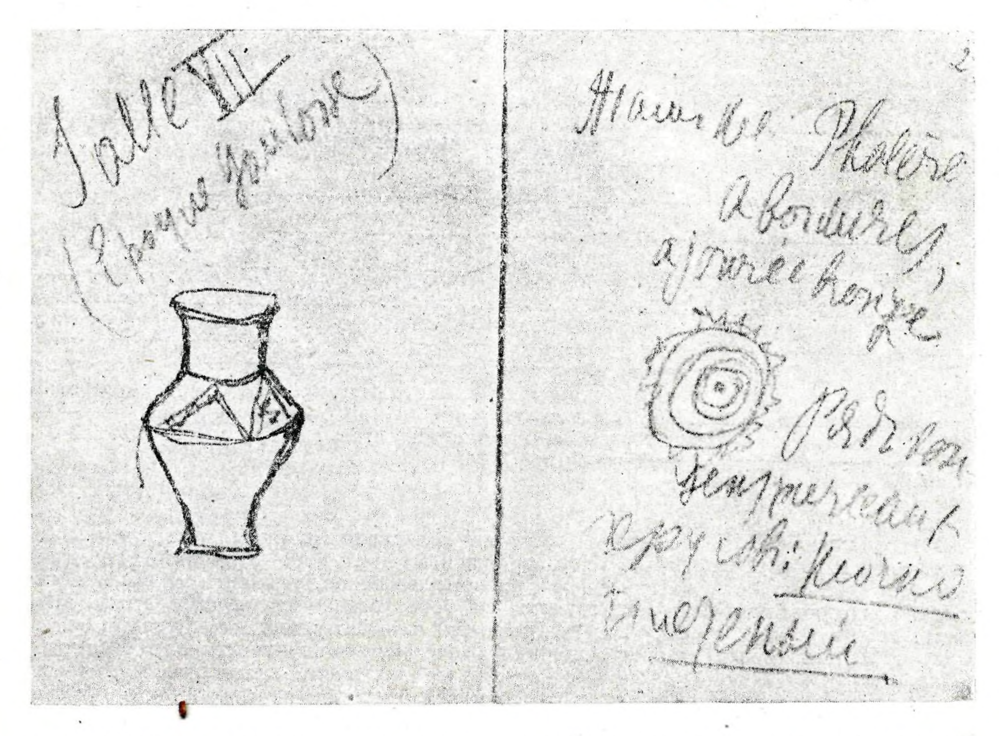
Собирание готовых даров природы=низшая ступень — Sammelvolk (Панков) [4].

Но их мы не знаем.

Психология. Предварит[ельное] замечание насчет Дарвина. Его теория полового подбора. Возражения Уоллеса [5].

Можно ли говорить об искусстве этих племен? Очень можно. Надо сказать, что эти племена отличаются большой любовью — как бы вы думали, к чему? К живописи, а иные к скульптуре. Музеи бушменов и австралийцев. Изделия эскимосов в британском музее. Изделия древне-каменного периода. Географические карты. Очень любят рисовать. Фон-ден-Штейнен говорит, что бразильские индейцы, сопровождавшие его в его путешествии по центр[альной] Бразилии, останавливаясь на привале, на берегу реки, любили чертить на песке изображения рыб. Мало того, тот же фон-ден-Штейнен говорит, что однажды он нашел на песке, на берегу, изображение одной поро-

ды рыбы; он приказал закинуть в воду сеть и оказалось, что в реке водится много рыбы именно этой породы. Это — указание, даваемое одним рыболовом другому. Рисование здесь еще не искусство; оно преследует утилитарную цель. Это орудие в борьбе за существование, средство производства. Охотник бродит; ему нужно средство сообщения; он научается рисовать предметы и даже карты. Выписка из Иохельсона[6]. Кроме того он изощряет свои органы чувств — он наблюдает нравы животных, все их движения (танцы). Отсюда способность рисовать. Австралийские дети, попадающие в английские школы, поражают своих учителей искусством рисов[ания].



ЗАРИСОВКИ И ЗАМЕТКИ ПЛЕХАНОВА В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ИМ МУЗЕЯ ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕН-ЖЕРМЕНСКОМ ПРЕДМЕСТЬЕ В ПАРИЖЕ

С подлинника, хранящегося в Доме Плеханова

А раз нужда заставляет дикаря учиться рисовать, раз развивается эта его художественная способность, у него возникает потребность упражнять эту способность. Отсюда бескорыстное творчество — художественная деятельность. Что это так, показывает вот что. Охотники изображают охотнее всего сцены охоты, или тех животных, на которых они охотятся. Растения изображаются до последней степени редко. Замечание Гроссе [7]. Возражение Марилльe. Мой ответ Марилльe [8]. Какие животные чаще всего изображаются? Те, которые играют наибольшую роль в жизни дикаря.

То же и с украшениями, орнаментикой. Геометрические изображения на оружии и на щитах дикарей. Какое прежде придавали значение этим линиям? Они изображают шкуры животных [9].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Улучшить и переделать людей.

[2] Плеханов имеет в виду следующее определение Белинского, приводимое им в одном из неопубликованных конспектов об искусстве: «Искусство — особый род духовной деятельности, предмет ее — истина».

[3] В одном из неопубликованных конспектов об искусстве Плеханов снова возвращается к этой мысли:

«Исторический материализм. Выписка из Энгельса, развитие научного социализма, стр. 25-ая *. Пояснения. Взгляд Сен-Симона на греческий быт **. Теперь, как об'яснить явления интерес[ующей] нас области. Пример: поэзия, драма, буржуазная трагедия, ее судьба — довольно сложная. Как об'яснить ее? Другой пример: живопись: школа Бушэ, школа Давида. Как об'яснить это тем, «как и что производится и как обмениваются продукты». „Hic Rhodos, hic salta“ ***. Художественная деятельность — одна из самых отдаленных от экономии. Тем интереснее.

Чтобы об'яснить — надо помнить, что тут это об'яснение дается собственно в последнем счете. Тут вот что:

Ср. Ратцеля ****.
1) состояние производительных сил,
2) экономия,
3) социальный строй,
4) психология,
5) идеологии.

Значит вы считаетесь с психологией? Ну, еще бы нет! Речь идет не о том, чтобы отрицать психологию, а о том, чтобы об'яснить психологическое развитие. Альтернатива: или псих[ологическая] природа неизменна, или она изменяется. В обоих случаях она не об'ясняет истории искусства. Примеры.

Подражание, 17-й век во Франции: Bourgeois gentilhomme *****, эпоха революции — противоположность. Почему? Об'ясняется состоянием самой буржуазии. Уже этот пример показывает важное значение борьбы классов.

Мы рассмотрим, во-первых, такое состояние общества, где нет классов; второе — где существуют классы и их борьба...».

* «Материалистическое понимание истории зиждется на том положении, что производство и обмен продуктов служат основанием всякого общественного строя; что в каждом историческом обществе распределение продуктов, а с ним и образование классов или сословий, зависит от того, как и что производится этим обществом и каким способом обмениваются произведенные продукты. Отсюда следует, что коренных причин социальных перемен и политических переворотов нужно искать не в головах людей, не в более или менее ясном понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменении способов производства и обмена; другими словами — не в философии, а в экономии данной эпохи».

** Сен-Симон считал, что у греков «религиозная система послужила основанием политической системы... Эта последняя была создана по образцу первой». Сама же религиозная система, по его мнению, вытекала из совокупности их научных понятий, из их научной системы мира (см. Плеханов «Письма без адреса». Письмо первое. Соч., т. XIV, стр. 3).

***«Здесь Родос, здесь и прыгни». В двух баснях Эзопа говорится о хвастуне, который ссылался на свидетелей, что он однажды в Родосе совершил замечательный прыжок; на это ему ответили: «зачем свидетели, когда это верно. Вот тебе Родос, здесь и прыгни».

**** По всей вероятности Плеханов имел в виду следующие высказывания Ратцеля, заимствованные из его книги „Völkerkunde“. Leipzig, 1887, т. I, стр. 17, и переведенные им на отдельном листе, найденном среди его многочисленных выписок по вопросам о первобытном искусстве:

«Ратцель,

(Матер[иальная] культура предшествует духовной).

Сумма культурных приобретений каждой ступени развития каждого народа составляется из приобретений духовных и материальных. Они получаются не одинаковыми средствами и не одновременно. В основе духовного культурного имущества лежит материальное... Поэтому каждый вопрос, относящийся к происхождению культуры, сводится к следующему вопросу: Что содействует развитию материальных основ культуры?»

***** Мещанин во дворянстве.

[4] Плеханов имеет здесь в виду следующее место из статьи Hellmuth'a Panckow'a в „Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin" (Журнал этнографического общества в Берлине), т. XXX, № 3, стр. 162:

„Das Sammelvolk und nicht das Jägervolk müsse danach an dem unteren Ende einer wirtschaftlichen Stufenleiter des Menschheit stehen". (Собирающие племена, а не охотничьи, должны стоять на нижней ступени хозяйственной лестницы человечества.)

[5] Приводим выписку из Уоллеса, приложенную к одному из неопубликованных конспектов Плеханова об искусстве:

„Wallace. Le Darwinisme

Il m'a toujours semblé que cette théorie ne reposait sur aucune preuve, et qu'elle était aussi tout à fait inadéquate aux faits. p. 369.

У птиц: необходимость высиживания яиц (p. 372).

Pendant cette opération elles sont exposées à la vue et à l'attaque de nombreux ennemis, mangeurs d'oeufs et d'oiseaux; il est donc d'une importance vitale qu'elles soient protégées par la couleur dans toutes les parties de leur corps qui sont en vue pendant l'incubation. p. 372.

СТРАНИЦА ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО КОНСПЕКТА ПЛЕХАНОВА «ИСКУССТВО»

С подлинника, хранящегося в Доме Плеханова

Есть зависимость между le mode de nidification et la couleur de femelles. p. 375.

... Un surplus d'énergie vitale produisant une croissance anormale des parties du tégument où abondaient l'action musculaire et l'action nerveuse ... le développement continu de ces accessoires en sera le résultat par l action ordinaire de la sélection naturelle, en conservant les individus les plus sains et les plus vigoureux, et aussi par l'action sélective de la lutte sexuelle en donnant les plus forts et les plus énergiques pour pères à la génération suivante. p. 395.

L'étalage des plumes sera le résultat des mêmes causes qui ont amené leur production ... L'étalage des plumes, comme leur existence même, devenant la principale indication externe de la maturité et de la vigueur du mâle, et, par conséquent, attirerait nécessairement la femelle. Nous n'avons donc aucune raison [attribuer] á celle ci aucune des émotions esthétiques qu'excitent chez nous les beautés de la forme, de la couleur ou du dessin de ces plumes; ou des goûts esthétiques moins vraisemblables encore qui lui feraient choisir son compagnon en raison de différences de détail dans les formes, les couleurs ou les dessins. p. 396".

В переводе:

Уоллес. Дарвинизм

Мне всегда казалось, что эта теория абсолютно бездоказательна и что она совершенно не соответствует фактам — стр. 369.

У птиц: необходимость высиживания яиц (стр. 372). Во время этой операции они находятся на виду и под угрозой нападения многочисленных врагов — пожирателей яиц и птиц; поэтому, жизненной необходимостью для них является защитная окраска всех частей тела, находящихся на виду во время высиживания (стр. 372).

Есть зависимость между способом устройства гнезд и окраской самок (стр. 375).

...Избыток жизненной энергии вызывает ненормальный рост тех частей оперения, в которых изобилует мускульная и нервная энергия... результатом этого является непрерывное развитие этих частей, что происходит путем естественного отбора, сохраняющего наиболее сильные и здоровые особи, и также путем полового подбора, делающего самых сильных и энергичных отцами следующего поколения (стр. 395).

Выставление напоказ перьев, как и самое их существование, становясь главным внешним показателем силы и зрелости самца, неизбежно должно привлекать к себе самку. Таким образом у нас нет никаких оснований [при-

писывать] последней какие бы то ни было эстетические эмоции, подобные тем, что у нас возбуждает красота формы, окраски, рисунка этих перьев или же, что еще менее правдоподобно, эстетические вкусы, заставляющие ее выбирать себе самца в силу незначительных отличий в форме, окраске или рисунке его оперения.

[6] Плеханов вероятно имеет здесь в виду следующее место из брошюры Иохельсона: «По рекам Ясачной и Коркодону. Древний и современный юкагирский быт и письмена», П., 1898 г.:

«Полагают, что средство для передачи друг другу своих мыслей, кроме как устной речью, которой можно пользоваться лишь в непосредственных сношениях, было найдено первобытными народами после развития языка. Мне кажется, что зачатки письменного и звукового выражения мыслей и чувств могли зародиться одновременно. Даже в животном мире мы видим зародыши письмен. След ведет волка к оленю. Последний своими ногами сообщает первому о том, что он прошел и по какому направлению пошел. В жизни первобытного охотника то, что животные пишут своими ногами, имело важное значение, и след мог быть прототипом письма... Таким образом след мог служить образцом для употребления сознательных знаков при сношении людей на расстоянии. Но знаки эти вначале были простым изображением выражаемого ими предмета или понятия, и точность изображения была тесно связана с искусством».

Место это находится на стр. 33—34 имеющегося в плехановской библиотеке экземпляра брошюры Иохельсона. Оно заключено Плехановым в скобки. Мы опускаем еще одно отмеченное Плехановым место, где Иохельсон развивает те же мысли более детально.

[7] Плеханов имеет в виду по всей вероятности место из книги Гроссе „Die Anfänge der Kunst. Freiburg, 1894“, приводимое им в первом из опубликованных «Писем без адреса»:

«Мотивы орнаментики, заимствуемые охотничьими племенами из природы, состоят исключительно из животных и человеческих форм; они выбирают, стало быть, именно те явления, которые имеют для них наибольший практический интерес. Собирание растений, которое, конечно, тоже необходимо для него, первобытный охотник предоставляет, как занятие низшего рода, женщине, и сам вовсе не интересуется ими. Этим об'ясняется то, что в его орнаментике мы не встречаем даже и следа растительных мотивов, так богато развившихся в декоративном искусстве цивилизованных народов. В действительности, переход от животных орнаментов к растительным является символом величайшего прогресса в истории культуры — перехода от охотничьего быта к земледельческому».

[8] Марилльe (Marillier) Леон (1842-1901), французский ученый, профессор психологии и этики в Севрской высшей школе. В буржуазной науке считался авторитетом в вопросах истории и психологии религии первобытных народов. Основными трудами Марилльe являются монография „La survivance de l'âme et l'Idée de justice chez les peuples non civilisés“ (P. 1884) и обработка книги A. Lang'a „Mythes, cutzes et rebigions“ (P. 1896). Кроме того Марилльe поместил много статей в редактировавшимся им (совместно с Reville'ем) журнале „Revue de l'Histoire des Religions“. Одну из этих статей—„La place du totémisme dans l'évolution religieuse“ (RHR. 1897, № 36, стр. 208-243) Плеханов и имеет здесь вероятно в виду. Выписки из статьи и возражения на нее Плеханова разыскать не удалось.

[9] Наименее изученной частью архива Плеханова, находящегося в Доме Плеханова, являются его записные книжки и тетрадки с выписками из разных изданий.

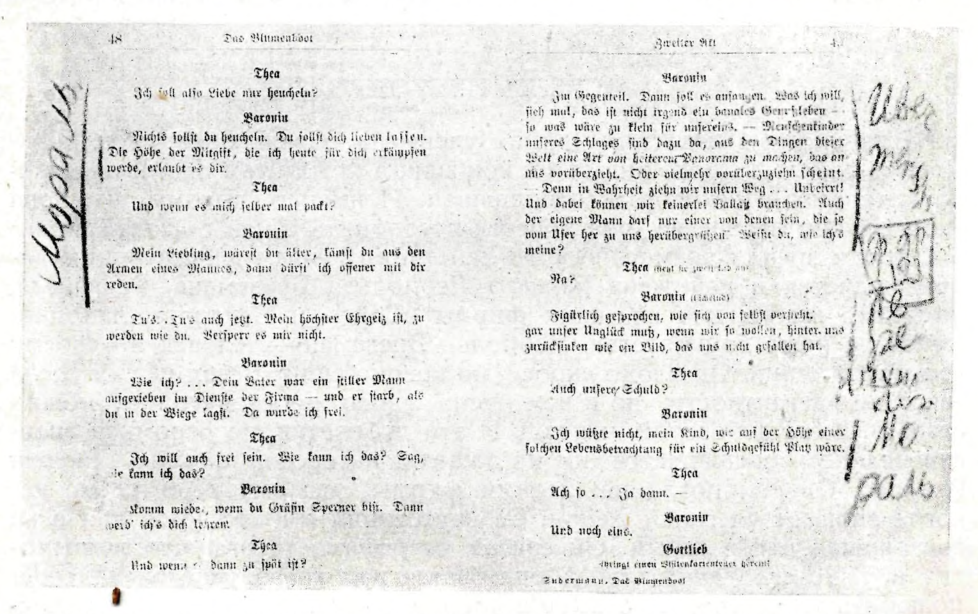
В записных книжках Плеханова имеется громадный материал, рисующий его взгляды на различные философские, литературные и искусствоведческие события различных эпох. Так, например, сохранилась записная книжка, заполненная его рисунками и записями о впечатлениях от Музея первобытной культуры в Сен-Жерменском предместье в Париже (два листка этой записной книжки воспроизведены на 83 странице). Не мало записных книжек наполнены различными литературными замыслами Плеханова, в частности, несколько книжек посвящены различным его записям о Белинском (два листка из этой книжки воспроизведены на 113 странице).

Тетради с выписками Плеханова из различных источников напоминают по своему внешнему виду знаменитые философские тетради Ленина: рядом с выписками из источников имеются различные замечания самого Плеханова по поводу того или иного отрывка.

Изучение и опубликование всего этого фонда записных книжек и тетрадей с выписками — общее число их доходит до 170 — несомненно будет иметь большое значение в изучении литературного наследства Плеханова.

[ОТРЫВОК КРИТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ О ДРАМЕ ЗУДЕРМАНА «СРЕДИ ЦВЕТОВ»]

Найденный среди рукописей Плеханова отрывок критической статьи о драме Зудермана «Среди цветов», к сожалению, обрывается в самом начале и не дает возможности предугадать замысел автора. Некоторый свет в этом отношении проливают заметки и отметки Плеханова на имеющемся в его библиотеке экземпляре книги Зудермана „Das Blumenboot" («Среди цветов»). Среди многочисленных заметок особенно обращают на себя внимание те, где против отчеркнутых мест имеется слово «мораль»; таких мест больше всего и относятся они к речам самых различных персонажей. Несколько раз повторяются такие заметки, как «Ницше»,


48 Das Blumenboot

Thea

Ich soll also Liebe nur heucheln?

Baronin

Nichts sollst du heucheln. Du sollst dich lieben lassen. Die Höhe der Mitgift, die ich heute für dich erkämpfen werde, erlaubt es dir.

Thea

Und wenn es mich selber mal packt?

Baronin

Mein Liebling, wärest du älter, kämst du aus den Armen eines Mannes, dann dürft' ich offener mit dir reden.

Thea

Tu's. Tu's auch jetzt. Mein höchster Ehrgeiz ist, zu werden wie du. Versperr es mir nicht.

Baronin

Wie ich? ... Dein Vater war ein stiller Mann — aufgerieben im Dienste der Firma — und er starb, als du in der Wiege lagst. Da wurde ich frei.

Thea

Ich will auch frei sein. Wie kann ich das? Sag, wie kann ich das?

Baronin

Komm wieder, wenn du Gräfin Sperner bist. Dann werd' ich's dich lehren.

Thea

Und wenn es dann zu spät ist?

Zweiter Akt 49

Baronin

Im Gegenteil. Dann soll es anfangen. Was ich will, sieh mal, das ist nicht irgend ein banales Genußleben — so was wäre zu klein für unsereins. — Menschenkinder unseres Schlages sind dazu da, aus den Dingen dieser Welt eine Art von heiterem Panorama zu machen, das an uns vorüberzieht. Oder vielmehr vorüberzuziehn scheint. — Denn in Wahrheit ziehn wir unsern Weg ... Unbeirrt! Und dabei können wir keinerlei Ballast brauchen. Auch der eigene Mann darf nur einer von denen sein, die so vom Ufer her zu uns herübergrüßen. Weißt du, wie ich's meine?

Thea

Na?

Baronin

Figürlich gesprochen, wie sich von selbst versteht. Gar unser Unglück muß, wenn wir so wollen, hinter uns zurücksinken wie ein Bild, das uns nicht gefallen hat.

Thea

Auch unsere Schuld?

Baronin

Ich wüßte nicht, mein Kind, wie auf der Höhe einer solchen Lebensbetrachtung für ein Schuldgefühl Platz wäre.

Thea

Ach so ... Ja dann. —

Baronin

Und noch eins.

Gottlieb

(bringt einen Visitenkartenteller herein)

Sudermann, Das Blumenboot

СТРАНИЦЫ 48 И 49 ЭКЗЕМПЛЯРА НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ ДРАМЫ ЗУДЕРМАНА «СРЕДИ ЦВЕТОВ», ИСПЕЩРЕННОГО ПОМЕТКАМИ ПЛЕХАНОВА

Экземпляр книги хранится в Доме Плеханова

„Uebermensch" (сверхчеловек), „Wille" (воля), „личность" и т. д. Все это позволяет предположить, что Плеханов имел в виду в своей статье выявить мораль той общественной группы, которую рисует Зудерман, и особенно подчеркнуть отражение в ней ницшеанских влияний.

В полном согласии с этим предположением находятся и те высказывания Плеханова о драме Зудермана, которые мы встречаем в его статьях „Militarismus militans" (1908 г.) и «Искусство и общественная жизнь» (1912 г.). В обеих статьях Плеханов цитирует одно и то же место из драмы Зудермана.

«У Зудермана в его очень интересной пьесе „Das Blumenboot", — пишет он в статье «Искусство и общественная жизнь», — баронесса Эрффлинген говорит своей дочери Тэе в первой сцене второго действия: «Люди нашего разряда существуют затем, чтобы из вещей этого мира создавать что-то вроде веселой панорамы, которая проходит перед нами, или, вернее, кажется проходящей. Потому что на самом-то деле в движении находимся мы. Это несомненно. И при этом нам не надо никакого балласта». Этими словами как нельзя лучше обозначена жизненная цель людей того разряда, к которому принадлежит г-жа Эрффлинген, людей, которые с полнейшим убеждением могут повторить слова Баррэса: «Единственная реальность, это — наше я». (Собр. соч., т. XIV, стр. 168).

В статье „Militarismus militans“ он комментирует то же место следующим образом: «Другими словами, это значит, что люди, вроде этой блестящей баронессы, которая, кстати сказать, происходила из самого буржуазного рода, должны воспитать себя так, чтобы на все совершающееся в мире смотреть исключительно с точки зрения своих личных, более или менее приятных переживаний» (Собр. соч., т. XVII, стр. 20).

Как мы видим, Плеханов возвращался к драме Зудермана в таких различных по своей теме статьях, как «Искусство и общественная жизнь» и „Militarismus militans“ именно в связи с вопросом об индивидуалистической морали буржуазии.

Из задуманной столь интересно статьи в архиве сохранилось только пять листков, видимо вырванных из тетради, исписанных с одной стороны чернилами рукой Плеханова, с многочисленными поправками.

Приводим фотографические снимки наиболее характерных заметок Плеханова на книге Зудермана [1].

«СРЕДИ ЦВЕТОВ»

Насколько мне известно, драма Зудермана «Среди цветов» не обратила на себя большого внимания критики, а между тем она чрезвычайно интересна в некоторых отношениях. И именно потому, что она чрезвычайно интересна, мне хочется поговорить о ней с читателем.

С точки зрения драматического действия главным действующим лицом является в ней жена некоего Леопольда Бреземана, Раффаэла, выданная замуж для спасения фирмы «Гойер и Вендрат», находившейся на краю банкротства. Леопольд Бреземан — человек по своему весьма хороший. Он плохо скроен, но крепко сшит. В нем нет ни следа светской элегантности, но в нем очень много простоватой и, можно сказать, даже дубоватой энергии. И эта дубоватая, но огромная энергия целиком посвящается им на защиту интересов фирмы Гойер и Вендрат. Он так поглощен делами фирмы, что ему решительно некогда заниматься своей женой. Ее внутренний мир остается для него совершенно неизвестным. Он совсем не понимает того, что происходит в душе его Раффаэлы. А она бьется над неразрешимой задачей: полюбить уважаемого, но нелюбимого человека. Она стремится к точному исполнению того, что она считает своим долгом. Но силы стали слабеть с тех пор, как перед ней появилось искушение в лице «охотника на львов» доктора фон-Шверте. Ей нужна поддержка, а поддержки нет ни откуда. Она просит мужа уехать с нею куда-нибудь подальше, но мужу нельзя отлучиться из Берлина,—где происходит значительная часть действия,— да и не понимает он, зачем это нужно. Желание его жены представляется ему пустым капризом светской женщины. По этому поводу у него происходит характерный разговор с нею.

Раффаэла. Леопольд, у меня к тебе большая, большая просьба.

Бреземан. Ну, так говори скорее, мое дитя!

Раффаэла. Уедем куда-нибудь отсюда.

Бреземан. Уехать? Зачем? Куда?

Раффаэла (с тоской). Леопольд, ты не знаешь, что во мне происходит. Ты мне нужен. Мне нужно уединение.

Бреземан (смеясь). Это значит, я должен ехать — ха-ха-ха! Аббация, Канны, вилла Иджеа, Каир. Таково ваше уединение. Ты это хочешь сказать?

Раффаэла. Все равно. Туда, где я могла бы прилепиться к тебе, склонить свою голову на твое плечо. Ничего не видеть. Ничего не слышать. Ни о чем не думать.

72 Das Blumenboot

Baronin

Vater, du selbst hast mir doch schon vorhin die Ziffer genannt, die du —

Brösemann

Aha!

Baronin

Willst du nicht das Wort nehmen, Vater? Sprich doch endlich deinen Willen aus, Vater!

Der alte Hoyer

Meinen Willen — ja. — Aber is noch nich der letzte Wille — nee, noch lange nich. Na, denn helft mir mal ein bißchen hoch ... (Raffaela und Fred tun es) Im Sitzen — da kommen mir die Gedanken nicht. — Seht mal, liebe Kinder, ich hab' euch das nu alles hübsch aufgebaut. Aufgebaut, ja. Denn wir fingen mal klein an. Ganz klein haben wir angefangen — ja. Aber über den Meeren da waltete Gottes Gnade — ja. Erst haben wir nach Südamerika, haben wir Eisenwaren geschickt — ja. Sensen, Herdplatten, Kochtöpfe — ganz gemeine Kochtöpfe, mein kleines Fräulein — hi, hi, hi! (Zeigt Raffaela) Dann haben wir den großen australischen Coup gemacht. Aber davon versteht ihr nichts. Gar nichts versteht ihr. Bloß der Brösemann. Ja. Und da war über dem Pult, — da hing ein Kanarienvogel. Wenn der machte: Tüteritü, tüteritü, dann sagt' ich zu meinem jungen Freund, dem — dem — Wendrath sagt' ich: Du, das glückt. — Und frieher haben wir immer — he, Brösemann, piept euer Kanarienvogel noch?

Brösemann

Gott sei Dank, Großvater, der piept fleißig.

Zweiter Akt 73

Der alte Hoyer

Na, dann is gut. Ja. Und dann kam der Stolz. Der Stolz kam. Das heißt, der kam nicht. Der war da. Aber Anno siebzig kam. (Schreiend) Da wurde der deutsche Kaufmann was. Da konnten wir unsere Waren unter deutscher Flagge fahren. Deutscher Bürger sein. Überhaupt Bürger sein. Ihr da, wißt ihr, was das ist?

Baronin

Bitte, lieber Vater, erreg dich nicht.

Der alte Hoyer

Denn ich habe meine Hand gehalten über meinem Hause, auf daß Zucht und Sitte darin wohneten, ja — denn die deutsche Bürgertugend das ist kein leerer Schein. Und ich habe stets gesagt zu meinem Sohn. (Leise) Zu meinem Sohn, zu meinem — — Sohn? — — Hab' ich ... Sohn ...! Was hab' ich doch? Ja ... na, fahrt nur fort. (Gähnt) Ich werd' mich inzwischen mal drauf besinnen, ja. (Setzt sich)

Baronin (halblaut zu ihrem Gatten)

Ich bin ratlos.

Baron

Mit deiner Erlaubnis, geliebte Blanka, werde ich jetzt deinem Herrn Brösemann — paß mal auf. (Mit erhobener Stimme) Meine teuersten Verwandten, als der Nächstälteste nach unserem hochverehrten Großvater, der unsere Unterhaltungen nicht selbst zu führen wünscht, nehme ich — Ihre allseitige Zustimmung vorausgesetzt — die Leitung in die Hand.

Brösemann (lächelnd)

Wenn es Ihnen Spaß macht, unter uns sechsen Parlament zu spielen — bitte, bitte!

СТРАНИЦЫ 72 И 73 ЭКЗЕМПЛЯРА НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ ДРАМЫ ЗУДЕРМАНА «СРЕДИ ЦВЕТОВ», ИСПЕЩРЕННОГО ПОМЕТКАМИ ПЛЕХАНОВА

Бреземан (озабоченный). Это было бы хорошо (обнимает ее, гладит по щеке и целует). До свиданья.

Раффаэла (бросается вслед за ним). Леопольд! (Бреземан уходит).

Леопольд ничего не понял. А кроме него и не откуда было ждать поддержки. Мать Раффаэлы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Одновременно с личным архивом Г. В. Плеханова в 1928 году в Ленинград была перевезена вся сохранившаяся до наших дней его библиотека. Большая часть книг этой библиотеки хранит следы работы Плеханова над ними,— они испещрены различными его пометками, отчеркиваниями, замечаниями на полях, нередко являющимися довольно пространными (см., например, здесь воспроизведенное на стр. 103 одно его замечание на втором томе русского издания сочинений Ибсена).

В основном все книги с пометками Плеханова можно разделить на две категории. К одной относятся книги, пометки на которых были использованы им в его работах, т. е. получили развитие и были завершены в виде конспектов, рецензий, статей, исследований... В комментариях к настоящей публикации плехановских материалов и в качестве иллюстраций к ним приведены несколько подобных книг, пометки на которых легли в основу работ Плеханова. Здесь мы находим книги Лансона (см. стр. 54 настоящего тома), Могра (стр. 68 и 73) Шэно (стр. 80), Ибсена (стр. 100 и 101), Герцена (стр. 107), Белинского (стр. 115). Основные замечания Плеханова, имеющиеся на этих книгах, были использованы им в различных работах, но тем не менее внимательное изучение этих пометок делает возможным уточнение и дополнение отдельных его взглядов.

Но имеются и такие книжные пометки Плеханова, которые он не развил в своих работах. Такого рода пометки приобретают нередко значение первоисточника в изучении литературного наследства Плеханова, так как дают возможность восстанавливать целые замыслы его ненаписанных работ. Так, сюда нужно отнести его пометки на экземпляре немецкого издания драмы Зудермана «Среди цветов»; их изучение, несомненно, даст возможность реконструировать замысел его критического разбора, от которого сохранилось только приводимое здесь начало.

В одном из ближайших номеров «Литературного наследства» будут опубликованы пометки Плеханова на произведениях Расина, Корнеля, Вольтера, Пшибышевского («Homo sapiens»), на книгах Лафарга, на четырех выпусках учебника Смирновского «История русской словесности» и др.

[ПЛАН РАЗБОРА ДРАМЫ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА»]

План разбора драмы Леонида Андреева «Жизнь Человека» представляет собой первую стадию работы Плеханова над указанной темой, работы, которая осталась незавершенной. Вообще Плеханов не затрагивает творчества Андреева в своих статьях. Даже в статье «Искусство и общественная жизнь» имя Андреева совершенно не фигурирует. Повидимому Плеханов не любил и не слишком высоко ценил творчество Л. Андреева. Это видно хотя бы из следующей фразы печатаемого конспекта: «Он не гений, он талант (о «Человеке»), да и Андреев тоже». Тем не менее публикуемая нами краткая схема разбора андреевской драмы не является случайным эпизодом в творчестве Плеханова, но сплетена с ним самым тесным образом.

Печатаемый план относится к 1907—1908 г., когда вышла пьеса «Жизнь Человека», опубликованная впервые в литературно-художественном альманахе «Шиповник». Повидимому Плеханов писал под непосредственным впечатлением, вскоре после прочтения пьесы. В 1908 г., в четвертом альманахе «Шиповник» Андреев опубликовал второй вариант последнего действия драмы, под заглавием «Смерть Человека». В этом варианте действие переносится из кабака в дом Человека и вместо «пьяниц» там фигурируют «наследники». Если бы Плеханов писал свой план позднее 1908 г., он без сомнения отметил бы это изменение. Косвенное подтверждение этой датировки мы находим также в упоминаемом в 4-й картине имени Деннерта. Сcсылка на книгу Деннерта „Die Weltanschauung des modernen Naturforschers“, не имеющую прямого отношения к теме плехановского плана, об'ясняется тем, что Плеханов читал ее именно в это время. Книга Деннерта испещрена чрезвычайно интересными пометками Плеханова, имеющими тесную связь с его статьями об эмпириокритиках. Она вышла в 1907 г., т. е. в том году, когда Плеханов готовился к бою против новых философских уклонов от диалектического материализма и против различных попыток реабилитировать религию при помощи марксизма. Именно в эту борьбу и вплетается небольшим звеном печатаемая нами работа.

Весь план, несмотря на его краткость, пронизан одной идеей, все выписанные из драмы Андреева места, все замечания Плеханова сводятся к протесту против упадочничества и индивидуализма. Это горячий протест борца против веры в слепые силы, управляющие жизнью человека, веры в его обреченность, против бессмысленного и одинокого вызова, бросаемого «Человеком» слепому бесстрастному року во имя сознательного и планомерного вмешательства в жизнь и активной борьбы.

План разбора «Жизни Человека» написан рукой Плеханова, размашистым почерком на 3 больших листах, из которых исписаны 4 страницы.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Пролог

Вся жизнь человека с темным началом и темным концом (7).
Жестокая судьба (8).
Слепое неведение (8). Круг железного предначертания (8).
Умрет человек, придя из ночи (8).
Люди — обреченные смерти (9).
Быстротечная жизнь человека (9).

1-я картина

Старухи (их 5), взятые на прокат у Метерлинка[1].
Зачем они рожают?
» » умирают?

Старухи жестоки, они говорят: вот она кричит; разве вам мало этого? (12)

Как одинок всегда крик человека! (12)

«Здесь чувствуется смерть».

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПЛАНА ПЛЕХАНОВСКОГО РАЗБОРА ДРАМЫ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА»

С подлинника, хранящегося в Доме Плеханова

Старухи постоянно смеются — Galgenhumor[2].

Животные легче живут (15) ср. собаку[3].

Родственники — символ пошлости.

Пример: их разговор о квартире (21).

2-я картина

Соседи? почему они добрые? и почему родственники хуже их? соседи также поэтичны (25).

Per che? [4] ср. 26:

29. Счастье приходит к человеку неведомо и также уходит (29).

31. Много хороших людей, а человек может умереть с голоду.

34. Пеер Гюнт [5].

34. Он вызывает на бой Его. Как? В одиночку. В одиночку его не победишь.

Бог — злой недруг человека (35) [6].

36. Пеер Гюнт [7].

36. Во 2-й картине масса поэтических картин.

37. От книг теплая тишина, тут масса поэзии... индивидуализма.

38. Мечта о славе индивидуалистична.

40. Она любит талантливых художников. Это именно жизнь талантливого художника.

3-я картина

Это именно жизнь талантливого художника. Оттого и публика на балу так пошла. Жена в рубинах (лай: 45) [8]. В этой пошлости отражается недовольство художника буржуазным обществом ср. романтиков [9].

48. Почему друзья хороши? Почему враги злы?

4-я картина

58. О линии — ср. Метерлинка «За стенами дома» [10].

59. Где справедливое? Он подходит к природе с точки зрения справедливости. Ср. Деннерта [11].

60. В молитве матери хороша родинка. В молитве человека сказывается

антропоморфизм [12].

Основная ошибка здесь Андреева.

Он не гений, он талант.

Да и Андреев тоже.

У него любовь к природе (ср. 65 шуршат камыши). Но и тут индивидуализм.

Ср. Биографию Толстого. Развить это [13].

66. Бранит его. Антропоморфизм.

66-7. Проклятие «безумной судьбе».

Картина 5-я

68. Комната без одного окна.

68. Кабатчик — символ общественности. Итак, 2 симв[ола]: он и кабатчик. Анд[реев] заним[ается] им. А надо бы кабатчик[ом].

69. Сцена как бы из Метерлинка.

70. Idem.

71. Лучше ужас, чем жизнь. Per che? Ибо жизнь тоже ужас.

72. Сцена из Метерлинка.

73. Vanitas vanitatum [14].

74. Idem.

76. Idem.

77. Он: тише! почему? [15].



«ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА» — КАРТИНА ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА
С подлинника, хранящегося в Институте Новой Русской Литературы

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Непонятно, почему Плеханов подчеркивает число 5. У Андреева оно нигде не указано и из текста не вытекает. Вместе с тем оно не фигурирует и ни в одной из тех пьес Метерлинка, из которых Андреев мог «взять напрокат» своих старух («Слепые», «Принцесса Мален», «Сестра Беатриса» и др.).

[2] Юмор висельника.

[3] Старухи постоянно смеются. Аналогия с собакой. Одна из старух говорит:

«А у меня собака. Я ей каждый день говорю: ты умрешь! — а она осклабляет зубы и весело вертит хвостом».

[4] Почему?

[5] Пеер Гюнт — герой одноименной драмы Ибсена, тип бесплодного фантазера. Он полон несовершенных дел и недодуманных мыслей. Проводя здесь аналогию между Человеком и Пеером Гюнтом, Плеханов имеет в виду именно это свойство уноситься в мир фантазии вместо того, чтобы бороться с реальной жизнью. Человек говорит жене: «Я не позволю тебе плакать. У нас нет ничего, мы бедны, но я расскажу тебе о том, что у нас будет. Я очарую тебя светлой сказкой, яркими мечтами обовью я тебя, как розами, моя царица!»

[6] У Андреева не бог, а Некто в сером, которому Человек бросает вызов:

«Ты еще не победил, злой недруг человека!»

[7] На протяжении длинной сцены Человек фантазирует, рисуя в ярких картинах свои будущие успехи, богатство и славу.

[8] Ремарка Андреева к разговору гостей на балу: «Некоторое время в разных концах отрывисто, звуком, похожим на лай, повторяют только два эти выражения: Как богато! Как пышно!»

[9] Для пояснения мысли Плеханова приводим цитату из его статьи «Искусство и общественная жизнь» (Собр. соч., т. XIV, стр. 128):

«...Эти свидетельства достаточно убедительно показывают, что романтики, в самом деле, находились в разладе с окружавшим их буржуазным обществом. Правда, в этом разладе не было ничего опасного для буржуазных общественных отношений... Новое искусство, которым они так сильно увлекались, было для них убежищем от грязи, скуки и пошлости [буржуазного существования]».

[10] Человек, у которого за сценой умирает сын, говорит:

«Посмотри, жена, вот это я начал чертить, когда наш сын был еще здоров. Вот на этой линии я остановился и подумал: отдохну, а потом буду продолжать опять. Посмотри, какая простая и спокойная линия, а на нее страшно взглянуть: ведь она может быть последней, которую я провел при жизни сына...».

Это место Плеханов сопоставляет с пьесой Метерлинка „Intérieur" (в разных переводах: «За стенами дома», «В доме», «Там, внутри»). В глубине сцены дом, за его освещенными окнами мирная счастливая семья, не подозревающая о совершившейся уже катастрофе — самоубийстве любимой дочери и сестры. Снаружи — люди, знающие о ней, наблюдающие семью через окно и не решающиеся нарушить ее мир страшной вестью. Устами «старика» Метерлинк говорит:

«Они ждут ночи около своей лампы так же просто, как и мы ждали бы около своей; а между тем я вижу их точно с высоты иного мира, и только оттого, что я знаю маленькую правду, которая им еще неизвестна... Ужаснее их спокойствия я ничего не могу себе представить... Они слишком доверчивы к жизни...».

[11] Плеханов имеет здесь в виду книгу Деннерта, которую он читал в это время: Dr. phil. E. Dennert. „Die Weltanschauung des modernen Naturforschers" (Миросозерцание современного естествоиспытателя). Штутгарт. 1907. Из многих отмеченных Плехановым мест этой книги приводим то, которое соответствует его мысли:

«...можно подумать, что система природы, если таковая вообще существует, представляет собой создание духа, который отличается от высоко развитого человеческого духа тем, что он неизмеримо умнее его, не обладая даже в отдаленной степени его нравственностью. Об этом свидетельствует то, на какой грубый и упрощенный лад воздается справедливость — если вообще можно сказать, что она воздается. Если мы сравним ту решительность и суровость, с которой карается природой каждое преступление против «законов природы» (безразлично, совершено ли оно по простому неведению) с нерешительностью и слабостью, с какой она относится к преступлениям против «нравственных законов», мы должны будем почувствовать, что эта система законодательства (если вообще можно ее так назвать) совершенно отлична от той, которую мог бы придумать ум, обладающий сколько-нибудь человеческой психикой» (стр. 203).

[12] Антропоморфизм в обращении Человека к слепому року «Некто в сером» проявляется в олицетворении его, доходящем до такой конкретизации: «Ты старик, и я ведь тоже старик. Ты скорей меня поймешь...».

[13] Плеханов развил эти мысли в статье «Толстой и природа», написанной в 1908 г.

[14] Суета сует.

[15] У Андреева бесстрастный Некто в сером прерывает шушуканье и пересмеивание старух словами: «Тише! Человек умер!»

[ДЕВЯТАЯ ГЛАВА БРОШЮРЫ ОБ ИБСЕНЕ]

Предлагаемая статья представляет собой IX главу брошюры Г. В. Плеханова «Генрик Ибсен». Как известно, эта брошюра состоит из 8 глав. В конце 8-й главы Плеханов обещает впоследствии коснуться «вопроса о том, каким образом мастером драмы в современной всемирной литературе мог сделаться представитель одной из самых неразвитых европейских стран». Это обещание и выполнено Плехановым в IX главе. Сделано это им по просьбе Каутского, при переводе статьи об Ибсене на немецкий язык для научного органа германской социал-демократии „Neue Zeit" («Новое время»). В письме к Плеханову от 6 мая 1908 г. Каутский пишет: «Я только что намеревался отдать в печать вашу превосходную статью об Ибсене в качестве ближайшего приложения, как обратил внимание на то, что вы оканчиваете ее обещанием написать еще о причинах ибсеновского успеха у публики. Появилась ли эта работа? Тогда, пожалуйста, пришлите нам ее поскорее, чтобы мы могли ее опубликовать вместе со статьей об Ибсене». В ответ на это Плеханов 9 мая 1905 г. пишет: «Вопрос о том, чем об'ясняется большой успех Ибсена в странах, далеко не являющихся мелкобуржуазными по существу, интересен сам по себе, но он не требует многих доводов: достаточно главы в несколько страниц». 11 мая 1905 г. Каутский отвечает: «Если прибавление к статье об Ибсене и будет коротким, оно все же будет очень полезным. Поэтому я вас прошу о нем — если я могу его получить в течение двух недель». В письме от 16 мая Плеханов выражает свое согласие: «Решено: через 10 дней я пришлю вам новую главу моей брошюры об Ибсене». А 1 июня он уже сообщает: «Возвращаю вам корректуры моего Ибсена. Перевод мне кажется хорошим» (см. сборник «Группа Освобождения Труда», № 6, стр. 272—284). Статья Плеханова «Генрик Ибсен» вместе с IX главой появилась в приложении к „Neue Zeit" за 1908 г., от 10 июля. По-русски эта глава до сих пор нигде не была напечатана. В архиве Плеханова оказался русский оригинал этой главы. Он представляет собой продиктованную рукопись с поправками рукой Плеханова. Почти все цитаты из Ибсена и Брандеса даны в этой рукописи по-немецки (так как глава эта писалась для немецкого издания); мы же даем эти цитаты в русских переводах, которые вводятся в самый текст статьи.

Рукопись написана в тетради с синей обложкой и заключает в себе 16 листков, исписанных с одной стороны и пронумерованных арабскими цифрами.

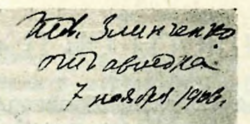
(Для переводчика):

Эта новая IX глава начинается непосредственно после слов: «Ведь на это также должна быть своя общественная причина» (на стр. 64-й русского текста брошюры, строка 5 и 6 сверху): те же строки, которые следуют за указанными словами, должны быть зачеркнуты и заменены нижеследующей рукописью.

IX

Какая же причина? Чтобы найти ее, нужно предварительно выяснить себе социально-психологические условия успеха Ибсена в тех странах Запада, в которых развитие общественно-экономических отношений достигло несравненно более высокой ступени, нежели в Скандинавии.

Брандес[1] говорит: «Чтобы добиться признания за пределами своей страны, недостаточно одной силы таланта. Кроме таланта должна еще быть налицо восприимчивость к нему. Среди своих земляков выдающийся ум либо сам медленно создает эту восприимчивость, либо чутко прощупывает и использует настроения, которые уже существуют



ГЕНРИКЪ ИБСЕНЪ.

Въ лицѣ Генрика Ибсена (родился въ 1828 г.) сошелъ со сцены одинъ изъ самыхъ выдающихся и самыхъ привлекательныхъ дѣятелей современной всемiрной литературы. Какъ драматургъ, онъ былъ едва ли не выше всѣхъ своихъ современниковъ.

Конечно, тѣ, которые сравниваютъ его съ Шекспиромъ, впадаютъ въ очевидное преувеличенiе. Какъ художественныя произведенiя, его драмы не могли бы достигнуть высоты драмъ Шекспира даже въ томъ случаѣ, если бы онъ обладалъ колоссальной силой Шекспирова таланта. Даже и тогда въ нихъ замѣтно было бы присутствiе нѣкотораго нехудожественнаго,—скажу больше,—антихудожественнаго элемента. Кто внимательно читалъ и перечитывалъ драмы Ибсена, тотъ не могъ не замѣтить наличности въ нихъ этого элемента. Именно благодаря этому элементу, его драмы, мѣстами полныя такого захватывающаго интереса, мѣстами становятся почти скучными.

Если бы я былъ противникомъ идейности въ искусствѣ, то я сказалъ бы, что присутствiе указаннаго элемента въ драмахъ Ибсена объясняется тѣмъ, что всѣ онѣ насквозь пропитаны идейностью. И такое замѣчанiе на первый взглядъ могло бы показаться чрезвычайно мѣткимъ.

Но такимъ оно могло бы показаться именно только на первый взглядъ. При внимательномъ же отношенiи

Генрикъ Ибсенъ 1

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУССКОГО ИЗДАНИЯ РАБОТЫ ПЛЕХАНОВА ОБ ИБСЕНЕ С ЕГО АВТОГРАФОМ

Экземпляр хранится в Музее Революции СССР

или назревают. Но Ибсен не мог создать эту восприимчивость среди иноязычных кругов, ничего не знавших о нем, и даже там, где он как будто предчувствовал что-то назревающее, он вначале не нашел никакого отклика».

Это совершенно справедливо. Одного таланта в таких случаях не бывает достаточно. Жители средневекового Рима не только не увлекались художественными произведениями античного мира, но подвергали древние статуи обжиганию для получения из них известки. А потом настало другое время, когда римляне и вообще итальянцы начали увлекаться античным искусством и брать его себе за образец. В то долгое время, в течение которого жители Рима, — да не одного только Рима, — так варварски расправлялись с великими произведениями античной скульптуры, во внутренней жизни средневекового общества медленно совершался процесс, глубоко изменивший его строение, а вследствие этого также и взгляды, чувства и вкусы людей, входивших в его состав. Изменения бытия (des Seins) повели за собою изменения сознания (des Bewusstseins), и только эти последние изменения сделали римлян эпохи Возрождения способными наслаждаться произведениями античного искусства,— вернее сказать, только эти последние изменения и сделали возможным само «Возрождение».

Вообще, чтобы художник или писатель данной страны приобрел влияние на умы жителей других стран, необходимо, чтобы настроение этого писателя или художника соответствовало настроению тех иностранцев, которые читают его произведения. Отсюда следует, что если влияние Ибсена распространилось далеко за пределы его родины, то это значит, что в его произведениях были такие черты, которые соответствовали настроению читающей публики современного цивилизованного мира. Какие же это черты?

Брандес указывает на индивидуализм Ибсена, на его презрительное отношение к большинству. Он говорит: «Первый шаг к свободе и величию заключается в том, чтобы иметь индивидуальность. У кого ее мало, тот только обломок человека, у кого ее совсем нет, тот — нуль. Но только нули равны между собою. В современной Германии снова находят приверженцев слова Леонардо да Винчи: «По своему содержанию и ценности все нули мира равны одному единственному нулю». Лишь здесь достигается идеал равенства. А в мыслящих кругах Германии не верят в идеал равенства. Генрик Ибсен тоже не верит в него. В Германии многие придерживаются того мнения, что вслед за эпохой веры в большинство наступит эпоха веры в меньшинство, и Ибсен из тех, кто верит в меньшинство. Наконец, многие ут-

верждают, что путь к прогрессу ведет через изоляцию личности. Эту мысль разделяет и Генрик Ибсен».

Здесь опять Брандес отчасти прав. Так называемые мыслящие круги Германии (denkende Kreise Deutschlands) действительно совсем не расположены ни к «идеалу равенства», ни к «вере в меньшинство». Факт этого нерасположения верно указан Брандесом. Но он ошибочно об'ясняется им. В самом деле, у него выходит, что стремление к идеалу равенства несовместимо с стремлением к развитию личности, и что именно по этой причине «мыслящие круги Германии» отворачиваются от названного идеала. Но это неверно. Кто решится утверждать, что «мыслящие круги» Франции накануне Великой революции менее дорожили интересами «личности», нежели те же круги современной нам Германии? А между тем тогдашние «мыслящие» французы несравненно благосклоннее относились к идее равенства, нежели нынешние немцы. Большинство (Majorität) тоже пугало этих французов несравненно меньше, нежели оно пугает нынешних «мыслящих» немцев. Никто не усомнится в том, что аббат Сиейс[2] и его единомышленники принадлежали к «мыслящим» французским кругам того времени, а между тем у Сиейса главным доводом в пользу интересов третьего сословия служило именно то обстоятельство, что они были интересами б о л ь ш и н с т в а, расходившимися лишь с интересами небольшой кучки п р и в и л е г и р о в а н н ы х. Значит, дело тут вовсе не в свойствах самого идеала равенства или самой идеи большинства, а в тех исторических условиях, при которых «мыслящим кругам» данной страны приходится иметь дело с этими идеями. Мыслящие круги Франции XVIII в. стояли на точке зрения б о л е е и л и м е н е е р е в о л ю ц и о н н о й буржуазии, которая в своей оппозиции против духовной и светской аристократии сознавала себя солидарной с огромной массой населения, т. е. с «большинством». Нынешние же «мыслящие круги Германии», — и не только Германии, а и всех тех стран, в которых вполне установился капиталистический способ производства, — держатся в огромнейшем большинстве случаев точки зрения буржуазии, п о н я в ш е й, ч т о е е к л а с с о в ы е и н т е р е с ы б л и ж е к и н т е р е с а м а р и с т о к р а т и и, — которая, впрочем, тоже вполне прониклась теперь буржуазным духом, — н е ж е л и к и н т е р е с а м п р о л е т а р и а т а, с о с т а в л я ю щ е г о б о л ь ш и н с т в о н а с е л е н и я п е р е д о в ы х к а п и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н. П о э т о м у «вера в большинство»

Ergänzungshefte zur Neuen Zeit

Nummer 3 o o o o o o o o o o Ausgegeben am 10. Juli 1908

Henrik Ibsen.

Von G. Plechanow. Deutsch von A. Stein.

I.

Henrik Ibsen ist zweifellos eine der hervorragendsten und sympathischsten Gestalten der gegenwärtigen Weltliteratur. Als Dramatiker kann schwerlich ein bedeutenderer unter allen seinen Zeitgenossen nachgewiesen werden.

Diejenigen, die ihn mit Shakespeare vergleichen, verfallen freilich in offene Übertreibung. Als Kunstwerke erreichen die Ibsenschen Dramen die Höhe der Shakespeareschen auch dann nicht, wenn Ibsen die kolossale Begabung Shakespeares besessen hätte. Selbst in diesem Falle machte sich ein unkünstlerisches, oder richtiger gesagt, antikünstlerisches Element bei ihm bemerkbar. Wer die Ibsenschen Dramen aufmerksam und wiederholt gelesen hat, muß in ihnen ein solches Element bemerkt haben. Und eben dies ist der Grund, daß seine Dramen, die stellenweise voll des hinreißendsten Interesses sind, hin und wieder fast langweilig werden.

Wäre ich ein Gegner des Ideengehalts in der Kunst, so würde ich sagen, daß das unkünstlerische Element eben deshalb in den Ibsenschen Dramen vorhanden ist, weil diese durch und durch von Ideen erfüllt sind. Und eine derartige Behauptung würde auf den ersten Blick auch als außerordentlich zutreffend erscheinen können.

Doch nur auf den ersten Blick. Bei aufmerksamer Untersuchung der Frage müßte diese Erklärung als vollkommen unbefriedigend verworfen werden.

René Doumic[1] hat vollkommen zutreffend bemerkt, daß „der Drang nach Ideen, oder mit anderen Worten, die sittliche Unruhe, das Interesse für Gewissensfragen, das Bedürfnis, alle Erscheinungen des täglichen Lebens von einem allgemeinen Standpunkt zu überschauen“, das charakteristische Merkmal des Künstlers Ibsen ausmacht. Dieser Zug, der Drang nach Ideen, kann an und für sich nicht als Mangel angesehen werden; er ist im Gegenteil ein ungeheurer Vorzug. Eben dieser Zug ist es, der unser Interesse nicht nur für die Ibsenschen Dramen, sondern auch für Ibsen selbst wachruft. Dieser Zug gab ihm das Recht, zu sagen, was er in seinem Brief an Björnson vom 9. Dezember 1867[2] sagt, *nämlich, daß er „ernst“ gewesen sei „in seiner* Lebensführung“. Und eben dieser Zug war es wiederum, der ihn nach Doumics Ausdruck zu einem der größten Lehrer „der Empörung des Menschengeistes“ gemacht hat.

Die Predigt der „Empörung des Menschengeistes“ schließt an und für sich das Element des Künstlerischen nicht aus. Damit dies nicht geschehe, ist es aber nötig, daß die Predigt klar und konsequent sei und daß der Predigende selbst sich in den gepredigten Ideen gut zurechtfinde; es ist nötig, daß diese ihm in Fleisch und Blut übergegangen seien, daß sie ihn in Momenten künstlerischen Schaffens nicht verwirren, daß sie nicht störend auf ihn ein-

[1] Le théâtre d'Ibsen, Revue des deux Mondes, 15. Juni 1906.

[2] Henrik Ibsens sämtliche Werke. Berlin, S. Fischer. Bd. X, S. 99. Der Übersetzer.

Ergänzungshefte zur Neuen Zeit. Nr 3

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИКАЦИИ РАБОТЫ ПЛЕХАНОВА ОБ ИБСЕНЕ (ВМЕСТЕ С IX ГЛАВОЙ) В «NEUE ZEIT» ОТ 10 ИЮЛЯ 1908 Г.

(Majoritätsglauben) вызывает в этих кругах неприятнные представления; поэтому она кажется им несовместимой с идеей «личности»; поэтому в них все более проникает «вера в меньшинство» (Minoritätsglauben). Революционная буржуазия Франции XVIII века рукоплескала Руссо[3], которого она, впрочем, тогда не вполне понимала: нынешняя буржуазная Германия рукоплещет Ницше[4], в котором она верным классовым инстинктом сразу почуяла поэта-идеолога классового господства.

Но как бы там ни было, а несомненно то, что индивидуализм Ибсена действительно соответствует той «вере в меньшинство», которая свойственна буржуазным «мыслящим кругам» современного капиталистического мира. В письме к Брандесу от 24 сентября 1871 г. Ибсен говорит: «Больше всего я вам желаю здорового эгоизма, который заставил бы вас считать все принадлежащее вам единственно имеющим действительную ценность и важность, а все остальное несуществующим». Настроение, выразившееся в этих строках, не только не противоречит настроению «мыслящего» буржуа нашего времени, но совершенно совпадает с ним. И точно также совпадает с ним настроение, продиктовавшее следующие строки того же письма: «Я никогда не понимал хорошенько солидарности. Я принял ее, как традиционный догмат. Если бы мы имели мужество совершенно отбросить ее, то избавились бы от тягчайшего бремени, стесняющего индивидуальность». Наконец, всякий «мыслящий», проникнутый классовым сознанием буржуа (Klassenbewusster) не будет в состоянии отнестись иначе, как с величайшей симпатией к человеку, написавшему вот эти слова: «Я не думаю, чтобы в других странах дело обстояло лучше, чем у нас. Повсюду высшие интересы чужды массе».

Более 10 лет спустя Ибсен в письме к тому же Брандесу говорил: «Я ни в каком случае не мог бы принадлежать к партии, которая имела бы за себя большинство. Бьернсон[5] говорит: «Большинство всегда право». А я говорю: «Меньшинство всегда право». Такие слова опять могут вызвать только одобрение со стороны «индивидуалистически» настроенных идеологов нынешней буржуазии. А так как настроение, выразившееся в этих словах, окрашивало собой все драматические произведения Ибсена, то неудивительно, что сочинения эти привлекли к себе внимание идеологов «этого рода, что эти последние оказались «восприимчивы» («empfänglich») для них.

Правда, недаром сказано было еще античными римлянами, что, когда двое говорят одно и то же, то это не одно и то же (non est idem). У Ибсена со словом «меньшинство» связывалось совсем другое представление, нежели у буржуазной читающей публики передовых капиталистических стран. Ибсен оговаривается: «Я подразумеваю то меньшинство, которое идет вперед, оставляя большинство позади. Я считаю, что прав тот, кто больше находится в согласии с будущим». Стремления и взгляды Ибсена сложились, как мы уже знаем, в такой стране, где не было революционного пролетариата и где отсталая народная масса сама была мелкобуржуазна до мозга костей. Эта масса в самом деле не могла стать носительницей передового идеала. Поэтому всякое движение вперед необходимо должно было представляться Ибсену в виде движения «меньшинства», т. е. небольшой кучки мыслящих индивидуумов. Не так было в странах развитого капиталистического производства. Там движение вперед очевидно должно было сделаться, или, вернее, очевидно должно было стремиться сделаться — движением эсплоатируемого большинства. У людей, воспитывающихся в тех общественных условиях, при которых воспитывался Иб-

сен, «вера в меньшинство» имеет совершенно невинный характер. Более того: она служит выражением прогрессивных стремлений небольшого интеллигентного оазиса, окруженного безводной пустыней филистерства. Напротив, в «мыслящих кругах» передовых капиталистических стран эта вера знаменует собой консервативное сопротивление революционным требованиям рабочей массы. Когда двое говорят одно и то же, это не одно и то же. И когда двое имеют «веру в меньшинство», это опять не одно и то же. Но когда один человек проповедует «веру в меньшинство» (Minoritätsglauben), то его проповедь может и должна встретить сочувствие со стороны другого человека, разделяющего ту же веру, хотя бы он разделял ее по совершенно другим психологическим причинам. Так было с Ибсеном. Его резким, глубоко прочувствованным нападкам на «большинство» рукоплескали многие и многие из тех, которым «большинство» представлялось прежде всего в виде пролетариата, стремящегося к своему освобождению. Ибсен нападал на то «большинство», которому были чужды всякие прогрессивные стремления, а ему сочувствовали те, которые боялись прогрессивных стремлений «большинства».

Пойдем дальше. Брандес продолжает: «Если однако мы исследуем глубже этот (т. е. ибсеновский. Г. П.) индивидуализм, то лишь откроем в нем затаенный социализм, который чувствуется уже в «Столпах общества»[6], и который проявился во вдохновенном ответе дронтгеймским рабочим во время последнего пребывания Ибсена на севере».

Как я уже заметил выше, нужно много доброй воли для того, чтобы открыть социализм в «Столпах общества». На самом деле, социализм Ибсена сводился к доброму, но весьма и весьма неопределенному желанию «поднять народ на более высокую ступень». Но и это не только не мешало, а, напротив, очень много способствовало успеху Ибсена в «мыслящих кругах Германии» и других капиталистических стран. Если бы Ибсен в самом деле был социалистом, то ему не могли бы сочувствовать те люди, у которых «вера в меньшинство» порождена была страхом перед революционным движением «большинства». Но именно потому, что «социализм» Ибсена означал не более, как желание «поднять народ на высшую ступень», он мог и должен был нравиться тем, которые готовы схватиться за *социальную реформу*, как за средство предотвращения *социальной революции*. Тут происходило qui pro quo, совершенно подобное тому, которое имело место по отношению к «вере в меньшинство». Ибсен не шел дальше стремления «поднять народ на более высокую ступень» по той причине, что его взгляды сложились под влиянием мелкобуржуазного общества, процесс развития которого еще не выдвинул на сцену великой социалистической задачи, но эта ограниченность стремлений Ибсена обеспечивала ему успех в высшем классе (в «мыслящих кругах») тех обществ, вся внутренняя жизнь которых определяется теперь наличностью этой великой задачи.

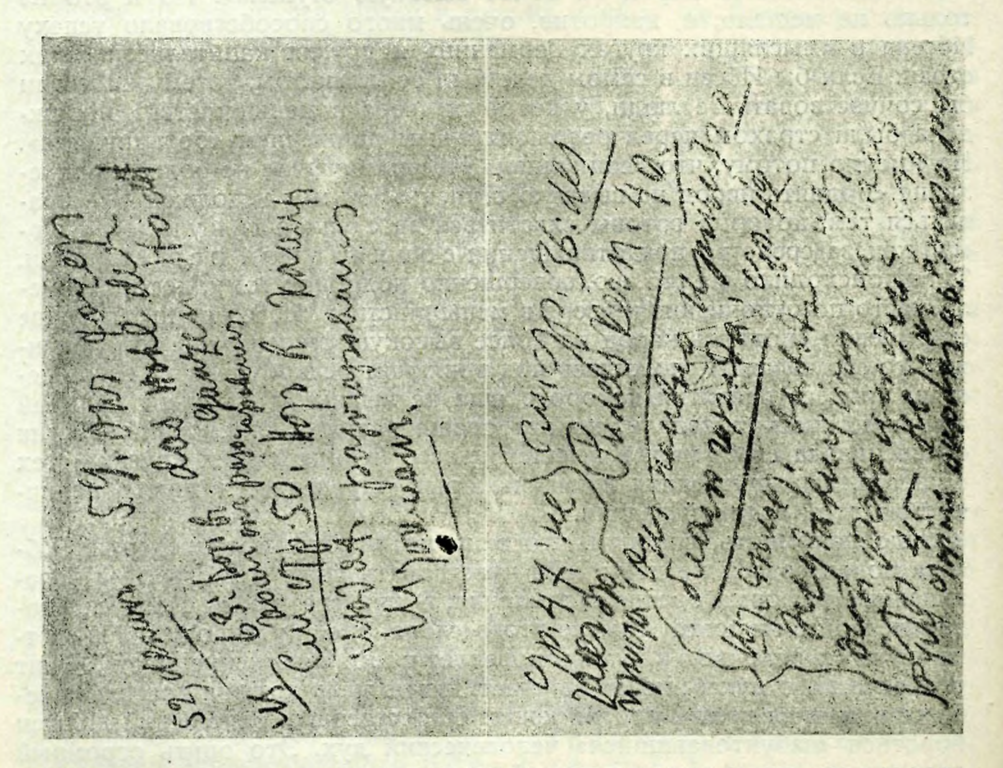
Надо напомнить, впрочем, что в драматических произведениях Ибсена почти совсем не дают себя чувствовать даже и его весьма ограниченные реформаторские стремления. В них его мысль остается аполитической в широком смысле этого слова, т. е. *чуждой общественных вопросов*. Он проповедует в них «очищение воли», «бунт человеческого духа»; но он не знает, какую цель должна поставить себе «очищенная воля», против каких общественных отношений должен бороться «взбунтовавшийся» человеческий дух. Это опять огромный недостаток; но и этот огромный недостаток, — подобно двум указанным выше, — должен был очень сильно способствовать успеху Иб-

сена в «мыслящих кругах» капиталистического мира. Эти круги могли сочувствовать «бунту человеческого духа» только до тех пор, пока он совершался ради бунта, т. е. оставался бесцельным, т. е. не угрожал существующему общественному порядку. «Мыслящие круги» буржуазного класса могли с величайшим сочувствием внимать Бранду[8], обещавшему:

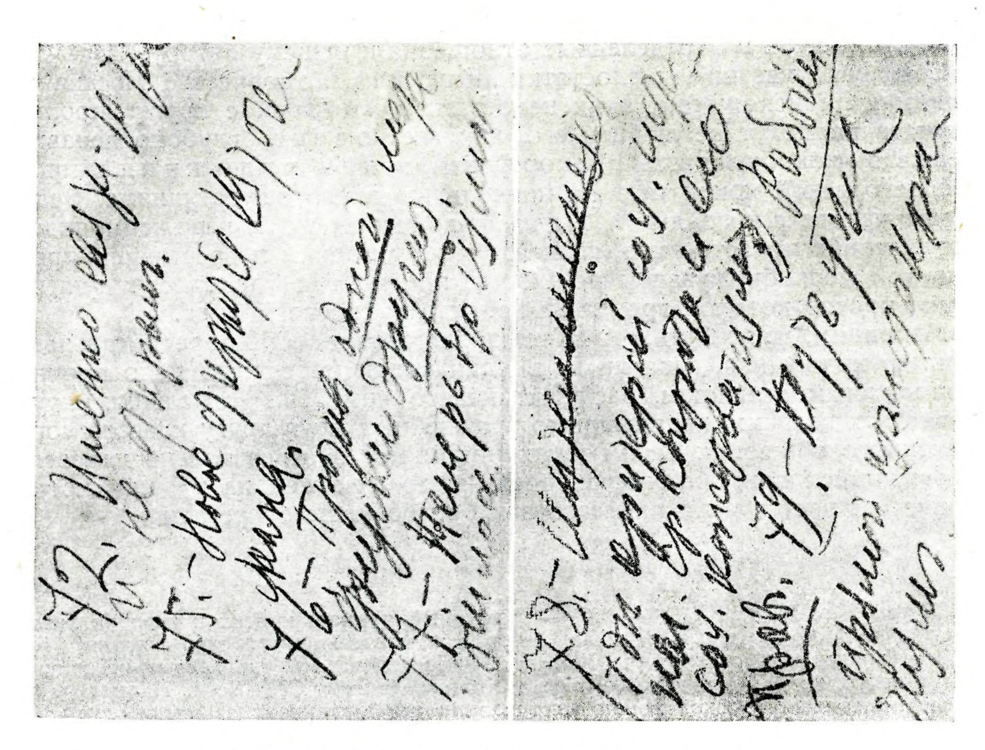
Ввысь по застывшим
волнам ледников,
вниз по долинам, селеньям
вдоль — поперек мы всю
землю пройдем,
петли, силки все развяжем,
выпустим души, попавшие в плен,
их обновим и очистим...

Но если бы тот же Бранд дал понять, что он обновляет и очищает души не только затем, чтобы заставить их прогуливаться по застывшим волнам ледников, а также затем, чтобы побудить их к совершению какого-нибудь определенного революционного действия, то «мыслящие круги» с ужасом увидели бы в нем «демагога» и об'явили бы Ибсена «тенденциозным писателем». И тут уже Ибсену не помог бы его талант: тут ясно обнаружилось бы, что «мыслящие круги» не обладают той восприимчивостью, которая необходима для сочувствия таланту.

Теперь ясно, почему слабость Ибсена, состоявшая в неуменьи найти выход из морали в политику и отразившаяся на его произведениях внесением в них элемента символизма и рассудочности, не



ПОМЕТКИ ПЛЕХАНОВА НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ ПЬЕСЫ «ВРАГ НАРОДА»
Экземпляр хранится в Доме Плеханова



ПОМЕТКИ ПЛЕХАНОВА НА ТОМ ЖЕ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

только не вредила, но была полезна ему во мнении большей части читающей публики. «Идеальные люди», «люди-пудели», являются у Ибсена неясными, почти совершенно бескровными образами. Но это-то и нужно было для их успеха во мнении «мыслящих кругов» буржуазии: эти круги могут сочувствовать только таким «идеальным людям», которые обнаруживают лишь неясное, неопределенное стремление «*ввысь*» и отнюдь не грешат серьезным стремлением «здесь, на земле уже, воздвигнуть небесное царство».

Такова психология «мыслящих кругов» буржуазии нашего времени, *психология*, об'ясняемая, как мы видим, *социологией*. Эта психология положила свою печать на все современное нам *искусство*. В ней надо искать разгадки того, что символизм пользуется теперь таким широким успехом. Неизбежная неясность создаваемых символистами художественных образов соответствует неизбежной туманности практически совершенно бессильных стремлений, зарождающихся в тех «мыслящих кругах» современного общества, которые даже в моменты самого сильного своего недовольства окружающей действительностью не могут подняться до ее *революционного отрицания*.

Таким образом создаваемое современной нам борьбой классов настроение «мыслящих кругов» буржуазии по необходимости *обесцвечивает* современное искусство. Тут самый капитализм, который в области производства является препятствием для употребления в дело всех тех производительных сил, которыми располагает современное человечество, является тормозом также и в области художественного творчества.

А пролетариат? Его экономическое положение не таково, чтоб он мог теперь много заниматься искусством. Но поскольку «мыслящие

круги» пролетариата занимались им, постольку они, разумеется, должны были стать в определенные отношения к нашему автору.

Сознавая указанные недостатки мышления и творчества Ибсена и понимая происхождение этих недостатков, «мыслящие круги» пролетариата не могут не любить его, как человека, глубоко ненавидевшего мелкобуржуазный оппортунизм, и как художника, пролившего такой яркий свет на психологию этого оппортунизма. Ведь «бунт человеческого духа», выражающийся теперь в революционных стремлениях пролетариата, является между прочим и восстанием против той мелкобуржуазной пошлости, против той «дряблости душевной», против которой гремел Ибсен устами своего Бранда.

Мы видим, стало быть, что Ибсен представляет собой парадоксальный пример художника, едва ли не в одинаковой мере, хотя и по противоположным причинам, заслуживающего симпатии «мыслящих кругов» двух великих, непримиримо враждебных друг другу классов современного общества. Таким художником мог явиться только человек, развившийся при обстановке, очень мало похожей на ту, при которой совершается великая классовая борьба нашего времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Брандес Георг (1842—1927) — известный датский критик и историк литературы, мелкобуржуазный радикал, автор монументальной работы «Главные течения европейской литературы XIX века». Последователь тэновского историко-культурного метода и «психологического биографизма» Сент-Бева. На исходе и после империалистической войны выступал против шовинизма за идею «солидарности международной интеллигенции» и в защиту Советского Союза.

[2] Сийес Эммануэль Жозеф (1748—1836) — аббат, деятель Великой французской революции. В своей брошюре. «Что такое третье сословие» доказывал право буржуазии на политическое преобладание. Знаменита его формула: «Что такое третье сословие? Ничего. Чем оно должно стать? Всем».

[3] Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский писатель и мыслитель; о нем см. примечание стр. 72.

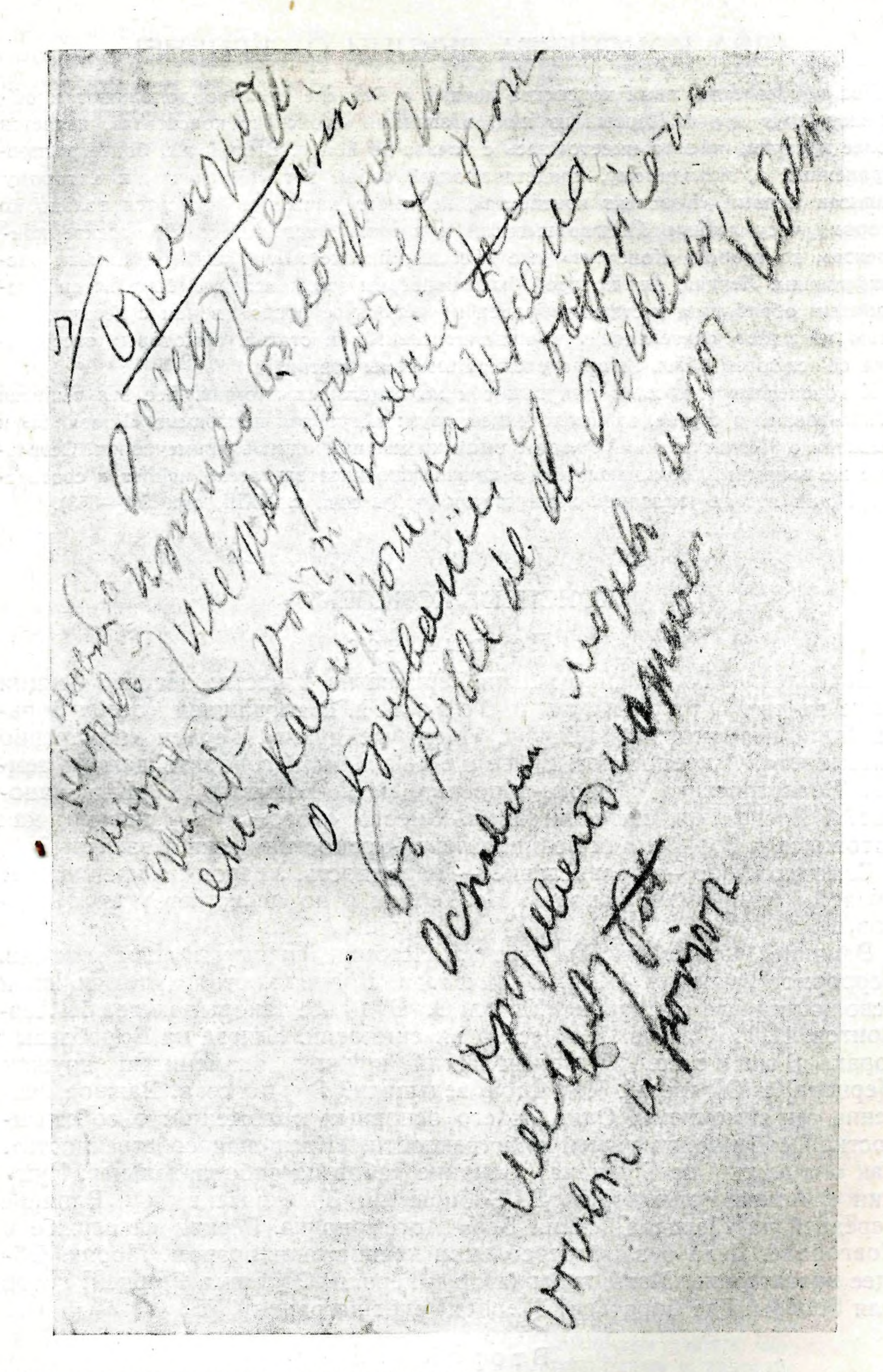
[4] Ницше Фридрих (1847—1900) — немецкий философ, подвергший радикальной переоценке традиционные этические ценности. В его понимании люди делятся на две касты — господ и рабов, причем каждая каста имеет свою мораль. Основа морали господ — воля к власти. Рабы же ценят в морали все то, что может облегчить их существование: сострадание, милосердие и т. д. Все значительное в жизни является созданием высшей касты, а потому добром Ницше считает все то, что позволяет высшей касте господствовать над низшей. Отсюда ясно, что Ницше решительный противник демократического строя. Против пролетариата и социализма он выступал с еще большей страстностью. Ницше—идеолог феодального дворянства и магнатов крупной индустрии бисмарковского периода германского империализма. Произведения Ницше имели значительный успех в конце XIX и начале XX века среди европейской и русской буржуазной интеллигенции; в особенности большим успехом пользовалось его учение о «сверхчеловеке» — этом идеальном представителе господствующей касты, высшем типе человека будущего, для которого нет ничего недозволенного.

[5] Бьернсон Бьернстерне (1832—1910) — норвежский писатель и общественный деятель. Убежденный демократ Бьернсон в течение всей своей жизни вел агитацию за политическую независимость Норвегии. Демократические и национальные стремления одушевляли и его литературную деятельность.

[6] «Столпы общества» — комедия Ибсена, в которой он разоблачает лицемерие и нравственное разложение буржуазного общества.

[7] Брандес имеет в виду следующие слова Ибсена в речи, произнесенной им в дронтгеймском рабочем союзе 14 июня 1885 года: «Преобразование общественных отношений, подготовляющееся теперь в Европе, занимается главным образом вопросом о будущем положении рабочего и женщины. Я жду этого преобразования, я уповаю на него, и я хочу и буду действовать на его пользу всеми силами в течение всей моей жизни» (см. Плеханов. «Генрик Ибсен», Собр. соч., т. XIV, стр. 234).

[8] Бранд — герой одноименной драматической поэмы, ставящий целью жизни достижение внутреннего совершенства и полной духовной свободы.



ПОМЕТКИ ПЛЕХАНОВА НА ВТОРОМ ТОМЕ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ИБСЕНА (ИЗДАНИЕ С. СКИРМУНТА, М., 1906 г.); СЮДА ВОШЛИ «БОГАТЫРСКИЙ КУРГАН», «ФРУ ИНГЕР» И ДР.

Экземпляр хранится в Доме Плеханова

[ДВА КОНСПЕКТА ЛЕКЦИИ О ГЕРЦЕНЕ]

Два прилагаемых нами конспекта лекции о Герцене взаимно дополняют и об'ясняют друг друга. Первый из них, названный «Конспект конспекта», является более кратким, но зато имеется весь с начала до конца. Второй же, более распространенный и, повидимому, представляющий собой тот «Конспект», к которому написан первый «Конспект конспекта», не имеет начала и относится только ко второму часу лекции. Многие выписки и цитаты, указанные в «Конспекте конспекта», во второй «Конспект» уже внесены, многие мысли развиты, намеки расшифрованы. Лекция, для которой были написаны эти конспекты, была затем Плехановым обработана в статью «Герцен и крепостное право», в чем с несомненностью убеждает тщательное сравнение конспектов и статьи. Некоторые отступления об'ясняются большей определенностью темы статьи.

К конспектам приложен ряд выписок на отдельных листках. Все эти выписки использованы в статье, за исключением двух: «Аграрная программа «Колокола» и выписка о Чернышевском. Эти две выписки мы приводим в примечаниях. Остальные же выписки, упоминающиеся в конспектах, читатель легко найдет в соответствующих местах указанной нами статьи (собр. соч., т. XXIII, стр. 269—353).

I

КОНСПЕКТ КОНСПЕКТА

Первый час

Вступление. Разделение жизни Герцена на 2 части: деление лекции тоже на две. Относился и боролся. В тогдашней России борьба была невозможна. Цензура. «Мертвые души». Герцен «намеренно затемняет». О крепостном праве нельзя было говорить даже и темно. Беллетристика. «Сорока-воровка», мать Бельтова в «Кто виноват?». Крепостная интеллигенция. Вместо «боролся» — скажем: как готовился к борьбе. Как возникли анти-крепостнич[еские] взгляды?

Самодержавие — православие — народность. Уваров [1] о крепостном праве: «свящ[енная] основа». Но Герцен рано перестает уважать основы.

Влияние 14 декабря. Выписка. История французской революции. Террорист Бушэ из Меца. Выписка. Возможность разделить свои революционные симпатии. «Князек О.» Будь все таковы, вышел бы Лермонтов. Н. П. Огарев. Тождество их симпатий. Клятва на Воробьевых горах. Выписка. Университетский кружок, знаменитый кружок Г[ерцена] и О[гарева]. Что проповедывали? Выписка. Важное значение сен-симонизма. Одно из его основных положений: о собственности. Особенности нашей собственности. «Крещеная собственность». Как она влияла на Г[ерцена]. Влияние рабов на рабовладельцев. Пушкин и Арина Родионовна. П. Боборыкин. Две выписки. Влияние передней на Г[ерцена]. Няня Вера Артамоновна. Герцен на службе в Новгороде. Дела о злоупотреблении крепостным правом. Моряк. Общее впечатление. Мать, губернатор и Герцен. Отставка. Г[ерцен] готов для борьбы. Где бороться? Г[ерцен] едет заграницу.

Второй час

Г[ерцен] на Западе. Он переживает революцию 1848 года. Ее влияние на него. «Разочарование». Книга «С того берега». Ее место в истории социалистических идей. К чему сводилось его разочарование в Западной Европе? Из «письма к Линтону» [2]. Мы верим в пролетариат. А кто не верит? И ненавидит «мещанство»? Но не о том теперь речь. Из

разочарования выходит отношение Г[ерцена] к общине и т. д. Разочар[ование] толкает его на более энерг[ичную] борьбу для России. Заводит первую вольную русскую типо[графию] — в 1853 г[оду] — «Крещеная собственность». Тут обращение к правительству: «Бояться нечего». Брошюра: «Юрьев день». «Юрьев день»: обращение к дворянству.

Красноречивое воззвание и рабовладельцы. Г[ерцен] чувствует это. Обращается к Александру II. По поводу речи Ал[ександра] II московскому дворянству. «Колокол» № 2, передовая: «Революция в России». Рескрипт Назимову. «Колокол», № 9, от 15 февраля 1858 г[ода]: «Ты победил, Галилеянин!» Псевдоним (Р. Ч.). Но уже в 25 № (1 окт. 1858 г.) передовая: «Письмо к редактору». Выписка. Однако в «Колоколе» 1 января 1860 г.: «Государь, проснитесь, вас обманывают». Государь не просыпается: Польша. № 95, 15 марта 1861— Vivat Polonia! № 97 — Mater Dolorosa, расхождение все больше и больше. Аграрная программа Г[ерцена]. Выписки: 0; IX [3]. Программа в 1-м № «Колокола», в № 102: «Что нужно народу?» № 101 — 15 июня 1861: «Такого уродливого хода дела мы не ожидали».

№ 105. — Передовая: Заводите типографи[и]. Заводите типографи[и]. Подполье. Когда падает вера в царя, развивается вера в интеллигенцию. Характерно, № 110 ст[атья] «Исполин просыпается», «жалкий вид у этого грозного правительства». Окончание статьи: В народ! Выписка. Против студентов войско. № 111: «Что надо делать войску?» Ничего. Т. е. не ходить против народа. «Колокол», № 157 — «Земля и Воля». В № 176 — вся программа народничества. Герц[ен] — отец народничества. Но не направления В. П. Воронцова. Его вера в правит[ельство] все более и более падает. Дело Чернышевского. Выписка [4]. Близок к нашему времени. Нынешние седые злодеи.

Заключение: Большая личность, яркая личность, богато одаренная, так глубоко симпатичная, что сочувствовать ему могут — что я говорю: могут — ему не могут не сочувствовать даже те, которые расходятся с ним во многих отношениях. Против него — только рыцари нагайки и виселицы. Те к[ото]рых он проклинал при жизни. И уж ни в каком случае не могут быть против него те, которые находят, что «новое крепостное право» должно быть так или иначе отменено.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Уваров, С. С. (1786—1855) — президент Академии Наук и министр народного просвещения (1833—1849). С его именем связана пресловутая формула: «самодержавие, православие, народность».

[2] Линтон, В. — английский политический деятель и журналист. Познакомился с Герценом в 1850 г. в Париже. Вскоре, уже в Лондоне, они стали друзьями. Три письма к Линтону напечатаны под общим заглавием «Старый мир и Россия», (полн. собр. соч. и писем Герцена, т. VIII, стр. 27—57).

[3] На отдельном листе, с цифрой IX в левом углу, имеется следующая выписка: «Аграрная программа «Колокола», № 102, july, 1861. Что нужно народу? (ст. Огарева). Предлагается передача крестьянам всей земли, которую он теперь на себя пашет. Предполагается выкуп в миллиард рублей. Помещикам даются выкупные свидетельства («билеты»). С этой стороны его программа ближе к кадетам».

[4] Имеется выписка на отдельном листе с надписью: «Чернышевский (Кол. № 186, june, 1864). Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев государственного совета... А тут жалкие люди, люди трава, люди

слизняки, говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами... И это-то царствование мы приветствовали десять лет тому назад!» Дальше, рассказав о том, как выставляли Чернышевского к позорному столбу, «проклятье вам, проклятье и, если возможно, месть! Гг! и теперь дикие невежды...». Продолжение выписки не найдено.

II

...летариат. Международные конгрессы. Но не о том теперь речь. Вера в особое призвание России облегчала ему борьбу на пользу России. Отношение Г. к общине. На западе Г. был лишен родины, но имел свободу слова. Он завел в Лондоне типографию — первую большую русскую типографию заграницей.—В 1853 г. он издает брошюру «Крещеная собственность», где напоминает о необходимости освободить крестьян с землею. «Бояться в сущности нечего», так как весь народ очевидно был бы за правительство, и не один народ, а вся образованная часть дворянства. «Юрьев день!» Обращение к дворянству. Это теперь странно. Как об'яснить это? Что он увез за границу? Великую любовь к народу и... отсутствие веры в его самодеятельность. Цитата (из Дневника). Красноречивым воззванием не разогреешь раба (Некрасов). Это не так. Раба разогреешь. А вот рабовладельца нет. Герцен видел это. Он обращается к Александру II. «Колокол».

По поводу речи Ал. II к Московскому дворянству он напечатал в № 2 «Колокола» статью: «Революция в России», где доказывал, что восстания — не единственный путь революций. Выписка. Замечание. Тут цитата из V тома[1]. По поводу рескрипта на имя Назимова: «Колокол», № 7, январь 1858 года. (Цитата по книге Ветринского). Статья заканчивается: «Вперед, Россия! Вперед!»

В № 9 «Колокола» от 15 февраля 1858 г. Ты победил, Галилеянин!

Эпизод с псевдонимом Огарева. Он подписывался: Р. Ч. Теперь ему больно прятаться от Александра II под псевдонимом (тот же №).

Но уже в № 25 «Кол.», от 1 october 1858 г. «Письмо к редактору», где говорится, что напрасно надеяться на Александра. Редакция благодарит. Однако в «Колоколе» от 1 января 1860 ст. И-ра: «Государь, проснитесь, вас обманывают» и т. д.

В «Кол.» № 95 от 15 марта 1861 — Vivat Polonia! April 1861. «Колокол» статья: «Манифест!» (И-р). Александр-Освободитель.

№ 97. Mater dolorosa.

№ 100 (Бездна).

Манифест и Положение об освобождении крестьян облились уже неповинной кровью.

В № 101 (June 15, 1861). «Разбор нового крепостного права», ст. Огарева. Народ царем обманут. «Такого уродливого хода дел мы не ожидали»...

№ 102. 1 июля 1861 года. «Что нужно народу?»

Очень просто. Народу нужна земля да воля.

№ 105. Передовая озаглавлена: Заводите типографии! Заводите типографии!

В 1861 г. развивается вера в интеллигенцию.

№ 110 — ст. Исполин просыпается! (По поводу студ. волнений).

Господи, какой жалкий и смешной вид у этого грозного правительства!

Статья заканчивается призывом молодежи В народ! В народ! — вот ваше место, изгнанники науки, покажите этим Бистромам [2], что из вас выйдут не под'ячие, а воины народа русского!

№ 111. Ст.: Преображенская рота и студенты.

Что надо делать войску? — Ничего не делать, то-есть не ходить против народа.

«Колокол» № 157 March 1863. Передовая — Земля и Воля.

В № 176 «Колокола» вся теория нашего народничества семидесятых годов. (Ст. принадлежит Искандеру.)



Г. В. ПЛЕХАНОВ НА ОТКРЫТИИ ГЕРЦЕНОВСКОГО ОБЩЕСТВА В НИЦЦЕ (ЛЕТО 1912 Г.)
Воспроизводится впервые с оргинала, хранящегося в Музее Революции СССР

Так, мало-по-малу, из Г. выработался отец русского народничества. Я не буду разбирать ее. Это неуместно. Жизнь уже произнесла свой критич[еский] приговор. Но самый тот факт, что еще недавно горячо спорили об этой теории, показывает, как близок Герц[ен] к нашему времени. О Черн[ышевском] см. выписку [3]. Такие речи показывают, что и с этой стороны он недалек от нашего времени. Дикие невежды и седые злодеи, стремящиеся «раз'яснить» всякое живое стремление в России, не убавились в числе, их рвение тоже не ослабело. Но, помимо революционеров, много ли людей, которые так энергично проклинали бы их, как Герц[ен]? он ближе всего к революционерам.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] На обложке V тома заграничного издания Герцена 1878—1879 гг. имеется в числе других следующая заметка Плеханова: «NB 234 — О революции». На стр. же 234, в статье «Крещеная собственность», отчеркнута синим карандашом следующая фраза: «Одни легкие революции делаются легко. Ветер свободно двигает во все стороны верхний слой общественной зыби, но глубь тиха до урагана!!»

[2] Бистром — петербургский полицмейстер.

[3] Эту выписку мы приводим в примечании к «Конспекту конспекта».

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Статья Г. В. Плеханова: «Столетие со дня рождения В. Г. Белинского» была напечатана в 1911 г. в двухнедельном профессиональном журнале металлистов «Наш путь» № 18. Эта статья не была известна ни Ваганяну, который ее не упоминает в своем труде «Опыт библиографии Г. В Плеханова», ни Рязанову, который не поместил ее в 24-томное собрание сочинений Г. В. Плеханова. Сотрудники «Дома Плеханова» разыскали статью Г. В. о Белинском в вышеупомянутом журнале после того, как натолкнулись в переписке Плеханова на письма редакции «Наш путь». Одно письмо без даты, второе от 21 мая 1911 г. Приводим их целиком:

Многоуважаемый Георгий Валентинович!

Редакция журнала «Наш путь», издающегося в Петербурге и являющегося органом рабочих по металлу, обращается к Вам со следующей просьбой. Не найдете ли Вы возможным написать для нашего журнала статью о В .Г. Белинском для одного из ближайших №№. Журнал расходится в 6 тыс. экземпл[яров], преимущественно среди рабоч[их] по металлу Петербурга и провинции, применительно к составу читателей и должна быть статья. Хорошо было бы в случае Вашего согласия получить от Вас уведомление, когда приблизительно можно рассчитывать на получение статьи.

Может быть, недостаток времени и другие обстоятельства не позволят Вам выполнить нашей просьбы, но это будет в высшей степени печально. Для редакции так почетно и дорого было бы Ваше участие в журнале, а шесть тысяч (фактически гораздо больше) читателей, рабочих по металлу, с радостным удивлением прочли бы Ваше имя на страницах своего органа.

С тов. приветом, за ред. *М. С.*

P. S. Адрес ред. Загородный пр., д. 17, кв. 27, рукопись желательно посылать заказн[ым].

Простите, что по некоторым причинам не могу скрепить своего письма печатью редакции. *М. С.*

СПБ. 21 мая ст. ст. 1911 г.

Уважаемый Георгий Валентинович!

Письмо Ваше от 23 мая н. ст. из Сан-Ремо нами получено. Редакция профессионального журнала металлистов «Наш путь» выражает Вам глубокую благодарность за обещанную присылку статьи о Белинском. Размер статьи от 20 до 30 тыс. букв. Вообще, можете не очень ограничивать себя, так как статья может пойти фельетоном в 2—3 номерах. Желательно все же получить статью по возможности скорее. За обещание постоянного сотрудничества на литературные и иные темы редакция также выражает Вам свою признательность и предлагает Вам самому намечать подходящие темы. Во всяком случае было бы хорошо получить от Вас своевременно статью о Добролюбове. Считаем нужным сообщить, что Ваши статьи, попав в «Наш путь», обойдут всю профессиональную прессу. Будьте добры сообщить о получении настоящего письма и о приблизительном сроке присылки статьи о Белинском. Впереди Вашей статьи о Бел[инском] будут помещены портрет Бел[инского] и снимок с известной картины Наумова.

С товарищеским приветом, за секретаря редакции *Ю. Ч.*

Адрес редакции: СПБ. Загородный пр., д. 17, кв. 27.

Других материалов, характеризующих взаимоотношения Георгия Валентиновича с редакцией журнала «Наш путь» [1] в Доме Плеханова не имеется.

Когда в 1887 году почитатели Г. И. Успенского праздновали двадцатипятилетие его литературной деятельности, он поздравил русского писателя с появлением нового читателя — читателя из народной среды. Он имел при этом в виду собственно читателя-пролетария, чита-

теля-рабочего. Такой читатель многим интеллигентам казался тогда не только новостью, но, — это главное, — неожиданной и даже почти невероятной новостью.

Под влиянием господствовавших тогда в среде нашей интеллигенции народнических взглядов, русские интеллигенты ждали всего от крестьянина и ничего от рабочего, т. е. от пролетария. Теперь не то. Теперь народнические взгляды почти совершенно отошли в область литературного предания, главным образом по той причине, что русский пролетарий выступил на историческую сцену в роли наиболее передового общественного класса.

Теперь читатель из рабочей среды никого не удивляет своим существованием. И когда вся мыслящая Россия будет праздновать столетие со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского, не мало мозолистых рук потянется к газетам и журналам, ища в них оценки нашего великого писателя. Ввиду этого мне хочется на страницах «Нашего Пути» поговорить о том, чем была деятельность В. Г. Белинского в русской литературе.

Спросите кого угодно, всякий скажет вам, что Белинский велик, прежде всего, как литературный критик. И это правда. В России не было критика, равного Белинскому. Да и во всей всемирной литературе не много найдется писателей, равных ему по своему критическому дарованию.

Поэтому я и буду говорить здесь о нем собственно как о литературном критике, оставляя без рассмотрения другие стороны его деятельности *.

I

Что такое литературная критика?

Это — оценка художественных произведений, как говорит сам Белинский в одной из своих первых статей. Стало быть, сказать, что Белинский был величайшим русским критиком, значит сказать, что в его статьях мы найдем самую верную оценку выдающихся произведений русской художественной литературы. И в самом деле, его статьи могут служить самым надежным руководством в деле изучения наших великих поэтов. Возьмем пример.

Если вас заинтересует поэзия М. Ю. Лермонтова, то, вы, конечно, прочитаете собрание его стихотворений. Но как бы внимательно вы ни читали и как бы ни было сильно впечатление, которое произведет оно на вас, не довольствуйтесь им, а призовите на помощь В. Г. Белинского. В четвертой части его сочинений ** напечатана большая статья: «Стихотворения М. Лермонтова» .

Прочтите эту статью, перечитывая при этом каждое из тех лермонтовских стихотворений, на которые ссылается Белинский. По окончании такого вдумчивого чтения, вы сами увидите, что могучая красота лермонтовской поэзии несравненно лучше чувствуется вами теперь, чем чувствовалась прежде, когда вам были еще незнакомы отзывы о ней Белинского или когда они были отчасти позабыты вами. И совершенно тот же совет можно дать читателю, если он возьмется за чтение А. С. Пушкина, которому посвящена чуть ли не вся восьмая часть сочинений Белинского [2]. Белинский в огромной степени увеличит наслаждение, доставляемое поэзией Пушкина и углубит пони-

* Подробнее о нем см. мои статьи в сборнике «За двадцать лет»: «Белинский и разумная действительность» и «Литературные взгляды Белинского».

** Я имел в виду московское издание 1883 г., к которому и будут относиться все мои ссылки.

мание этой поэзии. Но это еще не все. Ряду статей Белинского о Пушкине предшествует большое историческое введение, посвященное обозрению русской литературы от Державина до Пушкина. Кто хочет знать историю русской поэзии указанного периода, тот непременно должен изучить это введение, следуя рекомендованному мною правилу, т. е. перечитывая каждое из тех стихотворений, на которые указывает Белинский, характеризуя данного поэта. А Гоголь? Прочтите статью Белинского о русской повести и повестях Гоголя (в 1 части собрания его сочинений) [3], прочтите сделанный им превосходный разбор «Ревизора» (собственно в статье о комедии Грибоедова «Горе от ума») [4], — и вы убедитесь, что Белинский необходим, как руководитель также и при изучении Гоголя. Впрочем, известно, что он-то и выяснил всей читающей России колоссальное значение этого бессмертного художника. Наконец, я прибавлю, что годовые литературные обзоры, находящиеся в сочинениях Белинского, составляют драгоценнейший материал для истории русской литературы за то время, когда он действовал в ней. После этого становится совершенно несомненным, что чрезвычайно высоко то место, которое занимает в русской критике В. Г. Белинский.

II

Я сказал, что статьи Белинского, посвященные поэзии Пушкина, раскрывают ее красоты и углубляют ее понимание. В сущности тоже самое можно сказать и о статьях его, посвященных другим художникам слова. Однако в его статьях о Пушкине может быть особенно заметно то обстоятельство, что он не только открывает перед своими читателями красоты разбираемых им художественных произведений, но и учит их понимать эти произведения.

Понять данное художественное произведение значит понять его идею. Чтобы уяснить себе это, возьмем опять пример.

Разбирая стихотворение Лермонтова «Бородино», Белинский говорит, что его основная идея выражена во втором куплете, которым начинается ответ старого солдата:

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя,
Богатыри — не вы!

Эта идея есть — «жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависти к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел» [5].

Белинский прибавляет, что эта «тоска по жизни» внушила Лермонтову не одно стихотворение, полное энергии и благородного негодования. В другом месте он утверждает, что основная идея знаменитой драмы Шекспира «Отелло» есть идея ревности. Я надеюсь, что это не требует дальнейших пояснений. Но очень важно заметить, что для полного понимания всякого данного художественного произведения еще недостаточно выяснить себе его основную идею. Всякое такое произведение есть плод своего времени, т. е. известных общественных отношений. Легко понять, что в современной Европе невозможна такая поэзия, музыка и скульптура, какая возможна была в средние века, или скажем в XVIII столетии. Искусство обязано своим происхождением общественному человеку, а этот последний изменяется вместе с развитием общества. Стало быть, понять данное художественное произведение значит не только понять его основную идею, но и выяснить себе, почему идея эта интересует людей, — хотя, быть может, и немногих людей, — данного времени. Так, недостаточно знать, что

основная идея стихотворения «Бородино» есть жалоба поэта на современное ему поколение, «дремлющее в бездействии», а надо еще привести в ясность, какие исторические обстоятельства вырвали эту жалобу из сердца Лермонтова. Для разрешения этого вопроса надо будет вспомнить, что Лермонтов родился в октябре 1814 г. и, что, следовательно, ему пришлось провести свою юность в таком обществе, которое было совершенно подавлено реакцией, очень усилившейся после неудачи известного движения декабристов, и которое, по выражению другого поэта (Некрасова), напоминало собою вырубленный лес, где были могучие дубы, а остались только пни. Когда мы вспомним это, тогда слова старого солдата, жалующегося на то, что нынешнее *племя* не похоже на старое *время* богатырей, получит в наших глазах глубокий психологический смысл. И не менее глубокий психологический смысл приобретет его сожаление о том, что богатырям старого времени досталась плохая доля, так как

Немногие вернулись с поля...

Наконец, нам покажется совершенно естественным и то, что основная мысль стихотворения «Бородино» встречается, по справедливому замечанию Белинского, и во многих других стихотворениях Лермонтова, например, в его знаменитой «Думе»:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно;
Меж тем под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно...

Короче. Основная идея всякого данного художественного произведения вполне уясняется для нас только тогда, когда мы смотрим на нее с исторической точки зрения. А эта точка зрения особенно заметна в последних статьях Белинского о Пушкине.

Говоря о «Борисе Годунове» Пушкина, Белинский замечает, что хотя те первые его произведения, которые долго оставались рукописными, в своем качестве запрещенных доставили ему славу русского Байрона, т. е. человека отрицания, но на самом деле, он был гораздо более помещиком и дворянином, нежели того могли ожидать его современники. Вообще в последние годы своей деятельности Белинский смотрел на Пушкина, как на поэта дворянского сословия. С точки зрения критиков-идеалистов,—а их очень много теперь в нашей литературе,—это, конечно, очень большая ересь: видеть в данном


1911. Годъ изданія 2-й. 1911.

НАШЪ ПУТЬ.

№ 18. Двухнедѣльное изданіе № 18.

С.-Петербургъ, 17 іюня

Въ этомъ номерѣ печатается фельетонъ Г. В. Плеханова о В. Г. Бѣлинскомъ

Адресъ редакціи: Загородный просп., д. 17, кв. 27

Къ свѣдѣнію членовъ О-ва.

По постановленію Общаго собранія отъ 8-го мая 1911 года параграфъ инструкціи „о крайней нуждѣ" уничтоженъ и замѣненъ параграфомъ о выдачѣ пособія „нуждающимся при болѣзни".

Новый параграфъ инструкціи гласитъ слѣдующее: „Больной нуждающійся членъ О-ва имѣетъ право получить пособіе на случай болѣзни не болѣе 5 руб. единовременно и не превышая 15 руб. въ годъ".

Товарищи! Три мѣсяца тому назадъ была распространена среди членовъ анкета о взаимопомощи и до настоящаго времени еще многими не возвращена. Правленіе настоящимъ извѣщаетъ, что черезъ двѣ недѣли будетъ приступлено къ подсчету и разработкѣ референдума. Кто еще почему либо не успѣлъ подать своего голоса, пусть поспѣшитъ это сдѣлать въ крайній двухъ-недѣльный срокъ.

Продолженіе объявленій см. стр. 16

Столѣтняя годовщина со дня рожденія В. Г. Бѣлинскаго

Памяти пріятеля.

Н. Некрасовъ

ОБЛОЖКА № 18 ЖУРНАЛА «НАШ ПУТЬ», В КОТОРОМ БЫЛА НАПЕЧАТАНА СТАТЬЯ ПЛЕХАНОВА «СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Г. БЕЛИНСКОГО»

поэте литературного выразителя известного сословия или класса значит держаться, по крайней мере в применении к нему, материалистического взгляда на историю. Но зато для тех, которые считают этот взгляд вполне правильным, значение литературной деятельности Белинского представляется в совершенно новом свете. Они видят в нашем великом критике одного из тех писателей, которые впервые начали применять некоторые основные положения исторического материализма к изучению истории литературы. Это огромная заслуга.

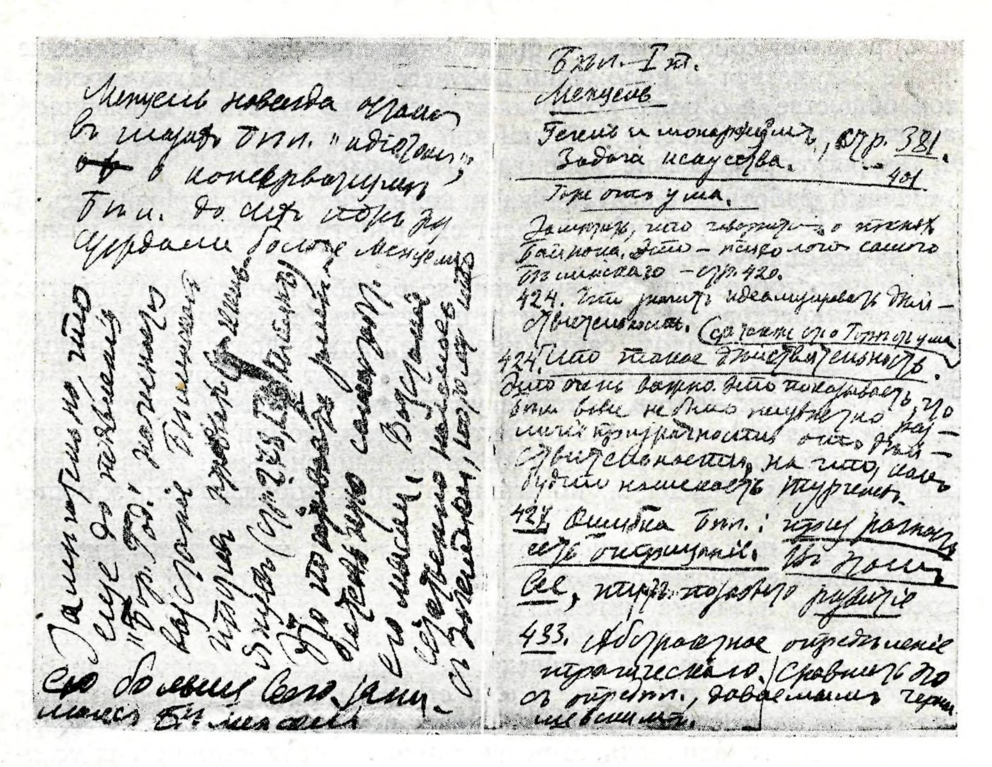
Конечно, только что указанный метод изучения литературных явлений был выработан Белинским далеко не сразу. Скажу точнее: Белинский окончательно усвоил его лишь в последние годы своей жизни. Излагая ход развития его литературных взглядов, необходимо заметить, что он обусловливался развитием его философского миросозерцания. Когда Белинский держался гегелевского идеализма, он об'яснял смену литературных явлений, равно как и все историческое движение человечества диалектическим движением абсолютной идеи *. А когда он перешел на точку зрения фейербахова материализма, он стал приурочивать развитие литературы к развитию общественных отношений, к исторической смене различных сословий и классов. Сделанная им оценка Пушкина, как поэта дворянского сословия, относится именно к этому, — материалистическому периоду его философского развития. Однако это нисколько не изменяет дела. Литературные взгляды, которых Белинский держался в последние годы своей деятельности, явились плодом долгой и подчас мучительной работы его ума над важнейшими вопросами теории литературы. Но приобретенная им истина не перестает быть истиной и для нашего времени. Мы и теперь плохо и поверхностно поймем Пушкина, если откажемся взглянуть на него, как на поэта дворянского сословия.

Нечего говорить, что такой взгляд, как и всякий другой, может быть понят очень узко и односторонне. Называя Пушкина поэтом-дворянином, Белинский отнюдь не хотел сказать, что поэзия Пушкина представляет собою лишь художественный гимн в честь тех привилегий «доблестного российского дворянства», которые возвышают его над лицами «подлого состояния». Чтобы быть таким поэтом, надо приходиться родней какому-нибудь Волконскому (из III Думы) [6] или даже Пуришкевичу [7]. А Пушкин далеко не родня таким господам. Дворянское настроение Пушкина следующим образом характеризуется Белинским в разборе поэмы «Евгений Онегин».

«Личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такой прекрасной, такой гуманной, но в то же время по преимуществу аристократической. Везде видите вы в нем человека, душой и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование... [8]

Вспомните описание семейства Лариных во второй главе, особенно портрет самого Ларина... Это было причиной, что в «Онегине» много

* Теперь даже не легко понять, что это значит. Ради пояснения скажу, что в то время для Белинского, по его собственному выражению, «весь беспредельный, прекрасный божий мир» был не чем иным «как дыханием единой, вечной идеи... проявляющейся в бесчисленных формах». История человечества представлялась с этой точки зрения одним из проявлений единой вечной идеи.



СТРАНИЦА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПЛЕХАНОВА С ЗАМЕТКАМИ И ВЫПИСКАМИ ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ВОПРОСАМ

Записная книжка хранится в Доме Плеханова

устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из «Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся» [9].

В основе *такой* критики лежит тот основной принцип исторического материализма, что не мышление определяет собою бытие, а бытие определяет собою мышление. Литературная критика только тогда и станет обеими ногами на твердую почву, когда она целиком усвоит себе этот принцип. До этого, к сожалению, пока еще очень далеко. Но именно потому, что до этого еще очень далеко, людям, желающим выработать материалистический взгляд на литературу, необходимо снова и снова возвращаться к Белинскому. А эта необходимость снова и снова возвращаться к человеку, умершему более 60 лет тому назад, наглядно показывает, как велик был ум этого человека.

И вот почему становится смешно, когда вспоминаешь теперь, что в последние годы жизни Белинского некоторые друзья его начинали опасаться, что он уже исписался. А он не только не исписался тогда, но едва успел сделать первые шаги по тому великому пути, который был открыт для него гениальной проницательностью его мысли. Преждевременная смерть безжалостно убила в нем богатейшие теоретические возможности.

Недостаток места заставляет меня кончать. Но я не хочу положить перо, не отметив еще вот чего.

Во второй половине 40-х годов прошлого века писатель, руководившийся в своих суждениях о литературе тем принципом, что не мышле-

ние определяет собою бытие, а бытие определяет собою мышление, не мог не задуматься о положении рабочего класса в западно-европейском обществе и о роли, которую суждено ему играть в дальнейшем развитии такого общества, и Белинский, действительно, думал об этом. Он так рисует положение французского пролетария:

«Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб, ибо тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату» [10].

И он с восторгом приветствует начало борьбы пролетариата против капиталистического ига. Он видит в пролетариате, который он иногда называет также народом, самый передовой класс Франции. «В народе уже быстро развивается образование, — говорит наш критик, — и он уже имеет своих поэтов, которые указывают ему его будущее, деля его страдания и не отделяясь от него ни одеждою, ни образом жизни. Он еще слаб, но один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях «образованного общества» [11].

Знаменитое письмо Белинского к Анненкову [12], не однажды цитированное мною в других статьях [13], дает повод думать, что он сильно переоценивал значение интеллигентов в освободительном движении пролетариата. Такая переоценка была, конечно, ошибкой, но эта ошибка была естественная для человека, находившегося в положении Белинского, жившего в России, т. е. в стране, в которой пролетариат еще совсем не выступал тогда на арену истории. Эту ошибку долго после него повторяли люди, выросшие при новых экономических условиях, которые, казалось бы, давали им возможность отнестись к самодеятельности пролетариата с несравненно большим доверием. Эта ошибка Белинского была замечена только русскими марксистами... да и то, по правде сказать, далеко не всеми. И нам надо теперь не сожалеть об этой ошибке, а с радостным и благородным удивлением вспоминать о том обстоятельстве, что несмотря на отсталость родины Белинского, мысль его плодотворно работала в том самом направлении, в котором двигалась самая передовая мысль самых передовых стран Запада. Недаром он с увлечением читал «Deutsch-Französische Jahrbücher» [14], издававшиеся в Париже Арнольдом Руге [15] и Карлом Марксом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Это издание не нужно смешивать с газетой «Наш путь», выходившей в 1913 году в Москве; о газете см. статью В. Максимовского в журнале «Современник» 1922 г., № 1, стр. 251—265.

2 «Сочинения Александра Пушкина». Сочинения В. Белинского, ч. VIII, 4-е изд. М. 1880, стр. 90—97.

3 «О русской повести и повестях Гоголя» («Арабески», «Миргород»). Соч. В. Белинского, ч. I. М. 1883, стр. 165—235.

4 «Горе от ума». Соч. Белинского, ч. III, 5-е изд. М. 1884, стр. 327—420. О «Ревизоре», стр. 373—397.

5 Цитата из статьи Белинского «Стихотворения М. Лермонтова», стр. 286. Цитата отчеркнута Плехановым на полях и заключена в скобки.

6 Волконский Николай Сергеевич, князь (1848—1910), один из основателей Союза 17 октября, член первой и третьей Государственной думы.

7 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — крупный помещик, ярый черносотенец, один из основателей Союза русского народа, депутат второй, третьей и четвертой Государственной думы.

8 Цитата из статьи о Пушкине. Гл. IX, стр. 602 (см. примеч. 2).

9 В одной из своих статей о Белинском Плеханов развивает эту мысль следующим образом:

«Взгляд Белинского на историческое значение «Евгения Онегина» показывает, что в последние годы своей жизни он приурочивал идею этого романа уже не к развитию абсолютной идеи, а к развитию русских общественных отношений, к исторической роли и смене наших сословий. Это целый переворот, это как раз то, что рекомендуют нынешним критикам экономические материалисты».

[10] Цитата из рецензии Белинского на роман Эжена Сю: «Парижские тайны». 1844 г. Соч. В. Белинского, ч. IX, 4-е изд. М. 1884, стр. 14. Цитата заключена Плехановым в скобки.

[11] Там же, стр. 16.

[12] Анненков Павел Васильевич (1812—1878) — литературный критик 50-х гг., автор ценных мемуаров и пушкинист.

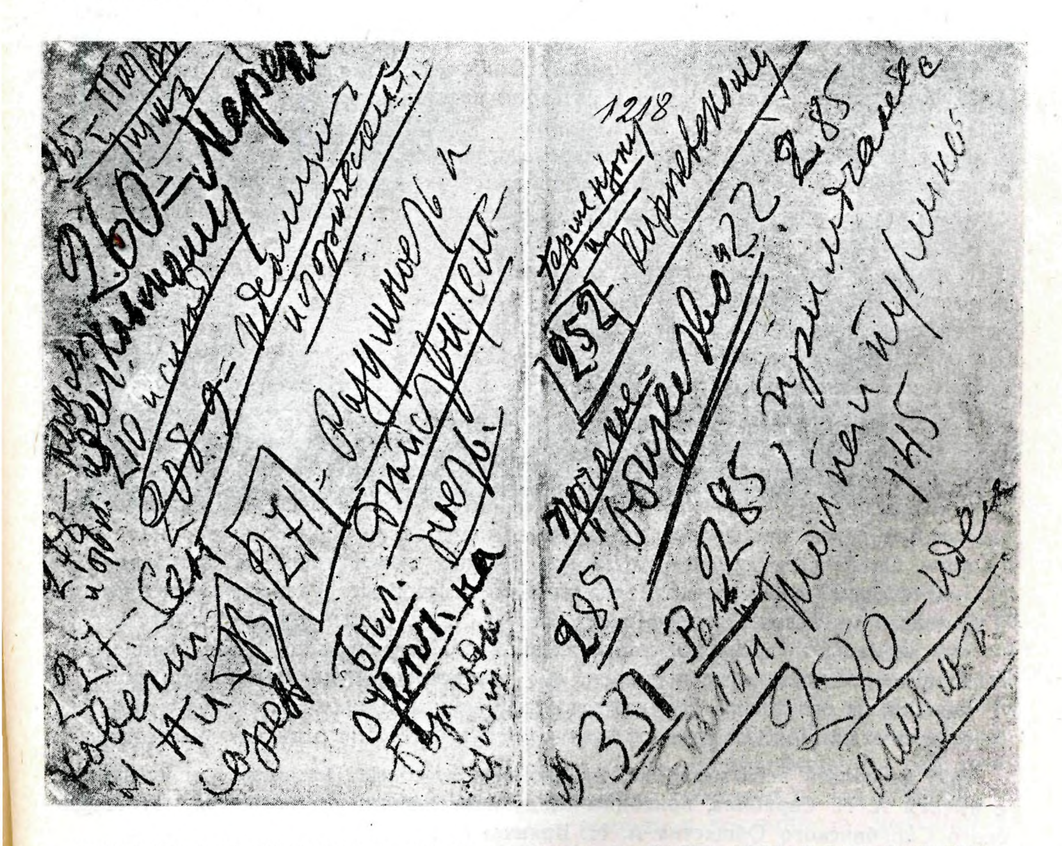
[13] «Письмо к П. В. Анненкову 15 февраля 1848 г.». Белинский. Письма. Редакция и примечания Е. А. Ляцского, т. III. 1843—1848. СПБ. 1914, стр. 335—339.

Слова о значении интеллигентов: «Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности. Когда я, в спорах с вами о буржуазии, называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, и народ тут может по временам играть посильно вспомогательную роль».

Упомянутое письмо цитируется Г. В. Плехановым в следующих его статьях: «Белинский и разумная действительность» (см. Собр. соч., т. X, стр. 249—250) и «В. Г. Белинский» (там же, стр. 343—345).

[14] «Немецко-французские летописи», издававшиеся А. Руге и Карлом Марксом в Париже. В числе их сотрудников были Ф. Энгельс и Г. Гейне. Вышла одна только книжка, содержащая I и II выпуски.

[15] Руге Арнольд (1803—1881) — немецкий литератор, левый гегельянец, публицист-радикал.



ПОМЕТКИ Г. В. ПЛЕХАНОВА НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ IV ЧАСТИ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ В. Г. БЕЛИНСКОГО (М., 1883 Г.)

Экземпляр хранится в Доме Плеханова

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. Н. СКРЯБИНЕ

В архиве «Дома Плеханова» оказалось письмо доктора Владимира Васильевича Богородского к Г. В. Плеханову, без даты, которое относится, по всей вероятности, к 1916 г., так как ответ Г. В. Плеханова на это письмо датирован 9 мая 1916 г. Содержание письма следующее:

«Многоуважаемый Георгий (извиняюсь, — запамятовал отчество). Большая просьба: сейчас готовится сборник памяти Александра Николаевича Скрябина (уч[аствуют]: Бальмонт, Брюсов, Бальтрушайтис и мн[ого] других). Находясь с ним в большой дружбе, я часто слышал от него воспоминания теплые о Вас. Было бы оч[ень] приятно, если бы Вы дали в него хоть неск[олько] строчек со своим воспоминанием о нем. Если Вы надумаете, то пришлите их по адресу: 1) Москва, Арбат, Б. Николо-Песковский пер. д. Грушко, Татьяне Федоровне Скрябиной (это адрес также и мой пока).

Всего хорошего. Остаюсь готовый к услугам

д-р Владимир Васильевич Богородский

(член Правления только что возникшего Общ-ва имени А. Н. Скрябина).

P. S. Издание будет «Скорпион»: Москва, Театральная, д. Метрополь, издатель Сергей Александрович Поляков (на него также можно послать)».

Среди рукописей Г. В. Плеханова имеется ряд набросков, черновиков, а также окончательная редакция статьи о Скрябине. Это свидетельствует о том, что Г. В. Плеханов откликнулся на просьбу Богородского «дать в сборнике памяти А. Н. Скрябина несколько строчек со своим воспоминанием о нем...». Дальнейшей переписки между В. В. Богородским и Г. В. Плехановым среди материалов «Дома Плеханова» нет. Как нам удалось установить, сборник памяти А. Н. Скрябина в издании «Скорпион» не появлялся в печати, и потому мы имеем основание считать, что статья Г. В. Плеханова, посвященная воспоминаниям о Скрябине, публикуется впервые.

Наброски и более или менее полный черновик почти ничем не отличаются от окончательной обработки. Разница лишь в том, что в одном наброске Г. В. начинает свою рукопись, как письмо, с обращения к В. В. Богородскому, в других это обращение зачеркнуто. Как видно, он колебался в выборе формы для своих воспоминаний между письмом и статьей.

О взаимоотношениях Г. В. Плеханова и Скрябина, об интересе и симпатии, которые они проявляли друг к другу, несмотря на различие во взглядах, свидетельствуют следующие слова из письма Р. М. Плехановой к Г. В. Плеханову:

«Была вчера у Скрябиных. Они были очень милы и любезны. Скрябин с каждым разом производит все лучшее впечатление. Бедность ему идет в прок. Он не пьет и потому остается больше самим собой и производит [впечатление] очень умного, талантливого и думающего человека. Он вчера развивал мне свои философ[ские] взгляды. Это чистый идеалист, хотя это ему не мешает увлекаться марксизмом. Свою встречу с тобой он приписывает счастливой звезде и уверен, что эта встреча будет иметь решающее влияние на его жизнь. Нуждаются они, бедняги, здорово и он все мечтает о концертах. Долевич [1] им обещал устроить, но от него ни слуху ни духу» [2].

Чтоб исчерпать весь материал, хранящийся в «Доме Плеханова» и связанный с именем А. Н. Скрябина, приводим следующее письмо Председателя Петроградского Скрябинского Общества А. Н. Брянчанинова от 12 мая 1917 г.:

«Глубокоуважаемый Георгий Валентинович!

Зная от покойного моего друга А. Н. Скрябина и от вдовы его, насколько Вы интересовались друг другом, хотя и различествовали во взглядах на цели и методы эволюции человечества, я почитаю своим приятным долгом,

препровождая Вам прилагаемое приглашение, выразить от имени общества надежду, что Вы почтите наше последнее в этом сезоне Собрание Вашим присутствием.

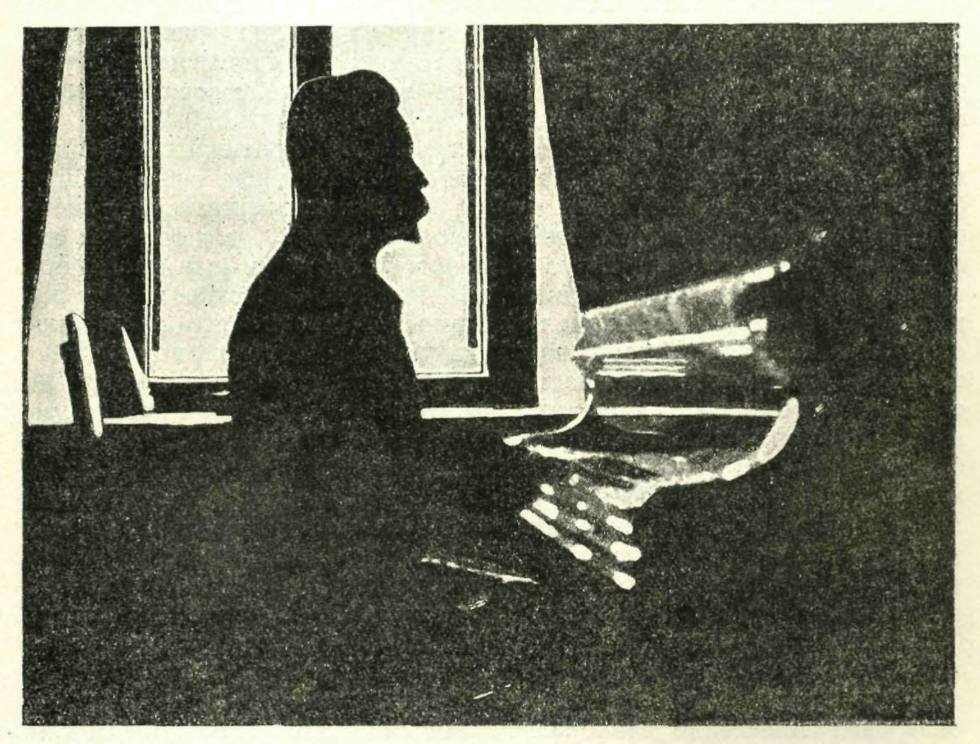
А. Брянчанинов».

Текст воспоминаний Плеханова о Скрябине приводится по автографу окончательной редакции.

ПИСЬМО К Д-РУ В. В. БОГОРОДСКОМУ

Сан Ремо 9 мая н. с. 1916 г.

Многоуважаемый Владимир Васильевич, мне было чрезвычайно отрадно узнать из Вашего любезного письма, что Александр Николаевич Скрябин хранит обо мне добрую память. Примите мою искреннюю благодарность за это драгоценное для меня сообщение.



А. Н. СКРЯБИН

С фотографии 1907 г.

Мой жизненный путь был как нельзя более далек от того, по которому с таким успехом, — хотя, к сожалению, так не долго, — шел Александр Николаевич Скрябин. Мои встречи с ним относятся только к 1906—1907 годам, принадлежащим к тем, которые он провел за границей. И, сказать по правде, у нас было много данных, чтобы после первой же встречи навсегда разойтись чуть не врагами. Мы оба очень дорожили теорией и оба имели привычку отстаивать свои взгляды с тою настойчивостью, переходящею иногда в горячность, которая так удивляет и отчасти даже пугает западных людей. А между тем, наши мировоззрения были диаметрально противоположны: он упорно держался идеализма; я с таким же упорством отстаивал материалистическую точку зрения. Эта полная противоположность точек

исхода, естественно, вызывала и разногласия по многим и многим другим вопросам, например по вопросам эстетики и политики. Надо заметить, что, по крайней мере, тогда Александр Николаевич живо интересовался общественной жизнью нынешнего цивилизованного мира вообще и России в частности. По своему прекрасному обыкновению, он и на нее всегда старался взглянуть с точки зрения теории. Его взгляд на историческое движение человечества был близок ко взгляду Карлейля, придававшего решающее значение деятельности «героев». Я считал, что этот взгляд оставляет без надлежащего внимания наиболее глубокие причины названного движения. Одного этого, не говоря об указанных выше коренных разногласиях в области «первых вопросов», вполне достаточно было для возникновения горячих споров между нами. И мы, действительно, горячо заспорили почти тотчас же после того, как были представлены друг другу в Больяско (близ Генуи), на вилле Кобылянских. Это первое столкновение далеко не было последним. Мы спорили потом при каждой встрече. Но к величайшему моему удовольствию выходило так, что споры не только не отдаляли нас друг от друга, но даже много содействовали нашему взаимному сближению.

Есть люди, которые, оспаривая мысль своего противника, не понимают ни ее самой, ни тех доводов, которые он приводит в ее защиту Споры с такими людьми хуже зубной боли. С Александром Николаевичем было, напротив, очень приятно спорить потому, что он имел способность удивительно быстрого и полного усвоения мысли своего противника. Благодаря этой драгоценной,—и, надо прибавить, крайне редкой, — своей способности он не только избавлял своего собеседника от печальной необходимости всегда скучных повторений, но как будто сам принимал деятельное участие в его стремлении использовать все сильные стороны своей позиции. Там, где есть совместная работа ума, непременно родится взаимное сочувствие. Вероятно, от этого мы тем более сближались со Скрябиным, чем более обнаруживалась бесконечная сумма наших разногласий. Всякий раз, когда мне предстояло увидеться с ним, я наперед знал, что мы будем спорить. Скажу больше: я наперед знал, что именно он будет вызывать меня на «прю». Также твердо знал наперед и то, что сговориться нам решительно невозможно. И вместе с тем я предвидел, что из спора с ним я вынесу не бесплодное раздражение, — наиболее частый результат словесных турниров, — а приятное и полезное для меня умственное возбуждение.

Вот пример отчасти могущий дать представление о том, как быстро овладевал Александр Николаевич новыми для него предметами теории.

Когда я встретил его в Больяско, он был совершенно незнаком с материалистическим взглядом Маркса и Энгельса на историю. Я обратил его внимание на важное философское значение этого взгляда. Несколько месяцев спустя, встретившись с ним в Швейцарии, я увидел, что он, отнюдь не сделавшись сторонником исторического материализма, успел так хорошо понять его сущность, что мог оперировать с этим учением гораздо лучше, нежели многие «твердокаменные» марксисты как в России, так и за границей. «Вы, марксисты, не можете отрицать значение идеологий,— говорил он мне,— вы только известным образом об'ясняете ход их развития». Это была святая истина, но увы! — я знал, что далеко не всякий марксист дает себе труд понять и усвоить эту святую истину.

Скрябин хотел выразить в своей музыке не те или другие настроения, а целое миросозерцание, которое он и старался разработать со

СТРАНИЦА ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ ВОСПОМИНАНИЙ Г. В. ПЛЕХАНОВА О СКРЯБИНЕ

С подлинника, хранящегося в Доме Плеханова

всех сторон. Совершенно неуместно было бы вновь поднимать здесь старый вопрос о том, может ли музыка и вообще искусство выражать отвлеченные понятия. Достаточно сказать, что и в этом случае мнения наши расходились и что отсюда тоже возникало между нами много споров. Но хотя я считал, что Скрябин ставит перед искусством невыполнимую для него задачу, мне казалось, что эта его ошибка приносила ему большую пользу: очень сильно расширяя круг его духовных интересов, она тем самым значительно увеличивала и без того огромный удельный вес его художественного дарования. Мне вспоминался греческий живописец Памфил, требовавший от своих учеников знания философии, математики и истории. И я говорил себе: Апеллес прошел школу Памфила...

Только лица, ближе меня стоявшие к покойному, могли бы выяснить, какими именно психологическими путями распространялось влияние философских взглядов Скрябина на его художественную деятельность. Но факт этого влияния для меня не подлежит ни малейшему сомнению. И мне сдается, что, если музыка Скрябина так полно выразила настроения весьма значительной части нашей интеллигенции в известный период ее истории, то это произошло как раз по той причине, что он был плотью от ее плоти и костью от ее кости не только в области «эмоций», но также в области философских запросов и возможных, по условиям времени и среды, «достижений».

Александр Николаевич Скрябин был сыном своего времени. Видоизменяя известное выражение Гегеля, относящееся к философии, можно сказать, что творчество Скрябина было его временем, выраженным в звуках. Но когда временное, преходящее находит свое выражение в творчестве большого художника, оно приобретает постоянное значение и делается непреходящим.

Может быть, вернувшись на родину, Александр Николаевич не отказался бы время от времени письменно возобновлять обмен мыслей со мною. Но, по воле судьбы, я принадлежу к числу тех россиян, с которыми не всегда удобно переписываться их соотечественникам. Поэтому я, с своей стороны, ничего не сделал для того, чтобы начать переписку с ним. Он тоже ни разу не написал мне. Это было для меня большим лишением. Уже не говоря о моей личной к нему симпатии, я понимал, что все, относящееся к ходу развития этого замечательного человека, имеет значение весьма поучительного «человеческого документа».

Прошу Вас передать мой искренний привет Татьяне Федоровне.

Готовый к услугам
Г. Плеханов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Долевич — псевдоним политического эмигранта Дмитрия Петрова. Он очень был дружен с А. Н. Скрябиным, и после переезда последнего в Лозанну очень помогал А. Н. выпутываться из материальных невзгод, нашел издателя-швейцарца, который приступил к выпуску музыкальных произведений А. Н. Скрябина, устроил концерт.

[2] Это письмо не датировано. По воспоминаниям Розалии Марковны, она писала его в 1906 году.

Р. М. Плеханова записала свои «Воспоминания о Скрябине», в которых приводятся любопытные сведения о встречах Г. В. с А. Н. Скрябиным; эти воспоминания будут опубликованы в одном из ближайших номеров «Литературного Наследства».

ЗАПИСКИ КРЕПОСТНОГО РАБОЧЕГО ПЕТРА КРОТОВА О КУПАВИНСКОЙ МАНУФАКТУРЕ

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ФАБРИК И ЗАВОДОВ

Предисловие А. Панкратовой
Комментарии В. Бухиной

СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ КРЕПОСТНОЙ ФАБРИКИ

Предлагаемые читателю «Записки» представляют собой документ, весьма замечательный во многих отношениях. Здесь мы даем сокращенный текст подлинных автобиографических записок крепостного рабочего — «мастерового Кротова», найденный научным сотрудником Секции истории пролетариата Института истории Коммунистической академии тов. Г. Костомаровым в Московском областном архиве и подготовляемый им к изданию отдельной брошюрой. Но поскольку эти «Записки» являются не только интересным историческим, но и литературным документом, Секция истории пролетариата сочла целесообразным опубликовать его в «Литературном наследстве», обращая на него внимание литературных организаций и отдельных писателей, особенно в связи с той задачей, которая поставлена перед ними, как и перед историками, решением ЦК об издании «Истории фабрик и заводов».

В обширной резолюции, принятой по поводу реализации этого решения ЦК ВКП(б) активом МАПП от 4 ноября 1931 г., рапповские организации обязуются, вместе с рабочей и научной общественностью, принять активное участие в работе над «Историей заводов» и обеспечить большевистское качество работы над историческим материалом. — «Для этого, — вполне правильно подчеркивает резолюция,— требуется тщательнейшее собирание материала, строжайшая проверка и исследование материалов, глубокое марксистское осмысливание и высококачественная литературная обработка его». Резолюция актива МАПП наметила не только общую линию работы, но и ряд конкретно-практических задач. Особенно необходимо отметить требование вовлечения масс в эту работу и широкого обмена опытом. «Чрезвычайная сложность работы над «Историей заводов» требует величайшего внимания к делу обмена опытом, к перенесению опыта лучших кружков в литкружки отстающие, требует осмысливания, обобщения каждой частицы ценного опыта и передачи его всей организации»,— так формулирует эту важнейшую задачу резолюция актива МАПП.

Общество историков-марксистов и Институт истории Коммунистической академии, мобилизовавшие значительную часть своих сил на реализацию решения ЦК об изучении истории фабрик и заводов, планомерно ведут эту работу уже с 1930 года. Но решение ЦК обязывает и историков перестроить свою работу и, в частности, вступить в самую тесную, деловую кооперацию, установив обмен опытом с писательскими организациями. Практическим шагом к такой кооперации в деле изучения истории заводов может быть совместная обработка историками и литераторами таких документов, которые могут представлять интерес и для историка, и для писателя. В отношении публикуемых «Записок» мы, давая

нашу историческую оценку и обработку предлагаемого документа, делаем первый шаг такой кооперации. Мы полагаем, что, в дополнении с необходимыми литературными комментариями, этот документ может быть интересным материалом для занятий в заводских литкружках. При изучении истории фабрик и заводов им можно воспользоваться, чтобы ознакомить рабочих-литкружковцев с той страницей, какая посвящена истории крепостной фабрики.

Постановление ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 г. об издании «Истории заводов» возложило на рабочую, литературную и научную общественность задачу большого политического значения — показать длинный и трудный исторический путь пролетариата от крепостной и капиталистической фабрики к социалистической,— путь, в настоящее время завершающийся победоносным строительством социализма в нашей стране.

Содержание истории фабрик и заводов в этом постановлении формулировалось сжато, но вполне четко. История заводов должна «дать картину развития старых и возникновения новых заводов, их роль в экономике страны, положение рабочих до революции, формы и методы эксплоатации на старых заводах, борьбу рабочих с предпринимателями, бытовые условия, возникновение революционных организаций и роль каждого завода в революционном движении, роль завода и изменение отношений на заводе после революции, изменение типа рабочего, ударничество, соцсоревнование и под'ем производства за последние годы».

Таким образом, основная целевая установка истории заводов — обобщить исторический опыт борьбы пролетариата на всем пути его к диктатуре и показать историческую закономерность и необходимость его настоящей борьбы за социализм. Большевистским показом *всей боевой истории* многих пролетарских поколений — история фабрик и заводов должна научить новые поколения — особенно только что пришедшие на завод или фабрику — понимать, ценить и укреплять революционные завоевания рабочего класса. Тем самым исторический материал даже самых отдаленных эпох приобретает значение воспитательного и организующего фактора и служит живым орудием мобилизации масс для строительства социализма. «Надо знать прошлое во всем его мрачном, бытовом бесчеловечии, с его гнусным цинизмом, с его изумительным лицемерием» — пишет об этом А. М. Горький, призывая энергично взяться за работу по созданию большевистской «Истории заводов». — «Это необходимо для того, чтобы воспитать в себе органическое отвращение к капиталистическому прошлому, чтобы тонко чувствовать раздражающее влияние его пыли, чтобы научиться исторически мыслить, чтобы насытить боевую теорию ленинизма фактами и углубить ее, чтобы усвоить дух большевизма, его непримиримость, его гибкий разум, отточенный историей прошлого» («Правда», 28 ноября 1931 г.).

Этот *политический* угол зрения, вообще обязательный для историка (ибо история есть наиболее политическая из всех наук), особенно необходим при изучении истории фабрик и заводов.

Как бы ни была отдалена изучаемая историческая эпоха, мы рассматриваем ее только как *этап* на пути к той героической борьбе за социализм, какую ведет пролетариат в наши дни. Прошлое необходимо для глубокого осмысливания настоящего. История многих фабрик и заводов уходит своими корнями даже в крепостную эпоху. И эта эпоха должна обязательно получить свое освещение и отражение в истории заводов. Классовая борьба на крепостной фабрике отличалась глубоким драматизмом. Она показывает примеры отчаянной борьбы крепостных рабочих против предпринимателей — крепостников. Надо показать, что самая «вольность», какую обычно связывают с формальным раскрепощением — «реформой» 1861 г., — означала просто переход из рабства крепостнического в рабство капиталистическое. Анализ классовой борьбы в крепостной фабрике необходим и для понимания особенностей классовой борьбы российского пролетариата в условиях промышленного капитализма. Крепостнический этап с господством методов внеэкономического принуждения не прошел бесследно для формиров-

шейся капиталистической фабрики. Наоборот, сочетание крепостнических пережитков с капиталистическими отношениями составляет главную особенность русской капиталистической фабрики. Именно это сочетание и обусловило неимоверную тяжесть эксплоатации рабочих на дореволюционных предприятиях. Внеэкономическое принуждение — в той или иной степени и форме — продолжало существовать и долго после «реформы», обусловливая то сочетание «азиатских» и «европейских» — по образной характеристике Ленина — методов и форм эксплоатации, какое было характерно для развития промышленного капитализма в России.

Крепостнические пережитки накладывали свой отпечаток на условия труда, быта, на характер формирования рабочих кадров, на оформление рабочих в класс, на условия и характер борьбы рабочих с предпринимателями и, наконец, на процесс революционного созревания рабочего класса. Вот почему изучение крепостнического этапа (если предприятие переживало такой этап и если сохранились документы этой эпохи) представляет такой большой интерес и такое значение — не только чисто научное, но и глубоко-политическое.

В крепостной России XVII—XVIII в. еще не существовало рабочего класса. Его оформление в общественный класс относится только к XIX веку, особенно, ко второй его половине. Но изучение крепостной фабрики интересно для нас, как *предистория* пролетариата. Уже в условиях экономики крепостной России формировались кадры рабочих, пока еще несвободных, крепостных, насильственно прикрепляемых к производственному процессу; но уже постепенно идущих по пути полного отрыва от земледельческого труда, от сельскохозяйственного производства, приобретающих производственную квалификацию, подготовляющих те рабочие кадры, которые после «реформы» 1861 г. создали основной источник свободной рабочей силы для раскрепощенной (хотя и не в полной мере) фабрики. Без изучения процесса формирования вольнонаемного труда, начиная еще с крепостной фабрики, нельзя понять, каким образом в XIX в. в России вышел на арену классовой борьбы пролетариат, как самый революционный класс; нельзя понять, почему его долгая и трудная борьба привела в следующем веке к величайшей в мире победе и над помещичьим самодержавием, и над буржуазией.

Эта предистория рабочего класса — история рабочих крепостной фабрики — проходит в условиях жестокой классовой борьбы. Историк-марксист или рабочий-исследователь, который будет изучать историю дореформенной фабрики, прежде всего должен будет подойти к анализу документов крепостной эпохи с этой стороны. Он должен будет прежде всего возможно полнее восстановить общую картину экономического и правового положения и классовой борьбы рабочих на крепостной фабрике. И в свете полученных обобщений, характерных для истории фабрики крепостной эпохи, он может глубже и конкретнее изучить факты и данные, составляющие содержание следующего — капиталистического — этапа существования изучаемой фабрики или завода. Мы считаем при этом полезным дать рабочему — литкружковцу некоторую руководящую нить для ориентировки в вопросе об истории крепостной фабрики и предложить самую общую схему изучения крепостной фабрики. Эта схема нам рисуется в следующем разрезе.

1. Общая экономическая характеристика предприятия крепостной эпохи.

2. Состав и особенности формирования рабочих кадров в крепостную эпоху. Степень, формы и источники комплектования рабочих на крепостной фабрике. Принудительный и наемный труд. Роль иностранных рабочих. Квалифицированный труд и его роль.

3. Строй отношений в крепостном предприятии и в докапиталистической мануфактуре:

а) фабричный абсолютизм предпринимателя, ведущего хищническое хозяйство крепостной эпохи;

б) предприниматель, рабочий, крестьянин и кустарь в их взаимосвязи; помещик и купец, их взаимоотношения и роль в организации крепостной фабрики;

в) степень, формы и характер эксплоатации рабочих;

г) экономическая закабаленность и бесправие крепостных рабочих: характер дисциплины, рабочий день, зарплата, условия труда, контракты;

д) регламентация и постоянный надзор за предприятием со стороны правительства и предпринимателя; роль помещика в организации и положении крепостного труда на предприятии;

е) быт рабочих крепостной фабрики, производственный и домашний; влияние условий труда на домашний и семейный быт рабочих;

4. Классовая борьба в крепостной фабрике:

а) формы борьбы, бегство, челобитные, жалобы, «ходоки», стихийные бунты, разрушение машин, стачки. Результаты борьбы. Роль и поведение администрации, полиции и правительства. Репрессии и их влияние на рабочих;

б) степень сознательности и активности крепостных рабочих. Влияние стачек на рабочих. Первые попытки организации. Первые выборы рабочих представителей, их роль и положение. Общие выводы.

Эта общая схема может послужить только отправным пунктом при анализе содержания и значения изучаемого в кружке исторического документа или какой-нибудь страницы из истории крепостной фабрики.

Попытаемся в основном применить ее и при анализе предлагаемого здесь читателю документа.

«Записки» мастерового Кротова охватывают хронологически довольно большой, но крайне неравномерно освещенный период, начиная от возникновения Купавинской фабрики при Екатерине II и кончая 1877 годом, т. е. крепостной период ее существования и первые годы после «реформы» 1861 г. Но этот последний период — годы до и после «реформы» 1861 г. — в «Записках» освещены крайне скудно. Небольшие фактические сведения тонут в длинных авторских рассуждениях морального свойства и в его словесных упражнениях религиозного содержания. Эта часть «Записок» не представляет большой ценности, как исторический или даже как автобиографический материал, и поэтому она здесь опущена. В настоящем издании «Записки» (впервые публикуемые) доводятся, примерно, до 1849—1850 г. и кончаются довольно драматически изображенным эпизодом «раскрепощения» рабочих по закону 18 июня 1840 г. Согласно этого закона, владельцы поссессионных фабрик могли «освобождать» рабочих, приписанных к фабрике, забирая у них землю и все имущество и приобретая фабрику в полную свою собственность. Этот закон имел очень большое значение в истории фабричного поссессионного права и сыграл не малую роль в истории борьбы крепостных рабочих за «волю» и «землю», ибо он не только освобождал фабричных рабочих от личной зависимости от владельца, но и «освобождал» их от всякой собственности, отрезывая путь недавним крестьянам к возврату на землю — к сельскохозяйственному труду. Но на истории закона 18 июня 1840 г. и на его применении на Купавинской фабрике мы остановимся ниже.

«Записки» не дают достаточных автобиографических сведений, касающихся жизни и личности мастерового Кротова, хотя автор в ряде мест намекает на свою богатую событиями и переменами жизнь. Из «Записок» мы только узнаем, что дед его был приказом правительства послан на фабрику из г. Козлова, а сам автор и его родители уже видимо родились и работали на Купавинской фабрике. До создания здесь фабрики, Купавна была небольшой дворянской вотчиной князя Репнина, а потом по купчей крепости перешла во владение к богатому московскому купцу, приближенному ко двору Екатериной, М. Я. Земскому.

Купец Земской, по распоряжению Екатерины II, построил здесь шелковую фабрику, расположенную в 30 верстах от Москвы, в Богородском уезде, по Владимирскому и Нижегородскому шоссейному тракту. Кроме того, он здесь же построил кирпичный завод, обслуживавшийся купавинскими крепостными рабочими, которых насчитывалось тогда в Купавне при 30 дворах всего 70 душ муж. пола. Производство росло, рабочих рук нехватало. Поэтому рабочий состав Купавин-

Регистръ Сколько следуетъ выдать месячнаго окладнаго жалованья Купавинскимъ Мастеровымъ людямъ находящимся при Суконной фабрикѣ Его Сіятельства Князя Николая Борисовича Юсупова за Апрель и май мцы 1823 годъ

№		цѣна руб	цѣна коп	Сумма рубл	Сумма коп
	Конторщикъ				
1	николай Макаровъ	23	.	46	..
	при раздачи шерсти				
1	Купріянъ Макаровъ	33	33¾	66	66½
	при щировой машинѣ				
1	фоминъ [illegible]	20	..	40	..
	прядильныхъ Машинъ				
1	иванъ тимофеевъ	16	.	32	..
	при чесальныхъ машинахъ				
1	пантелѣй Артемьевъ	16	..		
2	Сергѣй Лебедевъ	16	..		
3	Гаврила Головашинъ за мцъ 20 днѣвъ	13	30		
4	иванъ Суслевъ	16	..		
5	петръ Кротовъ	16	..		
6	яковъ Епифановъ за мцъ 20 днѣ	13	30		
7	илья Горбачевъ	16	..		
8	[illegible] Кузовкинъ	16	.		
9	павелъ Карчинъ	16	.		
10	Степанъ [illegible] за мцъ 20 днѣ	13	30	151	70
	при щипальныхъ машинъ				
1	дмитрій Работниковъ за мцъ 20 днѣвъ	13	30		
2	федоръ [illegible] за мцъ 20 днѣ	13	30		
	транспортъ	26	60	336	56¼

«РЕГИСТР» НА ВЫДАЧУ ЖАЛОВАНЬЯ ЗА АПРЕЛЬ И МАЙ 1823 Г. ПОССЕССИОННЫМ РАБОЧИМ КУПАВИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ «ПРИ ЧЕСАЛЬНЫХ МАШИНАХ» УПОМЯНУТ АВТОР «ЗАПИСОК» — ПЕТР КРОТОВ

С подлинника, хранящегося в архиве Юсуповых в Московском Древлехранилище

ской фабрики формировался, по обычаю того времени, всеми возможными способами и комплектовался из людей всякого рода, звания и сословия. Отсутствие своих крепостных заставляло купца-владельца фабрики добиваться особого указа о «насыльных» людях на фабрику — «из новороссийских краев и прочих губерен и городов». Среди этих «насыльных» много было и рабочих других национальностей — «казаки, калмыки, татары, персьяны, галичины».

Таким образом, при своем основании Купавинская фабрика была купеческой, т. е. организованной купцом, мануфактурой довольно типичной для екатерининского времени. Дворянское правительство предоставляло купцам-предпринимателям привлекать, в качестве рабочих, всех свободных или полусвободных людей, разоренных, нищих, бродяг и т. п. Предпринимателям же дворянам предоставлялись и приписывались к фабрикам деревни и разрешалось использовать на фабрике труд крепостных крестьян. На этой почве между предпринимателем-купцом и предпринимателем-дворянином шла обостренная борьба, не нашедшая в мемуарах прямого отражения. Но косвенное указание на нее имеется — хотя бы в том факте, что купавинская шелковая фабрика после смерти Земского недолго оставалась в купеческих руках. Наследник купца Земского не мог вынести конкуренции дворянской фабрики и разорившись лишился рассудка, а фабрика перешла к князю Потемкину.

Потемкин получил от казны значительную сумму на расширение фабрики, построил, кроме шелковой, еще и часовую фабрику, переданную им вскоре в аренду немецкому мастеру и расширил производство. Но в 1791 г. Потемкин умер, а фабрика и фабричные — «старожилы и навезенцы» — перешли в казну.

Правительство некоторое время вело и даже расширило фабрику, ассигновав на это 40 тыс. руб., но вскоре оно передало ее на основе поссессионного права 1803 года — князю Юсупову. Согласно особому «Положению», новому владельцу передавались не только фабрика, но и приписные к ней фабричные рабочие, в отношении которых устанавливались особые правила, регламентирующие условия труда, заработную плату, рабочее время и т. п. Владелец не имел права продавать поссессионных фабричных отдельно от фабрики или посылать их на другие работы.

Юсупов, бывший поставщиком шелковых товаров для дворца, значительно развернул производство. Он устроил в Купавне еще и суконную фабрику и даже ввел первые сukновальные и сукнодельные машины, а также выписал из заграницы 12-тисильную паровую машину, каких еще в России, за исключением петербургской Александровской мануфактуры, нигде не было. Шелковая и суконная фабрики с 1818 г. существовали вместе, пока суконная не заняла первенствующего положения. Шелковая же просуществовала до 1836 г. С конца XVIII в. и особенно в начале XIX в. в России довольно интенсивно развивается процесс разложения крепостного хозяйства. Возрастает применение механических двигателей, увеличивается количество вольнонаемных рабочих. На почве проникновения капитализма, чрезвычайно обостряются противоречия во всем строе крепостных отношений России. Одним из проявлений этих противоречий была развернувшаяся вокруг поссессионного права борьба между купцами-предпринимателями и предпринимателями-помещиками. Отражение этой борьбы и ее влияние на рабочих и является основным содержанием воспоминаний мастерового Кротова.

В 1798 г. купцы-фабриканты добились восстановления права поссессионного владения, которое однако скоро оказалось тормозом в развитии производства. Растущая потребность в более производительном вольнонаемном труде заставляла теперь фабрикантов настойчиво требовать отмены крепостных ограничений. В ряде законов в 1824, 1833 и 1840 гг. «стеснительность условий, с поссессионным владением сопряженных», постепенно смягчалась, а по закону 18 июня 1840 г. фабриканты получили право по желанию ликвидировать поссессионное владение и перейти на вольнонаемный труд.

	Транспорт	. .	3824	75
	Ременщикам			
1	Василью Плашкову	16 —		
2	Федору Овчинникову	16 —	32	—
	Сторожам и отправляющим Ночные караулы			
1	Петру Горбачеву	18 .		
2	Ивану Силантьеву	18 —		
3	Ивану Прелову	18 .	54	—
	Прикащикам Мастер...			
1	Тимофею Литвинникову	. .	53	32
	Слесарям			
1	Антону Иванову	52 .		
2	Максиму Григорьеву	26 .		
3	Федору Волкову	26 —		
4	Андрею Бредихину с 1-го октября по 1 декабр	25 —		
5	Ивану Исаеву	20 —		
6	Петру Кротову	20 .		
7	Василью Лаврентьеву	20 .		
8	Павлу Губанову	20 .		
9	Алексею Кузнецову	20 .		
10	Мартыну Максимову	20		
11	Герасиму Чернову	16		
12	Павлу Карпину	16 .		
13	Егору Еремееву	16 —	279 / 18	— } 297
	Транспорт	.	4248 / 18	7

«РЕГИСТР» НА ВЫДАЧУ ЖАЛОВАНЬЯ ЗА ОКТЯБРЬ И НОЯБРЬ 1828 Г. ПОССЕССИОННЫМ РАБОЧИМ КУПАВИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ, СЛЕСАРЕМ КОТОРОЙ УПОМЯНУТ ПЕТР КРОТОВ

С подлинника, хранящегося в архиве Юсуповых в Московском Древлехранилище

По этому закону фабриканты могли увольнять рабочих по своему усмотрению, получая вознаграждение от казны 36 руб. серебром с ревизской души мужского пола, если увольняемые рабочие были куплены фабрикой; если же рабочие были приписаны без платы, то и при освобождении их владелец не получал компенсации. Увольняемые рабочие могли по выбору — либо приписаться в городские мещане, либо — в государственные крестьяне. В последнем случае они должны были переселяться, и на переселение и обзаведение им полагалась от владельцев некоторая сумма, от уплаты которой последние пытались, разумеется, всячески уклониться. Несмотря на эти налагаемые казной расходы, фабриканты в 30-х и 40-х годах довольно охотно пользовались законом 18 июня 1840 г., благодаря наступившим новым экономическим условиям, делавшим крепостной труд невыгодным и обременительным.

Точной цифры освобожденных рабочих по закону 1840 г. пока не установлено, но она дает не менее 15—20 тыс. чел. мужского пола. Как относились рабочие к этому закону?

Поссессионные рабочие часто выражали желание приписаться в государственные крестьяне, но упорно отказывались покидать насиженные места и переселяться. На этой почве происходили волнения, и упорствующих нередко переселяли в Сибирь по этапу при помощи военной силы.

Приписавшиеся в мещане также обязаны были продать свои дома и выселиться с земли владельца. Когда рабочие оставались в своих домах, они обязывались выплачивать владельцам за приусадебную землю особый выкуп.

Нечего и говорить, что получаемая при таких условиях «свобода» никому не улыбалась и, кроме разорения и новых страданий, ничего рабочим не приносила. Поссессионные рабочие очень активно боролись за волю до издания закона 18 июня 1840 г., но новый закон глубоко разочаровал их, ибо он приносил рабочим такие новые испытания и лишения, что они нередко жалели о прежней неволе. Известны случаи, например, с Фряновскими рабочими, когда поссессионные рабочие даже не соглашались итти на волю, опасаясь лишиться земли и домов.

Таким образом, закон 18 июня 1840 г. приносил больше выгод фабрикантам, чем рабочим. Он послужил причиной многих волнений рабочих крепостной фабрики. Описываемые в «Записках» Кротовым события также были связаны с этим законом о ликвидации поссессионного права. Остатки же поссессионного права были окончательно ликвидированы только «реформой» 1861 г.

Автор «Записок» дает очень яркую картину купеческого владычества на Купавинской фабрике. Московские купцы суконщики — братья Петр и Илья Семеновичи Бабкины, получившие фабрику от наследников князя Потемкина на тех же правах поссессионного владения, на каких имел ее князь Потемкин, очень скоро стали отменять или просто игнорировать стеснительные для себя пункты «Положения» 1803 г.

Прежде всего, они отказались от материального обеспечения не работавших уже на фабрике стариков, сирот, инвалидов и т. п., затем отказались от пособий рабочим во время болезни, смерти и т. д. Автор рисует картину жестокой эксплоатации рабочих, не только прямым путем посредством низкой заработной платы и т. п., но и косвенным — путем хозяйских лавок, закладов и ссуд под высокие проценты, сокращения пайков, высоких оброков при выдаче паспорта и т. п.

«Период владения Бабкиных, — делает автор заключение о положении рабочих в это время, — может считаться самым тяжким периодом существования купавинских фабричных. Бабкины всеми средствами стремились только к своей быстрой наживе, а подчиненных своих угнетали и притесняли самым возмутительным образом».

Рассказывая, какими средствами боролись рабочие против эксплоатации, автор очень живо рисует картину классовой борьбы, развивавшейся на купавинской фабрике. Купцы, в союзе с исправником, с губернатором, со столичными властями и духовенством присылают на фабрику вооруженную силу, арестовывают

наиболее активных рабочих, требуют от всех купавинских фабричных подписки в повиновении властям, а от рабочих не принимают никаких жалоб и раз'яснений. На сторону Бабкиных переходит и наиболее обеспеченная и угодная хозяевам часть мастеров, а также обманувший доверие рабочих мирской голова. Всех неподписавшихся, в присутствии священника, вызывали подворно и упорствующих били «девятерых розгами, десятого — плетьми». Автор красочно описывает российское правосудие в отношении крепостных рабочих. «Закон мог дозволить из белого сделать черное, из черного — белое, и все в руках судьи дело. Богатого едва ли когда признавали по суду виноватым, но более оправданным преспокойно оставался. А мужика бедняка нередко и правого обвиняли и с наказаниями в сибирские края посылали».

Не менее яркую картину изображает автор, описывая и другой эпизод из истории классовой борьбы на поссессионной фабрике, развернувшейся в связи с указом 1840 г. о прекращении фабричной поссессии. Пользуясь указом, владельцы решили отнять у фабричных лес, землю и дома, принадлежавшие всегда рабочим. Фабричные же добивались приписки в государственные крестьяне с отдачей им всей земли. Купавинских фабричных заставили насильственно записаться в городское сословие г. Богородска, а за отказ от подписки жестоко наказали розгами и заключили в острог.

Автор, подробно излагая этот эпизод, довольно хорошо оценил и понял самый смысл закона 1840 г., по которому рабочие лишались всякой собственности и превращались в «вольных» рабочих с целью заставить их итти на любых условиях на фабрику.

«А мещанам тогда некуда будет деваться и принуждены будут у наших ворот увиваться, просить работы», — передает Кротов мнение и разговор между собой поссессионных владельцев в связи с указом 1840 г.: — «а нам меньше заботы, сколько за работу им дадим, и то будут работать, как добровольные рабы наши навсегда».

Описывая проведение закона 1840 г. и «освобождение» крепостных рабочих, автор местами рисует картину большой силы и жизненного драматизма. Об'явление о том, чтобы немедленно очистить свои насиженные гнезда, потому что лес, земля и дома рабочих передаются по новому закону фабриканту, а «освобожденные» рабочие могут итти либо в город на фабрику, либо в дальние губернии в государственные крестьяне, — рабочие встретили с полным отчаянием.

«Такое убийственное об'явление встревожило всех до бесконечности о лишении родины своей и места жительства и даже домов, кровавым потом нажитых нами. И в это время и работа никому на ум не шла. Всюду происходили в народе толпы, молва, сходки, в домах и семействах слезы, вздохи и все вообще как бы к смерти будучи приговорены или к скорой высылке, неизвестно куда и когда»...

Хлопоты, прошения и ходатайства рабочих перед властями и министрами не помогли. Купавинские фабричные насильственно были приписаны к городскому сословию. Когда же половина фабричных все же отказалась дать подписку, на фабрику снова прислали солдат и устроили вторую экзекуцию, которая была еще тяжелее первой, уже упоминавшейся нами выше. Поголовная порка рабочих розгами до полусмерти привела к желательному властям результату: «Зачислены были поссессионные крестьяне в городское сословие». И с глубокой иронией и печалью автор кончает эту часть записок: «Поссессионные владельцы желаемое получили, а своих подчиненных бывших, как соперников проучили, освободили их на волю — по чистому полю избирать себе род жизни. Вот те и свобода, как осенняя погода!»... Таким образом, в этом небольшом документе раскрывается весьма яркая страница из истории классовой борьбы на крепостной фабрике; она дает довольно верный исторический материал, рисующий общие условия труда, быта и борьбы крепостных рабочих.

При этом обращает на себя внимание незаурядная, особенно для уровня рабочих этой эпохи, личность автора мемуаров.

Ко времени их написания ему, видимо, было около 70 лет, если судить по тому, что в 1812 г. ему было 4 года, а записки он довел до 1877 г. Память сохранила ему лишь наиболее в ней запечатлевшееся. Но кроме собственных воспоминаний, автор пользуется рассказами и воспоминаниями других рабочих — своих земляков и старожилов. Уже самый факт написания рабочим, бывшим крепостным, мемуаров свидетельствует о том, что автор их был выше своих товарищей по умственному развитию и по своим знаниям. По косвенным данным можно даже заключить, что автор из рабочих был видимо переведен в фабричную контору и возможно даже, что за усердную работу был приближен к хозяевам. Это последнее дало ему возможность быть в курсе многих таких событий, какие не могли быть известны или даже понятны другим рабочим его времени. Автор — человек вдумчивый и наблюдательный, умеющий критическим отношением и острым словом подчеркнуть наиболее характерные для его эпохи черты, в условиях жизни, производства, быта и во взаимоотношениях людей. С особенным негодованием он рисует нравы купеческих «стяжетелей» Бабкиных, которые платили купавинским фабричным меньше, чем свободным рабочим, а заставляли их работать «за третью деньгу против вольнонаемных». Его симпатии целиком на стороне рабочих, с которыми он чувствует себя неразрывно связанным, несмотря на то, что в период 1849 г. — во время волнений на купавинской фабрике, в связи с их «освобождением» по закону 18 июня 1840 г., автор, видимо, работал в конторе. Когда рабочие временно перестают доверять ему и даже обвиняют его в измене и защите интересов хозяев и начальства, Кротов переживает этот момент с глубокой горечью, что нашло свое отражение и в его «Записках». К полиции, к суду, к духовенству автор относится резко враждебно, понимая и подчеркивая в своих «Записках» их взаимную связь и их «поддержку интересов купца Бабкина». Тяжелая эксплоатация не только пробуждает классовое чутье в бывшем мастеровом Кротове, но и заставляет его сокрушаться, что остальные рабочие не понимают своих интересов и не умеют об'единиться для борьбы за них.

Все это говорит о личности мастерового Кротова, как о передовой и незаурядной фигуре среди крепостных рабочих. Вторым доказательством незаурядности рабочего-мемуариста является его стиль. Правда, автор при этом неоднократно называет себя «невежей» или «убогим», указывая, что «учили его за алтыны медные» и что «от младости и до старости грамматики и арифметики он не читывал». Этому утверждению противоречит стиль мемуаров — весьма типичный для дворянской эпохи, в какую жил автор. Этот несколько витиеватый и многословный, иногда даже впадающий в стихотворную прозу, патетический стиль, с употреблением многих народных и литературных примеров, прибауток и прочих украшений, говорит о несомненной начитанности автора.

Примером такого стиля, украшенного даже рифмой, может быть также рассуждение о пользе «хозяйского глаза» в работе:

«Дело в посторонних руках не есть хозяйство: едва не каждый приказчик — грош в ящик, а пятак — за сапог. Приказчик на этот предмет проворен, да и сапог у него просторен. Это дело не может быть прочно, ежели фабрику водить заочно. Так-то иногда фабриками управляли некоторые Романы, имевшие большие карманы»...

Тот же полународный, прибауточный, рифмованный стиль, но вместе с тем и не без литературной витиеватости, мы видим и на многих других страницах. При этом обращает на себя внимание множество рассуждений автора, главным образом, морального и религиозного содержания. Многие из них также, видимо, отражают склонность автора и его подражание литературному стилю своей эпохи.

Во всяком случае, предлагаемый документ несомненно является любопытным литературным памятником своей эпохи, особенно, если учесть, что автор мемуаров выходец из рабочих.

В связи с этим мы считаем необходимым обратить внимание и на эту сторону «Записок», изучая их, как материал автобиографического характера, могущий

быть документом эпохи и для историка, и для литератора. Опыт научного изучения анкетно-биографического материала Секцией истории пролетариата показал, что при надлежащей научной проверке и критической работе над таким материалом он может оказаться весьма полезным и ценным добавочным источником при изучении истории фабрик и заводов.

Настоящий документ был подвергнут проверке по архивным фондам древлехранилища, сокращен, снабжен исторической справкой и примечаниями и подготовлен к печати научным сотрудником Секции истории пролетариата т. В. А. Бухиной.

А. Панкратова

I

[АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕЛА КУПАВНЫ И КУПАВИНСКОЙ ФАБРИКИ: КНЯЗЬ РЕПНИН, Д. Я. ЗЕМСКОЙ. КУПАВИНСКАЯ ФАБРИКА ПРИ ЗЕМСКОМ. СОСТАВ РАБОЧИХ — «НАСЫЛЬНЫЕ ЛЮДИ». Г. А. ПОТЕМКИН. ПЕРЕХОД ФАБРИКИ В КАЗНУ, УПАДОК ФАБРИКИ. ОТДАЧА КУПАВИНСКОЙ ФАБРИКИ В ПОССЕССИОННОЕ ВЛАДЕНИЕ КНЯЗЮ Н. Б. ЮСУПОВУ. ФАБРИКА ПРИ ЮСУПОВЕ. ОСНОВАНИЕ СУКОННОЙ ФАБРИКИ. ПЕРЕХОД ФАБРИКИ К КУПЦАМ П. И И. БАБКИНЫМ. УНИЧТОЖЕНИЕ ШЕЛКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА].

Кто менее знаком с праздностью и ближе к любознанию, то может подробнее знать о существовании Купавны и происшествиях в ней бывших, со времен блаженной памяти Екатерины 2-й и до царствования Александра 2-го. О том об'яснит история, следующая ниже сего предисловия.

Почтеннейший и благосклонный читатель, я об'ясняюсь, как природный поместья сего обыватель, о котором нечто описывать начиная, а притом и малограмотство свое не скрывая, именно потому что родители мои, бывше[1] люди бедные, и меня учили за алтыны медные. В 1815 году церковной азбуке меня учили, а потом часовник и псалтырь вручили, согласно того времени, как известно, «блажен муж» и прочие псалмы до «мал бех в братии моей». А впоследствии соболезнуя несколько о недостаточной образованности своей, я признаюсь, что от младости и до своей старости грамматики и арифметики не читывал и в руках моих не бывало. А с божию помощию люди иногда от времени научаются, а в особенности с коими много перемен в жизни случается. Ибо в тленном и суетном мире нет мира, и исчезают в суете дни наши.

И прошу просвещенных наукой не требовать от меня многого, как и от невежи или убогого. Конечно, ежели б я в своих обстоятельствах не столько затеснился, то иначе бы об'яснился. А впрочем, и то сказать, ежели же в нашем ремесленном быту, о подобном сему много замышлять, то недостанет времени и куска хлеба промышлять, а изделием не дорожить, нечего будет и на зуб положить. Конечно, ежели ревностный и тщательный, хотя и невежа, а он во время отдыха своего нечто планирует[2] и на боку лежа. Конечно ежели в крепостном положении будучи человек, и преклонных лет, следующей[3] способности[4] нет. Но благодаря всевышнего, что свободою властвуюсь, а просвещением ничуть не хвастаюсь, даже мало имею в оном понятия, а благодарю бога за свое ремесленное занятие, оно хоть некрасиво и нехвастливо, а стоит сказать иногда и спасибо. Кто ведет себя честно, то и впоследствии будет небезызвестно.

Моя наклонность всегда меня влекла к знакомству и дружеству с трудолюбием и занятием. И за упразднением моих ремесленных занятий, во избежание гнусного порока праздности значущейся [мат]ерию[5] порокам, скитающейся между кабаками и бесполезными народными толпами, которой вполне бог даже гнушается и вообще всеми здравомыслящими презирается, а трудолюбие свыше благословляется, затем

и не дозволяю праздности мною заниматься, и без доклада отнюдь ко мне не являться. А как во мне кровь не остыла, то праздность для меня весьма мерзка и постыла. Прочь, прочь, бездельница, прочь бесполезная ленивица, я не согласен среди скуки тратить время сложа руки, а между дел по временам на свободе хоть вкратце нечто опишу не поспешу, что я мог в протекции [6] жизни своей встретить и припомнить, а к дополнению оного, по временам, собирая сведения от старичков и пожилых мужичков, а именно старожил сего поместья, о начатии Купавинской прежде шелковой бывше фабрики существовавшей по 1836 год. А между оным устроена в Купавне и суконная фабрика с 1818 [7] года и существует последняя по настоящее время в обширном количестве, состоя [8] в московской губер[нии], Богородского уезда по Владимирскому и Нижегородскому шоссейному тракту, от Москвы в 30 верстах. [Напишу] о событиях в Купавне и происшествиях по 1877 год. Нашествие же I-го Наполеона на Москву в 12-м году, едва нечто мало припомнить могу, когда я был с половиной четырех лет, а о том и продолжать здесь нужного нет.

А теперь мы скажем то, что знаем и слышанное в народном предании, как и дедушка мой рассказывал, родителя моего отец, а тому согласно впоследствии подтверждали и прочие купавински[е] старожилы из коих доселе [некоторые] бывши живы — о упомянутой Купавинской шелковой фабрике как известной бывше по истории, и значившейся первой в России [9]. Вот я из разговоров старых людей успел коечто припомнить почти мимоходом, в профиль, как они бывало рассказывали.

Сначала давности Купавна бывше вотчина князя Репнина, и по купчей крепости поступила во владение знатному тогдашнего времени боярину Д. Я. по фамилии Земскому [10], известному бывше двору ее величества Екатерины 2-й. Он тогда и вкладчиком был в Москве Покровского монастыря, что на Могильцах, от имени его вылит колокол в 66-ть пудов в 1747-м году. В бытность же Земского Купавна состояла не более как в 30-ти дворах и в 70-ти душах мужеска пола. В настоящее же время имеется до 500 домов и 1246 душ му[жеска] пола по 10-й реви[зии] [11], исключая приписанных к Купавинской слободе с 1857-го года, бывше поссессионных [12] фабричных крестьян Чудинских, бывше купца Рыбникова, и Михневских купца Соколова, с которыми значится в настоящее время по статейческим спискам до 1500 ду[ш] муж[еска] пола и женска 1650 ду[ш], обоего пола 3160 душ. Но между прочим Земской, господин бывше домостроительный, имел кирпичный свой завод, который работал своими крестьянами. Как мужской пол равно и женский работали на уроках, и порабощались оные крестьяне, как и древле во Египте израильтяне.

Повелением ее императорского величества Екатерины 2-й и по воле ее Земской выстроил в Купавне и шелковую фабрику существовавшую на 2-й век около 40 лет.

В виду же незначительного населения Купавны, недостаточно было Земсковых крестьян для фабрики, почему и был клич и насылались люди указом из новороссийских краев, и из прочих губерен и городов разного рода и сословия, в числе коих могли быть казаки, калмыки, татары, персьяне, галичины, исключенные из духовного звания. По месту жительства и сословию оных и званию пишется по ревизии и фамилия их по настоящее время, именно; Казакова, Калмыкова, Персиянова, Татаринова, Галицкого, Козловского, Костромского, Островского, Дьяконова, Дьячкова, Пономарькова [13], [были] и купавински[е] старожилы. Из насыльных же людей многих я застал в живности и

Кто мечта знакомъ Справедностiю и блаже вдласо-
знанiю, что может подробнея знать осуществованiи
купавны и приченствахъ внеи бывшiхъ, Савременъ
блаженной памяти екатерiны 2й, и дацарствованiя
Александра 2го, отомъ объяснитъ история,
Следующая нижеСего предисловия;

Почтеннейшiи и благосклонныи Читатель, Я объясняюсь
какъ природныи памятства Сего абывател, акаторомъ
нечто аписывать начиная, априитомъ и малограмат-
ство Свое нескрывая, именно патаму что родители
мои бывше люди бедные, именя учили заалтыны ме-
дные; въ 1815 году церковную азбуку меня учили,
апатомъ Часовникъ и псалтырь вручили, Сагласно
того времени, какъ известно блаженъ мужъ и прот-
чия псалмы дамалбекъ въбратiи моеи, авпаследст-
вiи сабалезную несколька онедастаточной абразован-
насти сваеи, Я признаюсь что отъ младости идо
свеи старасти, грамматiки и арефметiки нечиты-
валъ и вруках моихъ небывало; Аздешнюю помо-
щию люди иногда атвремени научаются, авасабе-
нности скоими многа перемен вжизни случае-
тся, ибо втленномъ и суетномъ мире нетъ мира
и исчезаютъ всуете днiе наши, и прашу просвещен-
ныхъ наукам, нетребовать отменя многова какъ
отъ невежи или убогава, канечно ежелибъ я вче
всехъ абстаятельствахъ несколька запнелся
...иначе бы абъяснился, авпрочемъ что сказать,
ежели же внашемъ ремесленномъ быту, аподобно
Сему многа замышлять, то недастанетъ време
и куска хлеба прамышлять, аиздельями недоражи-
ть, нечева будетъ и назубъ палажить, канечно,
ежели ревностная и тщательная хотя и невежа ...
вавремя отдыха свава нечто планерует и пашку
...; канечно ежели вкромешном палаженiи будучи
...векъ, и преклонныхъ летъ. Следующее ...
нетъ, но благодаря всевышнева что свабодно

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА «ЗАПИСОК» КРЕПОСТНОГО ПЕТРА КРОТОВА О КУПАВИНСКОЙ МАНУФАКТУРЕ

С подлинника, хранящегося в Московском Областном Архиве.

довольно знал, а также в числе оных был вышеупомянутый и дед мой прислан указом из города Козлова еще в молодых летах будучи. В древности от одного семейства произошло двенадцать колен Израилевых, а купавински[х] фабричных из двенадцати сословий составилась [14] масса фабричного класса и довольно разнообразна, и неразвиты многие к здравомыслю остаются и по сие время.

По смерти Земского, Купавинска[я] фабрика оставалась за наследником его, который недолго ею владел, оказавшись несостоятельным, а, наконец, и рассудка лишившись. И поступила фабрика в другие руки, но в скорости поступила в третьи руки военноревнителю и защитнику отечества, светлейшему князю Потемкину, Григорию Александровичу Таврическому.

А по снятии Потемкиным Ку[павинской] фабрики он получил значительную из казны сумму для поддержки фабрики, а притом устроил в Купавне и часовую фабрику, и сдал оную в аренду мастеру иностранцу Нордштейну Поллеру. И работались часы всякого сорта, как то: башенные, стенные, карманные. Стенные же имеются в Купавне и доселе, на коих на кадране [15] надпись гравирована «Но,-По, — Купавинской фабрики». Людей же князь для этого заведенья выслал из вотчины своей, Могилевской губерни[и] местечка Дубровы до 40-ка семей. Часовая фабрика существовала в Купавне до 1812-ва года, а во время нашествия Наполеона в Москву, вышеупомянутой мастер-арендатор, не доживши арендного срока из России бежал. И с того времени часовая фабрика более не существует.

По смерти же Потемкина в 1791-м году, Купавинска[я] фабрика оставалась в неоплатном казне долгу за данную владельцу ссуду. Вследствие того Купавна с фабрикой и фабричными мастеровыми, как старожилами [так] и навезенцами и принадлежащими к Купавне лесами и землями и всеми угодьями вообще, значащимися по планам до 2000 десятин и две водяные мельницы [16] все поступило в ведение казны. Но в то время Куп[авинская] фабрика еще могла собою гордиться, когда славилась своей известностью в России, и значение оной — как корень фабричный, от которого и могли произрастать фабричные отрасли к пользе и славе отечества. А из числа окрестных жителей, имеющие ревностную деятельность и следующую к тому способность, тщательно старались ознакомиться с мастерами Куп[авинской] фабрики, и многие достигли своей желанной цели, и составили несомненно себе счастие, из коих имели купавинского ткача некоторые. И [это] считалось за редкость.

Но между всем тем, правительством ассигновано было для производства фабрики оной 40 тысяч рублей без процента, с единственною целию предоставить фабрике возможность расширить ее действия и продолжать неослабно, дабы кормился народ, приписанный к фабрике, который давно уже крестьянского занятия не имеет, исключительно фабричной промышленностью. А фабрикация необходимо требует назидательности и хозяйственного присмотра, а дело в посторонних руках не есть хозяйство: едва не каждой прикащик грош в ящик, а пятак за сапог. Прикащик на этот предмет весьма проверен, да и сапог у него просторен. Эта дело не может быть прочно, ежели фабрику водить заочно. Так то иногда фабриками управляли [17] некоторые Романы, имевшие большие карманы. Ассигнованную вышепомянутую сумму издержали и от фабрики бежали, довели оную до упадка, и все прежние ее действия изменились. К тому же от времени в Московской губерни[и] фабрикация начинала развиваться, кольми паче в окрестности Москвы. В таком случае ку[павинские] фабричные находились

в крайнем положении и должны были промышлять кусок хлеба себе с семейством на стороне, где пришлось. А в те времена домохозяина отлучка считалась весьма противоположна. Не то что в настоящее время народ куда хочешь[18] согласен, ему вода и огонь не опасен.

Казна, возымев быстрый взгляд на оную фабрику и по рассмотрении не предвидя от оной для казны интересности, и за благо суждено было, сдать оную в частные руки желающим. И было о том публиковано в ведомостях. А потому князь Николай Борисьевич Юсупов[19], камегер[20] и разных орден[ов] кавалер, действительный тайный советник, известясь о том, пожелал снять в казне оную фабрику в потомственное владение. А как Юсупов был беспристрастный особа и уважаемый двором его императорского величества, то фабрику оную снял не из вида своей корысти и интереса, а единственно из честолюбия к уважению казны, и [чтобы] дать средство к обеспечению приписных[21] к фабрике крестьян, которых впоследствии сформировалось по 6-й ревизии 623 души мужеска пола.

Но впрочем казна фабрику сдала с приписными к ней фабричными крестьянами и со всем имуществом искони принадлежащим к[22] Купавне, как и выше сказано, притом же на основании высочайше утвержденного положения[23], состоящего в 17-ти пунктах, 11-го декабря 1803-го года. Но в положении сем фабричные преимущественно обеспечены в безнуждном их содержании, что и можно видеть ниже сего. Юсупов, по принятии оной фабрики, тщательно ее уполномочивая[24] в исполнение означенного положения 10-го пункта. Он первый поставщик был для[25] дворца шелковых товаров, именно кавалерских лент, обойных штофов, парчей, золотых бархатов и прочих товаров, касающихся до оной фабрики, и всячески старался доставлять работы ку[павинским] фабричным, и фабрика была в цветущем положении. Заработки поначалу были достаточны, а притом любил же князь и фабричных, в особенности ласков был к детям их, коих обучал грамоте, соответственно тогдашнего времени, а между прочим обучал и другим мастерствам.

К сожалению, что князь, по своей великатности[26] и [из-за] преклонных лет, не мог усматривать по фабричной части как следует. Он вполне добр и доверчив был к правителям своим по поручениям его, которые смело карманы свои набивали и вотчины наживали и фабрику расходами обременяли. Расценок товаров был несоответствен с прочими фабриками, и сбыт товарам затруднялся по развитию в Московской губерни[и] фабрикации, каковая и могла процветать не посредством бояр, а деятельностию людей низкого сословия, коих надежды впоследствии вполне оправдались. И в таком отношении низший класс опередил высший на большое расстояние.

Однако ж не остался и князь не попечительным, придумал устроить еще суконную фабрику в Купавне для занятия фабричного народа, шерсть чесать и прясть машинами под названием аппаратов[27], о которых в Москве едва только отдельные[28] слухи носились. Князь же нанял мастера иностранца, по фамилии Туль, который поделал ему в Купавне аппараты. Устроил суконную фабрику, а для привода выписал из заграницы 12-ти сил паровую машину, которых тоже[29] в России не было, исключая Александровской мануфактуры в Петербурге. И работались сначала русскоармейские сукна, а между тем и тонкие. И так с 1818-го года существовала в Купавне часть шелковой фабрики, а другая часть суконной. И впоследствии времени последняя, как младшая, вытеснила старшую, и намного опередила и расширила свое действие доселе. Купавинска[я] шелковая фабрика пользовалась пер-

венством сначала и старейшинствовала, а от времени и суконная не в последних значится.

Князь держал Куп[авинскую] фабрику 29-ть лет[30] по свою смерть. За смертию же его оставалась за наследником его, который в скорости же передал оную суконщикам, московским купцам почетным гражданам и братьям Петру и Илье Семеновым Бабкиным[31], на тех же правах, как сдавала казна князю. Бабкины же по снятии оной, шелковое производство в скорости уничтожили вовсе.

II

[КУПАВИНСКИЕ ФАБРИЧНЫЕ ЖДУТ НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. ПРИЕЗД БАБКИНЫХ. НОВЫЕ ПОРЯДКИ НА ФАБРИКЕ. ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ. ФАБРИЧНЫЕ, ПОДОЙДЯ К БАБКИНУ, ПРОСЯТ НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ ВЫДАЧИ ХЛЕБА. «ГРУБОСТЬ» ОДНОГО ИЗ РАБОЧИХ. ФАБРИЧНЫЕ НЕ ДАЮТ ОТПРАВИТЬ «ГРУБИЯНА» В ГОРОД ДЛЯ НАКАЗАНИЯ. ДРУЖБА БАБКИНЫХ С ИСПРАВНИКОМ. МИРСКОЙ ГОЛОВА УГОЖДАЕТ БАБКИНЫМ. ВЫБОРЫ НОВОГО ГОЛОВЫ. ОТПРАВКА ХОДАТАЕВ К ГУБЕРНАТОРУ. ПОЯВЛЕНИЕ В КУПАВНЕ БАТАЛЬОНА СОЛДАТ. ВЛАСТИ ТРЕБУЮТ ПОДПИСКИ В ПОВИНОВЕНИИ. ФАБРИЧНЫЕ ОПАСАЮТСЯ ПОДПИСАТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПРИЗНАТЬСЯ БУНТОВЩИКАМИ. ПРИЕЗД ГУБЕРНАТОРА, АРЕСТЫ. СЛЕДСТВИЕ И ВОЕННЫЙ СУД. СУРОВЫЙ ПРИГОВОР. ГУБЕРНАТОР ОТМЕНЯЕТ ПРИГОВОР. НАЧАЛЬСТВО В УГОДУ БАБКИНЫМ, НАКАЗЫВАЕТ ПЛЕТЬМИ 6 ЧЕЛОВЕК. ДВОЕ ИЗ НИХ ОСУЖДЕНЫ, КАК МЯТЕЖНИКИ И ВОЗМУТИТЕЛИ. БАБКИНЫ НЕДОВОЛЬНЫ СУДОМ. ПРИТЕСНЕНИЯ ФАБРИЧНЫХ. БАБКИНЫ ОБ'ЯВЛЯЮТ КУПАВИНСКИЙ ЛЕС СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ХОТЯТ ВЫСЕЛИТЬ «НАСЕЛЕННЫЙ НАРОД». ЖАЛОБА ФАБРИЧНЫХ МИНИСТРУ ФИНАНСОВ. ПОДАВШИЕ ПРОШЕНИЕ НАКАЗАНЫ].

Сделка между князем и Бабкиными продолжалась около года. Слух, по словам сводчика, носился в Купавне благонадежный, и потому Купавински[е] ждали и не чаяли дождаться положения новой жизни, а старая поприскучила, как иногда прискучивает черствый хлеб, а в новом то тоже нередко бывает и ошибка немала[я], и бог о том весть которая из оных более наскучит. Между тем легкомыслие и то говорило: «да скоро ли отцы то наши приедут». Однако же дождались.

И вдруг, мужики собравшись в круг, заговорили наши ребята, загуторили: «слова богу, приехали наши желанные благодетели, новые владельцы, что то будет». А другие говорили поумнее: «ну, что будет, то и будь, да ведь с нас и взятки то гладки», а следующей не имели догадки. А притом еще некоторые высказались: «да ведь с купцами то не то, что с князем — можно легко управиться, ежели нам что нибудь не понравится». Но легкомыслие в своем мнении и пустословии намного не угадало.

По приезде Бабкиных не замедлил и богородский исправник. И в церкви отлуживши молебен в присутствии ку[павинских] фабричных и понятых окольных, исправник читал об'явление к повиновению новым владельцам, купцам Бабкиным, которым передал молодой князь фабрику Купавинску[ю] на тех же правах самых, как казна князю передала, именно, на высочайше утвержденном положении 11-го декабря 1803-го года.

Затем ново-подчиненные люди, встретивши новых владельцев у дому их, поднеся хлеб-соль, поздравили их с приездом и с снятием фабрики и просили их о отеческом покровительстве. Бабкины, принявши хлеб-соль, говорили речь в свою очередь неглупо, а купавинским виделось очень колко и грубо, и все оных приветы и разговоры, как едохи лютой свекрови. А между тем дали мужикам на водку, а мужики владельцев благодарили и за их здоровье выпили горелки, не закусывая с тарелки, просто.

Потом принявшись Бабкины за свои дела по фабрике и конторе, сначала стали рассматривать положение престарелых, бедных, сирот [и] нищих, а потом мастеровых и фабричных. Убогие и нищи[е] не в состоянии приобресть себе дневной пищи. А на основании 10-го пункта

высочайше утвержденного положения, пользовались от владельца фабрики богадельным содержанием, получавши 5 руб. в каждой месяц, каковой суммы причиталось около 200 рублей в месяц. Князь был нестяжателем и честен в исполнении вышеупомянутого положения. В 10-м пун[кте] сказано: всем фабричным обоего пола, мужеска и женска [если] за старостию и болезнями и малолетством фабричной работы производить не могут и пропитанья ниоткуда не имеют, то содержатель фабрики должен определить им богадельное содержание, не допуская их отнюдь, чтоб они ходили по миру для испрашивания милостыни [32], а равно иметь попечение о всех случающихся при фабрике больных, как в содержании, так и в пользовании оных.

Бабкины же, подобно книжникам [и] фарисеям лицемерны, по наружности люди набожны[е], а без сомнения нарушители 2-й и 10-й заповеди, но в каком именно отношении о том из'яснено будет ниже сего. Но кольми паче ни во что вменив 10-й пункт упомянутого положения, на все сиротство и убожество ассигновали не более 10 руб. в месяц. Таковый то поступок был мнимых благодетелей, каковым лишил[и] надежды купавинских в будущем благоволении, которые и поверглись в неиз'яснимое уныние. И предчувствие было не благонадежное, и об'яла всех скука, что мнимообманные благодетели вначале поступили против бедности скупо-уклонившись от исполнения 10-го пун[кта], а удобным для себя признав действовать по 5-му пун[кту] во избежание 7-го пун[кта] и 10-го. Ибо, в 5-м сказано: всех обоего пола фабричных способных к работе, владелец фабрики должен стараться всех занимать оною, но впрочем смотря каждого по его способности. А в 7-м пунк[те] сказано: поелику приписные люди к фабрике не производят хлебопашества, и питаются одной работой на фабрике [33]. В противном же случае, за недостатком на фабрике работы, содержатель фабрики обязан за прогульные дни платить поденную плату, дабы фабричные по случаю забираемого ими провианта не должались. Против сего пункта Бабкин сказал: «я дам работы всем, у меня будете ходить в красных рубахах». Вот, что правда, то правда, сбылось и на самом деле, по нужде и красные рубахи надели, которые в те времена носили свят день до обеда. Скажем, что в работе не было остановки а из хлеба не вырабатывались, ежели же и с голоду не умирали. А что прежде было нажито, то проедали.

В таком-то крайнем положении, продолжавшемся [34] не малое время, бедные несли тяжкое бремя. То бывало месяц под исход а хлеб доели, и жди выдачи первого числа да возьми под выработку, а цены за работы платили бессовестно, сколько хотели сами. Хлеба нет, и несут бывало, у кого что случилось под заклад в мелочные лавки для покупки хлеба. И чем же было после выкупить ежели не тою же мукой выдаваемой из хозяйского лабаза под заработку. И нанесут бывало закладов лавочникам [35] целые груды. О, адская алчность, о, бессовестное лихоимство и лицемерное богомольство и бесчеловечие. Они, настолько ожесточившись, теснили всех без различия, от низко-рабочего класса и до мастера, прикащика и конторщика, а притом несмотря и на неспособность человека, принуждали в неприличные должности порядочных людей. И работай ему за третью деньгу против вольнонаемного!

А ежели по взгляду своему некоторых и освобождали от фабрики, то с увольняющихся взимая оброк от 25 и до сту 15 руб. Оброк взимался всегда вперед при выдаче паспорта.

Алчность с ненавистию смотрит [36] злобно на благополучие подчиненного своего. Они платили за работы своим подвластным цены бессо-

вестно, даже не по человечеству и христианству, в особенности мастеровым и прочим месячным, — вместо рубля тридцать копеек. Конечно подобно сему и вяще сих бывает [беда] попущеньем божьим за грехи наши. Пришла беда чело[ве]ку, а он не в сознании перед богом, то в скорости жди и другой, а третья тем же следом не замедлит. И подлинно так, на ту же пору и хлеб вздорожал до четырех рублей с полтиной и выше. По случаю же дороговизны хлеба, а в особенности низкой платы за работы, самые возможные семейства не избегали крайности в прожитии своем. Больным хлеб не выдавался, а малые дети хоть с голоду мри. Вот и было горем горе, по миру ходить не дозволялось без паспорта, а за паспорт нужно было оброк взнести.

Не убеждалась алчность слезами бедных людей, продолжая свое бесчеловечие, нисколько не следуя примеру Юсупова, который татарской будучи крови и поколения, а по человечеству — истинный христианин. Живши за ним, выдавался хлеб на взрослых мужеска пола и женска муки 1 пу[д] 32 фу[нта] круп ¼ в месяц, на малолетних половина пайка, больным выдавался хлеб сполна, неукоризненно кормил от малого и до старого. Но по случаю недостаточной работы на фабрике, конечно, фабричные могли и должаться конторе, а при средствах и уплачивались. А прочие между тем к фабрике не принуждались, а приобретали себе кусок хлеба иным средством.

По этой то причине, нередко фабричных крайность вынуждала беспокоить своих владельцев, в отношении задержки хлеба единственно. Но зачерствелые их сердца, ни мало в том не убеждались, а напротив того возражали: «О боже мой, боже мой, все просят «дай, дай», а нам то кто же даст?» и за настойчивое требование, как за грубость, нередко и наказывали в конторе при фабрике своей розгами, а иногда при рапорте отсылали в город для наказания и наказывались довольно чувствительно. Период владения Бабкиных может считаться самым тяжким периодом существования куп[авинских] фабричных. Бабкины всеми средствами стремились только к своей быстрой наживе, а подчиненных своих угнетали и притесняли самым возмутительным образом.

Конечно, фабричный народ, как мало развит[ой] и темный люд, самовольно требовали своих прав неоднократно, и справедливости в расчетах. А Бабкины, надеявшись на свое богатство, умели выставить и справедливые домогательства фабричных, как[37] открытое неповиновение и возмущение против властей. В таком случае вынуждены были оные, и едва не все фабричные, подойдя к Бабкину просить в задержке хлеба, и настойчиво требовали. И неаккуратно высказался один из среды оных, за что Бабкин на невежу разсерчал и приказал своему управляющему отправить грубияна в город, чтоб наказать его, а сам уехал в Москву и советовался о том со старшим братом своим. А старший брат как бы тому и рад, и согласны оба были и прежде сего, как бы поучить мужиков. Упомянутый же грубиян был отправлен с сотским в город. Но как фабричные, вполне умы различные, — возымели сострадательность к несчастному и решились не дать его в город. И гурьбой народа воротили его с дороги. Вот и началась скандальщина самая дурная и грязная. Контора тот же час уведомила о том Бабкиных и земский суд. Конечно, когда князь прежде сего держал Куп[авинскую] фабрику, городские судьи, а в особенности исправник едва ли знали, куда Купавна лицом стояла, а на фабрику боялись даже и заглянуть, уклоняясь как черти от ладану. А с купцами так сильно подружились, и едва сами то не скружились[38]. Бывало то и дело в Купавну, да в Купавну, и не выживешь из Купавны. И на этот раз исправник как тут и был и сносился перепиской с Бабкиными, а меж-

ду тем требовал вышесказанного грубияна. Фабричные, собравшись к исправнику, старались того человека оправдать, об'ясня[я] ему все свои неудовольствия из коих возникло дело: «мы все просили заодно в задержке в выдаче нам хлеба, а поэтому и мы все также виноваты, как и тот человек. Мы видим, что и подсудимых в остроге работою не изнуряют и кормят, как и следует, а мы как несчастнее и тех преступников, работой изнуряемся и в сытость хлеба не имеем себе».

О, несчастнейшие и достойны жалости все те, кои в крепостном положении находящиеся, как и под игом рабства. Несравненно, счастливее многие из животных, кои у сострадательных людей в лучшем виде живут и наслаждаются, нежели у притеснителей стенящие люди под

стей; в таком случии вынуждеными были оные, недва ни
весь фабричный подойдя к Бабкину просить в задержки
хлеба, и настойчива требовали, и немурятна высказавши-
ись один изсреды оных, зачто Бабкин на невежу разсерча-
лъ и приказалъ свайму управляющему атъправить гру-
бияна в горадъ чтобъ наказать ево, а сам уехалъ в маскву
и с авещивался о том с старшим братам своемъ, а ста-
ршей братъ как бы таму и радъ, и сагласны оба были
и прежде всего как бы научить мужиковъ, упамянутой
же грубиянъ, былъ атъправленъ с сотцким в горадъ,
но как фабричныя, в полне умы различныя, возымев ще
састрадателнасть к несчасному и решившись недать
ево в горадъ, и гурбой народа варатившие ево з дароги.

ОТРЫВОК РУКОПИСИ КРОТОВА, ГДЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АРЕСТОВАННОГО РАБОЧЕГО.

игом рабства обременяются. Здравомыслящий домохозяин привязавши пса на цепь и продуктами его снабжает, ожесточенные же властелины поступают [39] с своими подчиненными весьма презренно [40], а притом еще с теми, кои из одной с ними купели.

Но исправник никаких доносов и жалоб вовсе не принимал, а обвиняемого настаивал взять. А неопытный народ и мало развитый упорствовал и надеялся оправдать себя и требованного, как и вполне невинного.

И насколько же бывает невежество самонадеянно, удивительно. Еще не успели первой беды с головы счесать, а луканька [41] внушил тому же подлежаща еще начать. Именно что же. Когда бывше за князем, в то время избран был из среды купа[винского] общества человек в должность старосты, он же тогда назывался и мирской голова. Но частию в своем роде был неглуп, но весьма пронырлив и груб, а притом и грамотей. Служба его зависела от конторы владельца фабрики. По снятии Бабкиными Куп[авинской] фабрики, он сумел заинтересовать Бабкиных своею заслугою, и всем это вполне могло быть известно, почему он показал им свою службу, а к своему обществу нарушил дружбу. Народ, видевши в нем текущее, предчувствовал и худшее в будущей протекции, что и сбылось. Мнение народа в таком случае оправдалось ясно [что] и докажется ниже сего.

А врочем, неоспоримо и то, что невежество народное более бывает склонно к самонадеянности, нежели к обсуждению. От бессмыслицы необдуманной вспыхнула искра в народе не во время и некстати, а

к вящей беде своей же. И что же именно? В эту же самую сумятицу встревожились сменить мирского голову, который уже успел заслужить Бабкиным и понравиться. И в это же смятение заявили исправнику о том, но без ведома владельцев своих, не вменив оное к самоуправству, относящемуся[42] против власти, к которой и сами всегда подлежащи. Но исправник кстати этим поступком глупым мог заинтересовать Бабкиных к их удовольствию, которые и жаждали того самого удобного для их случая поучить мужиков, о чем и прежде сего советовались с исправником неоднократно. А потому и признано ими удобным в мутной воде ловить рыбу.

И начал Евреин[43] завлекать мужика невежу в свою злоумышленную мрежу, он подал мужикам дуракам повадок к тому «сменить так сменить, это дело ваше». Мужики рот разинули: «слава богу, исправник на наше желание согласен, и этот шаг для нас не опасен». И скоро мужики эти забрели в его лукавые сети. Увы, увы, необузданы умы, пошли и побрели, зашумели как шмели; «ну что еще осталось толковать, нужно человека в головы избирать».

Но вот на мысли себе голову выбрали, а наконец, при старосте его лет, сердечушку плетьми выдрали. Выбравши нового голову и подвели к исправнику, указали ему как бы и заявили о нем. Исправник глупых похвалил, а себе на уме говорил: «Ну[44], будет же и вам два неполных, а за третью потчивают плетью, ежели да не кнутом, чтоб вы дело делали путем», и сам уехал, а дело как бы затихло.

А народ успел себе заметить, что исправник никакой жалобы на Бабкиных в резон не принял, почему и придумали подать губернатору прошенье и отправили двух человек тайно от конторы владельческой, из коих ходатаев, один будучи ни к чему несроден, а по оной части и вовсе негоден, а другой тоже только на пустяки боек и смел, а столь важного поручения исполнить также не сумел. Они и болтались недели две не знамо где. И что же затем, — недумано и негадано, вдруг неожиданно явился в Купавну батальон солдат с заряженными ружьями и с запасными боевыми патронами на [у]смиренье купавинских. Оные же весьма испугавшись и недоумевая[45] по какой именно причине возникло [с]толь важное и неожиданное происшествие, полагали, что доверители, посланные для подачи прошенья, подали оное губернатору, который и сочтя оное за бунт, что не по форме суда утруждают его, [прислал солдат], или же [по]сообщению Бабкиных с земским судом и вытребована команда солдат.

А затем приехал советник губернского правления г-н Васильчиков, требовал подписку с купавинских к повиновению властям. Народ же опасаясь подписаться не вдаться бы в обман, и не признаться бы вполне бунтовщиками и не подписались, почему и приехал начальник губернии г-н Небольсин[46] и временное отделение. Потому что представлено было земским судом, [что][47] купавински[е] фабричные взбунтовались, руководствуются самоуправством, не признавая власти, не повинуются и земскому суду, не хотят и владельцам работать так, как оным нужно.

Между тем, народ и губернатора не мог убедить своими жалобами на владельцев. И не принимая никаких улик на них[48]; требовал от народа подписку к повиновению властям. Народ сомневался в заголовке и просили его для рассмотрения и проверки, но в таком требовании получили мужики отказ от губернатора. А потому мужики и не подписались. Губернатор распалился на народ и забрал под арест 24 человека и сам уехал.

Странное и жалкое положение было Купавинских. Всюду предстояло бедствие, а поддержать было некому, научить и помочь, кроме

правосудного, который по божественному своему правосудию, до времени терпит самым злодеям и извергам и наводит на нас вся злая сия грех наших ради. Он же, отец наш небесный, сколько ни гневается, а более того милосердует к угнетенным.

Вышеупомянутой же мирской голова действовал сильно против своих соотечественников вопреки, и стоял на стороне Бабкиных рука по руку держась. Военное же начальство, земский суд и временное отделение, производили судопроизводство при зерцале, в продолжении шести недель. Невинность вопиет к богу, суди господи обидящие ны, побори борющие ны, прими оружие и щит, восстани в помощь и защиту угнетенных от насилующих стяжателей. Всевышний не замедлил защитить, ими же веси судьбами, как от уст львовых, их мздоимных содейственников. Но не посредством же своего соотечественника или духовника, которой и присутствовал постоянно в заседании оном, а посредством постороннего доброго человека. Именно — из числа той же военной команды юнкер занимал должность писца, и постоянно находился в оном присутствии, а на квартире стоял у [о]дного из числа купавинских жителей. А благосклонность и заслуга сего домохозяйства приобрела в нем к себе расположение и сострадательность. И решился домохозяин спросить его о производящемся деле относительно судопроизводства.

Он просил оного: «добрый господин, бога ради, пожалей бедных и невинностесненных людей, скажи правду, к чему может последовать столь настойчиво требуемая с нас подписка». Между тем оный немало в том сомневаясь об'яснить ему, но наконец его просьбы секретно сказал: «нужно быть осторожным вам, вас ловят, и ежели вы подпишетесь к тому заголовку, который и приготовлен вам, то вы признаетесь бунтовщики и будете наказаны все от девяти десятый, девять розгами, а десятый плетьми. Притом же из числа солдат бывавшие на [у]смиреньях в господских имениях также упреждали, что в подписке нередко бывали подлоги и нужно быть осторожными и осмотрительными. И все это было понятно, что весь этот синедрион [49] вполне заинтересован. А о бедных людях при такой интересности судили хлад[н]окровно... И это уже было и всем не безизвестно.

В те времена российское правосудие (от бедного класса людей) не заслуживало к себе полного доверия. Нередко случалося и на практике во многих случаях, ничто же бо сокровенно еже бы неоткровенно, лицеприимство и мздоприимство едва ли не всегда выигрывало свою роль. И правда, закон мог дозволить из белого сделать черное, из черного белое, и все в руках судьи дело. Богатого едва ли когда признавали по суду виноватым, но более оправданным преспокойно оставался. А мужика бедняка нередко и правого обвиняли и с наказаниями в сибирские края посылали. Мужик всегда осуждался более виноватым, нежели правым. Бедный подписался в беду вчесался, и не подписался не оправдался. В те времена бедный был беззащитная мушка, для него на каждом шагу ловушка [50].

Военное начальство и вообще все присутствие о бедных судили весьма хлад[н]окровно, и вызывать пытались подворно старшего из дому каждого, принуждали к подписке в присутствии священника сего прихода, который увещевал каждого подписаться, но и тогда бог спас. И судили при зарцале военным судом, как и бунтовщиков, купа[винских] мужиков и ослушников против властей. И постановлено было наказать всех неподписавшихся девятерых розгами и десятого плетьми, в удовольствие Бабкиных.

Вследствие того составляет[ся] проект, к которому подписались все присутствующие члены, в числе оных и мирской голова. О, боже мой, насколько же причастно к лицеприимству и христианское духовенство. Добровольно подчиняясь гражданской интриге [священник] засвидетельствовал подписом руки своей как бы непокорность оных людей к подписке и знак[51] неповиновения властям. И все это хранилось между ими секретно.

Наконец дело это было представлено на утверждение его сиятельства московского военного губернатора князя Голицына, который, слава богу[52], по рассмотрении оного дела, аки бы всевышним вразумлен будучи [приказал] учинить дознание о том чрез тайную полицию, отобрать подробно сведения от военных нижних чинов именно от солдат, в чем дело заключается это и каков народ именно.

Вот и бьют в барабан тревогу в 12 часов ночи. Солдаты стоявшие на [у]смиреньи собрались в поле во мгновение ока, и допрашивались начальством тайной полиции о всем подробно. Солдаты, как верные царю и отечеству, рассказали по справедливости: «как мы видим, народ смирный, урочное время беспрекословно работают. А в рассуждении провианта, крайне претерпевают недостаток, почему из жалости к их детям иногда уделяем им от своих пайков, а жители нашим у них пребыванием не стесняются. А что касательно до бунта, они в том не подозреваются нисколько».

Таковые дознания отобраны и доставлены военному губернатору, который и убоясь бога сказал: «бедных обидеть недолго, а судить должно по справедливости. Мужик в подписке силы не знает, и она с него не требуется». И нарушил оный проект. А начальство, во уважение владельцев, не упустило из виду наказать шесть человек, из коих наказаны двое плетьми заплечным мастером довольно строгого, один из них тот самый из за которого весь дурной процесс возник, а другой тот, которой избран был в головы самовольно. И осуждены, как мятежники и возмутители. А еще трое наказаны плетьми из рук сотского постороннего, а шестой человек семидесяти лет уволен [от] телесного наказания, исключая ссылки. В ссылку же посланы четверо, а двое отданы по ходатайству вышеупомянутого куп[авинского] головы, как бы на произвол владельцев оных, и оставлены были в остроге, а после всего вовсе освобождены. Экзекуция же производилась в присутствии регулярного[53] войска, пехоты, жандармов и казаков, окольных и прочих обывателей и зрителей итого до 5 000 человек. И вся публика известна в невинности оных, и кричали все единогласно «наказываются напрасно».

А затем не замедлили явиться и те два путаника назвавшиеся ревнители и ходатаи, явились к своим доверителям ни с чем, которых владельцы тоже запрятали за самовольную отлучку в каменную клетку, а затем и положили им на спину плетку, в стенах земского суда.

Впрочем же правительство взошло было в рассмотрение, как и должно. Начальство в Купавинской конторе выписывало положение некоторых семейств при фабрике находящихся. Возможных семейств выписывали заработки и забор провианта, между прочим расчитывая все вообще необходимое прожитие, и сообразуясь с положением высочайше утвержденным 11-го декабря 1803-го года. И это дело представлено было в Петербург, в мануфактурный совет, на обсуждение. И по рассмотрении оного, Бабкины признаны были вполне виноваты.

Справедливость закона и само дело указывало им дорогу за тиранство народу на дачу восточного климата[54] для прочих называема

Сибирь. Но ежели богатые на этот случай будут тароваты, и хорошо с судьями знакомы, найдут средство изменить законы в пользу богатых. Скажем, что деньги не бог, а кто же бы тирану и помог ежели да не деньги. Потому собственно Бабкины купавинским мужикам и говоривали неоднократно: «А дурак мужик, болван, ведь нам генералы служат».

Удивительно, зазнавшись человек бога уже не боится и людей не стыдится, а надеется на свое богатство. Не рассуждая то, что по законам суда признаны вполне виноватыми, и едва чрез своих содейственников значительных могли избежать сибирский край, где был эдемский рай, от которого в жизни своей вполне отказались, потому что в своем окаянстве не сознались, и недовольны еще остались судом, которой для их много сделал снихождения. А им желательно было чтоб все издержки, сколько им стоило по судебному делу и экзекуции содержание военной команды и прочие расходы, взыскать с купа[винских] фабричных. Но правительство во многом уважило их, а в последнем бессовестном их требовании и безбожном вполне отказало, ибо издержки взыскиваются с виноватых со штрафом, притом же и люди то казенные, а к фабрике то только приписаны они по своему давнему занятию.

Конечно, может быть в таком случае Бабкины и завлечены были к тому своими же друзьями за ихнем столом и хлебом-солью, на которых они вполне были во многом расположены и презентом еще ублаготворены. А между тем, хотя Бабкины и грамотеи, но писание псаломника проглядели; «не надейтеся на князи, на сыны человеческие в них же несть спасения», и на неугад свой неусыпленная совесть весьма досадовала, что не так состоялось дело, как ими план был составлен, и без удовольствия оставлен и разрушился. И весьма о том тужили и скорбели. И несколько времени спустя после судьбища, старший из них брат—бывше в Купавне на фабрике и в обделочном корпусе сидел и за перекаткою сукон. И в разговорах с мастерами-иностранцами вели речь о прошедшем судопроизводстве. Бабкин к речи сказал со вздохом тяжким: «О боже мой, боже мой, у нас в России Шемякин суд, а правды нет и нет». В ошибку же сказал: «мы же неправы нас же и винят», а затем, спапахнувшись [55] доверщил речь тем, что «нас обижают, нас же и винят». И это было говорено при моей личности. Собственно потому я мог и знать более прочих, что находясь у них при фабрике в числе должностных, по своей должности и едва не всегда, я часто при них находился и успел кое что наслушаться от них лично.

Затем, бессовестные, подобрались было под казенное имущество, принадлежавшее искони купавинским крестьянам, посредством таких же бессовестных, как и сами, искусных содейственников своих и были вполне уверены в том, что неизменно последовало оное в их собстенность. И старший из них брат весьма был к обидам рад. Он, как обработал это дело, в одно время и приехал домой из гостей вечерком (в Москве это было дело), и прямо в домашнюю свою контору, подвыпивши, и довольно был навеселе. Войдя в контору увидал любимца своего прикащика, который у них долго жил и правил всей конторою. Назвавши его по фамилии сказал ему: «А, а, брат, слава богу, слава богу, все дело обработано и конечно в нашу пользу». Прикащик спросил: «что же это такое». Бабкин об'яснился: «о, брат, мы купавинских дома можем палить в дрова и топить паровую печь, все наше, все наше».

А при входе в контору, Бабкин еще одного конторщика не заметил, который был из купавинских. Он был в стороне и слышал этот разговор весь, а по времени сообщил в разговорах и купавинцам своим тоже.

А при том не замедлил слух и среди публики пробежать, и многим из купечества было известно о том, и неоднократно между купцами на бирже разговор происходил: «Бабкины хорош кусок захватили в Купавне, да как то им придется его с'есть». А между прочим они в Купавну ездили каждую неделю обозревая всю местность купавинскую, а в особенности, с жаром смотря на лес и говоря: «эко сокровище, а все наше» и называли лес брильянтом, которого было тогда как 1 300 десятин строевого, исключая дровяного мелколесия, и на всю местность указывая, говорили: «лес и вся купавинская земля и самые домы жителей, все мое, все мое, только небо, небо не мое».

А лес находящийся при фабрике по милости высочайше утвержденного 11-го декабря 1803-го года [положения] состоял не столько для фабрики, а более для приписных к ней крестьян. Бабкины же вполне уже сочли его за свою собственность, а жителей теснили до нельзя в отношении поправки строения и топлива. Когда лесам не знали конца, а они дозволяли брать только можжевельник и с высоты с строевого леса сучья, с которого нередко люди падали и увечились, убивались и до смерти. А необходимость к тому вынуждала каждого, хотя б здоровья лишиться или вовсе жизнью поплатиться безвременно.

Конечно самолюбие могло вышеупомянутого голову склонить на сторону Бабкиных и внушить им пагубную мысль к завладению купавинским имуществом и удалению оных от места жительства. А именно, в одно некоторое время, голова предложил Бабкину свою мысль, и дружеский совет: «Ежели вам угодно будет некоторых из Купавы удалить, то это не трудно будет». «А как бы это можно сделать»? Услужливый вынул тот же час из-за пазухи своей список и сказал: «вот у меня хранится после отца моего, из которого видно, при открытии Купавинской фабрики шелковой, сколько населенного народу и кто именно откуда прислан. И впоследствии казною все приписаны к фабрике». Принял Бабкин этот список и [по] ветхости оного с трудом рассматривал [56]. А по рассмотрению сказал тому слуге. «А, а, брат, вот ты мне друг, благодарю тебя за это, и я же тебя не забуду, я их всех шукну, они у меня все как червяки расползутся по своим местам». Поступок же этот такого рода, для своего народа, один как режет, а другой ему держит, или же, первый как предатель, а другой распинатель.

Еще же между тем [стали] сеять в народе лжеплевелы и уверять, яко бы по нынешним правам (коих вовсе и об'явлено не было) леса и земли принадлежат поссессионным владельцам, а мы им обязаны платить поземельные. Потребуется ли глина для печи, и за ту будем платить владельцам фабрики. Да, иногда трудно бывает уверить народ даже в самой истине и справедливости. А подобная ложь, едва не всеми, а многими замечаема была и подозревалась, и мало тому верили лжеплевелу, но перечить ему никто в том не смел. И на эти лживые речи не было ему встречи, а только одно оставалось говорить: «да, да, ну, может быть и так», а многие думали про себя «едва ли так».

По истечению времени в Купавне всё дело приутихло, а Бабкиных хлеб-соль не забыта и запавшая искра в народе не потухла: и нашлись люди немудрые, а с порядочным умом между тем. Без всякой огласки

народной аккуратно подали прошенье министру финансов по почте, в коем пояснено: «Мы нижеозначенные казенные бывше крестьяне, приписаны будучи к Купавинской казенной шелковой бывше фабрике, а ныне суконная, почетных граждан московских купцов братьев Петра и Ильи Семеновых Бабкиных, и значимся поссессионными, но все казенные повинности исправляем сами собой, именно, окрестные дороги починяем, как и прочие крестьяне, также и подводы казенные правим, рекрутскую очередь исправляем натурой, а если иногда вносим деньгами, то с нас же собранными. А подушевой оклад хоть и вносят владельцы фабрики, но из нашей выработки с нас вычитают. Но как мы видим прочих подобно нам поссессионных — они живут в квартирах владельцев своих, пользуются отоплением и освещением, и все вообще что касается до поправки квартиры делают в счет владельца фабрики. От окрестных дорог и казенных подвод свободны, рекрутскую очередь не правят, подушевых сами не плотят, а владельцы. Мы же вышеупомянутые, искони века живем в своих домах собственных, и все домашнее содержание имеем от себя. И какое же имеется между нами неравенство, нам желательно уведомиться о том. Вследствие сего приемлем смелость всепокорнейше просить ваше сиятельство, удостойте нас своими милостями в дознании сем».

Принявши министр дело на вид и при соображении оного нашел явное уклонение Бабкиных от следующей обязанности им, и предписал московскому начальству освободить крестьян купавинской фабрики от всех казенных налогов и повинностей, а взыскать оные с Бабкиных. И было им о том об'явлено.

А между тем, старший брат из них приехавши в Купавну на фабрику и сидевши у дому своего под балконом подозвал к себе купавинских мужиков и спрашивал, «кто из вас подал прошенье министру?», и промолвил: «мошенники, мошенники, вы напишите бумаги клочек, а он меня в суд волочит» и плакал с досады. Но нечерез долго и помер. Но уже по смерти его освобождены оные от налогов.

А впоследствии отомстили и тем, которые подали министру прошенье, но впрочем не без помощи своего содейственника мирского головы. И к оным кстати еще и других прицепили, кои неодобрительной жизни, но впрочем по приговору вынужденного к тому общества, и послано пять семей на поселенье в пример другим, дабы впредь прочие не отважились в подобном сему случае беспокоить владельцев.

III

[УКАЗ О ПРЕКРАЩЕНИИ ФАБРИЧНОЙ ПОССЕССИИ. ПОССЕССИОННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ХОТЯТ ОТНЯТЬ У ФАБРИЧНЫХ ЛЕСА И ЗЕМЛИ. ИСПРАВНИК ОБ'ЯВЛЯЕТ КУПАВИНСКИМ ФАБРИЧНЫМ, ЧТО ЛЕС И ЗЕМЛИ И ДОМА ИХ ПРИНАДЛЕЖАТ БАБКИНЫМ. ФАБРИЧНЫЕ ДОБИВАЮТСЯ ПРИПИСКИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ С ОТДАЧЕЙ ИМ ВСЕЙ ЗЕМЛИ. ИСПРАВНИК ОБ'ЯВЛЯЕТ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ ВСЕХ КУПАВИНСКИХ В ГОРОДСКОЕ СОСЛОВИЕ. ФАБРИЧНЫЕ ПОДОЗРЕВАЮТ ИСПРАВНИКА И БАБКИНЫХ В ПОДЛОГЕ. ИСПРАВНИК ПОРУЧАЕТ АВТОРУ СОСТАВИТЬ «ЗАГОЛОВОК» О ПОДЧИНЕНИИ ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ И УГОВОРИТЬ НАРОД ПОДПИСАТЬСЯ. СОБРАНО ДО 70 ПОДПИСЕЙ. ИСПРАВНИК РВЕТ ЛИСТ С ПОДПИСЯМИ. НО ЗАТЕМ СОЗНАЕТСЯ В СВОЕЙ ОШИБКЕ И ПОРУЧАЕТ АВТОРУ НАПИСАТЬ ТАКОЙ ЖЕ. ФАБРИЧНЫЕ УПРЕКАЮТ АВТОРА В ИЗМЕНЕ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПОДПИСКИ. НАСИЛЬНО ПРИНУЖДАЮТ ПОДПИСЫВАТЬСЯ, УПОРСТВУЮЩИХ ДЕРЖАТ В ОСТРОГЕ. ПОЯВЛЕНИЕ СОЛДАТ. ПРИЕЗД ГУБЕРНАТОРА. ЗА ОТКАЗ ОТ ПОДПИСКИ НАКАЗЫВАЮТ РОЗГАМИ. КУПАВИНСКИЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ГОРОДСКОЕ СОСЛОВИЕ.]

Состоялся высочайший указ в 1840-м году о прекращении фабричной поссессии [57]. А как указом предписано, так и от министра финансов об'явлено без самомалейшего изменения: всем фабричным поссессионным крестьянам разрешается свобода на три разряда: в купцы и мещане и в государственные крестьяне, кто куда и в какое именно сословие пожелает.

А потому поссессионные владельцы между собой и обсуждали: «ежели фабричные поступят на крестьянство, то леса и земли, которыми мы с давних лет и по сие время пользуемся, будут скорее принадлежать в надел крестьянам, а не нам. Притом и могут ли они тогда из'являть нам свою благосклонность, как и прежде до сего времени, не будут ли на нас смотреть презренно, как овцы на волков. Но и мы уже как волки, порвали же и им холки, долго не забудут и нашу хлеб-соль. А ежели поступят в пользу крестьян леса и земли и все угодья, тогда мы всего лишилися. И кто ж тогда у нас должен работать на фабриках? А нам нужно поставить себе за непременное стараться всем заодно во что бы то ни стало. А поссессионных людей нужно всех склонить и зачислить в городское сословие, коим земля не принадлежит, исключая того, что под оседлостью. А может быть найдутся средства и вовсе удалить их с места жительства по городам, то без сомнения все леса и земли могут поступить в нашу пользу. А мещанам тогда некуда будет деваться. И принуждены будут у наших ворот увиваться, просить работы, а нам меньше заботы, сколько за работу то ни дадим и то будут работать, как добровольные рабы наши навсегда.

Вот те и свобода, как осенняя ненастная погода, радуйся и ра[з]живайся как знаешь!

И что ж, наконец, и вправду, так как оными совещалось, так и состоялось, горькому Куземке [58] везде горькая и песенка. Таким образом, почетные наши граждане опланировавши [59], составивши компанию, попировавши, в уклонение совести и человечества [решили]: быть посему, за толстым визитом и расходом не стоять, а искусных и доступных [стряпчих] нанять. А затем кошельками своими загремели, а чиновникам и стряпчим путать и стращать мужиков велели. Мужик невежа, как муха-гремотуха, среди рабства воспитан весьма грубо, а стряпчий хитрый, как паук, от образования и наук,—а к тому делу скоро явились и генералы, кои с бессовестных богачей деньги обирали. Потому и Бабкины мужикам купавинским говорили: «А дурак мужик, болван, ведь нам генералы служат». Конечно, бессовестным богачам генералы за деньги служат, а по смерти бессовестных обиженные ими вовсе не тужат.

И как выше сего было говорено, так и сотворено. И действительно, по об'явлению свободы, едва не все поссессионные владельцы успели воспользоваться своим предприятием, исключая Бабкиных, которые о том всех раньше загадали, и более прочих жаждали. А неизследимый суд божий совершить сие адское дело [60] не попустил им, и не замедлил послать на них вселютую неумолимую и немздоприимную смерть неожиданно [61]. А наследницы по них покусились было воспользоваться, как выше сказано, и получить из казны вознаграждение за освобождение из под ярма людей, по примеру других владельцев.

А как время и само дело вынуждало каждого владельца исполнить высочайше утвержденное 18-го июня 1840-го года [мнение] о прекращении фабричной поссессии, Бабкины же наследницы, а жены Матвеева [62] и Бородина следовали по примеру прочих владельцев—и должны были также освободить своих невольников, и как бы очередь дошла и до купавинских. В 1849-м году, в сентябре месяце, приехал в Купавну из Богородска исправник г-н Вяземский, и при собраньи купавинских фаб[ричных] крестьян читал исправник об'явление свободы оным на три разряда: в купцы и мещане, и в государственные крестьяне. Притом же, как бы само провидение управляло оным делом к спасению оных людей. Исправник же как бы вынужденным на-

шелся высказать сущность дела таящуюся доселе, об'яснил народу оному: избирайте себе род жизни и приписывайтесь, кто куда пожелает. Желающие приписаться в городское сословие, должны поселиться при городе, а кто пожелает в государственные крестьяне, то последуют в дальние губерни[и] на пространные земли. А здесь землю должны вы очистить, потому что вся земля, и лес, и домы, в которых вы живете, принадлежит владельцам фабрики и их наследницам без из'ятия, кроме имения вашего, которое только что есть на вас».

Таким об'явлением народ как бы громом поражен будучи, и в горести души мог один другому сказать: «вот те, православные, об'является нам неожиданно, как горячая загвоздка, горя же и слез целая повозка». Кто с малых лет своих слез не проливал, а в это время едва ли кто их миновал. Теперь то мы вполне узнали, что нам предсказывал наш соотечественник мирской голова и содейственник Бабкиных. И исправник тоже самое об'яснил.

Такое убийственное об'явление встревожило всех до бесконечности о лишении родины своей и места жительства и самых даже домов кровавым потом нажитых нами. И в это время и работа никому на ум не шла, всюду происходили в народе толпы, молва, сходки, в домах и семействах слезы, издохи, и все вообще как бы к смерти будучи приговорены или скорой высылке, неизвестно куда и когда. И сколько же было тогда прискорбия и хлопот кое с кем из судейских.

Между тем, показывали копию с высочайше[го] упомянутого положения 1803-го года, которая между жителями хранилась доселе, почему и обсуждали иные так, а другие сяк, а третьи иначе. А положительно утвердить никто в состоянии не был. А между прочим более советовали писаться в крестьяне с уступкой всей оной земли, которой предки наши владели, как значится оная по планам придлежаще[й] к Купавне без из'ятия. Почему и из'явили желание в государственные крестьяне 896 ду[ш]: «При означенной земле, принадлежавшей казенным крестьянам приписным к фабрике и при удобстве владеемой в возможности будем уплачивать все казенные повинности, и приобретать себе с семействами содержание». А затем из'явили желание и в городское сословие 115 душ также при оной земле. А [на] переселение с одного места на другое, хотя б и на самое ближайшее, составится [с] каждого двора не менее 300 ру[блей] серебром. А по недостаткам своим исполнить мы оного не в состоянии».

В таком будучи [положении] отобраны были отзывы и доставлены министру финансов. А люди, из'явившие желание на крестьянство вслед затем послали в Петербург своих людей, дабы подать к дополнению своего отзыва министру прошенье, с приложением копии с высочайше утвержденного положения 1803-го года. А в прошеньи пояснив, что нам при об'явлении свободы заявлено, якобы лес и вся земля значащиеся при фабрике казенной, прежде бывшей шелковой и ныне суконной, московских купцов братьев Бабкиных, а по них наследниц их, принадлежат оным, даже и самые домы сих жителей, [так как][63] Бабкины все оное в казне купили. Министр финансов принял дело на вид то и другое, именно отзыв и прошенье с упомянутою копиею положенья, а потому и обращался к способам и [у]стройству оных людей.

А из прошенья и видно было, что оным об'явлено так, что все имущество, находящееся при фабрике, земля и лес и домы жителей оных принадлежат владельцам фабрик. А из положения дознается напротив, именно, приписаны казенные люди к фабрике для занятия их промышленностью, а лес и земля есть бо собственность казны,

как и люди оные, а не принадлежность владельческая, а наипаче в жительских домах Бабкины не имеют никакого участия. А ежели зависть Бабкиных и уважалась посредством его содейственников за большие презенты, [то][65] впрочем должно быть не иначе как на словах, и надеялись обмануть правительство и завладеть всем тем, как выше сказано, в свою пользу, а людей смести с земли. А правосудный не на каждое злопроизведение попускает злодеев, иногда внезапно сотрет с лица земли оных.

А между тем муж наследницы Бабкиной, Матвеев, по поручению жены своей Ма[рии] Ильиной и свояченицы[66] Капитолины Бородиной, адресовался по этому случаю также в Петербург ходатайствовать, дабы воспользоваться за освобождение поссессионных людей из казны вознаграждением, как и прочие владельцы, а с тем вместе и всем имуществом купавинским, а людей зачислить в городское сословие. Но буде же, сверх чаяния, того не состоится, то по крайней мере исходатайствовать под фабрику участок земли.

Но при соображении сего дела министру следовало иметь в виду, на каком основании вышеупомянутое купавинское имущество могло принадлежать Бабкиным, и для оного требовался от них крепостной акт, которого они не имевши, представить того были не в состоянии. И в таком случае по совету знатных лиц, надлежало им отозваться незнанием, а дорожить более своим благополучием и спокойствием, нежели интересоваться тем, что им не принадлежало, а угрожать могло более опасностью в ответствовании, и довольными быть своим уделом по наследству.

В таком-то случае упомянутые наследницы, видя неуспех в своих предприятиях, отказались [что][67] их родители, когда снимали Купавинскую фабрику, тогда они, наследницы, были еще младших лет, но по младости лет и женскому положению в домашние дела и коммерчество не могли входить касательно и до сего предмета. «Но и при кончине наших родителей тоже, по случаю жестокой их болезни и скорой смерти, не имели удобства в оном дознании. На каком основании значится принадлежащим купавинское имущество к собственности наших родителей нам неизвестно».

А потому товарищ исправляющий должность министра финансов г-н Вронченко, отношением своим от 1-го июня за № 3398-м уведомил, что из доставленных его сиятельству списков и отзывов об избрании рода жизни предполагаемых к увольнению в свободное состояние поссессионных крестьян Купавинской фабрики наследниц Бабкиных, из списков видно, что из'явили желание приписаться в государственные крестьяне наличных 896 душ мужеска пола и 971 женска, из'явили желание и в городское сословие приписаться 115 ду[ш] муж[еска] пола и 149 женска. Но как первые, равно и последние, те и другие, все они просят, чтоб земли, как собственность казны принадлежащие селу Купавне, были бы оставлены в их собственность, переселение же на другое место каждого дома для их отяготительно, а для казны также сопряжено с значительным расходом. Затем и просил он министра государственных имуществ г-на Киселева об уведомлении, признает ли он возможным допустить приписку всех в городское сословие с предоставлением в их пользу земли и леса.

На сие генерал ад'ютант граф Киселев признает как неудобным, именно потому что поступившие в государственные крестьяне не могут иметь достаточного наделения к дополнению для землепашества, за неимением в Московской губерни[и] казенных свободных земель. По всем сим уважениям министр государственных имуществ, соглас-

но с мнением совета мини[стра] финансов, полагал бы купавинских всех зачислить в мещане города Богородска [и] предоставить в их пользу занимаемые ими ныне усадебные, огородные и сенокосные земли. А лес, находящийся при фабрике, дабы по показанию оных людей не был употреблен не только ими, но даже и для самой фабрики, признан [68] правительством, как прямая собственность казны, и суждено зачислить оной в число казенных лесных дач.

Министр финансов, основываясь на заключении мини[стра] государственных имуществ, входил в государственный совет с представлением оным, испрашивая между прочим разрешения: 1-е, принадлежавших купав[инской] фабрике наследниц Бабкиных Московской губерни[и] Богородского уезда в селе Купавне фабричных людей в числе 944 душ мужеска пола и 1033 женска по 8-й ревизии, исключив из оклада за наследницами Бабкиными, уволить от фабрики, как приписных от казны, без выдачи за них вознаграждения; приписать их в мещане города Богородска, предоставить льготу от казенных податей, личных и денежных повинностей на 8-м лет, считая срок с начала года, в который совершится их перечисление с тем, чтоб в течение последних четырех лет платили половину казенных податей; [дать] льготу от рекрутской повинности в продолжение 3-х наборов рекрутских со времени перечисления их, а бессемейных и дряхлых причислить в оклад только для счета, не облагая их податьми и повинностями. 2-е, предоставить в их пользу занимаемые ими ныне усадебные, огородные [69] и сенокосные земли, равно как и домы, в коих они ныне живут, и выдать им без пошлины данные. 3-е, находящийся при фабрике лес зачислить в число казенных лесных дач.

Государственный совет, рассмотрев представление [министра финансов] [70] и сообразив обстоятельства настоящего дела и высочайше утвержденные 18-го июня 1840-го года насчет прекращения фабричной поссессии правила, признал нужным для положительного разрешения сего дела иметь в виду между прочим окончательной отзыв тех из поссессионных людей, которые ходатайствовали в государственные крестьяне, желают ли они поступить в городское сословие на основании вышеизложенного и вследствие сего [приказал] сделать надлежащее распоряжение.

Во исполнение такового положения государственного совета, просить его превосходительство приказать отобрать отзывы [по]вторительно от купавинских, из'явивших желание в крестьяне, желают ли они приписаться в городское сословие с предоставлением им вышеупомянутых льгот в платеже податей и рекрутской повинности, а также с отдачею в их пользу домов и занимаемых ими усадебных огородов и сенокосных земель. Отзывы доставить к нему. Вследствие сего, второе отделение губернского правления поручило земскому суду подлежащее исполнение вышеизложенных отношений г-на министра с тем, чтобы представить требуемые его сиятельством вышеупомянутые отзывы немедленно и представить в правление. И было о том купавинским об'явлено чрез земскую полицию.

Оные же люди [71], видя из дел, что в первом об'явлении беспрекословно дозволено писаться в крестьяне, кто пожелает, а притом и государственный совет, без нарушения из'явленного желания на крестьянство, требовал из'явления добровольного от оных людей, а потому оные, не уклоняясь от своего предприятия, отвечали и на второй вопрос: «желаем на крестьянство, при всей той земле без из'ятия значащейся по планам принадлежащей Купавне и при своем местожительстве». А к тому же еще об'яснились и в том, ежели прави-

тельством будет признано невозможным по малоземелию всех оставить на крестьянство, то по крайней мере оставить следующее количество, а прочую часть поместить на крестьянство, где указано будет правительством. В том и подписались, в несомненной надежде будучи на благодетельное правительство не лишиться желаемого предмета.

А между тем, спустя время, исправник приехавши в Купавну, собрал народ и об'являет купавинским сверх чаяния и неожиданное: высочайше повелено купавинских зачислить всех в городское сословие. Народ, по выслушании того, отвечал исправнику: «помилосердуйте над нами, на то была власть самого правительства об'явить свободу на три разряда сначала, а затем и государственный совет, исполнительно руководствуясь высочайше утвержденным [указом] 18-го июня 1840-го года и приказал [по]вторительно добровольно спросить и непринужденно, не пожелают ли они все в городское сословие. А [вы] все об'являете нам напротив и вопреки нашего желания. В таком изменении, мы подозреваем [72], есть воля ваша, и не подумавши подписаться мы не можем. Ежели бы сначала признано было невозможным допустить приписку на крестьянство, то и для чего ж было невозможное об'являть, а удобнее бы распорядиться и с нами, как с Осокиными людьми города Казани, князя Гагарина — не требовали от них отзыва и заявления их желания, и повелительно зачислены в городское сословие без всякой тревоги и проволочки, ближе к развязке».

Конечно [73], не стоило бы в том и сомневаться настолько, ежели бы между оными не подозревалось ходатайство владельцев фабрики и наследниц их. А у купавинских всегда сохраняться могло в памяти и на сердце их то, что касательно до самих Бабкиных и наследниц их. А в особенности в завладении имущества всего вышесказанного заверил народ содейственник Бабкин[ых] упомянутой куп[авинский] голова. А напоследок и исправник подтвердил при об'явлении свободы. И как спящий доселе народ разбудил и вооружил к сомнению и недоверчивости связанных крепостным рабством.

Между тем Матвеев лично склонял служащих у них при фабрике и конторе в городское сословие, а также и контора их склоняла прочих, то ласково то угрозами и мщением и явно из сего могло подозреваться в подлоге, что и можно увериться каждому из нижеследующего рассказа.

А уполномоченные от общества по сему предмету проживали в Петербурге чуть не два ли года, но полезного своим доверителям составили немного, исключая значительного расхода. Они писали в рассуждении второго вопроса государственного совета своим доверителям: «не верьте, что обещают вам предоставить по второму вопросу, это лживо, а вы держитесь, не сдавайтесь и в мещане не соглашайтесь». И письма их у меня доселе целы хранятся. По случаю же оных писем народ расстроен был до крайности.

Между тем исправник возражал против народа: «желание имеете на крестьянство и молчали вы до сего времени и на второй вопрос ничем не отвечали». «Помилуйте — ему говорили — как не отвечали, как же иначе было отвечать, отзыв нами подписан был и подан». «Как подан — крикнул исправник на мужиков — когда и кому, и может ли это быть подан». Народ ему отвечал смело: «правда, правда, подан, мы пред вами лгать не смеем». «Да кому же подан приговор?» «Приставу второго стана, г-ну Сахарову для доставления куда следовало». Исправник изумившись замолчал, закусивши губы и дело смекнул, и несколько помолчавши сказал: «Да, но этого уже

не воротишь и изменить нельзя, а что высочайше повелено, тому повиноваться и непременно всем должно подписаться». Народ же увериться в том не мог, а полагал [что] в том подлог имеется чрез ходатайство владельцев, и подписаться не соглашались.

Но конечно сказать правду по себе, что и я тоже человек в подобных сему случаях, тоже неопытный [хотел] исключительно [по] ревности моей стать за справедливость и сколько возможно защищать оную и предохранять по совести. Я у Бабкиных находился при фабрике в числе должностных и часто обращался около их, и успел кое-что изустно от них наслушаться, а прочее мог от иных служащих почерпнуть. Цель оных вышесказанная недалеко от меня скрывалась, почему и я сначала не менее прочих сомневался подписаться, а ревность моя к общему благу не давала мне отнюдь покоя [74]. И во все время продолжения перехода оного действовал беспристрастно и бескорыстно, как пред богом ска[за]ть откровенно, почему и народ мне доверял себя во многом. Я решился исходатайствовать у исправника копию с оного указа, с которой и обращался к сведущим людям, и употребил все средства в домогательстве избежать подписки, неуклонно требуемой. Наконец всего домогательства не нашлось средства уклониться, а неизбежно советовали повиноватья высочайщему повелению и подписаться, а кольми паче руководствующим по сему предмету относительно ко мне и прочим со мною действующим.

А по указанию конторы, а более моих недоброжелателей, исправник обратил на меня полное внимание и сказал: «как я слышал, что упорство народа к подписке зависит в тебе, но я тебе от души моей советую и пред богом, займись и уговори народ подписаться. Это послужит к твоему благополучию, а иначе ты первый должен пострадать». И строго приказал и поручил мне написать заголовок, к которому следовало всем подписаться, а притом же нужно было не промолчать и желание свое на крестьянство, и наконец изъявить повиновение высочайшей воле. И сколько же для меня стоило эта комиссия, истинно сказать, что один только бог знает. Получивши же такое невольное поручение, советовался с людьми, знающими дело, которые положительно советовали [что] необходимо подписаться. И с мнениями оных я согласен был, исключая народного разногласия, и притом заботился неусыпно избежать вреда себе и прочим не навлечь.

Насколько я вразумлен и уверен был, не менее того желал уверить и прочих подписаться. Между тем, некоторые посамостоятельнее, имевши более ко мне расположения [75] по личному моему убеждению начали подписываться. И набралось было до 70-ти семей подписавшихся. Можно предполагать было, что едва не все подписались бы, исключая гордых и упорных невеж, которые привыкли по грубости своей своебышничать.

Но к общему всех несчастью скоро исправник приехал в Купавну и потребовал от меня порученное дело. Я подал ему приговор, к которому начали подписываться. Он начал оный просматривать в каком он выражении написан и дочитал [76] до речи о крестьянстве и войдя в озорность разорвал его пополам, и [с] дерзостью и укором отдал его мне обратно. А я ему сказал смело: «напрасно вы изорвали не прочитавши до конца». Однако ж принужден был взять у меня и прочесть, и нашел его следующим, и признался в своей неосмотрительности, сказал мне: «да, но напиши такой же другой и подписывайтесь к нему».

Конечно исправник в таком озорном поступке вполне неправ, не ограничил свой нрав и дело сконфузил, завязал в неразвязный узел к

общему сожалению, потому что и к первому приговору подписывались неохотно, а единственно только по убеждению в присутствии моей личности.

А между тем, грубая и упорная часть народа по гордости своей, не хотели и слушать благоразумных внушений, а руководствуясь самонадеянностью и презрением к людям [77], выше себя никого не ставят, и цены вещам и делу не знают, почему и начали на меня роптать, а мои полезные предложения в грязь ногами топтать и волноваться, а в невежестве и не думали сознаваться. А потому я другой приговор или заголовок написал, и по случаю разногласия и мятежа более убеждать и присутствовать с ними не стал, передавши им приговор другой, и не нашел нужным перед сумятицей сгибаться дугой, а сказал им: «вот вам такой же заголовок, каковой исправник в озорности разорвал и он же признал его резонным. Я за непременное признаю: неизбежно подписаться должно всем, а вы несогласны и самовластны, ропщете на меня до-нельзя, волнуетесь до бесконечности за все мои труды и хлопоты из-за вас, глядите на меня презренно как бы и на изменника своего и укоряете: «ты де изменил нам, подписался в городское сословие». И ваше ко мне нерасположение, бессмысленные укоризны нетерпимыми для меня предстоят.

Лишившись от народа, а более сумасброда [78], расположения к себе и доверия, тогда уже более действовать я не в состоянии был, и мог пред исправником извиниться и от поручения оного отказаться. Затем исправник принимал свои меры, но и тому не было веры. Не находя иных средств склонить народ к подписке, вызывал приказом в земский суд по 10 и по 15 человек, принуждал к подписке: которые подписывались, те освобождались, а упорствующие задерживались в остроге с полубритой головой. Но и в том было мало успеха.

Подобная волокита продолжалась от 1-го числа генваря и по пасху, а между тем надлежало тому делу иметь и развязку. И уведомлен был о том начальник губерни[и], который назначил временное отделение и на Фоминой неделе на упрямство народное не глядели. Как тут в Купавну является временное отделение и команда солдат, не замедлил и начальник губернии г-н Капнист, пожаловал в дом владельцев фабрики, переодевшись вышел на двор к собранному народу во всей своей форме. Подписавшиеся в мещане, стали по правую сторону, а упорствующие по левую. С правой стороны поднесли ему хлеб-соль, поздравили с приездом, и он принял хлеб-соль. А затем обратившись на левую сторону громко крикнул на мужиков: «на колени». А солдатам скомандовал в карре [79].

Падают мужики на колени с трепещущей душой. И приказал вслух всем читать указ. «Высочайше повелено — промолвил — тому повиноваться, слушайте». По прочтению указа крикнул: «подписывайтесь». Мужики начали было отговариваться, надеялись на своем устоять, а напротив того начали розгами валять, да по-военному. О, как первого били, не думали ему и живу быть, даже исправник плакал и лежачего под розгами в получувстве уговаривал подписаться, который несколько пришедши в себя, изъявил свое согласие подписаться, и более наказывать не стали. А затем начали наказывать и другого, но тот не замедлил сознаться, и того освободили, а за ним третьего положили, который также скоро себя пожалел, и его губернатор больше бить не велел. Последний под розгами больно стал кричать, и не в силах был собою за прочих отвечать. Он кричал даже безобразно: «Ай, ай, батюшки, больно», и его пустили вольно. «Подпишусь, подпишусь!» Вставши последний подошел к губернатору с по-

винной. Губернатор сказал ему: «подписывайся, дурак». Битый отвечал и не шибко кричал: «не умею, но веришь ли ты, ей богу, не умею». Улыбнулся губернатор на туломбаса, сказал: «дурак, проси кого знаешь за себя подписаться». Но слава богу, один за другим и все подписались.

Насколько же поссессионные владельцы российской державы поумнели, даже и правительству указать умели, и как оными указалось тем

ОТРЫВОК «ЗАПИСОК», ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОРКЕ КУПАВИНЦЕВ ЗА ОТКАЗ ЗАПИСАТЬСЯ В ГОРОДСКОЕ СОСЛОВИЕ

и состоялось: зачислены поссессионные крестьяне в городское сословие принужденно, а нежелавших в присутствии военной команды обнажили и под розгами положили и заставили подписаться в мещане и нехотя. А поссессионные владельцы желаемое получили, а своих подчиненных бывших, как соперников проучили, [о]свободили их на волю по чистому полю, избирать себе род жизни.

Вот те и свобода, как осенняя погода!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Так в подлиннике. Слово «бывше» употребляется автором очень часто, нередко заменяя сложный оборот речи. Мы оставляем его всюду без изменения.

[2] В подлиннике «планерует».

[3] Здесь и ниже слово «следующий» употребляется в значении «подходящий».

[4] Угол страницы оторван. Отсутствует одно слово.

[5] Угол страницы оторван.

[6] В течение.

[7] Купавинская суконная фабрика существует с 1820 г. (Московское древлехранилище. Архив Юсуповых, дела 1831 г.).

[8] В подлиннике: «состояще».

[9] Далее в подлиннике: «будучи».

[10] Земский был московским купцом.

[11] «Ревизией» в XVIII и XIX вв. называлась перепись населения. Первая ревизия производилась в течение 1719—27 гг. 10-я, последняя, ревизия, о которой говорит автор, происходила в 1859 г.

[12] О положении поссессионных рабочих см. в предисловии тов. Панкратовой.

[13] В подлиннике: «Панмарькова».

[14] В подлиннике: «составившись». Вместо прошедшего времени автор часто употребляет деепричастие. Ниже эта форма заменяется прошедшим временем без оговорок.

[15] На циферблате.

[16] Далее в подлиннике: «и».

[17] В подлиннике: «управляше».

[18] В подлиннике здесь и ниже вместо «хочешь» «хошь».

[19] Николай Борисович Юсупов был одним из крупнейших землевладельцев своего времени и владельцем ряда промышленных предприятий. Унаследовав от отца (президента коммерц-коллегии) вотчины, разбросанные в 16 губерниях, и ряд промышленных предприятий, Н. Б. основал суконные и каразейные фабрики в вотчинах Курской губ., слободе Ракитной и селе Никольском, в Москве и в подмосковном селе Спасском-Котове и в других имениях.

[20] В подлиннике: «Камер'ер».

[21] Так назывались поссессионные рабочие, если они не были куплены владельцем фабрики, а приписаны казной.

[22] В подлиннике: «х'».

[23] В целях регулирования порядка работ и взаимоотношений рабочих с владельцами для крупных поссессионных фабрик составлялись своды правил или т. н. «Положения».

«Положение» Купавинской фабрики, введенное при передаче ее из казны Юсупову, устанавливало размер зарплаты и периодическое повышение ее, определяло рабочее время, обязывало владельца давать известное обеспечение малолетним и нетрудоспособным и т. д. Это «Положение» напечатано в «Полном собрании законов» (№ 21076).

[24] Повидимому: «укрепляя».

[25] Далее повторяется: «для».

[26] Так в подлиннике.

[27] Аппаратами в Купавне назывались сукновальные и сукнодельные машины, введенные Юсуповым.

[28] В подлиннике: «отделенные».

[29] Далее в подлиннике: «и».

[30] Далее в подлиннике: «а».

[31] В подлиннике здесь и ниже: «Бапкины».

[32] В подлиннике: «милостины».

[33] Фраза не окончена. В «Положении» далее следует: «то дабы не было остановки в работе и прогулов от недостатка шелков и прочих материалов, содержатель фабрики обязан будет иметь соразмерно производству работ всегда достаточное количество оных в запасе».

[34] В подлиннике: «продолжавшись».

[35] В подлиннике: «лаошникам».

[36] Далее в подлиннике: «и».

[37] Далее в подлиннике: «и».

[38] Так в подлиннике.

[39] В подлиннике: «поступая».

[40] В подлиннике: «презнно».

[41] Лукавый.

[42] В подлиннике: «относящася».

[43] Фамилия богородского исправника была Евреинов.

[44] В подлиннике: «но».
[45] В подлиннике: «недоумеваясь».
[46] Небольсин был в это время московским гражданским губернатором. Генерал-губернатором был кн. Д. В. Голицын, о котором автор говорит ниже.
[47] В подлиннике: «дабы».
[48] Далее в подлиннике: «а».
[49] В подлиннике: «сенидрон».
[50] В подлиннике: «лаушка».
[51] В подлиннике: «знаком».
[52] «Слава богу» вписано над строкой.
[53] В подлиннике: «легулярного».
[54] В подлиннике: «климанта».
[55] Повидимому: «спохватившись».
[56] Далее повторяется: «Бабкин».
[57] Автор имеет в виду закон 18 июня 1840 г., разрешавший владельцам посессионных фабрик увольнять рабочих и приобретать эти фабрики в собственность.
[58] В подлиннике: «Кузинки».
[59] В подлиннике: «спланеровавше».
[60] «Дело» вписано над строкой.
[61] Старший брат П. Бабкин скоропостижно умер в 1840 г., через 2 года умер и другой брат.
[62] В подлиннике здесь и ниже: «Матвеив».
[63] В подлиннике: «дабы».
[64] Далее в подлиннике: «как».
[65] В подлиннике: «но».
[66] В подлиннике: «своячены».
[67] В подлиннике: «дабы».
[68] В подлиннике: «а потому и признано».
[69] В подлиннике: «огороды».
[70] В подлиннике: «финансова».
[71] Далее в подлиннике: «как».
[72] В подлиннике: «подозреваемся».
[73] Далее в подлиннике: «(не стоило бы)».
[74] В подлиннике: «спокоя».
[75] Далее в подлиннике: «то».
[76] В подлиннике: «дочитался».
[77] Далее в подлиннике: «и».
[78] В подлиннике: «самозброда».
[79] В подлиннике: «в карею».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О КУПАВИНСКОЙ ФАБРИКЕ

Бывшая поссессионная Купавинская фабрика — в настоящее время фабрика им. Склянского 1-го гос. шерстяного треста в с. Купавне, Богородского района, Московской области.

Автор «Записок» — поссессионный рабочий, а впоследствии служащий фабричной конторы Кротов — родился, повидимому, в 1807 г. В 1823 г., 16-ти лет, мы встречаем его в списке мастеровых людей Купавинской фабрики. Он работает «при чесальных машинах» и получает 8 руб. в месяц. В 1828 г. он уже слесарь, получает в месяц 10 руб. Учившись «за алтыни медные», Кротов «при недостаточной образованности своей», все же несомненно должен был выделяться из рабочей среды грамотностью и начитанностью. Этому обстоятельству он, вероятно, и был в значительной мере обязан своим «выдвижением» на службу в фабричную контору. Когда именно Кротов оставил «ремесленное занятие» — выяснить не удалось.

«Записки», как исторический источник, представляют большую ценность и сравнительную достоверность. Автор использует не только личные воспоминания, но и сведения, собранные «от старичков и пожилых мужичков», купавинских старожилов. Он хорошо изучил «Положение» Купавинской фабрики 1803 г., приводит из него целые пункты, очевидно на память, но почти текстуально: он хорошо знает переписку между министерством финансов и министерством государственных имуществ и вообще всю междуведомственную переписку, касающуюся «освобождения» купавинских рабочих. Основываясь на «народном предании» Кротов ведет рассказ, начиная с перехода Купавны от кн. Репнина к Д. Я. Земскому (1744 г.)[1].

[1] Краткие сведения по истории Купавинской фабрики см. в «Историческом описании казенной Купавинской шелковой фабрики» — Московское древлехранилище, архив Юсуповых, дела без дат.

В 1784 г. Купавинская фабрика была куплена с аукциона князем Г. А. Потемкиным, а в 1789 г. перешла в ведение казны. Эти факты, также как и постройка чесовой фабрики, отмечены в «Записках», причем даты либо не указываются, либо указаны не совсем точно. Не точны и сведения о Земском и Потемкине, о которых автор рассказывает повидимому то, что слышал от купавинских стариков.

В 1803 г. Купавинская фабрика была передана казной на правых поссессионного владения князю Н. Б. Юсупову, сын которого через 30 лет, в 1833 г., продал ее купцам Бабкиным. Период владения Юсупова автор в значительной части знает уже по личным воспоминаниям.

Вскоре после передачи фабрики Бабкиным, на почве низкой заработной платы, дороговизны и недостатка хлеба, у рабочих создалось сильное недовольство. В 20-х и 30-х годах, как известно, вообще, происходило широкое движение поссессионных рабочих, которое в значительной мере содействовало прекращению самого института поссессионного владения фабриками и заводами. Купавинская фабрика занимает не малое место в этом движении и «волнения» купавинских рабочих получили известное отражение в исторической литературе. Заметка Дунина «Бунт на Купавинской фабрике», основанная, главным образом, на воспоминаниях, в общем совпадает с рассказом Кротова, дополняя его некоторыми подробностями. Так, вместо глухого указания на то, что один из рабочих «неаккуратно высказался» и рассердил Бабкиных, у Дунина мы читаем следующее: «Ткач Родион Пешников, обратившись к Илье Бабкину, сурово спросил его: «Кто ты, наш помещик, али владелец? Почему нас имеешь? покажи указ!» — «Да, да, покажи указ, потребовала толпа». Дунин точно указывает день выступления рабочих (22 июля 1834 г.), называет участников по именам, дает ряд других подробностей (описание процедуры военного суда и т. д.); см. «Наша Старина» 1917 г., № 1.

Сведения о выступлении купавинских рабочих мы находим и у Туган-Барановского, причем Туган-Барановский, пользовавшийся исключительно материалами Департамента торговли и мануфактур, передает ход событий менее точно, расходясь как с Дуниным, так и с Кротовым; см. его «Русскую фабрику в прошлом и настоящем».

Автор «Записок» сумел уловить социальные сдвиги, происшедшие в 30-х и 40-х годах, когда «фабрикация» значительно развилась «и могла процветать не посредством бояр, а деятельностью людей низкого сословия... И в таком отношении низкий класс опередил высший на большое расстояние».

Любопытно, что в записках отмечается своеобразная смычка между купавинскими фабричными и присланными для их усмирения солдатами. Побывавшие уже на усмирениях в помещичьих имениях солдаты предупреждают, «что в подписке нередко бывают подлоги», и советуют купавинским быть осмотрительными и осторожными. «Усмирители» с большим сочувствием относятся к усмиряемым, уделяют часть своего пайка, кормят их голодных детей. «Жители» в свою очередь «не стесняются» пребыванием солдат у них на постое. Любопытен и рассказ о производстве тайного дознания среди солдат по распоряжению московского генерал-губернатора Голицына.

Сохранив близость и полную солидарность с рабочими, из среды которых он вышел, Кротов все же, в один из самых критических моментов, оторвался от них и был обвинен ими в измене. И сам он, и начальство, и рабочие считали его «в числе руководствующих» движением, народ ему «доверял себя во многом». Но под давлением исправника и по совету «сведующих лиц» он решил, что против высочайшего повеления, «как против рожна острого» итти нельзя, советовал всем «подписаться в городское сословие» и, по приказанию исправника, составил соответствующий «заголовок», текст для подписки. Тогда рабочие перестали доверять ему, и огорченный руководитель потерял всякое влияние на массу.

Масса купавинских рабочих вообще отличается большой товарищеской спайкой и исключительной солидарностью. При аресте товарища рабочие отбивают его и заявляют, что все они виновны не менее арестованного. Интересный штрих добавляет сюда Дунин. Когда, после отмены Голицыным постановления военного суда, 6 человек все же были приговорены к наказанию плетьми, — рабочие собрали деньги и подкупили палача, чтобы он умерил удары и пощадил их товарищей. Та же солидарность проявилась и в момент «освобождения», когда рабочие упорно и дружно отказывались записаться в мещане, предпочитая крестьянский труд работе на фабрике у ненавистных Бабкиных. Только прямое насилие, только экзекуция могла заставить рабочих подчиниться высочайшему постановлению.

«Записки о Купавинской фабрике» писаны в 1877 г. Автор обещает рассказать «о событиях в Купавне и происшествиях по 1877 г.», но записки его не окончены.

Записки печатаются по новой орфографии. Неправильные согласования слов исправлены без оговорок. Остальные изменения оговорены. Пунктуация современная. Заглавные и подзаголовки, а также разбивка на главы сделаны нами. В оригинале текст сплошной. Подлинник «Записок» хранится в Московском Областном архиве.

«ВИСЕЛИЦА» — РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЛИСТОВКИ О ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ

ПОДПОЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ 70-х ГОДОВ

Предисловие С. Валка

«ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ» Н. П. ГОНЧАРОВА

1871 год в истории русского революционного движения ознаменован был двумя фактами: процессом нечаевцев и Парижской Коммуной. Последнее — не оговорка. Героическая попытка парижских рабочих действительно заставила многих русских революционеров положить новую грань в своем идеологическом развитии. В своей известной и популярной до сих пор книге С. Кравчинский-Степняк в 1882 г. изображает довольно картинно, как «нигилист» 60-х гг., завоевав свободу мысли и положив прочную основу женской эмансипации, оказался в тупике, так как «разумного труда», третьего из идеалов, указанных Чернышевским в его «Что делать?», он не только не обрел в 60-х гг., но даже «вера и энтузиазм», необходимые для этой борьбы, его покинули. Лишь 1871 год, год «страшной драмы», когда воображаемый юноша-нигилист «слышит предсмертные вопли женщин и детей, расстреливаемых на улицах Парижа», и когда он узнает, что «они умирают за освобождение рабочего, за великую социальную идею нашей эпохи», лишь эти события дают ему новую путеводную нить. В переводе на народнический язык крестьянского социализма это значило — «протянуть крестьянину свою руку» и «внести в эту несчастную среду слово утешения, евангелие наших дней — социализм». Политически формулируя этот новый фазис движения, тот же Кравчинский далее писал, что «с Парижской Коммуной, грозный взрыв которой потряс весь цивилизованный мир, русский социализм вступил в воинствующий фазис своего развития, перейдя из кабинетов и частных собраний в деревни и мастерские» [1].

Лавров в 1879 г. в своей известной книге о Парижской Коммуне и несколько позже, в своей статье, напечатанной в 1883 г. в «Календаре Народной Воли», аналогично считает, что именно «взрыв Парижской Коммуны 1871 г.» «вызвал и в революционных элементах русской интеллигенции определенное движение, которое резко выступило в начале 70-х гг.» [2].

В печати появились уже сведения о том, какое впечатление произвела Парижская Коммуна на тех из русских революционеров, кто был заграницей. Как только М. П. Сажин получил в Цюрихе известие о парижской революции, он тотчас решил туда ехать и успел пережить вместе с парижскими рабочими «последние дни Парижской Коммуны». Недавние работы И. С. Книжника, еще незаконченные, дали образы ряда русских деятелей Коммуны, как-то: организаторши работниц и

[1] С. М. Степняк-Кравчинский. Подпольная Россия. Собр. соч., т. II. Пгрд., 1918, стр. 5—7.

[2] П. Л. Лавров. Парижская Коммуна 18 марта 1871 г., Пгрд., 1919, стр. 208; его же. Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма, СПБ. 1906, стр. 18 и 21.

начальницы женского отряда Е. Дмитриевой, Е. Г. Бартеневой, А. В. Корвин-Круковской[1].

Гораздо скуднее окажутся наши сведения, если мы захотим узнать, как непосредственно отозвалась Парижская Коммуна в русских революционных кружках. Единственная книга о Коммуне (кроме реакционных, конечно),которая проскользнула через цензуру, книга Ланжеле и Корье, была издана чайковцами. В кружках чайковцев же для рабочих Кропоткин после приезда из заграницы «рассказывал им о Парижской Коммуне». Будущий чайковец, а тогда еще ученик последнего класса Вятской гимназии, Н. Чарушин пишет, что «эти полные драматизма события, разыгравшиеся во Франции, без сомнения, не остались без влияния на рост революционного движения» у нас в России. Однако печатного и литературного выражения взгляды чайковцев на Коммуну тогда не получили, да своего они тогда ничего и вообще не печатали[2].

Уже давно в нашей литературе был известен один непосредственный русский отклик на Коммуну — изданная Н. П. Гончаровым «Виселица», благодаря тому, что отчет о процессе Гончарова, вместе с обвинительным актом, попал в печать[3]. Однако и то, что «Виселица» до сегодняшнего дня оставалась полностью неизвестной и знакомство с нею ограничивалось поэтому лишь цитатами из нее в обвинительном акте; и еще более то, как вел себя на дознании и на процессе Гончаров, отрицавший какие-либо идейные мотивы своей деятельности и заявлявший, что печатал он «Виселицу» для того, чтобы подвергнуться каторжным работам, а это было де вызвано его тяжелым нравственным состоянием; затем финал романической истории, кончившейся дуэлью защитника Гончарова — Е. Утина и самоубийством его жены и ее сестры, — все эти факты затушевывали истинный смысл «Виселицы». И до сих пор «Виселица» стоит особняком и не включена в какое-нибудь из идейных звеньев в истории русского революционного движения. А между тем появившиеся не так давно в печати факты из истории все еще темной эпохи конца 60-х гг. дают возможность и организационно, и идейно связать «Виселицу» с общеизвестными фактами нашей революционной истории[4].

Эпоха от Каракозовского дела и до дела нечаевцев, эпоха «белого террора», теперь, после работы об ней Б. П. Козьмина, заполнена некоторым революционным

[1] М. П. Сажин, Воспоминания, 1925, стр. 75 и сл.; И. С. Книжник, статьи об Е. Дмитриевой в «Летописях марксизма», 1928, № 7—8 и в «Каторге и ссылке», 1930, № 11; его же, Е. Г. Бартенева, «Каторга и ссылка», 1929, № 11; его же, брошюра о А. В. Корвин-Круковской, М., 1931.

[2] О книгах, вышедших в 1871 г. о Коммуне и отношении к ним цензуры см. статью Л. М. Добровольского, Парижская Коммуна в русских запрещенных изданиях, в сб. «Книга о книге», т. III, Лен. 1931. О чайковцах: Л. Шишко, С. М. Кравчинский и кружок чайковцев, собр. соч., т. IV, Пргд., 1918, стр. 142, 145, 148; Н. Чарушин, О далеком прошлом, М., 1926, стр. 65. Ср. также М. Балабанов, Россия и европейские революции в прошлом, вып. III, Парижская Коммуна, Киев, 1925, стр. 138 и сл.

[3] Б. Базилевский (В. Богучарский), Государственные преступления в России с XIX в., т. I, стр. 411—414 (обвинительный акт и сведения о процессе).

[4] По словам А. И. Корниловой-Мороз, защитник Гончарова Утин «мотивировал преступление последнего отчаянием, вызванным холодностью его жены и ее увлечением других лицом» (подразумевался А. Ф. Жохов). Тогда Жохов вызвал Утина на дуэль, был ранен и умер; жена Гончарова затем застрелилась; младшая сестра последней пыталась убить Утина и застрелилась в его кабинете («Каторга и ссылка» 1926 г., № 1, стр. 26).
С этими же личными историями связана и характеристика всего дела в устах мало сдержанного на словах Германа Лопатина, как «трагикомического процесса», см. его корреспонденцию во «Вперед» из Иркутска, перепечатанную у А. А. Шилова, Герман Александрович Лопатин, Пгрд., 1922, стр. 100. Отголосок аналогичных суждений имеется и в книге А. Мальшинского, Обзор социально-революционного движения в России, СПБ., 1880, стр. 223, прим. 2, где сообщается что Гончаров, оставшись без работы, решился на составление прокламаций, «желая этим обратить на себя внимание правительства».

*содержанием, и в 1868 г. в составе своего рода центрального из тогдашних петер*бургских революционных кружков, в так называемой «Сморгонской академии», или короче — «Сморгони», видим и автора позднейшей «Виселицы», Н. П. Гончарова, в январе этого года уволенного из Технологического института за участие в студенческих беспорядках. Тем же автором, Б. П. Козьминым, раскрыт состав и взгляды этого кружка, шуточное название которого произошло от той Сморгони (городок в теперешней Белоруссии), около которого цыганами была устроена «академия» для дрессировки медведей. Если из состава участников Сморгонской академии упомянуть хотя бы каракозовцев В. Черкезова и Д. Воскресенского и еще в большей мере П. Н. Ткачева, и если добавить, что ряд участников этого кружка, как хотя бы те же Черкезов и Ткачев, оказались вскоре в рядах
привлеченных к делу ечаевцев. то уже это
в достаточной мере ха рактеризов ло бы пе-
редаточную роль Смо гонской академии
между этими двумя ьиже иями и вместе
с тем характеризовало ы также физиономию
кружка. Однако неко орые факты из жизни
«Сморгони» должны ыть подчеркнуты для
понимания поздней лей «Виселицы». Имен-
но одним из предмет в детального изложе-
ния у Б. П. Козьмина вляется попытка
сморгонцев завязать тношения с тем са-
мым «Европейским ре олюционным комите-
том», о котором рассу ждали также и кара-
козовцы; а второй фа т—это вопрос о тер-
роре, который хот и ызывал разногласия
у сморгонцев, но все- аки повел к попытке
организации покушен я на Александра II
в Елизаветграде в 869 году[1].



Н. П. ГОНЧАРОВ
Автор листовок «Виселица»

Сморгонская академ я распалась, и неко-
торые ее участники, ак только что упомя-
нуто, ушли к Нечаеву. ончаров, по-видимо-
му, не принадлежал к оследним; однако с
революционной арены н не сошел. По сло-
вам одной агентурной записки, относящейся
к 1870 г., Гончаров по льзуется «некоторым
авторитетом за твердо сть своих революцион
ных убеждений, хотя его там считают слишком умеренным, так как он решительно отвергает такие крайние средства, как, например, цареубийство»[2].

Трудно, конечно, утверждать, насколько откровенен был в своих разговорах с неизвестным нам агентом III Отделения Гончаров и тем самым насколько достоверны или недостоверны сообщения этого агента. Вся совокупность данных (напр., то, что он называет агенту своих противников «болванами») заставляет склоняться к последнему, но это не колеблет самих сообщений о положении Гончарова в революционной среде. Это положение Гончарова в революционных кружках в те самые месяцы, когда он писал свою «Виселицу», делают все же понятным ее содержание.

Именно скрывшийся 21 мая 1871 г., из опасений ареста, Гончаров уезжает в Вильно с паспортом Мирона Чудновского, который, повидимому, был передан ему Марком Натансоном, как известно, основавшим кружок чайковцев. Прописавши паспорт в Вильно, Гончаров вернулся в Петербург. Здесь он ночует на общей квартире чайковцев, в связи с чем впоследствии привлекаются к дознанию о Гон-

[1] Б. П. Козьмин, Революционное подполье (в эпоху «белого террора»). М., 1929, стр. 135—144.
[2] Там же, стр. 147.

чарове и Перовская, и Корниловы, и Ободовская и др. члены этого кружка. Мало того, с одним из членов этого же кружка, Ив. Ив. Басовым, повидимому, Гончаров был еще ближе. При всем этом он членом кружка не был и не стоял организационно ни в рядах нечаевцев, ни в рядах чайковцев [1].

Думается, что сказанное может послужить некоторым комментарием и к содержанию «Виселицы», и к судьбе ее автора в историко-революционной литературе. Нет никакого сомнения, что именно те идеи, которые развивались в «Сморгони» и перешли потом к нечаевцам, послужили основою для Гончарова в ту эпоху, когда он писал и печатал номера своей «Виселицы». В рассуждениях о нашей кровной русской революции», о том, что ее не сделать «окостеневшему мужику», чьи мозги «грубы, как кость», и что она может «прорваться», если на нас направят с Запада ее «поток», — явно ощущается связь с предшествующими представлениями, связанными с «Европейским революционным комитетом», дабы с его помощью произвести революцию, которую крестьянству не поднять; подобная недооценка революционности крестьянства чрезвычайно характерна для политического лица Н. П. Гончарова. В призывах же к расправе с Катковым явна связь с террористическими актами и каракозовцев и нечаевцев.

Если Гончаров не примкнул организационно ни к нечаевцам, ни к чайковцам, то все же именно только наличие таких промежуточных, идейно близких к Нечаеву, но связанных и с чайковцами фигур могло внушить Нечаеву мысль о переговорах с чайковцами [2].

Но эта идейная близость к конспиративнейшим организациям 60-х гг. (укажем, что и «Сморгонь» так и не была полностью раскрыта III Отделением) обусловила поведение Гончарова на следствии и суде, где он не назвал ни одного имени и представил все дело своим личным делом (так что даже уличенные в каких-то сношениях с ним чайковцы вышли совсем реабилитированными) и где, мало того, он попытался даже затушевать свои взгляды, чтобы не дать каких-либо поводов к дальнейшим розыскам. Несомненно, что именно это конспиративное поведение Гончарова повело к тем недоразумениям в его деле, о которых говорим выше.

Гончаров [3] был арестован 6 июля 1871 года (он в это время работал в качестве техника на клеенчатой фабрике Шерера в Петербурге и скрылся, опасаясь ареста, еще 21 мая). Его показания не дали никаких нитей к раскрытию его связей, и чайковцы, привлеченные вместе с ним к дознанию, несмотря на некоторые подозрительные документы, найденные у них, сумели вполне выпутаться из этого дела. Единственное, чем интересны были, но не для следствия, его показания, это описание того примитивнейшего способа, которым производилось печатание листовок «Виселицы». По словам Гончарова, который не вполне, вероятно, был откровенен в этом отношении, он сумел отпечатать всего до 20 экземпляров каждой листовки, из которых половина оказалась непригодной для чтения.

16 февраля 1872 г. Гончаров предстал перед Петербургской судебной палатой, и поведение его на суде опять-таки дало так мало материала для более или менее детального судебного следствия, что дело было закончено в тот же день, 16 февраля. Его признали виновным «в напечатании и распространении сочинений, с целью возбудить неуважение к верховной власти, а также с целью возбудить к бунту, а равно и в проживании по чужому паспорту, который он выдавал за свой».

Гончаров поплатился за свои писания шестилетнею каторгою, с последующим поселением в Сибири навсегда. Лишь полтора года спустя, 14 июня 1872 г., Гон-

[1] Б. Базилевский, ук. соч., стр. 413; А. Корнилова-Мороз, ук. ст., стр. 26—27, и ее же автобиография в Энциклопедическом словаре Гранат, т. 40, стлб. 214; Н. Ашешов, Софья Перовская, Пгрд., 1920, стр. 29—30; М. Балабанов, К истории рабочего движения на Украине, Киев, 1925, стр. 20, прим. 2.

[2] П. Лавров, Народники-пропагандисты 1873—1878 гг., СПБ., 1907, стр. 30.

[3] Сведения о Гончарове см. «Деятели революционного движения в России». Биобиблиографический словарь, изд. Всесоюзного общества политкаторжан, т. II, вып. I, М., 1929 г.; остальные сведения взяты из соответствующего дела Министерства Юстиции о Гончарове.

чаров подал прошение о «снисхождении», не выражая в нем никакого раскаяния, обычного в такого рода документах, а ссылаясь лишь на состояние своих родителей (отец Гончарова был полковником, командиром 8-го кавказского линейного батальона).

Несмотря на то, что почти одновременно было подано прошение и отцом, все дело было оставлено без последствий. Лишь вмешательство той самой кн. М. М. Дондуковой-Корсаковой, которая впоследствии сумела проникнуть и в Шлиссельбург, повело к смягчению участи Гончарова и к повелению 12 декабря 1872 г. о ссылке по лишении прав на житье в Иркутск.

Только новое ходатайство отца имело результатом в 1879 г. помилование Гончарова.

С. Валк

ВИСЕЛИЦА [1]

Периодический листок

I

С.-Петербург, 14 апреля 1871 г.

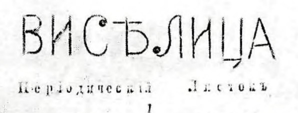
Мировая революция уже началась... будет ли Париж задушен или нет, во всяком случае — во имя исторических законов бытия, во имя необходимого совершенствования мира, во имя очевидной для каждого путаницы и удушья в нашей жизни — борьба безысходна, кровавая революция над нами... Поднявшись над развалинами Парижа, она облетит все столицы мира, — желанная, святая, побывает и в нашей мужичьей избе...

Но кто из русских людей предназначен возвестить, смело и без боязни, громко и прямо, прилет чудного гения Свободы, Равенства и Братства? Кто не остановится пред тупостью мужика, пред красноречием русских философов, пред дикою татарскою властью царя...

Надежды наши на здоровых умственно и физически, сильных волею и кипучей страстью, молодых русских людей. Они разобьют власть, сравняют людей во всем и воспитают следующее поколение в роскошной обстановке коммун. Ни судей, ни докторов не понадобится тогда, и воцарится счастие и мир на русской земле.

Привет и братство и честный вызов вам, великие сподвижники свободы, счастия и мира.

КОММУНИСТ.


ВИСѢЛИЦА

Періодическій Листокъ

ПЕРВАЯ ЛИСТОВКА «ВИСЕЛИЦА»

С подлинника, хранящегося в Ленинградском отделении Центроархива

ВИСЕЛИЦА

Периодический листок

II

Что же будет дальше?

Один из талантливых наших писателей, Суворин, в одном из последних фельетонов, чуть ли не логичнее и резче всех разбил катковские проекты о всепоглощающем классическом образовании. Такой один фельетон без сомнения полезнее всей вместе взятой нашей современной литературы, так как он не в одну грудь влил самого жгучего негодования против подлых проектов и их гнусного творца...[2]

Но... Каткова этим не проберешь, он опять победил и опять его козни обращены в закон...

С этим рабом, висельником и подлецом надо сражаться другим образом. — Он двенадцать лет уже торжествует и почти правит русской землей. Он загубил десятки тысяч людей Сибирью, оставив на долю множества семей — печаль и нищету. Он вследствие этого разбогател, обзавелся лицеем и теперь издал для нашей молодежи классически-безнравственные законы образования. Он пойдет и еще далее, если... наконец не убьют этой гадины... — Да будет это маленькое кровопускание началом наших грядущих событий.

Я.

С.-Петербург, 24 апреля 1871 г.

ВИСЕЛИЦА

Периодический листок

III

Чего мы хотим?

Прежде всего — кровавой расправы с неравенством прав, с неравенством благ, во имя абсолютного равенства людей в будущем. Потом хотим победы для нашей кровной русской революции... Остальное совершится само собой, и тысячи коммун покроют русскую землю... Но как двинуть окостеневшего мужика, нищета и врожденное недовольство жизнью которого до того замыкали и затаскали мозги его, что они сделались грубы, как кость.

Подвинуть его на самостоятельную работу почти невозможно. Он переполнен в настоящее время страшилищными предрассудками и понимает лишь такие детские истины, — что сила ломит солому, что когда бьют, надо бежать, а дают — брать. Мы думаем, что надо пользоваться тем, что есть: надо желать, ждать, готовиться и помогать, чтобы революция прорвалась чрез парижские стены и лавой огненной заструилась по царствам, чтобы для нее готов был какой-нибудь прием. Не французы и горсточка русских, так поляки направят на нас целые потоки ее... Старый мир захлебнется в них и погибнет... Будь ты проклят, мир слез и несчастий, да погибнут в страшных мучениях анафемы человечества!

Привет и братство, русские революционеры.

КОММУНИСТ.

С.-Петербург, 4 мая 1871 г.

ВИСѢЛИЦА

Періодическій Листокъ

4

Парижъ наканунѣ страшнаго и окончательнаго своего паденія....Но не падетъ, не погибнетъ начатое имъ дѣло,—очнутся наконецъ люди отъ позорнаго своего безъучастія, отъ тупо бычачьяго поглядыванія на кровавую драму, отъ паршивенькихъ соображеній насчотъ откормленныхъ, выхоленныхъ, въ скотовъ обращенныхъ нѣмецкихъ солдатъ....Боже, какое время, какая мертвая жизнь подернувшаяся и застывшая тишина вокругъ!... а въ Парижѣ течетъ ручьями кровь, пылаютъ во всѣмъ улицахъ страшные пожары и геройское населеніе — тутъ и старики, и женщины и дѣти — бьется насмерть съ версальскими разбойниками.

Откликнитесь, честные люди, откликнитесь на вашихъ мѣстахъ погибающему Парижу, чтобы умирая онъ зналъ, что дѣло его возобновятъ и также смѣло и геройски поведутъ впередъ.

Пусть нашъ скромный призывъ будетъ началомъ этаго отклика, — выступайте.... на борьбу съ окружающими разбойниками .... къ оружію! къ оружію

Коммунистъ

С-Петербургъ, 1871г. Мая 14

ПОСЛЕДНЯЯ ЛИСТОВКА «ВИСЕЛИЦА»

С подлинника, хранящегося в Ленинградском Отделении Центроархива

ВИСЕЛИЦА

Периодический листок

IV

Париж накануне страшного и окончательного своего падения... Но не падет, не погибнет начатое им дело, — очнутся наконец люди от позорного своего безучастия, от тупого бычачьего поглядывания на кровавую драму, от паршивеньких соображений насчет откормленных, выхоленных, в скотов обращенных немецких солдат... Боже, какое время, какая мертвая, жиром подернувшаяся и застывшая тишина вокруг!... а в Париже течет ручьями кровь, пылают по всем улицам страшные пожары и геройское население — тут и старики, и женщины, и дети — бьется на смерть с версальскими разбойниками.

Откликнитесь, честные люди, откликнитесь на ваших местах погибающему Парижу, чтобы умирая он знал, что дело его возобновят и также смело и геройски поведут вперед.

Пусть наш скромный призыв будет началом этого отклика, — выступайте... на борьбу с окружающими разбойниками... к оружию! к оружию!

КОММУНИСТ.

С.-Петербург. 1871 г. Мая 14.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Все номера «Виселицы» печатаются по подлинникам. Орфография подлинника, крайне неисправная, нами не соблюдена, и представление о ней дают прилагаемые снимки.

[2] В этот острый момент введения Толстым известной классической системы образования Суворин, который тогда еще писал в либеральных «С.-Петербургских Ведомостях» Корша, выступил здесь с большим фельетоном по адресу ярого защитника классической реформы Каткова, «лже-архиепископа греко-латинской секты», как писал Суворин. В этом фельетоне (в № 91 «С.-Петербургских Ведомостей» 1871 г.) Суворин не только нападал лично на Каткова («мне все кажется, что не будь у вас лицея, не стали бы вы бросаться из-за классицизма, как угорелая кошка, от брани к сплетне, от сплетни к клевете, от клеветы к обману и подлогу, ко всем этим средствам, не рекомендуемым вашей кротостью»), но и вскрывал политический смысл классической реформы. «Лишь немногие, — писал Суворин, — из людей среднего и бедного класса пробьются сквозь эти заставы, тогда как сильный человек без особенных пожертвований проведет своего сына по этому утомительному пути. Таким образом, классическая тога со своим клеймом рабства прикрыла плотно аристократические вожделения».

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

I. ИЗ ПЕРЕПИСКИ НИКОЛАЯ I С ПОЛЬ-ДЕ-КОКОМ

II. ИСПОРЧЕННЫЕ ДЕТИ

Предисловие Д. Заславского
Комментарии С. Макашина и Н. Яковлева

О ЖИВОМ САЛТЫКОВЕ

Среди всякой «теоретической» контрабанды, проникающей в советское литературоведение, есть и теорийка о том, что в советской литературе нет будто бы места для подлинной сатиры, а могут существовать только ее суррогаты. Как у контрабандного товара, у этой теорийки нет ни имени, ни адреса, ни фирмы. Она все же существует. Ее предлагают из-под полы, — в беседах, на «дискуссиях», иногда полусловами и полунамеками. Она маскируется иногда «левыми» фразами. В эпоху, мол, социалистического строительства нам не до смеха, да и над кем смеяться, кого преследовать сатирическим бичом? Буржуазное нутро выпирает из этих слов, как и в том случае, когда нас предостерегают: сатира опасна, она слишком острое оружие. Более откровенные и дерзкие контрабандисты говорят, что сатира и невозможна в советских условиях. Сатира исторически была всегда оружием, направленным против господствующих классов. Она попадала в цель только тогда, когда этой целью были основы существующего политического и общественного строя. Диктатура пролетариата исключает возможность такой сатиры. Стало быть, это литературный жанр, осужденный на вымирание.

За этими словами, не всегда договариваемыми до конца, слышится затаенный вздох по буржуазной «свободе печати». Однако контрабандисты прежде всего лгут. Сатира, исторически прогрессивная, передовая для своего времени выступала против господствующих классов, потому что самое господство этих классов основывалось на беспощадной эксплоатации труда подчиненных трудящихся масс, потому что эти господствующие классы были паразитами, насильниками, крепостниками, душителями науки и литературы, мракобесами. Исторически прогрессивная, передовая для своего времени сатира никогда не делала об'ектом своего бичующего смеха рабочий класс и трудящиеся массы. Сатирическими насмешками — неизменно и неизбежно тупыми и бездарными — над трудящимися массами всегда занималась реакционная литература. Она занимается ими и теперь, высмеивая, например, социалистическое строительство в СССР, пятилетку, революционный героизм рабочих масс, ударничество и т. п., представляя все трудящееся население Советского союза в виде «рабов», которым можно навязать «принудительный труд». Сатириками такого рода хоть пруд пруди во всей нынешней капиталистической литературе, и если у этой горе-сатиры нет зубов, то только по той причине, по которой буржуазный мир теряет вообще все признаки и принадлежности силы, свежести и молодости. Буржуазная сатира нашего времени может только злобно шипеть и дрянно хихикать.

Но если и прежде исторически прогрессивная, передовая для своего времени сатира никогда не делала об'ектом своего бичевания трудящиеся массы, когда они только терпели от гнета господствующих классов или вели с этими классами упорную борьбу, то тем меньше оснований для такой сатиры бичевать рабочий класс и трудящихся в эпоху, когда впервые в мировой истории они сбросили со своих плеч насильников, эксплоататоров и паразитов и приступили в труднейших условиях, окруженные со всех сторон врагами, к грандиозной работе созидания нового общества. Сатира, направленная против господствующего в Советском союзе класса, против основ существующего в Советском союзе общественного строя, может быть только сатирой, исходящей от классового врага, сатирой реакционной и по сути контрреволюционной. И, конечно, для такой сатиры нет и не может быть места в Советском союзе. Такая сатира может проникать только контрабандой, в виде гнилых, дрянно хихикающих анекдотцев и плохо замаскированных кулацких выпадов в литературе.

Буржуазной сатире нет места в советской литературе. Это понятия друг друга исключающие. Следует ли из этого, что нет места в советской литературе для сатиры? Конечно, нет. Из того, что буржуазия в период своей борьбы с феодализмом создала превосходные образцы сатиры, нисколько не следует, что сатира — это буржуазный жанр, умирающий вместе с буржуазией. Сатира — это очень острое и сильное оружие в классовой борьбе. Рабочий класс пользовался этим оружием все годы своей революционной борьбы. Он создал превосходные образцы советской и пролетарской сатиры в произведениях Демьяна Бедного, Маяковского, Кольцова и др. И так как классовая борьба продолжается в Советской стране и вокруг Советской страны, то проповедывать теории об изживании сатиры и о невозможности ее могут только те, кто хочет разоружить пролетариат в его литературно-политической борьбе с классовыми врагами. Отрицание классовой борьбы или недооценка ее составляет историческую суть оппортунизма.

Завершение фундамента социалистической экономики в окончательной форме решает вопрос «кто—кого» и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Однако классовая борьба не только не снята с очереди,— она обостряется вместе с успехами социалистического строительства, потому что обостряется до крайности сопротивление всех буржуазных элементов в стране, поддерживаемых международной буржуазией. Классовый враг выступает не только в виде прямой буржуазной агентуры, прячущейся в щелях советского аппарата, не только в виде откровенного кулака. Враждебное классовое влияние дает себя чувствовать в настроениях, обволакивающих иногда довольно густо отдельные участки социалистического фронта и скопляющихся там, где особенно сильны затруднения. Враждебное классовое влияние стелется часто плотной пеленой в обывательских низах советской общественности, играя роль понижающих станций для пролетарского производственного энтузиазма. Буржуазные элементы обладают способностью отравлять своим гниением атмосферу и после того, как они убиты. Буржуазные пережитки живучи. Их поддерживает вековая темнота, которая еще далеко не рассеяна громадной культурной работой, проделанной за последние годы. Мелкая буржуазия и в городах необ'ятного Союза, и в селах до сих пор не потеряла еще полностью своего влияния, особенно в культуре. И почти каждый новый рабочий, приходящий из деревни на советские новостройки, в новые социалистические предприятия, почти каждый новый учащийся, приходящий в учебные заведения, приносит с собой в котомке или на подошвах частицу — иногда весьма значительную — этих мелкобуржуазных индивидуалистических настроений.

Советская литература является важным участником социалистического строительства. Ее задача — борьба со всеми буржуазными и мелкобуржуазными элементами, содействие скорейшей переделке советского человека. А в такой борьбе сатира является совершенно необходимым и незаменимым оружием. Надо каленым железом бичующего смеха искоренять все наследия старого рабства, забитости, робости, дикости, а также бюрократического чванства, надменности,

лени, халатности,— всех этих свойств и качеств, воспитанных годами и веками помещичьей и капиталистической «расейщины». В советском быту еще сколько угодно материала и пищи для своей, внутренней советской сатиры, уж не говоря об обступившем границы Советского союза внешнем классовом враге. Вся политическая борьба рабочего класса СССР против его врагов богато пропитана элементами сатиры.

Большевики всегда превосходно владели оружием насмешки. Политические речи тов. Сталина, несокрушимые по чеканке строго логической аргументации, заострены обычно сатирическим образом, добивающим противника. Историческая речь на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г. «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства» завершается словами: «Существуют некоторые околопартийные обыватели, которые уверяют, что наша производственная программа нереальна, невыполнима. Это нечто вроде «премудрых пескарей» Щедрина, которые всегда готовы распространять вокруг себя «пустоту недомыслия». Реальна ли наша производственная программа? Безусловно, да!»

«Премудрые пескари» существуют и в наши дни. Острие салтыковского сатирического образа не притупилось. Из этого следует, что не только преждевременно хоронить «отмирающую» советскую сатиру, но и Салтыкова еще нельзя сдавать в архив как сатирика, себя изжившего. Он нам нужен, и его надо не только изучать, но и читать.

Чтобы познакомиться с социально-экономическим укладом и классовыми отношениями России, Карл Маркс выучился русской грамоте и выписал экономические русские книги и произведения Салтыкова. Из статьи в четвертой книге «Архива Маркса и Энгельса» о русских книгах в библиотеке Маркса известно, с каким глубоким вниманием читал Маркс Салтыкова. Действительно, в русской литературе нет более глубокого художественного изображения людей и нравов эпохи крепостного права. Причем это не только «изображение». Это и страстная борьба с крепостническим строем, нисколько не ослабевшая и после того, как крепостничество формально было упразднено. Ленин писал в 1907 г. в статье «Памяти графа Гейдена»:

«Еще Некрасов и Салтыков учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов, а современный российский интеллигент, мнящий себя хранителем демократического наследства, принадлежащий к кадетской партии или к кадетским подголоскам, учит народ хамству и восторгается своим беспристрастием беспартийного демократа. Зрелище, едва ли не более отвратительное, чем зрелище подвигов Дубасова и Столыпина...»

Изобличая в том же году кадетов, Ленин выражал сожаление, что не дожил Салтыков до 1905 г. «Он прибавил бы, вероятно, новую главу к «Господам Головлевым», *он изобразил бы Иудушку, который успокаивает высеченного, избитого, голодного, закабаленного мужика: ты ждешь улучшений? Ты разочарован отсутствием перемены в порядках, основанных на голоде, на расстреливании народа, на розге и нагайке? Ты жалуешься на «отсутствие фактов»? Неблагодарный! Но ведь это отсутствие фактов и есть факт величайшей важности! Ведь это сознательный результат вмешательства твоей воли, что Лидвали попрежнему хозяйничают, что мужики спокойно ложатся под розги, не предаваясь зловредным мечтам о «поэзии борьбы»* (статья «Торжествующая пошлость или кадетствующие эс-эры»).

Ленин не цитирует здесь Салтыкова. Иудушка этих слов не произносил. Но он непременно произнес бы эти слова, если бы дожил до 1905 г. Иудушка был бы в 1905 г. кадетом или даже кадетствующим эс-эром. Сатирический образ Салтыкова помогает Ленину разоблачить под напомаженной либеральной внешностью лицемерие и бездушие помещичьей литературы.

Тот интерес, с которым относились Маркс и Ленин к Салтыкову как к разоблачителю крепостнически-помещичьего быта, царизма, чиновничества, сохраняется во всей силе и для нашего времени. Не будет преувеличением сказать, что нельзя по-настоящему познакомиться с дореволюционным русским бытом, не зная Салтыкова. И если, как правильно говорит Максим Горький, советская молодежь должна знакомиться с прошлым для того, чтобы по-настоящему оценить все историческое значение и величие пролетарской революции и социалистического строительства, то надо советской молодежи непременно знать Салтыкова, как один из основных ключей к знакомству с прошлым и к пониманию его.

Ленин превосходно знал Салтыкова и часто им пользовался. Он не только цитировал Салтыкова, но и употреблял салтыковские слова и обороты речи, вводя их в полемическую большевистскую литературу. Ленин, к сожалению, не оставил нам о Салтыкове таких же статей, как о Толстом. Но если присмотреться к тому, как и в каких случаях Ленин приводит слова Салтыкова, какими его произведениями пользуется по преимуществу, можно без ошибки определить, в чем Ленин видел основную, главную силу салтыковской сатиры. Об этом писал т. Ольминский в своей книжке о Щедрине. Он же указывал на то, что буржуазно-либеральная критика, сознательно ограничивая значение Салтыкова его художественно-сатирическим разоблачением помещичье-крепостнического быта, фальсифицировала подлинный облик Салтыкова.

В статье «Плеханов и Васильев» (1907 г.) Ленин писал о меньшевиках, которые ничего не имеют против такой революции, которая обошлась бы без революционеров. «Отсутствие акушеров, отсутствие революционеров, отсутствие революционного народа — вот лозунг Васильева». Этот лозунг русских меньшевиков 1907 г. имеет, как известно, хождение и среди германских, французских и иных меньшевиков нашего времени.

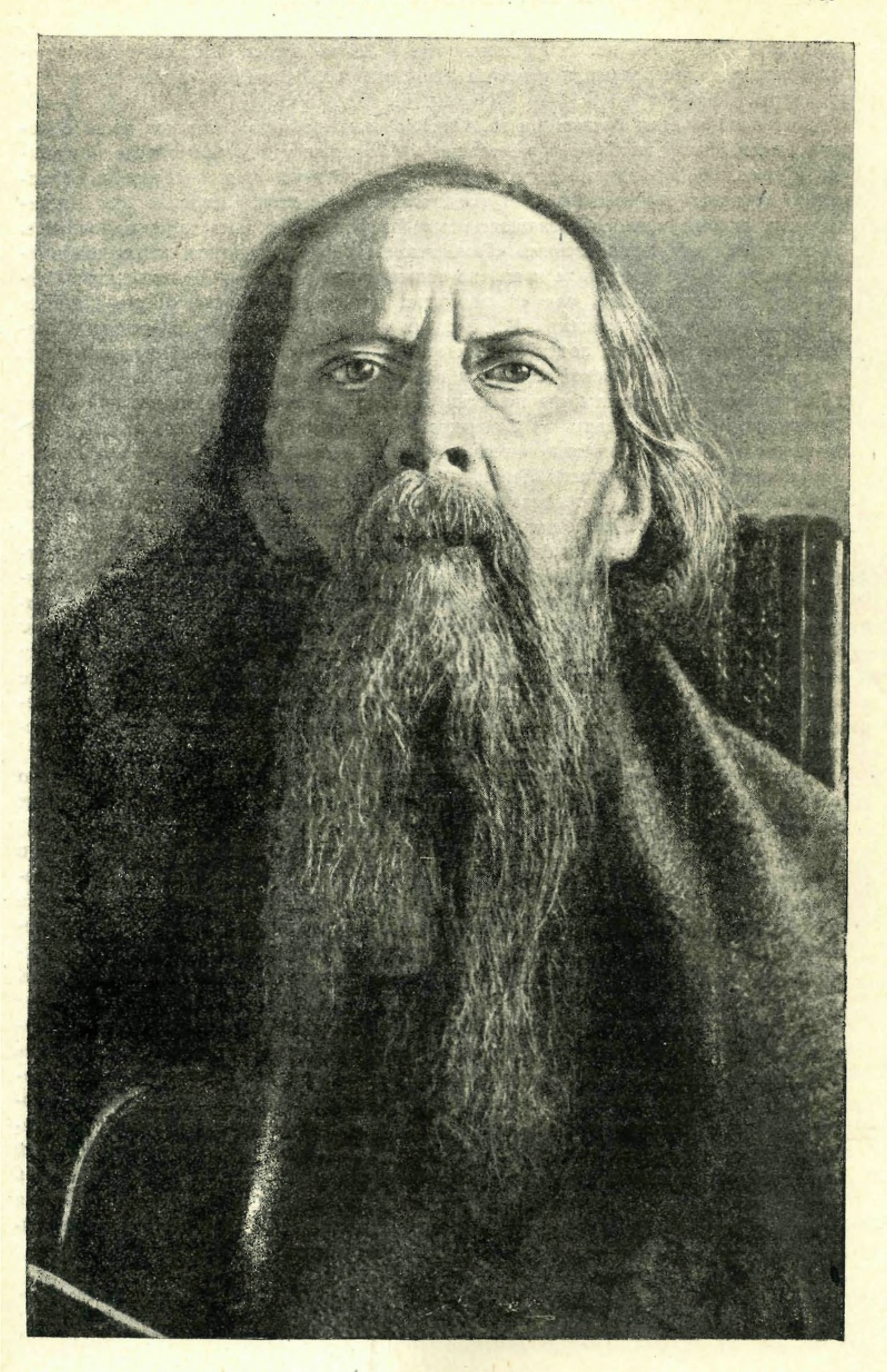
«Щедрин классически высмеял когда-то Францию,— пишет Ленин,— расстрелявшую коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами банкиров, как республику без республиканцев. Пора родиться новому Щедрину, чтобы высмеять Васильева и меньшевиков, защищающих революцию посредством лозунга «отсутствие» революционеров, «отсутствие» революции».

Эти слова о французской республике без республиканцев Ленин повторил и позже, в 1917 г., в статье «О пролетарской милиции», разоблачая «республиканцев» буржуазного «временного правительства». Из салтыковского сатирического арсенала Ленин брал таким образом оружие, направленное против буржуазного либерализма. Это оружие действовало так же метко, как и стрелы, направленные против крепостничества.

В первой же своей крупной работе Ленин, полемизируя с народниками, приводит «так метко описанную Щедриным историю эволюции российского либерала. Начинает этот либерал с того, что просит у начальства реформ «по возможности»; продолжает тем, что клянчит «ну, хоть что-нибудь» и кончает вечной и незыблемой позицией «применительно к подлости». Ну, как не сказать в самом деле про «друзей народа», что они заняли эту вечную и незыблемую позицию»... («Что такое «друзья народа»).

Салтыковское обличение либерализма Ленин и применил к народникам, вскрывая либеральную сущность их «радикальной» теории. Позже Ленин точно так же пользуется салтыковской насмешкой над либеральной склонностью к оговоркам и оговорочкам, разоблачая элементы буржуазного либерализма в теориях «экономистов». Ленин цитирует фразу из «Свободы»: «Я вовсе не отношусь враждебно к интеллигенции, но»... «Это то самое НО,— пишет Ленин в скобках,— которое Щедрин переводил словами: выше лба уши не растут!» («Что делать?»).

И это сатирическое «но» с его салтыковским переводом неоднократно встречается у Ленина, когда он характеризует половинчатость, нерешительность, колебания либерала-меньшевика. Точно так же часто повторяет Ленин салтыковскую характеристику либерала: «применительно к подлости».



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
С фотографии 1889 г., хранящейся в Государственном Историческом Музее

В статье «Еще один поход на демократию» Ленин писал: «Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой «применительно к подлости».

Достаточно и этих беглых цитат. Они показывают, что Салтыков умел с поразительной силой изобличать не только крепостничество и мракобесие помещиков и царских бюрократов, но и либеральные действия применительно к подлости со стороны «просвещенной» буржуазии и ее агентов. Салтыков был непримиримым врагом всякого соглашательства, трусливого угодничества в политике. Он издевался над французскими «Гамбеттами», расплодившимися ныне под именем Ренoделей, Вандервельде и пр., но также и над русскими Молчалиными, Глумовыми, Подхалимовыми, над «премудрыми пескарями», «карасями-идеалистами» и «здравомысленными зайцами». Вся пестрая гамма оппортунизма отражена у Салтыкова в ярких образах, подсказанных гениальным чутьем величайшего сатирика. И эту сторону салтыковской сатиры в особенности ценил Ленин.

Поэтому он резко заклеймил попытки либералов извратить сатирический облик Салтыкова, попытки сделать из Салтыкова либерального писателя, который разоблачал только крепостничество и только царское чиновничество. «Особенно нестерпимо бывает видеть, — писал Ленин, — когда суб'екты вроде Щепетева, Струве, Гредескула, Изгоева и прочей кадетской братии хватаются за фалды Некрасова, Салтыкова и т. п.» («Еще один поход на демократию»).

Ныне контрреволюционная буржуазия больше за фалды Салтыкова «не хватается». Тов. Ольминский приводит в своей книжке такое, полное горькой злобы, заявление белогвардейского «Руля»: «...многим теперь совестно перед русским прошлым, и так оно выигрывает в сравнении с русским настоящим, что уж нет былой симпатии к Салтыкову-сатирику и недружелюбно и холодно перечитываешь эту сатиру, и часто она кажется несправедливой, огульной и праздной... Нет уже соответственного настроения в покаянном сердце русского интеллигента, и он имеет все горькие основания усумниться в том, был ли для него подходящим воспитателем Щедрин».

Контрреволюционная интеллигенция отрекается от Салтыкова. Это значит, что она на себе чувствует удары его сатиры. Она узнает себя в уродливых героях салтыковских сказок.

Все это делает Салтыкова писателем, близким нашему времени. Он участвует в борьбе, которая ведется против оппортунизма, маловерия, «гнилого либерализма», обывательщины, кулацких настроений и влияний. Созданные им образы не потускнели. Салтыкова надо не только изучать и не только учиться у него мастерству сатирического письма. Салтыкова надо читать,— конечно, критически читать,—а читать Салтыкова—значит любить Салтыкова и радоваться каждому вновь открываемому его слову.

Впервые публикуемые «Письма Николая I к Поль-де-Коку» и открытые в журнальной груде давно забытые «Испорченные дети» сверкают всеми красками свежей салтыковской сатиры. Злая насмешка над «мыслями о взятии Константинополя и отобрании ключей» бьет не только по воинствующему национализму царственных помещиков и их дворян, но и по воинствующему либерализму российской буржуазии, не столь давно упраздненной. Милюков может принять на свой счет сатиру Салтыкова. Мудрого Сапиентова смущала смело высказанная мысль о том, что «будучи предварительно разбойником, можно со временем сделаться администратором». Но в наше время фашистская практика во многих «просвещенных» государствах уже сделала это положение общим местом.

Д. Заславский

[ИЗ ПЕРЕПИСКИ НИКОЛАЯ I С ПОЛЬ-ДЕ-КОКОМ]

I

Любезный статский советник Поль-де-Кок!

Получив Ваше письмо, что мне, как неограниченному повелителю десятков миллионов, полезно по временам выслушивать обличения, я сейчас же послал за протопресвитером Бажановым, и, когда тот явился, приказал ему обличать меня. Но послушайте, что он сказал: армия твоя наводит страх на всех твоих врагов, флоты твои по самым дальним морям разносят славу твоего имени, а чиновники с кротостью и любовью пасут вверенное им стадо.

Судите сами по этим словам, как трудно управлять таким государством, как Россия.

II

Господин статский советник Поль-де-Кок!

Мысли Ваши насчет взятия Константинополя и отобрания известных Вам ключей вполне одобряю и усердие Ваше к Престолу нахожу похвальным. Но теперь я имею другое занятие: учу войска ходить по морю, яко по суху, в чем мне верный пособник генерал Витовтов. Когда они сего достигнут, то без труда до Константинополя добегут и оный возьмут. А впрочем, пребываю Вам доброжелательный

СТАТУЙ.

III

Господин любезно верный полковник Поль-де-Кок!

В воздание отличного усердия Вашего переименовываю Вас в полковника с зачислением в Изюмский гусарский полк, коего историю, по моему приказанию, пишет в настоящее время лихой ротмистр Гербель. Но рекомендуемый Вами план кампании Витовтов принять не советует, а равно и комендант Башуцкий, которому я тоже приказывал сказать правду об этом деле. Во-первых, войска мои еще не научились ходить по морю, яко по суху, но скоро научатся. А, во-вторых, и Нессельрод не надежен: того гляди продаст. А впрочем, видя в Вас таковое усердие к составлению планов, остаюсь доброжелательный

СТАТУЙ.

IV

Господин полковник Поль-де-Кок!

Мысль, Вами в 1848 году заявленная, проводится ныне в осуществление. На сих днях Константинополь будет взят, и по совершении в нем молебствия с водосвятием, открыто будет Константинопольское губернское правление, а в Адрианополе — земский суд. В ознаменование сего, купив в Гостинном дворе орден Меджидие 1-й степени, повелеваю Вам возложить оный на себя и носить по установлению.

СТАТУЙ.

КОММЕНТАРИИ

С апреля 1875 г. по май 1876 г. Салтыков жил за границей. Он был тяжело болен и лечился в Баден-Бадене и Ницце. Болезнь с трудом поддавалась не то что лечению, но даже определению врачей. Но она нимало не ослабила его творческих сил. Он писал в это время едва ли не лучшее из своих произведений «Господа Головлевы» (в виде отдельных очерков, входивших первоначально в серию «Благонамеренных речей»). Одновременно с этим писались очерки из циклов «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» и «Между делом», известный рассказ «Сон в летнюю ночь», начинался новый цикл «Культурные люди», написаны некоторые чисто публицистические статьи. Не удовлетворяясь этим, Салтыков замышлял еще рассказ, посвященный Петрашевскому или Чернышевскому (ср. «Письма Салтыкова», ГИЗ, 1925, № 196, стр. 111—112). Это была бы, очевидно, явно нецензурная вещь. Повидимому, она не была написана. Но зато Салтыков создал в то время другое не менее нецензурное по тем временам произведение: интересующую нас сейчас переписку императора Николая I с французским романистом Поль-де-Коком.

Создавалась эта вещь в письмах к ряду друзей Салтыкова: И. С. Тургеневу, А. М. Цеховскому, А. М. Унковскому (товарищ Салтыкова с детских лет, тверской земец, деятель крестьянской реформы, адвокат), А. Н. Еракову (инженер путей сообщения, родственник Н. А. Некрасова) и может быть еще к кому-нибудь. Большая часть этих писем приходилась на долю двоих последних. Историк литературы В. Е. Максимов-Евгеньев видел в руках сына А. М. Унковского пачку писем Салтыкова, содержавшую занимающую нас переписку. Позднее он слышал от того же А. М. Унковского, что письма были переданы кому-то из близких знакомых семьи Унковских и затерялись (см. «Красная газета», вечерний вып. 27 января 1926 г., № 24). С другой стороны известный литератор и издатель Л. Ф. Пантелеев, свидетельствует, что больше всего писем было к А. Н. Еракову, но они сгорели во время пожара (газета «Современные вести» 1917 г., № 22, см. также его «Из воспоминаний прошлого», кн. II, 1908 г., стр. 157). Оба эти свидетельства подтверждаются письмами самого Салтыкова к Н. А. Некрасову. Так, 3 марта 1876 г. Салтыков писал последнему из Ниццы: «Кланяйтесь Еракову; скажите ему, что я не пишу ему потому, что он переписки Поль-де-Кока не желает, а без этого и письмо не в письмо». В письме от 24 марта 1876 г. из Ниццы Салтыков сообщает, что сегодня писал Унковскому, и прибавляет: «Там же два письма из Поль-де-Коковой переписки. Думаю, что Ераков также будет смеяться» (см. «Письма Салтыкова», №№ 105 и 110). Факт посылки некоторых частей этой переписки И. С. Тургеневу подтверждается письмами последнего к Салтыкову. Так, 3 января 1876 г. Тургенев пишет: «Меня привел в восторг Ваш набросок юмористического рассказа о переписке Николая Павловича с Поль-де-Коком; это Вы непременно должны написать, ибо это будет перл первой величины»; и еще позднее от 19 января 1876 г.: «Переписку Николая Павловича с Поль-де-Коком, конечно, печатать нельзя теперь, да и переиначивать ее грех; пусть она пока существует в рукописи, а там современем увидим. На это Вы мне скажете, что у Вас нет времени на безвозмездные занятия литературой; но ведь я воображаю себе эту переписку не бог знает каких размеров — так страниц в 20 или 25; это Вы, я полагаю, можете одолеть не спеша» (первое издание писем И. С. Тургенева, изд. Литфонда, 1885, №№ 217 и 219).

В последнем письме Тургенева гипотетически определяются размеры переписки. Судя по указанным выше воспоминаниям, она могла быть и больше. Тем более приходится жалеть, что она не сохранилась за исключением публикуемых ныне образцов писем или рескриптов Николая I. Далее, из приведенных выше писем Салтыкова и Тургенева можно заключить, что писание этой вещи приходится в значительной мере на начало 1876 г. Но оно затрогивало и конец 1875 г. По крайней мере три из публикуемых ныне рескриптов взяты нами из письма Салтыкова от 21 декабря 1875 г. В первом из этих рескриптов Поль-де-Кок именуется статским советником, а в двух следующих полковником. Не следует ли отсюда предположить, что первый из напечатанных рескриптов должен быть отнесен к более раннему периоду, потому что в нем Поль-де-Кок также является еще статским советником? К сожалению, этот рескрипт в рукописи не сохранился. Мы имеем его лишь в изложении по памяти Л. Ф. Пантелеева в его статье: «Как трудно управлять Россией» (газета «Современные вести» от 24 декабря 1917 г., № 22).

В юбилейном 1914 году, в связи с 25-летием со дня смерти Салтыкова, проф. С. А. Венгеров между прочим вспоминал, что слышал о крайне интересной сатире Щедрина: «Как император Николай Павлович произвел Поль-де-Кока в статские советники». Где эта рукопись? — спрашивал Венгеров («Биржевые ведомости», № 14120). Это указание С. А. Венгерова как будто дает нам, хотя бы по

названию, еще один рескрипт Николая Павловича к Поль-де-Коку. Последний является перед нами в тот момент, когда он не был еще не только полковником, но и статским советником. Вместе с этим время написания рескриптов отодвигается еще дальше, на начало декабря — конец ноября 1875 г.

За что же последовало это первое производство Поль-де-Кока? Салтыков рассказывает, что, как он якобы слыхал от современников, Николай I так поклонялся таланту Поль-де-Кока, что не мог терпеливо дожидаться выхода в свет его новых романов и получал их из Франции в листах. Он даже жаловал любимому писателю российский чин статского советника. Вот, значит, что было причиной первой милости Николая I к Поль-де-Коку! Салтыков не мог, конечно, придумать ничего более естественного. Как раз в николаевские времена Поль-де-Кок славился на всю Европу своими скабрезными произведениями (хотя по сравне-

УПОМИНАНИЕ О «ПЕРЕПИСКЕ ПОЛЬ-ДЕ-КОКА» В ПИСЬМЕ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА К Н. А. НЕКРАСОВУ ОТ 3 МАРТА 1876 Г.
С подлинника, хранящегося в Институте Новой Русской Литературы

нию с позднейшими французскими натуралистами он не давал в своих романах ничего особенно циничного). Одной из наиболее известных его вещей был роман «Gustave, ou le mauvais sujet», о котором как раз М. Е. Салтыков и упоминает в своем письме от 21 декабря 1875 г., единственном сохранившемся до наших дней документе, в котором имеются в автографах три письма Николая I к Поль-де-Коку (у нас в публикации — II, III и IV). С другой стороны, Салтыкову было достаточно хорошо известно, что царственный жандарм в частном быту смотрел на жизнь с точки зрения породистого производителя конского завода; редкая женщина при дворе избегала покушений императора или кого-либо из его свиты. Таким образом мысль сопоставить эти два имени, эти две фигуры, была мысль столь же простая, как и великая.

До сих пор мы имели дело только с одной стороной, Николаем Павловичем и его письмами к Поль-де-Коку. Но у нас есть, хотя и косвенные, данные, рисующие отношение Поль-де-Кока к своему высокопоставленному другу. И вот здесь, может быть, Щедрин достигает вершины своего искусства.

Дело в том, что Поль-де-Кок, очевидно, польщенный оказанным ему высоким вниманием, вдруг превращается из беззаботного «певца любви» в глубокомысленного политика.

Сначала мы видим Поль-де-Кока озабоченным внутренней политикой Николая I: «Вам, государь, пишет Поль-де-Кок, как неограниченному повелителю многих десятков миллионов подданных, полезно по временам выслушивать обличения». В ответ на это письмо и последовал первый из дошедших до нас рескриптов, в ко-

тором Николай I сообщает о неудачной попытке обличения его протопресвитером Бажановым (по приказанию самого обличаемого!). О Бажанове сам Николай I говорил, что нашел его, зайдя однажды на урок закона божьего в гимназию, где преподавал Бажанов. Последний был сделан наставником наследника и всей царской семьи, а затем и ее духовником. Это продолжалось и при Александре II. Как раз в 1875 г., совсем незадолго до наших писем, Бажанов с большой торжественностью отпраздновал свой юбилей.

Поощренный милостивым рескриптом, Поль-де-Кок пошел дальше. Как раз в это время во Франции происходила революция 1848 г. И вот Поль-де-Кок решается вмешаться и во внешнюю политику. Он советует Николаю I воспользоваться господствующими на его родине неурядицами и взять Константинополь. Ответом на это предложение Поль-де-Кока и является второй рескрипт. Упоминаемый в нем генерал Витовтов был начальником штаба Николая I. Изумительна подпись императора — «Статуй».

Получив на этот раз, хотя и милостивый, но все-таки отказ, Поль-де-Кок не смущается. В следующем 1849 г., в виду агитации в пользу избрания Бонапарта президентом республики, Поль-де-Кок опять настаивает и предупреждает, что с Бонапартом будет труднее ладить, чем с Ламартином (известный французский поэт-романтик, бывший одним из руководящих членов французского революционного правительства). Николай I вновь отклоняет совет Поль-де-Кока в виду контрсоветов своих военных авторитетов: названного выше Витовтова и петербургского коменданта Башуцкого (Башуцкий был петербургским комендантом с начала века и «за полное усердие и преданность», обнаруженные 14 декабря 1825 г., был пожалован в генерал-ад'ютанты, а через год в сенаторы, но в 1848 г. его давно уже не было в живых, — обычный у Салтыкова сознательный анахронизм), ссылается также на «ненадежность» Нессельроде, очевидно, в виду известной близости последнего к Австрии, интересы которой затрогивались проникновением России на Балканы. Но чтобы позолотить вторичный отказ и оттенить момент личного благоволения за такое «усердие в составлении планов», Николай называет здесь Поль-де-Кока «любезно-верным» и переименовывает из статского советника в полковники. Упоминаемый при этом Гербель — это известный поэт-переводчик, бывший действительно гусаром Изюмского полка.

В 1853 г., наконец, войска были выучены и решено было итти «по морю яко по суху». Известие об этом Николай Павлович и послал Поль-де-Коку в своем последнем рескрипте с повелением носить турецкий орден Меджидия 1-й степени.

«Любопытно,— продолжает сатирик,— что Поль-де-Кок действительно начал носить орден, но был уличен и отдан под суд за неправое ношение орденов».

На этом и кончается известная нам пока часть переписки. Эти немногие сохранившиеся фрагменты наряду с косвенными свидетельствами современников, приведенными выше, дают, однако, отчетливое представление о характере этой замечательной сатиры. «Переписка» была задумана и осуществлялась в форме «рескриптов» Николая Павловича («Статуя») к Поль-де-Коку, сопровождавшихся комментариями и примечаниями «издателя» рескриптов, т. е. самого сатирика.

Трудно было язвительней высмеять николаевщину, чем это сделал Салтыков. Знаменитый девиз николаевской военщины: «шапками закидаем!» — заменен в сатире «хождением по морю, яко по суху!» Но интереснее всего, что великодержавные завоевательские мечты о Константинополе и «ключах» к проливам рождаются не в «рыцарской» груди Николая Павловича, а в мозгу бульварного французского романиста, певца гризеток и адюльтера. Но и этого мало. Сатира Салтыкова имеет обычно и другой план, метит в двойную цель. И наша сатира целит не только в недоброй памяти николаевщину и завершившую ее Севастопольскую кампанию. Она намекает одновременно и на новый под'ем агрессивных стремлений русского правительства на Ближнем Востоке в середине 70-х годов.

Чтобы до конца выдержать стиль, Салтыков в этом же письме просит сообщить редактору «Русской старины» М. И. Семевскому, чтобы он поспешил с покупкой коллекции писем потому, что ее «уже торгует один англичанин».

Нам остается прибавить немногое. Нельзя вполне достоверно установить, кому адресовано письмо от 21 декабря 1875 г., в котором мы находим наши рескрипты: в нем нет именного обращения к адресату в начале и далее текст не дает никаких указаний на адресата. Известно лишь, что оно поступило в Пушкинский Дом в составе архива А. Ф. Кони вместе с несколькими письмами Салтыкова к А. Н. Еракову.

Н. Яковлев

ИСПОРЧЕННЫЕ ДЕТИ

Предисловие, об'ясняющее происхождение одного литературного общества

Вдова действительного статского советника и кавалера, Катерина Павловна Младо-Сморчковская, рожденная княжна Пустодомова, имела четверых сыновей-погодков: Гришу, Сережу, Ваню и Пашу. Всех их она, разумеется, предназначала для самой блестящей будущности. Она была бы, например, очень рада, если бы хоть один из них вышел чем-нибудь вроде Суворова, и надо сказать правду, что маленький Ваня до некоторой степени даже оправдывал материнские мечты. Он не любил никакой игры, кроме игры в солдатики, отвращался от всяких игрушек, кроме оловянных кавалеристов и пехотинцев, терпеть не мог никакой мелодии, кроме мелодии барабана; наконец, ел и пил всякую дрянь. Однажды, засмотревшись на маленького Ваню, как он маршировал, и какие трудные переходы заставлял делать своих оловянных однокашников, Катерина Павловна до того забылась, что воскликнула: «иди! спасай царей!» Конечно, она сама сейчас же опомнилась и порядком-таки струхнула, но, к счастью, в то время никого, кроме Вани, в комнате не было, и происшествие это осталось без последствий. Но, с другой стороны, она понимала и то, что Суворов был всего на всего один, и что, следовательно, четверым одну вакансию занять никак нельзя. Поэтому, она была не прочь удовольствоваться для других сыновей и просто солидною административной карьерой, которая хотя и не поражала бы таким блеском, как карьера военная, но зато обещала бы более прочности и обеспеченности в будущем. Сказать ли правду? К административной карьере у нее даже больше лежало сердце, нежели к военной...

Чтобы понять причину этого последнего предпочтения, необходимо сказать, что покойный муж Катерины Павловны был в начале нынешнего столетия несколько лет сряду, губернатором в одной из самых хлебных губерний России. На этом месте он достиг всего, что только человеческому желанию доступно. В глазах начальства, он славился строгостью и скоростью; глаза откупщиков ослеплял неупустительностью во взимании даней; в глазах предводителей дворянства имел то ни с чем несравнимое качество, что держал лучшего повара в целой губернии и откармливал дома совершенно невиданных поросят. Таковы были гражданские доблести покойного. Но были, однакож, и военные. Катерина Павловна очень хорошо помнила, как ее Иван Григорьич делал походы против бунтовщиков и недоимщиков, как он не подвергался при этом ни малейшей опасности, и как, за всем тем, из каждого похода возвращался обремененный добычею.

«Разграбив имущества, предав селения в жертву пламени, уничтожив пажити и надругавшись над женами и девами, они (печенеги) возвращались во свояси, обремененные добычею», — вспоминалось при этом Катерине Павловне из ее далекого институтского прошлого.

— Конечно, все это прекрасно, — мысленно прибавляла она в заключение: — и слава и лавры! Однако, с печенегами все-таки покончили — и где теперь их добыча! — А мой Иван Григорьич и умер-то своей смертью, да и из добычи кой-что после себя оставил!

Вообще, Катерина Павловна довольно своеобразно смотрела на русскую историю. Она делила ее на два периода: первый, до убиения боярина Кучки, и второй — после убиения боярина Кучки. До убие-

ния, ей представлялся какой-то хаос, в котором мелькали хозары и печенеги, обремененные добычей, но ничего своим детям не оставившие; после убиения, наступал московский период, который уже потому был ей известен, что она была уроженка Москвы, и следовательно, отлично знала и Ивана-Великого, и Солянку, и Арбат. Особенных подробностей, конечно, и об этом периоде она не могла сообщить, но ей представлялось за верное, что в это время жили все Иваны Васильичи, да Васильи Иванычи, которые отличались от печенегов тем, что были люди хозяйственные и с добычей обращались умненько.

— Нет, лучше поскромнее, да посолиднее! — заключала она мысленно: — лучше быть каким-нибудь сереньким Васильем Иванычем, чем знаменитостью вроде князя Дедери (так ошибочно называла она славного в летописях печенежского князя Редедю), у которого, пожалуй, и штанов не было!

И решила, что дети ее будут, по малой мере, градоначальниками, то-есть пойдут до известной степени по стопам доблестного родителя, за исключением, пожалуй, Вани, который мог, если хотел, сделаться и Суворовым.

В исполнении этих намерений Катерине Павловне не мало помогал Степан Петрович Сапиентов, рекомендованный братцем, князем Кириллою Пустодомовым, как педагог, специально посвятивший себя приготовлению государственных младенцев.

Степан Петрович был явлением довольно обыкновенным в то небогатое людьми время. Происходя из «прискорбных» и кончивши курс в духовной академии, он, при помощи ласковости и пастырского благословения, кое к кому втерся, кое около кого потерся, так что в непродолжительном времени познал даже употребление носового платка. Он уже мечтал о том, как современем заменит собою Сперанского, но выходящие из ряда педагогические способности помешали ему сделаться государственным человеком.

Издавна замечено, что слишком большое усердие, слишком исключительная специальность скорее мешают, нежели помогают. Для того, чтобы свободно подниматься по лестнице жизни, необходимо отчасти порхать, отчасти скользить по поверхности. Порхающий человек то на один цветок сядет, то на другой — не успеешь оглянуться, ан в результате административный сот. Напротив того, человек усидчивый, обладающий чугунной поясницею, так и кажется, что заведет в трущобу. Я знал очень многих почтеннейших регистраторов, из которых каждый был бы, конечно, не прочь устроить свой собственный сот, но ни один не был к тому допущен именно потому, что слишком уж ревностно записывал исходящие и входящие бумаги. Как только начальство раз убедилось, что человек на известном месте необходим, что без него, как без рук, так карьера этого человека кончена. Истинные честолюбцы знают это, и потому на каждом встречающемся цветке останавливаются именно на столько времени, сколько нужно, чтобы извлечь из него необходимое в данную минуту количество меда. И таким образом, порхая, играя и летая, допархиваются и доигрываются иногда до должностей, весьма приглядных.

Подобного рода неприятность случилась и с Сапиентовым. Репутация его, как педагога, специально посвятившего себя приготовлению государственных младенцев, установилась так прочно, что никому даже в голову не приходила мысль о возможности видеть его в другом положении. Конечно, его, для формы, записали в какую-то комиссию, занимавшуюся разработкой «некоторых приличных нашим обстоятельствам конституций», но ни до одной конституции не допу-

стили, и звания государственного человека не удостоили. За то кормили домашними обедами, награждали чинами до статского советника включительно и обещали современем сосватать богатую купчиху. Так он и оставался, в качестве жениха предполагаемой купчихи, видя, как Сперанский мелькает перед его глазами, и горько плачась на неблагосклонность к нему фортуны. В 1812 году, фортуна, казалось, улыбнулась ему. Сперанский был обвинен в пособничестве Наполеону — он нет; Сперанский был сослан в Нижний — он нет. Он каждый день ждал курьера... Увы! На горизонте, действительно, взошла новая звезда, но не он, Сапиентов, был этой звездою, а какой-то Крестовоздвиженский или Ризоположенский, одним словом, некто такой, кому он еще в семинарии неоднократно задавал вселенскую смазь.

Он покорился.

В таком положении, то-есть вполне примирившимся с скромной ролью воспитателя государственных младенцев, мы застаем его в ту минуту, когда братец князь Кирилл Пустодомов познакомил с ним Катерину Павловну.

— А позвольте, сударыня, узнать, какие вы имеете виды на ваших малюток? — спросил Сапиентов, повидимому, придерживавшийся, в деле воспитания, той теории, что малютка — воск, из которого, по усмотрению, можно наделать и крепких в брани генералов, и прилежных ко взысканию недоимок администраторов.

— Откровенно вам скажу, что мне хотелось бы пустить их по штатской, — отвечала Катерина Павловна: — ну, знаете, однакож, чтоб и рыцарские чувства... не совсем же были забыты...

— В нашем отечестве, сударыня, рыцарские чувства наипаче в чиновническом сословии пребывают. Чувства сии суть: исполнительность и неуклонное хранение вверенной тайности!

— Отец их был губернатором — ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы и они... ну, хоть градоначальниками! Все же, знаете, кусок хлеба... Разумеется, не сразу — сразу, я знаю, нельзя, а исподволь... Я вам должна сказать, что Гриша несколько знаком даже с формами и обрядами делопроизводства!

— Вот как-с!

— Да; мой покойник обращал на этот предмет большое внимание, и говаривал, что в нем заключается истинное счастье жизни. Сережа — тот больше по части любознательности. Что-нибудь выведать, высмотреть — вот его дело. И сейчас прибежит ко мне, и все перескажет: такой откровенный ребенок!

— Сударыня! Если бы у нас в каждой губернии было хотя по одному такому откровенному ребенку, то наше благополучие было бы несомненно! Это верно-с.

— Ну, Паша — тот больше к деньгам пристрастие имеет; считает, знаете, копит, занимает, делает разные операции... иногда даже утаивает...

— Может, стало быть, по финансовой части быть деятелем. Но вы пропустили, сударыня, третьего вашего малютку...

— Ах, об Ване, право, не знаю, что и сказать вам. Он больше все с барабаном! Да вот еще на-днях выдумал в трубу трубить!

— Что же-с! И по этой части слуги нужны. В садах государственной службы не один мирт произрастает, но и лавр!

— Так-то так, мой почтеннейший Степан Петрович, да все как-то страшно за него. Мирты-то, знаете, прочнее, солиднее. Как в кармане-то густо, так и на свет смотреть как будто веселее. А с этими лаврами и свое как раз спустишь!

— Бывали, однако, сударыня, и иные указания в истории. Сципион Азиятский, например, не только своего не расточил, но даже весьма приумножил!

— Ну, да, конечно, кабы командиром... вот тоже по провиантской части хорошие места бывают... а все же, знаете, по штатской как-то солиднее!

— Что же-с! Постараемся в один венок вплести и лавр, и мирт. Как говорит поэт:

И лавр, обнявшись с павиликой...

Стало быть, это дело возможное-с.

На этом конференция и кончилась.

Не имея в предмете излагать здесь полную систему воспитания государственных младенцев, изобретенную Сапиентовым, я остановлюсь только на той из ее подробностей, которая имеет непосредственное отношение к помещаемым ниже рассказам. Поставив себе задачей возбудить в своих питомцах охоту к мышлению, Степан Петрович непрерывно упражнял их в сочинениях на разные темы. Само собою разумеется, что темы брались преимущественно из сферы административной, к которой собственно и приготовлялись молодые люди. «Надобно их постепенно соблазнять», — говорил Сапиентов, и шел к своей цели неукоснительно, то-есть, переходя от легчайших понятий и предметов к труднейшим. Так, на первый раз, он задал сочинение на тему: «что такое канцелярская тайна?» И когда этот вопрос был разрешен, то приступлено было к разрешению вопроса последующего: «почему канцелярская тайна необходима?» Потом он задал сочинение на тему «о благосклонности вообще и административной в особенности». Потом: «о спасительной строгости и благомилостивом прощении». Когда же, по его мнению, был удовлетворительно пройден весь цикл административных воздействий, тогда он решил в своем уме, что настало время увенчать здание. «Дети, сказал он себе, приобрели весь необходимый материал, который был нужен, чтобы составить отчетливую идею о том, что такое администратор вообще. Попытаем теперь, в какой степени они соблазнены!»

Остановившись на этой мысли, он задал двоим старшим питомцам сочинение на тему: «Добрый служака», а для двоих младших выбрал тему полегче: «Добрый патриот». Причину, по которой он почитал эту последнюю тему более легкой, он об'яснил Катерине Павловне следующим образом:

— Сударыня! — говорил он: — чтобы написать хорошее сочинение на тему «Добрый служака», надо до известной степени обладать административной практикой, которой Ваши младшие птенчики еще не имеют. Между тем, упражнение на тему «Добрый патриот» ничего не требует, кроме возвышенных чувств. Поэтому, я позволяю себе думать, что в этом случае малолетство автора не только не должно почитаться препятствием, но даже может служить немаловажным подспорьем!

Ответом на заданную тему были следующие ниже сочинения. Они печатаются здесь, как с подстрочными замечаниями, сделанными Сапиентовым на полях, так и с общими замечаниями, сделанными им же в конце каждого упражнения.

I. ДОБРЫЙ СЛУЖАКА

Из моих воспоминаний

(Сочинение 13-летнего Гриши Младо-Сморчковского)

Не в весьма давнем времени, однако, и не меньше тринадцати лет назад, от благородных родителей произошел на свет молодой человек, получивший впоследствии столь громкую известность [1], под именем Гриши Младо-Сморчковского второго.

Отец Гриши, действительный статский советник и кавалер Иван Григорьевич Младо-Сморчковский, был в то время —ским губернатором, и отличался строгостью и скоростью; мать Гриши, рожденная княжна Пустодомова, славилась красотою, любезными нравами и еще тем, что в совершенстве знала, какой уезд какими произведениями изобилует. Сочетание сих качеств изумительным образом отразилось в Грише. Он был строг, быстр, но в то же время не чуждался и хозяйственных соображений [2].

К сожалению, Гриша совершенно не помнит обстоятельств своего рождения. Должно полагать, что и он не избежал общего горького закона природы, то-есть родился наг, беспомощен, и некоторое время не мог даже ходить. Помнит, однако, что первый предмет, который обратил его внимание и к которому инстинктивно потянулись его ручки, был журнал «Министерства Внутренних Дел», издававшийся тогда под редакцией г. Варадинова [3].

Заметив в Грише такую особливую наклонность к правительственным распоряжениям, родители его не замедлили всячески оную в нем поддерживать и развивать. В шестилетнем возрасте, он случайно достал из губернского правления довольно пространный сенатский указ, и в тайне изучал его; а семи лет, ко дню ангела своего родителя, он уже сочинил рапорт «о том, зачем по присланному из сената указу исполнения учинить невозможно». С тех пор, чтение начальственных предписаний сделалось любимейшею его забавой.

Так жил Младо-Сморчковский, возбуждая зависть в старых советниках губернского правления, и будучи предметом удивления для поседелого в боях вице-губернатора. Впрочем, отдавшись душой гражданским доблестям, он не пренебрегал и воинскими упражнениями, которые впоследствии тоже принесли ему много пользы. Так, например, к восьми годам, он уже знал все построения, какие необходимы для действия против обывателя [4].

Вообще, день этого молодого человека был распределен так: в 6 часов утра пробуждение и умывание холодной водой, à la Suworoff; непосредственно вслед за тем одевание (солдатские брюки и солдатская же грубого сукна шинель) и пение «ура!» — до тех пор, покуда не пробьет семь часов. В семь часов, кружка сбитня и кусок черного хлеба. После того, до двенадцати часов, телесные упражнения, ружейные приемы, учение одиночное, двурядное и проч. Начальные понятия об атаке. В двенадцать часов, молодой человек, возвратившись в свою комнату, подобно всем господам военным, говорил: «Ух, устал, как собака!» и позволял себе полчасика вздремнуть, сидя на стуле и

[1] Не слишком ли самонадеянно сказано о громкой-то известности? И почему «под именем», когда Младо-Сморчковский не псевдоним, а действительная фамилия? Сапиентов.

[2] Не знаю, в какой степени можно сказать сие о младенце, едва родившемся. Сап.

[3] Автор предваряет события. Сап.

[4] [illegible] бог, но сомнительно. Сап.

облокотясь головой на правую руку. В час — обед, состоящий из солдатских щей с солониной (иногда даже не совсем свежею) и крутой каши. После обеда, вместо рекреации, пение и «ура!»; затем: ружейные приемы, езда марш маршем и «сабли наголо!», причем всегда присутствовало несколько сверстников, которые представляли внутренних врагов, то-есть обывателей [1]. С двух до шести чтение указов и писание рапортов, большей частью «с действительным исполнением»; ибо даже в юных летах Младо-Сморчковский второй никаких препятствий в деле исполнительности выносить не мог. В шесть часов, вновь кружка сбитня и, затем, до девяти часов практические упражнения на тему: «кто хочет начальствовать, тот прежде сам должен научиться повиноваться». В этих видах Младо-Сморчковский второй предлагал кому-нибудь из сверстников, ниже его рангом, что-либо ему приказать, и исполнял то приказание слепо; потом, в свою очередь, сам приказывал, — и горе тому, кто позволил бы себе хотя на одну черту уклониться от исполнения приказанного. В девять часов, утомление и сон...

Такой образ жизни не только укрепил Младо-Сморчковского физически, но и уму его сообщил замечательную прозорливость. Так, будучи девяти лет отроду, он уже начинает замечать некоторые недостатки в управлении своего родителя. Есть скорость, но нет стремительности; есть строгость, но нет непреклонности [2]. Младо-Сморчковский первый все еще как бы оглядывался по сторонам, и хотя нередко говаривал, что рассуждать не следует, однако, по слабости своей, рассуждал [3]. Напротив того, Младо-Сморчковский второй сразу решил в сердце своем: не рассуждать! [4] и сообразно с сим начертал план будущей атаки. Когда он взирал, как копается чиновник особых поручений Степнухин, как разводит на бобах правитель канцелярии Подоплеков, и как родитель его, вместо того, чтобы броситься в атаку и стремительным натиском смять врага, мямлил, отправляя дела в губернское правление для обсуждения... то сердце его обливалось кровью [5]. И вот, по поводу этого-то мямления произошли первоначальные пререкания между Младо-Сморчковскими первым и вторым.

Дело началось с почтительных представлений Младо-Сморчковского второго. Получена была из Петербурга бумага, содержание которой сразу пленило сердце Гриши. Подлинно рассказать это содержание невозможно, но достоверно, что в ней, с одной стороны, нечто принималось в соображение, с другой стороны, нечто не упускалось из вида, и в то же время нечто рекомендовалось особенному вниманию. В заключение — смерть врагам! [6]

[1] Непонятно, почему обыватель везде именуется внутренним врагом? Можно назвать врагом: недоимщика, вольнодумца, распространителя вредных и опасных слухов, разглашателя канцелярской тайны — все сии лица мешают свободному административному бегу, — но обывателя вообще... отнюдь! Обыватель скорее друг администрации, нежели враг ее. Он платит подати, возит чиновников на обывательских, то-есть без прогонов, топит печи в земских судах и городнических правлениях, за что пользуется титулом сельского заседателя или ратмана. Вот подлинные занятия обывателя — что же в них враждебного? За всем тем, нельзя не сознаться, что и в замечании Младо-Сморчковского второго есть мысль довольно справедливая. Но оную надлежало развить гораздо подробнее. Сап.

[2] А со стороны Младо-Сморчковского второго есть строптивость. Сап.

[3] Не по слабости, а по прирожденной наклонности к умствованию. Наклонность сия, хотя и ведет нередко человека к погибели, однако, совершенно преодолеть он ее не может. Впрочем, если это и слабость, то она уже потому извинительна, что без помощи ее мы не знали бы, что человек смертен. Сап.

[4] А сам рассуждает! Сап.

[5] За таковые мысли следует автору изрядно намылить голову. Сап.

[6] Любопытно было бы сию бумагу прочитать, коли она не вымысел авторской фантазии. Сап.

Как уже сказано выше, пламенный юноша Младо-Сморчковский второй был совершенно очарован плавным и текучим слогом этой бумаги. Он с восторгом повторял затверженные из нее фразы, так что было время, когда родительский его дом ничем другим не оглашался, кроме: «С одной стороны», «с другой стороны», «но в то же время» и т. д. Напротив того, Младо-Сморчковский первый смотрел на это дело иначе, и даже прямо называл новый административный слог развратным [1].

Однажды, в седьмом часу вечера, когда Младо-Сморчковский второй, по обыкновению, принес на просмотр к отцу только что сочиненное им примерное предписание по делу «о новоявленном в некоторой местности буйственном духе», то Младо-Сморчковский первый, вместо того, чтобы похвалить, как это всегда прежде бывало, сказал:

— Эге, любезный! Да, кажется, и ты этой развратной галиматье подражать начинаешь! [2]

Младо-Сморчковский второй смолчал, но, поняв всю силу нанесенного оскорбления, вспыхнул.

— Ну, скажи на милость, продолжал Младо-Сморчковский первый:— разве это не галиматья: «с одной стороны, принимая во внимание обычную в сем звании нераскаянность, с другой стороны, не упуская из вида, что строгость всегда спасительна, я в то же время считаю не лишним рекомендовать вашему благородию, что вы в значительной степени можете улучшить вредное направление умов, если своевременно, незамедлительно и даже нерассудительно скомандуете: в атаку!» Ведь таким манером ты, глупенький, весь народ перебьешь!

— Если он этого достоин, то перебью! — твердо отвечал Младо-Сморчковский второй.

— С кем же ты после останешься? Ах, глупенький ты, глупенький мальчик!

Как ни сдерживал себя Младо-Сморчковский второй, но уста его невольно прошептали: старый колпак! [3]

Тогда началось исправление, предпринятое, как впоследствии дознано, по методе г. Миллера-Красовского [4]. Пощечины следовали одна за другою с такою неожиданностью, что Младо-Сморчковский второй не мог даже ничего придумать, дабы отвратить от себя сие бедствие... Но в это время в голове его уже созрел план.

План этот заключался в том, чтобы во что бы то ни стало самому сделаться градоначальником... а быть может и министром!

С этой целью он решил: вопервых, покинуть отчий дом; вовторых, об'явиться начальству и откровенно из'яснить ему свои виды и предположения, и, втретьих, заявить решительное намерение не выпускать бразды из рук, покуда хоть один враг останется налицо.

Путешествие предстояло опасное и продолжительное, но Младо-Сморчковский второй и не скрывал от себя трудностей своего предприятия. Он несколько дней сряду откладывал от своей скудной порции по куску хлеба, высушивал эти куски в печке, и когда сухарей накопилось достаточно, пустился в путь.

В глухую полночь, он навсегда покинул теплую постель, чтобы отныне исключительно отдаться административным приключениям!

[1] Не может быть. Несогласно с твердыми правилами Младо-Сморчковского первого называть бумагу, писанную на бланке, развратною. Сап.

[2] Неправда. Сап.

[3] Нехорошо. Дурно. Сап.

[4] Но какую же иную методу предпринять? Каков проступок, такова и метода. Сап

Он не будет описывать здесь красоты природы, которых, впрочем, было очень достаточно; он не изобразит величественный восход солнца, или менее величественный закат его; он не представит картину бури, в своем разрушительном беге вырывающей с корнями столетние дубы... Все эти предметы были в то время чужды его душе, исключительно поглощенной административными заботами.

Несколько дней скрывался он на городском выгоне в заброшенном кирпичном сарае, питаясь черствыми и заплесневелыми сухарями, утоляя жажду дождевой водой и тая в груди свой замысел. Наконец, опасность погони миновалась, страхи рассеялись, и Младо-Сморчковский второй с трудом выполз из своего убежища. Казалось, вожделенная цель была близка...

Но Провидению угодно было на сей раз отдалить ее. Прежде, нежели привести в исполнение обширный свой план, Младо-Сморчковский второй должен был сделаться атаманом шайки разбойников [1].

Мало кому известно, сколько разнообразны и тяжелы обязанности атамана разбойников. Вставать с зарею, питаться сырыми произведениями природы, скрываться в лесах и пещерах, и в то же время нести на своих плечах все бремя хозяйственных распоряжений по содержанию и продовольствию шайки, целый день быть свидетелем пролития человеческой крови, обладать несметными сокровищами и очень часто не знать, какое сделать из них употребление — какая нужна железная сила духа, чтобы вынести подобное существование! Однако, Младо-Сморчковский второй и эту трудную школу выдержал с честью!

Поступив в разбойники и предвидя, что ему придется совершать поступки, которые могут огорчить его родителей [2], он принял фамилию Туманова. В первый же день, он собственными руками зарезал мать многочисленного семейства, а ребенку ее раздробил об камень голову [3]. На другой день, он, под видом отставного солдата, идущего на родину [4], забрался в убогую хижину гостеприимного селянина, и ночью, когда все его семейные улеглись спать, Туманов иным отрубил головы, а иных задушил, и, забрав значительную сумму золотом и бумажками, возвратился в разбойничий лагерь. Мужество и проворство [5], которые он при этом выказал, доставили ему такую популярность между разбойниками, что вскоре все окрестные леса огласились именем неустрашимого атамана Туманова.

Так проводил свои дни, в беспрерывных занятиях, славный атаман разбойников Туманов.

Он уже имел намерение, подобно знаменитому своему предместнику, Ермаку Тимофеевичу, отправиться в какую ни на есть отдаленную страну, с тем, чтобы покорить ее оружию России, но не успел еще определить, в каком месте находится упомянутая страна, как фортуна совершенно неожиданно изменила ему. Это случилось именно в то время, когда он разбойничал в знаменитых Муромских лесах.

[1] Нельзя сказать, чтобы автор имел недостаток в фантазии; но, направление ее не столько полезно, сколько вредно. Посмотрим, что-то покажет нам дальше сей, кажется, слишком предприимчивый Младо-Сморчковский второй? Сап.

[2] Вот первый признак раскаянья! Дай-то бог, чтобы он принес вожделенные плоды! Сап.

[3] Увы! Таковых (то-есть плодов) не оказывается. Сап.

[4] Автор забывает, что солдат, дабы получить отставку, должен прослужить двадцать пять лет. Какой же он мог иметь «вид отставного солдата», когда ему отроду было не более осьми лет? Сап.

[5] Не мужество и проворство, а зверство и пагубная поспешность проливать кровь. Сап.



РЕДКАЯ КАРТИНА С ПОРТРЕТОМ ЩЕДРИНА 80-х ГОДОВ.
Воспроизводится впервые по фотографии, хранящейся в Музее Революции СССР

История картины рассказана одним из ее авторов — московским нотариусом Н. П. Орловым — в его воспоминаниях (журнал «Красное знамя», 1906 г., май, Париж, стр. 85—86, подпись Н. О.). Приводим относящиеся сюда строки: «За январскую, 1886 года книгу «Отечественных записок» — за статью Н. Я. Николадзе «Луи Блан и Гамбета» (и за двадцать вторую главу «Современной Идиллии» Салтыкова-Щедрина. — Ред.), дано было журналу предостережение. По этому поводу, я, при участии малоизвестного, но способного художника Д. Брызгалова, скомпоновал в Москве и издал «подпольно», в фотографических снимках, ходивших потом по рукам, — соответствующую картину... Щедрин, в его вишневом халате, изображен был на ней пробирающимся с потерпевшею книгой через темный лес, к просвету и спасающимся от преследующих его фантастических чудовищ...». В глубине леса, на обнаженных сучьях которого наряду с «гадами» (олицетворение реакции) видны листки «Московских ведомостей», вырисовывается темный силуэт жандарма. На переднем плане изображена «торжествующая свинья» (тоже одно из олицетворений реакции в творчестве Салтыкова). Оформление картины сделано не без влияния традиционной композиции «Искушения святого Антония». Четверостишие под картиной принадлежит Н. П. Орлову.

Характерно отношение к «портрету» самого Салтыкова. Получив от автора специально для него сделанный снимок, он ответил Орлову следующим письмом:

«Крайне вам обязан за присылку картины, которая так сходственно и с обстоятельствами дела согласно изображает существо веществ. Такого сходного портрета я, во всяком случае, не имел и не видел. Что касается до обстановки, то, не имея ничего сказать против гадов, преследующих сзади, ни даже против просвета, который всегда как-то по штату полагается, я бы на месте художника, и по ту сторону просвета устроил встречу гадов. Ибо и это тоже по штату полагается. Вообще, это было бы полное изображение отечественного прогресса с непрерывно идущими гадами и с прогрессом, в форме генерала от инфантерии или действительного тайного советника».

Насколько ценил сам Салтыков этот «портрет», показывают сохранившиеся еще три письма его, написанные в октябре 1887 г. в связи с утерей принадлежавших ему экземпляров. В них он обращается к своим друзьям с «крайней и слезной просьбой», о розысках и покупке для него утерянного «портрета», так как «нужно хоть что-нибудь настоящее сыну на память оставить» и очень горько будет, ежели он не будет иметь этот «портрет»; см. «Письма Салтыкова», Гиз, 1925, № 285 и № 286, а также сборник «Русские Ведомости» 1913, стр. 212.

В 80-х годах «портрет» этот, как указано, распространялся подпольно по рукам в фотографических снимках.

В разбойничьем таборе сделалось достоверно известно, что через лес должно было проезжать с ревизии некоторое значительное лицо, обремененное добычею. Разбойники ждали с нетерпением и, разумеется, все свои надежды возлагали преимущественно на Туманова. И действительно, в девять часов пополудни, показалась вдали колымага, которую через силу тащила шестерня исправных лошадей: до такой степени она была нагружена сокровищами. Туманов, с несколькими молодцами, засел в канаву, и стал выжидать.

Окружить карету, взять лошадей под уздцы, связать руки кучерам и лакеям — все это было делом одной минуты. Но каково было удивление Туманова, когда, отворив дверцы кареты, он увидел там Младо-Сморчковского первого и жену его!

Разумеется, его тоже сейчас же узнали и хотели высечь... Но он, чтобы отвратить от себя сей позор, рассказал ужасную повесть своих злодеяний.

При этом рассказе, волосы стали дыбом на убеленной сединами голове Младо-Сморчковского первого, и слезы, оросив глаза, обильными ручьями потекли по высокому челу его [1].

— Так ты тот самый Туманов, который навел столь великий ужас на сердца обывателей? — спросил он, когда рассказ был кончен.

— Да; я Туманов.

— В таком случае, ты должен забыть, что ты мой сын; я же со своей стороны сделаю распоряжение об отдаче тебя в руки правосудия! Взять этого опасного разбойника!

И вот, Туманов, под прикрытием своей новой фамилии, был привезен в соседний город и сдан в острог.

Но он знал, что это не больше, как испытание, и что впереди его все-таки ожидает блестящая будущность [2]. Поэтому, он стал всемерно помышлять о том, чтобы избегнуть наказания за свои проказы [3], совершенно основательно рассуждая, что если он будет бит кнутом, да еще с наложением клейм, то вряд ли тогда приведется ему получить какое-либо место по административной части.

С этой целью, он начал ежечасно льстить смотрителю острога [4], а между своими товарищами-арестантами в скором времени получил такой авторитет, что, казалось, не было жертвы, которую они не согласились бы ему принести.

Между разнообразными дарованиями, которыми обладал Туманов, одно было в особенности поразительно. Это — проворство, с которым он производил всякого рода фокусы, и та особливая способность к гимнастическим упражнениям, которую он выказывал еще в нежном возрасте детства. Например: он свободно ходил на руках, мог продолжительное время стоять на голове, не встречая при этом препятствия к принятию пищи и пития; эскамотировал полуимпериалы и взамен их предлагал медную монету; глотал шпаги и, наконец, изобрел неистощимую мужицкую спину (впоследствии, фокусники, в подражание ему, устроили так называемую «неистощимую бутылку»). Одним сло-

[1] Красота слога не должна вредить естественности. Как реки не могут течь вспять, так и слезы не могут катиться снизу вверх. С а п.

[2] Любопытно было бы об'яснить, на каких похвалы достойных поступках было основано сие предвидение? С а п.

[3] Изрядные поKазы. С а п.

[4] Ужели же, наконец, и лесть и все прочие пороки ада свили себе гнездо в сей невинной душе? Страшно подумать! С а п.

вом, делал все, что доброму и прилежному фокуснику делать надлежит [1].

Воспользовавшись этой своей способностью, он замыслил весьма обширный план. Он исподволь начал знакомить смотрителя острога с зрелищем своих фокусов, и, видя, что оные весьма пришлись ему по нраву, усугубил ловкость и наконец испросил разрешение устраивать представления в более обширных размерах. Вскоре, слава о зрелищах, даваемых в тюрьме, проникла во все закоулки города, так что всякому стало лестно взглянуть на них. Градоначальники, военачальники, участковые, околодочные — словом сказать, вся палата и воинство собирались к нам, как на праздник, посмотреть на наши затеи.

Этого только и надо было Туманову.

В Егорьев день были имянины смотрителя острога, и по этому случаю арестантами в секрете, но не без того, однакож, чтобы он о сем не знал, приготовлялся ему сюрприз. Сюрприз был изобретен Тумановым и состоял в том, что сорок три человека должны были представить из себя семиярусную движущуюся пирамиду. В основании должно было стоять двенадцать самых сильных арестантов, у них на головах — десять, потом — восемь, шесть и т. д. Пирамиду увенчивал сам Туманов, который на этой ужасной высоте обязывался показать чудеса проворства и ловкости. Представление положено было сделать во дворе острога, обнесенном со всех сторон каменною стеной четырехсаженной высоты; пирамида должна была отправиться от наружной стены замка, пройти через весь двор и подойти к той части ограды, которая выходила в поле.

Наступил давно ожиданный день и, когда, после обеда, при собрании всех градоначальников и военачальников, живая пирамида двинулась, то нельзя изобразить тот восторг, который охватил сердца сих невинных людей, при виде этого зрелища! Пирамида подвигалась медленно, и Туманову не раз, впродолжение этого шествия, приходило на мысль, сколь непрочны человеческие предприятия вообще, и как мало нужно, чтобы и его собственное столь зрело обдуманное предприятие рассеялось, как дым! Достаточно было одного неловкого движения!.. Однако, с божьей помощью, дело окончилось, как нельзя лучше. Едва, при взрыве восторженных рукоплесканий, пирамида успела приблизиться к наружной ограде тюрьмы, как Туманов ловким скачком спрыгнул с вершины, и в одно мгновение ока очутился по ту сторону тюрьмы. Все это произошло столь быстро и неожиданно, что зрители несколько времени не понимали, думая, что это не больше, как продолжение того же представления... [2].

Не будем говорить о чувствах благодарности к Творцу, которые переполняли в эту минуту душу Туманова! . . . . [3].

После этого мы уже застаем Туманова министром: сначала в не очень большом государстве, куда он был помещен в виде опыта, а потом в государстве более обширном [4]. Сделавши его министром,

[1] И что не надлежит делать сыну действительного статского советника. Сап.

[2] Весь этот хитроумный рассказ о Туманове заимствован автором из сочинений С. В. Максимова. Едва ли это не плагиат. Сап.

[3] Что хочет сказать автор этими без пути наставленными точками? Уж не то ли, что цензура ему в сем месте попрепятствовала? Сап.

[4] Желательно бы знать, в каком это «не очень большом государстве» занял Младо-Сморчковский место министра? Да и ни в каком самом маленьком государстве не могло это быть, потому что везде и своих Младо-Сморчковских довольно. Конечно, допускаются иногда исключения, но для сего надобно было бы доказать, что Младо-Сморчковский немецкого происхождения, в чем сильно сомневаюсь. Сап.

ему подчинили всех прочих министров, и он по прежнему принял фамилию Младо-Сморчковского, с тою только разницей, что назывался теперь уже не вторым, а первым, так как старший Младо-Сморчковский успел в это время скончаться, оплаканный своими подчиненными.

Каким образом совершилось это новое превращение в жизни Младо-Сморчковского первого — теперь открыть еще не время. Но можно сказать одно: он успел оказать начальству некоторые важные услуги [1].

Не станем описывать здесь мрачную [2] картину административной деятельности Младо-Сморчковского первого. Многих он сменил, многих отдал под суд, а меры его по взысканию недоимок снискали удивление целого мира [3]. В течение первых двух суток, по каждому отдельному предмету им было выпущено не менее двух предписаний и не меньше как по одному рапорту, а так как предметов было великое множество, то предоставляется читателю самому исчислить, какова была громадность сего предприятия. Впоследствии, сами начальники неоднократно сказывали, что содрогались, когда приходила почта, приносившая его виды и предположения [4].

Изложим, однакож, хотя вкратце некоторые замечательнейшие действия Младо-Сморчковского первого на занимаемом им посту.

Во-первых, сочинил статистику, причем оказалось против прежнего всего вдвое и втрое [5].

Во-вторых, усилил производительность, а вместе с тем и источники народного благосостояния, неуклонно наказывая нерадивых и через то поселяя в них охоту к труду.

В-третьих, увеличил доходы, открыв для них новый источник в неистощимой мужицкой спине [6].

В-четвертых, обеспечил народное продовольствие, наблюдая, дабы обыватели отнюдь не потребляли сверх действительной надобности, и все излишки, не разбрасывая и не расточая, сберегали на предбудущие времена.

В-пятых, обеспечил народное здравие, предложив кому следует наблюсти, дабы обыватели не изнуряли себя непосильными трудами, и всегда имели неприхотливую, но вкусную, здоровую и обильную пищу [7].

В-шестых, улучшил пути сообщения, не довольствуясь дорогами, известными и существующими, но бесстрашно пролагая пути даже там, куда до того времени не заходила нога человеческая [8].

В-седьмых, обуздал некоторые пороки и суеверия [9].

В-восьмых, обуздал газетчиков и писателей [10].

[1] Хорошо кабы так; но опасаюсь, что во всем сем нет ни капли правды. Сап.

[2] Кажется, что здесь прилагательное «мрачная» употреблено только для красоты слога. Сап.

[3] Не слыхать. Сап.

[4] Вот и видно, что выдумка. Какие могут быть у министра начальники, с которыми бы он переписывался по почте? Видно, разбойник-то где ни на есть квартальным надзирателем определился (и то, чай, в немудром каком городе), а сам возмечтал, что он министр! Сап.

[5] А что он с сими излишками сделал? Сап.

[6] Сей источник весьма не нов. Сап.

[7] Satur venter non studet libenter. Сап.

[8] Не всегда полезно. Сап.

[9] Надо поименовать, какие; в противном случае, можно подумать, что все сие одно хвастовство. Сап.

[10] При нынешней распущенности, весьма нелишние. Сап.

В девятых, обуздал дух своеволия, а поборников устности и гласности разослал по городам [1].

В десятых, обуздал лжеучения. Узнав, что в одном городе существует вредная секта нигилистов, собрал последователей оной и предложил им оставить свои заблуждения. Что ими и было в точности выполнено [2].

В одиннадцатых, обуздал неплательщиков, организовав строгое и пространное наблюдение, дабы ни один обыватель не смел ничего ни продать, ни подарить, ни иным образом отчуждить, не испросив предварительно разрешения ближайшего начальства [3].

В двенадцатых, обуздал невежество, назначив краткие сроки для приобретения полезных знаний [4].

В тринадцатых, обуздал безнравственность.

В четырнадцатых, вообще обуздал обывателей.

Конечно, в этом кратком перечне не поименовано и сотой доли тех действий, которые были предприняты Младо-Сморчковским первым в видах всеобщего удовольствия, но, кажется, и этого достаточно, чтобы показать, что время его не проходило в праздности. Не надобно забывать, что, кроме того, он был ежедневно обязан:

1) по утрам — делать выговоры и замечания подчиненным, которые, без таких напоминаний, могли совсем опустить руки;

2) по вечерам — производить прогулки и являться на общественных гуляньях, дабы личным примером поощрить обывателей к содружеству и невоспрещаемому законами препровождению времени.

Так что, по собственному его выражению, он целые дни кипел, как в котле.

Таковы были общие черты деятельности Младо-Сморчковского первого. Но было еще одно особливое действие, которое нелишне будет изложить здесь с большею против других подробностию.

Обыватели некоторой местности издавна довольно славились тем, что не платили лежащих на них повинностей. Вследствие сего, Младо-Сморчковский первый неоднократно ходил против бунтовщиков походом [5].

При помощи непоколебимой твердости духа, споспешествуемой продажей скота и пожитков, недоимка была столь быстро пополнена, что, повидимому, не оставалось ничего больше желать. Как вдруг, до сведения Младо-Сморчковского первого дошло, что обыватели означенной местности, вследствие якобы крайнего разорения от беспрестанных продаж, оставили земледелие и начали заниматься ремеслами,

[1] Намерение доброе, но успех сомнительный. Разрушительность сих двух стихий столь велика и, так сказать, в'едчива, что для действия против нее едва ли достаточно мер строгости и скорости, которыми располагал автор. В тех иных городах, куда автор рассылал поборников устности и гласности, разве они были лишены возможности продолжать свое бесстыдство? Нет, тут надо придумать иную меру, какую еще не знаю, но, казалось, было бы не весьма дурным, если вообще было признано относительно лиц сей категории, что города и селения в самом принципе для них не существуют. Если это будет принято, тогда невольно их будут водворять среди степей, вдали от человеческих жилищ. Впрочем, это только одно предположение. Сап.

[2] Не для вида ли только? Сап.

[3] Мысль смелая, но едва ли исполнимая, ибо подобная мера может иметь последствием контрабанду в весьма обширных размерах. Сап.

[4] Так; но были ли сии знания приобретены? Сап.

[5] Явное и непростительное смешение всех атрибутов власти. Министры никогда не «ходят походом». На это есть губернаторы и исправники; министры же сидят дома, принимают доклады и по временам ездят в гости. Где же пресловутое знакомство Младо-Сморчковского первого с формами и обрядами делопроизводства, знакомство, столь нескромно выставляемое им на вид? Сап.

вовсе не свойственными обывательскому быту. Удостоверившись в справедливости этого слуха, и приняв во внимание: а) что Россия есть государство, по преимуществу, возделывающее землю; б) что с упадком земледелия, земли постепенно грубеют и делаются неспособными к произрастанию чего-либо иного, кроме сорных трав; и в) что с тем вместе приходят в упадок: народное продовольствие, народное здравие, народное богатство и самая народная нравственность, — Младо-Сморчковский первый постановил: восстановить земледелие в упомянутой выше местности в его прежнем величии, хотя бы даже в сих видах потребовалось употребить меры строгости.

Прибыв в селение с достаточною командой [1], он, дабы не обескуражить обывателей сразу, предварительно предложил им вопрос: почему они оставили свойственное им занятие? И получив в ответ, что оставили потому, что, за распродажею принадлежащего им скота, стало им нечем навозить землю, нашел такой ответ нерезонным [2]. Тогда произошел следующий замечательный разговор:

— Ну, а если я прикажу вам сегодня же, сейчас же, сию минуту вспахать и заборонить принадлежащие вам земельные участки? — спросил Младо-Сморчковский первый, прилично возвысивши голос.

— Воля твоего благородия, а мы не можем!

— Точно не можете?

— Так точно, ваше благородие!

— Жаль-с. Очень жаль-с. Окольные люди! Исполняйте ваши обязанности!

Начали исполнять. Со стесненным сердцем смотрел Младо-Сморчковский первый на сие зрелище, но делать было нечего, потому что надлежало пресечь зло сразу и в самом корне. И действительно, через полчаса было уже доложено, что обыватели, запрягши лошадей в сохи, выехали в поле [3].

Но этим дело не кончилось. Как только выехал Младо-Сморчковский первый в обратный путь, так тотчас же принялись обыватели за прежнее своеволие. Надлежало вновь об'являть поход и новыми мерами строгости вразумлять сопротивляющихся. Так продолжалось до трех раз, пока, наконец, поля не были окончательно вспаханы, заборонованы и засеяны, под надзором десятских и сотских. И таким образом было торжественно восстановлено нарушенное ослушниками земледелие [4].

Такая неусыпная деятельность обратила общее внимание на Младо-Сморчковского первого. Много было у него врагов и завистников, но всех он преодолел, ибо дела его громко говорили сами за себя. Обремененный почестями и знаками общественного доверия, он жил до глубокой старости, успев, в течение этого времени, вступить в законный брак с княжною Великосветскою, и прижив от нее двенадцать дочерей и ни одного сына [5]. Каждой из них он дал в приданое по двести тысяч, что показывает, что капитал у него был немаловажный.

[1] Опять-таки, не министрово это дело. Сап.

[2] Ответ можно назвать строптивым, но нерезонности в нем нет. Сап.

[3] А выше было сказано, что весь скот распродан. Откуда же вдруг взялись лошади? Сап.

[4] О сей истории не знаю, что и сказать, по той причине, что результатов не показано. Какую пользу принесло земледелие, лишенное удобрения и произведенное с помощью лошадей неизвестного происхождения? Кажется, что польза сомнительна. Не лучше ли было бы, землю отобрав, отдать ее опытным и благонамеренным помещикам, а нерадивых определить к ним в качестве работников? Предлагаю это разрешение вопроса вниманию автора. Сап.

[5] Не рано ли о сем помышлять? Сап.

В «Российской родословной книге», составленной кн. Петром Долгоруковым, значится:

Младо-Сморчковский, Григорий Иванович, был министром в двух государствах; женат на княжне Евдокии Федоровне Великосветской. У них:

1) Евдокия Григорьевна — в замужестве за камер-юнкером Монсом.

2) Анна Григорьевна — в замужестве за кавалером индустрии [1] Сан-Фуа-ни-Луа.

3) Прасковья Григорьевна — в замужестве за герцогом курляндским Бироном.

4) Наталья Григорьевна — в замужестве за графом Кириллою Разумовским.

5) Евпраксия Григорьевна — замужем за бывшим польским королем Понятовским.

6) Екатерина Григорьевна — в замужестве за светлейшим князем Потемкиным-Таврическим.

7) Любовь Григорьевна — в замужестве за графом Дмитриевым-Мамоновым.

8) Юлия Григорьевна — в замужестве за свирепым временщиком графом Аракчеевым; судилась за жестокое обращение с крепостными людьми.

9) Мария Григорьевна — вышла по любви за акцизного офицера, но, несмотря на скромную долю, была весьма счастлива и имела множество детей.

10) Ольга Григорьевна — в замужестве за блестящим французским посланником, герцогом Морни.

11) Надежда Григорьевна — совратилась в католицизм, отравив сердца родителей. Имела впоследствии огромное влияние на испанскую королеву Изабеллу, под именем сестры Патросинии. Погубив Изабеллу, бежала из Мадрида с уланом и была поймана в Баль-Мабиле.

и 12) Клавдия Григорьевна — в девицах; жила процентами с своего капитала.

В 18** году, Младо-Сморчковский первый скончался, оплаканный многочисленным потомством, знакомыми и подчиненными. Когда тело его, заключенное в богато убранный гроб, было выносимо из дома, то многие из директоров департаментов плакали. Вскоре за ним, не могши перенести разлуку, последовала в могилу и любезная супруга его.

Мир праху твоему, добрый служака!

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ НА СИЕ СОЧИНЕНИЕ

Сочинение сие замечательно тем, что вносит в административную практику весьма предосудительный прецедент. А именно: позволяет думать, что, будучи предварительно разбойником, можно современем сделаться администратором. Неслыханное это нововведение тем опаснее, что самое сочинение написано слогом правильным и заманчивым, а следовательно может найти довольное количество легкомысленных последователей и прозелитов.

Это первое. Но можно сказать еще нечто, не вполне похвальное и о полете фантазии авторской.

[1] Не слишком же завидную партию сделала сия воображаемая Анна Григорьевна. Сап.

Полет фантазии, конечно, служит украшением для всякого словесного упражнения, и пределы ему в этом случае указать довольно трудно. Чем больше реторических украшений, тем больше неожиданностей, а чем больше неожиданностей, тем сильнее возбуждается удовольствие. Это бесспорно. Но дело не в границах полета фантазии, а в его характере. Если характер полета возвышенный, то пределы ему даже полагать было бы безрассудно. Так, например, известный наш ветеран и поэт, Ф. Н. Глинка, в своей поэме «Капля», бог знает чего не написал, но никто сему никогда не удивлялся, потому что полет автора имел характер возвышенный. Точно тоже и Державин.

Ступит на горы — горы трещат!
Станет на воды — воды кипят!

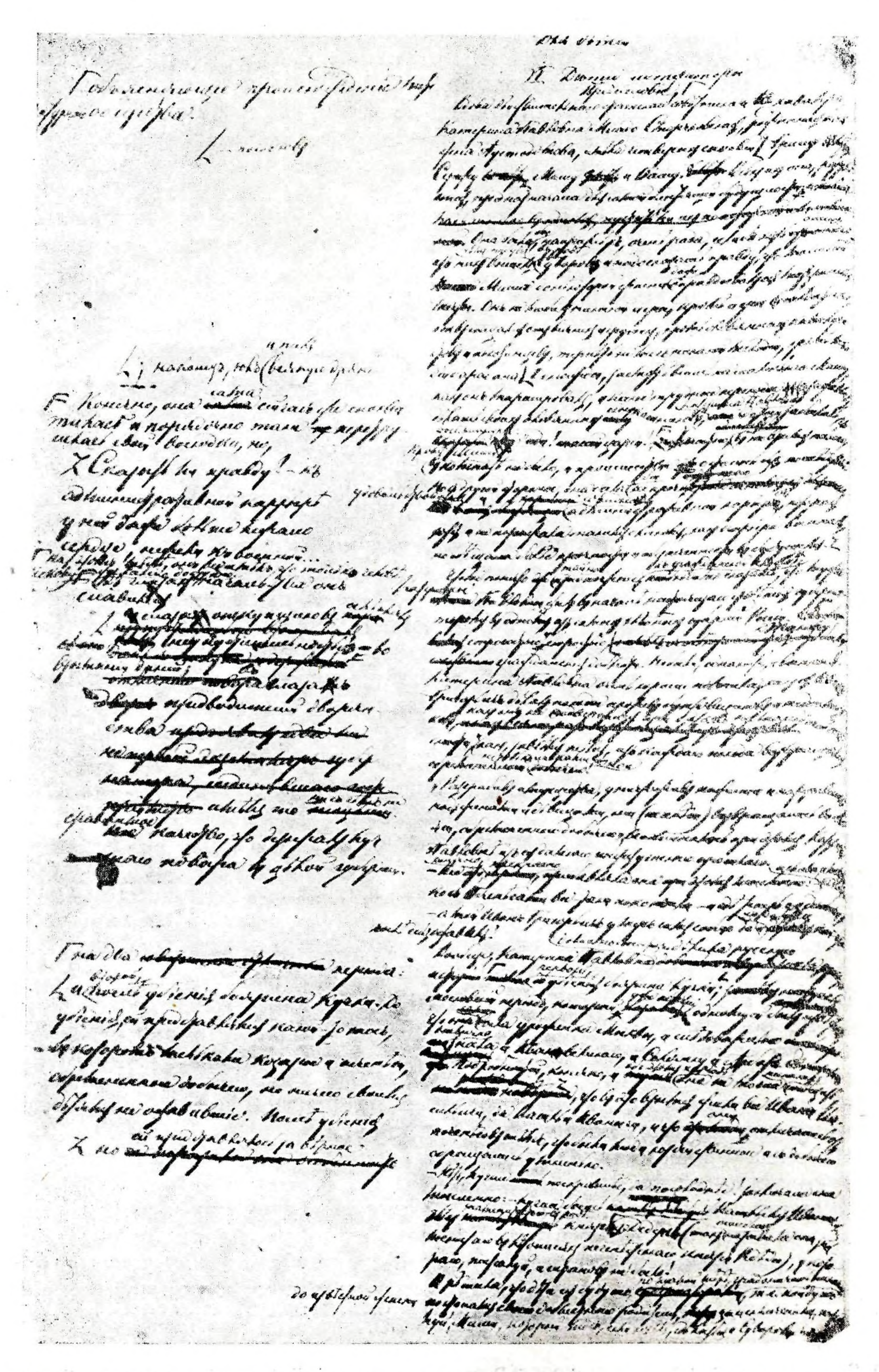
сказал он, и хотя в сем поступке воспеваемого им героя не видится никакого вероятия, тем не менее полет фантазии все-таки прекрасен, ибо возвышен. Совсем иное дело, если авторский полет имеет в предмете действия обыкновенные, так сказать средние. В этом случае, оный хотя и не неуместен, но должен до некоторой степени подчиниться правилам, предписываемым правдоподобием.

В сем отношении, разбираемое сочинение весьма подлежит критике. Автор, очевидно, хотел изумить читателей разнообразием выдумок, но, взявши для них основанием дела самые простые, и не удержавшись притом в границах правдоподобия, весьма своей затее повредил. Не говорю уже о том, что должности разбойника и администратора не токмо не однородны, но даже и по внешнему своему выражению весьма различны; не говорю и о других невероятных выдумках, как, например, о каком-то «не очень большом государстве» и проч. Все это само говорит за себя. Но обращаю внимание автора на список дочерей, который он привел в конце своего сочинения. Независимо от того, что возможность иметь двенадцать дочерей (почему не сыновей? из них, по крайней мере, могли бы выйти полезные слуги!) дана не всякому; но, предположив даже, что это подлинно так было, спрашивается: каких супругов автор определил к своим дочерям? Вопервых, некоторых таких, о которых достоверно известно, что они совсем в браке не состояли, и, вовторых, таких, которые хотя и состояли в браке, но с девицами других фамилий, о чем, конечно, и «Российская родословная книга» князя Долгорукого не умалчивает. К чему же может привести столь грубый обман? Не к тому ли естественному последствию, что читатель, наскучив беспрерывным несогласием написанного с тем, что ему достоверно известно, и все прочее причтет к такому же обману, не воспользовавшись даже теми чертами, которые вполне несомненны и истинны.

Пушкин сказал:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

Это так; но нужно прежде всего разрешить себе: когда обман возвышает? А вот когда: тогда, когда его нельзя обличить, или, по крайней мере, когда этому обличению полагают пределы некоторые мероприятия и распоряжения. При этом условии, обман не только в совершенстве заменяет истину, но даже принимает ее название и для отличия от истины настоящей (для всех очевидной и потому **низкой**) называется истиной **высокою**. Но можно ли сказать что-либо подобное о тех вымыслах, которыми наполнено разбираемое сочинение? Позволительно ли, например, допустить, чтобы кого-нибудь возвысил или утешил, или возбудил в ком-нибудь жажду подвигов такой обман,



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «ИСПОРЧЕННЫЕ ДЕТИ» («ДЕТИ-ЛИТЕРАТОРЫ»)

Из архива М. М. Стасюлевича, хранящегося в Институте Новой Русской Литературы.

как причисление Младо-Сморчковского первого себя в родню герцогу Морни? Нет, допустить этого ни под каким видом нельзя, ибо брак герцога Морни у всех на памяти, и следовательно рассчитанная на сей случай спекуляция есть предприятие, не весьма надежное.

В заключение, рекомендую автору обратить особливое внимание на те примечания, писанные на полях его сочинения, в которых порицается непочтительность его к родителям. Знаю, что в новейших руководствах поименовывается некоторый авторский прием, называемый об'ективностью, и что молодой автор может, пользуясь сим, сделать изворот, и сказать, что он в этом случае был об'ективен и покорялся духу времени. Но не мешало бы, чтобы на сей раз самая об'ективность явилась более суб'ективною, то есть согласовалась с теми правилами, которые внушались автору любезною его родительницею.

Сапиентов.

II. ДОБРЫЙ СЛУЖАКА

(Сочинение 12-летнего Сережи Младо-Сморчковского)

Не помню, когда я родился; знаю только, что в это время отечество было в опасности. Папаша вздыхал, мамаша плакала и говорила: «Вот попомните мое слово, что эти господа (она разумела здесь: Новосильцева, Строгонова, Чарторыйского и Сперанского [1], то есть известный в то время Comité du salut public) сведут Россию в бездну погибели!» И действительно, скоро сделалось известным, что над папашей назначена строжайшая сенаторская ревизия.

Трудно передать здесь все бедствия, которые испытали по этому случаю мои почтеннейшие родители; довольно будет, если я скажу, что папаша должен был уделить значительную часть из собранной прежде добычи, чтоб удовлетворить духу времени. А дух был, поистине, ужаснейший. Все требовали конституций, все хвалились мятежными нравами, все говорили о каких-то правах, и никто не мог достоверно об'яснить, что именно означают сии новые для нас выражения. Это был модный разговор, за который в то время не только не наказывали, но даже награждали хорошими и доходными местами. Одним словом, все ходили ощупью, ища конституций и не находя их.

Я знал, например, одного полковника, который об этом предмете знал не больше других, но получил генеральский чин и прекрасное место по комиссариатской части за то только, что в одном рапорте ввернул [2] следующую фразу: «обуреваемый духом свободы, вверенный мне батальйон жаждет сразиться с врагами оной». По этому одному примеру можно судить и о прочем.

Наконец, однако, здравая политика восторжествовала. Папашу не только оставили на прежнем месте, но еще похвалили, а к либералу-полковнику (которого перед тем, за мятежный дух, произвели в генералы) пришел от графа Аракчеева запрос: приносит ли он чистосердечное раскаяние [3]? Разумеется, он поспешил в трогательных выражениях ответить, что вперед не будет, и дело было покончено только тем, что его несколько раз обошли чином. Все радовались и лико-

[1] Сей один был всему злу корень; он опутал своими сетями прочих невинных. Сап.

[2] Тривиально. Сап.

[3] Граф Аракчеев никогда, никого и ни о чем не спрашивал, а прямо воздавал кому что надлежит. Сап.

вали (а во главе всех и преступный полковник), как бы празднуя победу над внутренним врагом [1].

Этот возврат к началам здравой политики чудесным образом совпал с вступлением моим в зрелый возраст.

Еще будучи ребенком, я высказывал довольно замечательные наклонности. Я любил следить за направлением умов, охотно, под видом игры, прислушивался к разговорам в девичьей и на кухне, а так как это занятие требует весьма прилежного выведывания, то можно сказать смело, что времяпровождение мое было самое разнообразное. Решившись что-нибудь вызнать, я обыкновенно принимал вид весьма простосердечный и невинный, а нередко даже представлял из себя человека с возвышенными чувствами. Вскоре, я так хорошо успел в этом искусстве, что не только посторонние, но даже иногда я сам не мог отличить, когда я лгу, и когда говорю правду [2]. Этим путем я приобретал множество самых разнообразных сведений, и когда примечал, что можно сделать из них небесполезное употребление, то охотно делился своими наблюдениями с старшими.

К такому раскрытию истины меня побуждало еще и то, что за всякую открытую мною истину мне давали или сладкий пирожок, или конфекту, а когда я однажды открыл в девичьей весьма важный заговор [3], то мне сделали даже новую курточку. Впоследствии, эта откровенность моя сделалась столь известною, что меня нигде иначе не называли, как откровенным ребенком, а многие начали даже опасаться моего слишком открытого нрава.

И вот однажды (когда я уже пришел в зрелый возраст), к мамаше приехал генерал, весь вышитый золотом, и потребовал секретной аудиенции. Разумеется, как только они скрылись в соседней комнате, я сейчас же приложил ухо к дверной скважине, и услышал следующий разговор [4].

— Сударыня! — говорил вышитый золотом генерал: — до сведения моего дошло, что у вас есть сын замечательной любознательности и удивительно откровенного характера?

— Да, генерал, — отвечала мамаша: — могу сказать, что бог именно благословил меня в этом ребенке!

— Если все, что про него рассказывают, справедливо, то это будет совершенная находка! Можете себе вообразить, как обрадуется наш князь!

— Не смею хвастаться, но думаю, что это действительно замечательный юноша. Например, я вполне уверена, что он даже в настоящую минуту подслушивает нас!

— Не может быть!

— Попробуйте убедиться! Но предупреждаю вас, генерал, что вряд ли вы уличите его, потому что он мастерски умеет хоронить концы в воду!

Послышалось осторожное движение стульями и потом шаги. Я, разумеется, тотчас же отпрянул, и когда дверь внезапно отворилась, то

[1] Сии враги, кажется слишком большую роль в семействе Младо-Сморчковских играют. Сап.

[2] Не знаю, что и сказать о сей способности. Посмотрим, какое ей будет дано употребление. Сап.

[3] *В чем состоял сей заговор? Желаю знать. Сап.*

[4] Зачем? Позволительно и даже полезно прислушиваться в речам преступным, но нельзя было предположить, чтобы таковой характер имел разговор любезнейшей родительницы автора с почтенным генералом. В сем случае, подслушивание составляет уже дурную привычку. Сап.

я уже с беспечным видом прохаживался по зале, насвистывая какую-то песенку. Генерал улыбнулся, покачал головой и пробормотал:

— Изумительно!!

— Я вижу, сударыня, — продолжал он к сияющей счастьем мамаше: — что дальше скрываться от этого юноши было бы бесполезно. — И так, приступим к делу прямо. В непродолжительном времени, в каждой из наших провинций предполагается поместить по одному откровенному ребенку... Друг мой! Отвечай мне искренно, согласен ли ты принять на себя звание откровенного ребенка в П*?

— Согласен, отвечал я: — но с одним условием.

— С каким же?

— Чтобы откровенность моя была сокровенною.

— Ты угадал мою мысль! И так, по рукам! Поезжай с богом! Вот тебе на дорогу деньги; посылай сейчас же за лошадьми, и скачи! Ибо враги не дремлют!

Сказано—сделано. Я обнял рыдающую мать, перецаловал братьев и сестер, и поскакал.

Таким образом, было положено начало тем блестящим успехам, которые ожидали меня в будущем.

Еще дорогой я успел нечто наблюсти. Так, например, на одной станции, смотритель открыто выражал недовольство правительством за дожди, которые в то время размыли дорогу, и делали переезды весьма трудными. На другой станции, встретился мне вольнодумный ямщик, певший романс профессора Мерзлякова:

Я лиру томно строю
Петь скорбь, об'явшу дух,
Приди грустить со мною,
Луна, печальных друг! [1]

Разумеется, все эти наблюдения были записаны мною на особой бумажке.

Приехавши в П**, я немедленно приступил к делу, то-есть начал стороной выведывать, в каких отношениях находится губернский предводитель к губернатору, не разжигают ли акцизные чиновники народных страстей, какого рода конституции изготовляют чиновники контрольные и проч. и проч. Полученные результаты были весьма для меня неожиданны. Оказалось, что губернатор и губернский предводитель дворянства живут душа в душу и угощают друг друга обедами, что акцизные чиновники, не помышляя о пропаганде либеральных идей, мирно пользуются присвоенными им окладами, контрольные же чиновники, под словом «конституция», разумеют первые четыре правила арифметики.

Вообще, эта губерния весьма необыкновенная. Как только в'езжаешь в границы ее, как уже чувствуешь, что пахнет с'естными припасами, и слышишь кругом раздающееся чавканье. Все ест, или отдыхает от еды, или вновь об еде помышляет. Всякое сословие лакомится свойственными ему лакомствами. Рогатый скот изобильно откармливается бардою и дурандою; мужики (в урожайные годы) едят хлеб и по праздникам саломату с маслом; купцы и мещане пристрастны к пирогам; дворяне насыщаются говядиной, телятиной и поросятами, пьют квас, водку и наливки; духовные лица находят утешение в рыбе; чиновники ко всему изложенному выше прибавляют трюфли и тон-

[1] Романсы профессора Мерзлякова приятны и располагают к чувствительности, вольнодумства в них нет. Впрочем, приведенный выше романс принадлежит совсем не Мерзлякову, а Капнисту. Сап.

кие французские вина. Результаты такого социального устройства угадать нетрудно; это спертость в воздухе, осовелость в обывательских глазах и не совсем большая прочность семейных уз.

Это последнее обстоятельство было очень важно, ибо воспользовавшись им умненько, я мог вывести заключение «о непризнании брачного союза». Такие находки делаются не каждый день. Я начал вникать и исследовать.

Анализируя день обывателя час за часом, я открыл, что он распределяется следующим образом. В восемь часов пробуждение, и затем, до девяти, чай с булками, маслом и вчерашним жарким; нередко, однакож не каждодневно — умывание. От девяти до одиннадцати, домашние исправительные наказания, прогулка по комнатам, посвистывание, хлопанье себя по бедрам и так называемая еда походя с прикладыванием к графинчику. В одиннадцать часов, настоящий завтрак с водкой, причем с'едается какое-нибудь мелкое животное или большая птица. От двенадцати до трех визиты, или лучше сказать, непрерывное закусывание в разных домах. В три — обед с водкою и наливкой, а у чиновников и с французским вином; причем с'едается несколько больших и малых животных и в соразмерности рыб и птиц. В четыре часа — осовение, продолжающееся до шести и прерываемое употреблением впросонках квасу. В шесть — тоска, излечиваемая рюмкой водки. От семи до осьми, чай с булками и давишним жарким. В восемь — игра в карты, а так как, в той же комнате, на особом столе, всегда находится приготовленная закуска, то пользование и ею. В одиннадцать — ужин, и затем сон.

Но где и как проводит ночь обыватель?

Исследуя этот вопрос, я удостоверился, что он спит не дома, а там, где застанет его прихотливый вкус. Я заводил с обывателями разговоры, старался вызнать, случайно ли вкоренилась между ними столь неряшливая привычка, и не видится ли тут влияния разрушительных противосемейственных доктрин?.. Но оказалось, что о семейном союзе они рассуждают не только здраво, но по временам даже чувствительно!! Что же я узнал? Что — все эти ихние поступки не от чего другого происходят, как от простосердечной небрежности в различении своих логовищ от чужих! Что всему причина не философия, а еда и большое употребление горячих напитков [1].

Такое открытие не могло не огорчить меня [2]. Я ждал весьма много неожиданностей, а встретил мирный сон обывателей, сопровождаемый постепенным питанием! Я ждал сокровенных мыслей и недозволенных начальством мечтаний, а увидел, что самые глаза сих людей протестуют против всякой мысли о каких-либо мечтаниях [3].

Немного найдется таких, кому известно, как трудны, а подчас и несносны занятия, сопряженные с званием Откровенного Ребенка. Ходить дни и ночи в слякоти, под дождем и снегом; не без опасности прислушиваться у дверей и скважин; заводить знакомство с кучерами, кухарками и прочей прислугой; стараться разгадать смысл вся-

[1] Принимая во внимание юный возраст автора, казалось бы, что исследования сего рода для него преждевременны. Сап.

[2] Не огорчить, а утешить оно должно было, потому что в том много есть утешительного, если люди хотя и довольно дурно поступают, но не по злонамеренности, а от душевной простоты. Сап.

[3] Если автор надеялся за свои открытия получить награду, то огорчение его понятно. Но, в таком случае, он должен был перепроситься в другую губернию, где мечтателей в изобилии. Во всяком разе, желать насаждения мечтательности в таких губерниях и уездах, где ее нет, едва ли согласно с правилами той здравой политики, о которой упоминается в начале сочинения. Сап.

кого шороха, уловить всякое движение, остановить на лету всякую мысль, осуществить всякое слово — никто, конечно, не скажет, чтобы такая задача была по силам каждому! Но что, бесспорно, всего труднее — это прикидываться либералом. Если даже в чужих устах мятежное слово уже кажется достойным примечания, то в устах своих собственных оно просто на просто изумляет и приводит в страх. Слышишь себя проповедующим разрушительные идеи, и не веришь ушам своим. В ту минуту, когда бьешь себя в грудь, и с налитыми кровью глазами (необходимая принадлежность всякой разрушительности) доказываешь пользу революций, — в эту минуту, говорю я, готов сам на себя написать извещение, сам готов понести заслуженное за дерзость наказание! Да; не дай бог даже врагу испытывать подобные, единственные в своем роде минуты! [1].

Вообще, о либеральном яде скажу, что он до крайности в'едчив. Иногда начинаешь защищать его довольно притворно, но, постепенно, разгораясь, вдруг входишь в такой неожиданный восторг, что мысли, не признавая над собой никакой власти, начинают как бы кружиться и рассыпаться по всей голове. Не знаешь, где ложь и где правда; хочешь замолчать — и все говоришь; хочешь сказать такое-то слово — а выходит совсем другое. И если такая практика случается часто, и притом не обладаешь достаточно твердыми правилами, то не успеешь и оглянуться, как впадешь в нигилизм. Примеры таковых падений бывали, и довольно нередкие. Я знал одного полковника, который долгое время притворно бил себя в грудь, а кончил тем, что прекратил веру в бессмертие души. Другой подобный же случай был с одним генералом: этот первоначально с весьма похвальной целью начал прочитывать либеральные сочинения, а, под конец, навострился так, что сам стал довольно порядочно (по ихнему) доказывать пользу вредных наук.

Но я не отчаивался и выжидал. В это время дошло до моего сведения, что в городе П** образовалась довольно опасная секта, носившая странное название «оглашенных недорослей». Устроив наскоро обсервационный пункт, я открыл, что кодекс этой секты состоял из нижеследующих двух пунктов: 1) считать себя от наук независимыми, и убеждений не иметь, и 2) стремиться и достигать. В состав секты принимались преимущественно молодые люди с бесстыжим характером, которые собирались по ночам и предавались необузданной пляске, прерывая ее криком: «фить!»

Я был поставлен в самое фальшивое положение.

Как смотреть на нежелание учиться? Полезно оно или вредно? — на этот счет я никаких указаний не имел. Я знал, конечно, что науки разделяются на полезные и вредные [2], но знал также, что науки, во всяком случае, существуют, и что часть их не без пользы преподается даже в казенных заведениях. И вдруг — ни одной! Несколько раз я призывал господ сектаторов к себе, пробовал усовещевать и увещевать, но всегда без пользы. Бесстыжие молодые люди со своей стороны небезосновательно [3] возражали, что, если одну науку признать, то необходимо будет признать и прочие.

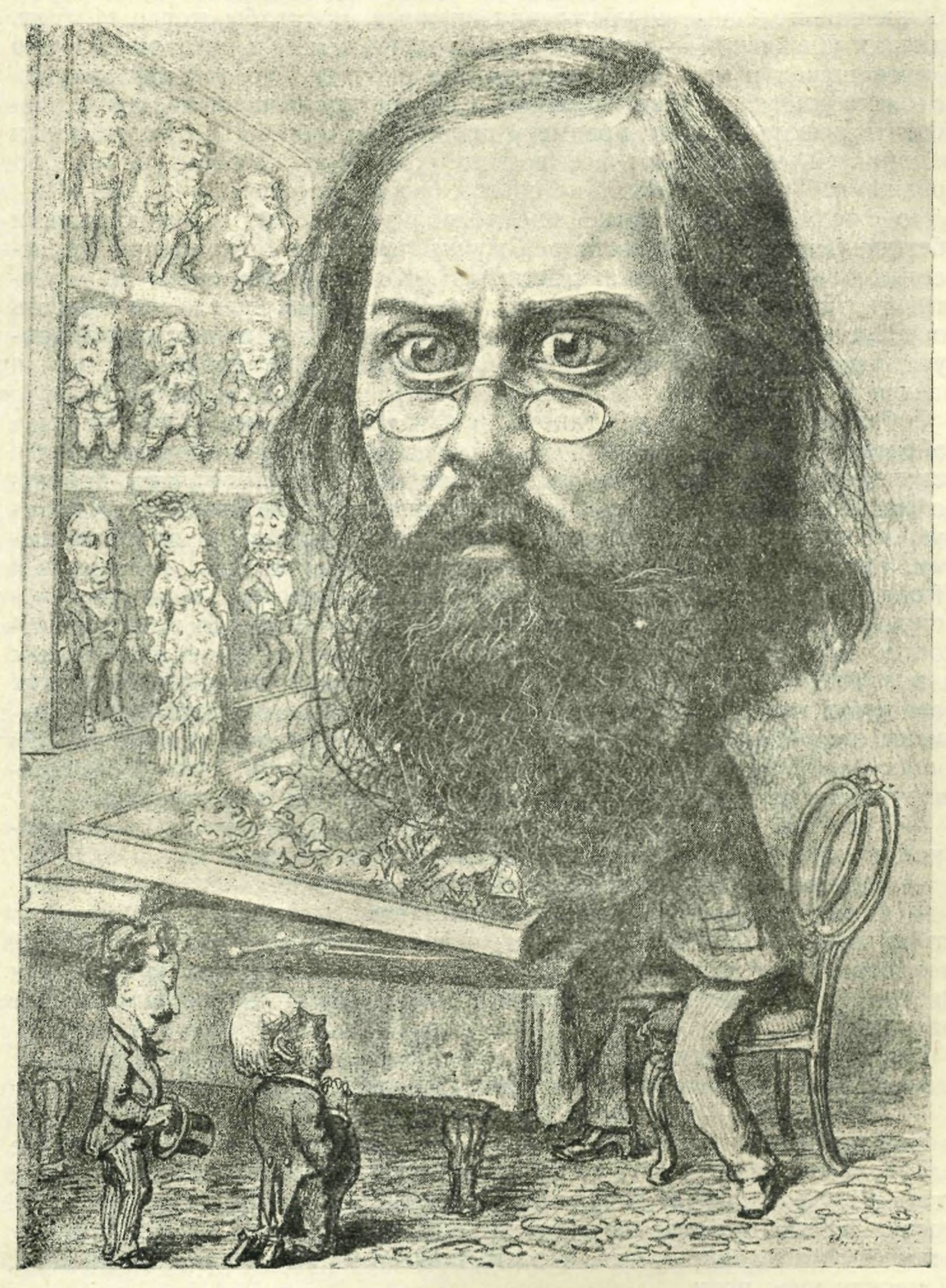
[1] Весьма похвально. Сап.

[2] Желательно было бы, чтобы автор подробнее указал основания такого деления наук. Сап.

[3] Никак нельзя этого сказать, ибо:

Науки юношей питают,
Надежду старцам подают.

Все дело состоит лишь в том, чтобы с расчетом определить способы питания, дабы молодое древо не могло пойти в сук. Сап.



Мое собранье насекомых
Открыто для моих знакомых
А. С. Пушкин.

КАРИКАТУРА А. И. ЛЕБЕДЕВА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ САЛТЫКОВА НАТУРАЛИСТОМ, НАКАЛЫВАЮЩИМ НА БУЛАВКИ КОЛЛЕКЦИЮ НАСЕКОМЫХ — ЧИНОВНИКОВ

Воспроизводится по изданию «Карикатурный альбом современных русских деятелей» изд. журнала «Стрекоза», 1877 г.

То же самое и относительно убеждений. Я знал, что существуют убеждения полезные и убеждения вредные, но чтобы могло не быть никаких убеждений — того не знал. Тем не менее, и по этому случаю я усовещевал и увещевал, но получил в ответ, что так как каждый человек свое убеждение непременно считает полезным, то, дабы прекратить всякие по сему предмету пререкания, обществом оглашенных недорослей определено: все вообще убеждения считать одинаково вредными. Что также было не совсем безосновательно.

Но ежели сомнение было еще дозволительно относительно наук и убеждений, то оно возрастало в мучительнейшей степени при раз'яснении слов: «стремиться и достигать». К чему стремиться? Чего достигать? Не заключается ли тут, например, покушения на целость государства? Чтобы вполне убедиться в этом, я решился лично присутствовать на одном из собраний, и с этой целью сбрил себе усы и оделся в трико (бальный ихний костюм).

Собрание открылось в полночь, и началось танцами («оглашенные» собрались во множестве, и притом обоего пола), сопровождавшимися некоторыми соблазнительными движениями, которые, однако, довольно мне понравились. Потом шло поклонение богине невежества, которую представляла весьма красивая женщина, стоявшая на возвышении. Она пела французские известные романсы: «à moi, l'pompon», «et j'frotte, j'frotte, et allez donc!» и другие, воспевая в них сладость освобождения от наук. Присутствующие подпевали, и придя в восторженное состояние, выражали свою радость зверскими криками. Однако, и это мне довольно понравилось, тем больше, что в промежутках разносили конфекты, фрукты, буттерброды и прохладительные напитки. Но вот запели третьи петухи, и сцена внезапно изменилась. На лицах изобразилась сосредоточенная кровожадность; руки были простерты вперед, как бы устремляясь нечто схватить и растерзать.

— Господа! Начинается игра в губернии! — прогремел голос президента собрания посреди воцарившегося молчания.

— «Стремиться и достигать!» вспомнилось мне.

— В настоящее время две губернии находятся в обнаженном состоянии, — продолжал президент, и назвал при этом одну губернию, в которой, при тщательном уходе, может произрастать виноград, и другую, в которой между прочими богатствами природы обитают раскольники [1].

Вся зала затрепетала.

— Чья очередь травить? — вновь возгласил президент.

— Моя! Моя! — раздалось со всех сторон.

Все ринулись к возвышению, на котором стоял президент, и все вдруг заговорили. Смятение было неописанное; слышались мольбы, угрозы, упреки; одни скрежетали зубами, другие подставляли ноги, третьи падали и вновь поднимались, и вновь падали... Постороннему человеку могло показаться, что это даже и не игра, а серьезное дело. Я насилу унес ноги.

Подозрения мои насчет посягательств на целость государства оправдались. Самовольство господ «оглашенных» в распоряжении частями империи было столь явно, что я в первый раз в жизни встревожился. Они целыми губерниями располагали с такой же непринужденностью, с какою я располагал теми из подаренных мне игрушек, которые, вследствие долговременных детских истязаний (некоторые подвергаются даже неразумному процессу сосания), делаются окон-

[1] Раскольников нельзя причислять к богатствам природы. Сап.

чательно никуда негодными. Тем не менее, несмотря на очевидную опасность, я счел нужным предварительно прибегнуть к увещанию.

— Господа! — говорил я им: — вы не признаете наук — я охотно готов смотреть на это сквозь пальцы! Вы не видите пользы в убеждениях, и с этим я, пожалуй, могу помириться! Но я не могу допустить, чтобы вы играли нашими прекрасными губерниями, как я играю моими старыми игрушками!

С этими словами я удалился.

Как видится, я делал весьма важную уступку; быть может, я пошел бы и дальше, то-есть оставил бы дело без огласки, еслиб благородные юноши остепенились. Но они не унимались: тайные сборища становились все более и более шумными, а крик «фить» раздавался с такой нескромностью, что многие обыватели встревожились. Тут же, как на грех, в «Московских Ведомостях» появилась статья с предостерегающим характером.

Далее я молчать не мог [1].

Но каково было мое удивление, когда я через несколько времени получил ответ, что замеченная мною «игра в губернии» известна весьма давно, и, заменяя игру в дураки, служит для благородных юношей завидным препровождением времени. Что же касается до слова «фить!», то и оно может заставить трепетать только злых и коварных, добрых же и благонамеренных должно, напротив того, укреплять в их простосердечии.

Признаюсь!!

Но делать было нечего; хоть и удивителен показался мне этот ответ, но надлежало переменить тактику. И вот тут-то я выказал те чудеса изобретательности, которым впоследствии удивлялся сам Наполеон III [2].

Я понял, что предметом моей деятельности должны быть «злые и коварные», и решился разом изловить их всех.

В этих видах я распорядился следующим образом:

Вопервых, увеличил число моих добрых товарищей в такой мере, что вскоре на каждого обывателя считалось по одному доброму товарищу [3].

Вовторых, для большей удобности, снабдил моих сподвижников кастетами и сортидебалями, и каждому из них вручил по отмычке, с помощью которой можно было отпереть всякий замок.

Втретьих, приобрел несколько сподвижников женского пола, которые своими приятными манерами могли вызывать дерзкий образ мыслей.

Сделавши все это, я крикнул: «загоняй!» и сел себе спокойно дожидаться обильного улова.

Но подобно рыбаку, раскидывающему на большое пространство дорого стоящий рыболовный снаряд и уловляющему с его помощью лишь пискаря, я должен был обмануться в моих ожиданиях. Скажу более: я не уловил и пискаря.

[1] Автор вообще не обладает искусством полагать различие между прошедшим, настоящим и даже будущим. В то время, о котором идет речь, «Московские Ведомости» статей с предостерегающим характером не писали, да и ныне не пишут, а имеют писать таковые, когда поступят под редакцию М. Н. Каткова. Сап.

[2] Едва успели справиться с первым злодеем, как уже автор сулит еще двоих! Сродно ли это патриотизму благородного дитяти? Сап.

[3] В видах исполнения обязанностей полезно; но не произойдет ли вреда для земледелия, промышленности и ремесл, если половина граждан будет заниматься тайным наблюдением за другой половиной? Сап.

Как я ни напрягал мой слух, ничего не долетало до него, кроме чавканья. Казалось, все сговорилось, чтобы испортить мою карьеру. Тщетно мои сподвижники мужского пола действовали отмычками (кастеты были так дурно сделаны, что тотчас же оказались негодными), а сподвижники женского пола расточали ласки: дело всегда кончалось тем, что первых напаивали пьяными, а вторых увозили к Излеру [1].

Возникли даже сомнения в моем искусстве и опытности. «Не может быть — писали мне — чтобы не было ни коварства, ни злоумышлений; злодеи везде во множестве, но вы или не можете, или не хотите накрыть их»...

Что было мне делать?

Не раз обращал я взоры на предводителей дворянства, и постепенно разжигал их самолюбие, думая этим путем возбудить в них либеральные чувства, но постоянно встречал ответ, что самолюбивые предводители водятся только в губерниях нечерноземных!

Не меньше того занимали меня и гимназисты, которым я давал понять, что по нынешнему образованному времени, в некоторых государствах уже не родители детей секут, а наоборот [2], но они отвечали, что они бы и рады, но навряд ли родители до сего их допустят [3].

Других же элементов коварства не было.

Тогда я решился на отчаянное средство. В молодости моей [4], я читывал, что настоящие заговорщики собираются всегда по ночам, и что местами сборищ, по преимуществу, бывают или старинные замки, или оставленные развалины, или, наконец, леса. Там, собравшись на полянах или под каменными сводами мрачных подземелий, они злоумышляют при свете потаенного фонаря. Но так как у нас нет ни замков, ни развалин, то я посягнул направить шаги мои в лес.

Я не в силах изобразить чувство священного ужаса, овладевшего мной при виде сих столетних свидетелей стольких злодеяний! Сколько ужасных тайн поверено их безмолвию! Какую прекрасную карьеру мог бы сделать тот, кому удалось бы исторгнуть хоть часть этих тайн! Я шел бодро. Звезды блистали в вышине, как бы освещая [5] картину несчетных таинственностей, которых театром служил этот лес. Всеобщее ужасное безмолвие внезапно оглашалось то пронзительным свистом хищной птицы, то яростным ревом зверя или жалобным стоном раздираемой им жертвы. По временам, между деревьями, мелькали привидения. Кто знает? Может быть, это были неоплаканные души убитых здесь жертв? Или, быть может, какие-нибудь благодетельные духи, предостерегавшие запоздалого путника от грозившей ему опасности?..

Я шел и слезы струились из глаз моих. Я вспомнил мою мамашу и милых братьев, которые в эту самую минуту, вероятно, почивали сном невинности в своих маленьких, теплых кроватках [6]... Что я такое? говорил я себе: — какая ужасная судьба тяготеет надо мною? За что должен я выносить пронзительную сырость ночи, изнемогать под палящим зноем дня, освежаться лишь зефирами, выслушивать дикий рев зверей и, быть может, современем быть ими растерзанным? Ужели я должен пасть жертвою административной таинственности?

[1] Это еще кто такой? Сап.
[2] Вот как! Сие известие столь ново, что не мешает об нем сообщить мамаше автора. Сап.
[3] И я так думаю. Сап.
[4] Да и теперь не весьма древний старик. Сап.
[5] Не как бы освещая, а действительно освещая. Сап.
[6] Хорошо. Похвально. Сап.

Имею ли я чувствительную душу и сердце, способные трепетать? Да, я доказываю это ежедневно своим коротким поведением и покорностью, с которой исполняю приказания доброй родительницы. Сверх того, я не недоступен и красотам природы. Отчего же я делаюсь свиреп и кровожаден, как только вступаю на путь таинственности? Отчего душа моя делается недоступною для жалости и сердце никаких других зрелищ не просит, кроме зрелища последних содроганий [1]. Увы! Это тайна, которую не мог разгадать даже я, несмотря на то, что много лет служил по секретной части...

Я был одет поселянином и для большего сходства держал в руках лукошко, как бы собирая в него грибы [2]. Таким образом, никто ничего заподозреть не мог.

Я бодро шел и прислушивался. Сначала все было тихо и никаких признаков злоумышления не примечалось. Но, по мере того, как я углублялся в чащу, успех делался очевидным. Во мне заговорил внутренний голос, который всегда говорит, когда что-нибудь предвидит важное. И действительно, вскоре мой слух был поражен звуками голосов.

— Непременно надобно его уничтожить, — говорил неизвестный голос: — потому что, если мы и теперь его упустим по намеднишнему, он нас в раззор раззорит!

— Нужно теперь жеребий кинуть, кому стрелять! — отвечал другой, тоже неизвестный голос.

Я остановился, как вкопанный; потом, с быстротою кошки, влез на столетнюю сосну, и на вершине ее устроил обсервационный пункт. Вид, который открывался передо мною, был очарователен. Прямо расстилалась небольшая полянка, блистающая изумрудами и как бы сплошь покрытая перлами росы; направо и налево сплошной стеной дремали широковетвистые дубы, как бы охраняя полянку от нескромного взора; вдали вился смеющийся ручеек, отражая в своих прихотливых извивах мириады звезд. Я был умилен; я был готов простить. Не знаю, сколько времени я плакал, покуда, наконец, чувство долга взяло верх над чувствительностью. Я взглянул вперед и увидел двух заговорщиков, стоявших в глубоком безмолвии. Оба были одеты в крестьянских одеждах; один из них держал ружье на прицеле. Прошло томительные полчаса; я почти не дышал и с трепетом прислушивался к биению моего сердца. Вдруг послышался треск, сперва отдаленный, потом все ближе и ближе. Из леса вышел громаднейший медведь из породы стервятников, но это был, разумеется, не медведь, а знаменитый принц Шарман, обращенный в медведя злым волшебником. Узнав его, я замер...

— Стреляй! — раздалось во тьме ночной.

— Ни с места! — вскричал я, вне себя от ужаса.

Не помню, как я не слез, а скатился с дерева, и очутился около заговорщиков; не помню, как я перевязал злодеев и отвел их в часть [3]. Я был в таком энтузиазме, что сам не понимал, что делаю. Помню только, что принц плакал и обнимал меня (он вдруг из медведя сделался красивейшим принцем), называя своим спасителем.

На первом допросе, злодеи, конечно, ни в чем не сознавались; но по мере того, как их секли и кормили селедками, сделались весьма

[1] Жалкое смешение похвальных чувств с непохвальными! Необходимо устроить строгое самонаблюдение, дабы налицо остались одни похвальные. Сап.

[2] По ночному времени, едва ли хитрость сия может быть названа натуральною. Сап.

[3] Должно думать, нарочно для сего случая в лесу была выстроена? Сап.

откровенными. Тут я открыл столько разветвлений, что сердце мое навсегда окаменело для жалости. Тут я впервые и совершенно невольно произнес то самое слово «фить!», против которого я столько ратовал, и которое охотно повторяю и теперь в важнейших случаях

Это блистательное дело принесло мне сто тысяч рублей и утвердило мою репутацию на незыблемом основании [1]. Происшествие это как раз совпало с приготовлениями к перевороту 2-го декабря, который впоследствии совершен был во Франции искусною рукою Наполеона III. Потребовалась вдруг большая масса людей, умеющих владеть кастетами и сортидебалями. Я не задумался ни на минуту, и по первому вызову полетел во Францию, приняв фамилию мосье Мушара, так как не знал подлинно, понравится ли моя выходка доброй мамаше [2].

Ловкость и разнообразие, с которыми я применял кастет, были таковы, что изумили даже графа Морни. Само собою разумеется, что я получил весьма важное место при перевороте.

За это дело я получил пятьдесят тысяч франков из собственных рук... из чьих? — Чувствительное твое сердце, конечно, само подскажет тебе, добрый читатель!

Он улыбался, а я... я мог только плакать!

Я положил эти пятьдесят тысяч (все английским золотом, ибо Англия, желая окончательно унизить Францию, не мало способствовала перевороту 2-го декабря) хранить навсегда в шкатулке, подаренной мне... кем? — но, наверное, и это подскажет тебе твое сердце, добрый читатель! [3].

Приняв прежнюю фамилию Младо-Сморчковского, я возвратился в отечество.

В это время я впервые почувствовал, что и для меня наступило утомление, этот неизбежный спутник той изнурительной деятельности, которой я предавался в течение всей моей жизни. Я понял, что настало время, когда я могу следовать моим наклонностям лишь на свободе, то-есть не всегда и не во всяком случае, но лишь тогда, когда сам сюжет невольно увлечет меня за собой. Я предложил руку и сердце прелестной маркизе де-ла-Кассонад, и, получив за ней пятьсот тысяч в приданое, удалился от дел.

Ныне я живу в имении моем, в Пензенской губернии, Саранского уезда, который, во время известной крестьянской катастрофы, благодаря благосклонному содействию соседа моего, тайного советника Ж***, попал в число наименее оскорбленных относительно высшего размера крестьянских наделов [4]. В имении моем нет ни одного клочка земли, который не приносил бы сторицею, а единственная гора, изобилующая песком и глиною, отдана в надел. Сверх того: я владею золотыми приисками в Сибири и прелестнейшей дачей на южном берегу Крыма, которая, сверх удовольствий, ежегодно доставляет мне на пятьдесят тысяч рублей виноградного вина.

Детей своих я воспитываю в страхе божием.

[1] Все сие весьма неправдоподобно. И вымысел имеет свои пределы. Сап.

[2] Конечно, не могла понравиться, ибо даже подумать больно, что Младо-Сморчковский мог оставить отечество без разрешения. Сап.

[3] Стало быть, и процентов на них не получается? Сап.

[4] Столь все сие таинственно, что невозможно читать без размышлений. Но даже и при размышлении, нет никакой руководящей нити. Решительно, надо эту манеру оставить. Сап.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ НА СИЕ СОЧИНЕНИЕ

Мысли, руководящие сочинителем, весьма похвальны, слог гладок и местами увлекателен, знаки препинания расставлены верно... но и за всем тем впечатление, производимое на душу читателя, нельзя назвать ни полным, ни совершенно удовлетворительным.

Вопервых, выбор карьеры сделан весьма неудачно. Благородные юноши охотнее имеют дело с лаврами и миртами, нежели с кастетами и отмычками. Не отрицаю, сии последние орудия тоже могут быть в многих случаях полезными, но употребление их по назначению, обыкновенно, предоставляется людям с низкими свойствами души. Возьмем для сравнения хоть хлеб; никто, конечно, не скажет, что он бесполезен; однако приготовлением его занимаются хлебопеки, а не действительные статские советники. Сии последние не производят, но потребляют, а ежели, по временам, и производят, то не иное что, а токмо действия, приводящие душу в умиление, как, например, способствуют изданию законов, как сенатор Трощинский, или бряцают на лире, как Державин.

То же должно сказать и о подслушивании, составляющем основной элемент избранной автором карьеры. Оно необходимо, но не всегда безопасно, и потому лучше предоставить оное людям низкого звания.

Вовторых, неудача в выборе карьеры невольным образом увлекла автора к исследованию некоторых непристойностей, которые ему еще довольно рано знать. Трудно понять, откуда он мог почерпать столь обстоятельные сведения о сем предмете, но можно подозревать, что они составляют плод частого обхождения в лакейской и девичьей. Юность в сем отношении весьма бывает опрометчива. Гоняется за эфемерными удовольствиями, которые доставляет зрелище вольного обращения здоровых парней с краснощекими девицами, — и небрежет существенным, то-есть науками! Увлекается манящим видом цветущей поверхности — и не видит бездны!!

Втретьих, о приведенных в сочинении двух примерах заговоров не знаю что и заключить, но кажется, что это выдумка не весьма вероятная. Что такое эта «игра в губернии», заменившая, по словам автора, игру в дураки? И каким образом принц Шарман, превращенный злым волшебником в медведя, мог вдруг вновь обратиться в принца Шармана и обнимать спасшего его от смерти автора? Если автор имел некоторый чародейственный секрет, то он должен был оный изложить. Впрочем, едва ли могут даже существовать такие секреты, которые в состоянии были бы сделать из медведя что-либое другое, кроме дикого зверя. Вот почему, подобных вольностей лучше всего остерегаться.

И еще замечено: большое пристрастие к деньгам и слишком свободное ими распоряжение.

Сапиентов.

III. ДОБРЫЙ ПАТРИОТ.

(Сочинение 10-летнего Вани Младо-Сморчковского)

У одной старой слепенькой кротихи родился маленький кротик. И этот кротик был большой шалун, потому что очень часто выбегал из своей норы, чтобы порезвиться там, где ему казалось просторнее и светлее. И вот однажды, старая слепенькая кротиха возвращается раньше обыкновенного домой с ношею самых спелых орехов, которые она каждый день собирала про запас на зиму, и не застает в норе

маленького кротика. И вот, можете себе представить отчаяние бедной слепенькой матери, у которой только и была одна опора в старости! И бог знает, что она не передумала до той минуты, покуда не воротился маленький кротик на сей раз, однакож, благополучно.

— Но зачем же ты, друг мой, выбегаешь из нашей норы? — упрекнула его старая слепенькая кротиха.

— Да мне, маменька, здесь скучно! — отвечал неопытный маленький кротик.

— Но отчего же тебе, глупенький, скучно?

— Да тут у нас, маменька, и сыро, и тесно, и темно, а там, наверху, аленькие цветочки цветут, пестренькие птички поют, ветерочки теплые дуют и светит ясное солнышко!

— А-а-ах! Глупенький ты, глупенький! — молвила старая слепенькая кротиха, покачивая головой: — да знаешь ли ты, что эту сырую и темную нору ты должен любить больше всего на свете?!

— Да почему же, маменька?

— А потому, что это твое отечество!

Конец.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОТМЕТКА. Мысль не дурна, и язык зверей употреблен весьма к месту! Но кратко, и потому на будущее время надо стараться быть более обстоятельным. Еще одно замечание: союзы не всегда употребляются правильно, а в иных местах, есть даже лишние.

Сапиентов.

IV. ДОБРЫЙ ПАТРИОТ.

(Сочинение 8-летнего Паши Младо-Сморчковского)

Однажды, милая мамаша взяла Пашу Младо-Сморчковского за головку и спросила:

— А знает ли эта маленькая головка, что такое значит добрый патриот?

— Нет, милая мамаша, отвечал Паша: — не знает, потому что она маленькая!

И милая мамаша поцаловала Пашу и отпустила гулять.

Конец.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОТМЕТКА. Наверное, гулять не отпустила, но, быть может, оставила без последнего кушанья. И маленькой головке стыдно не знать вещь столь обыкновенную. На будущее время подобные оправдания, ни в каком случае, не будут приняты во внимание.

Сапиентов.

КОММЕНТАРИИ

В 1868 г. Салтыков окончательно расстался со своей служебной деятельностью и всецело отдался своему литературному призванию. Именно с этого года начинается его интенсивное сотрудничество в «Отечественных записках» (из постоянного сотрудника Салтыков скоро превращается в соредактора Некрасова), где он печатает ряд очерков из циклов: «Помпадуры и помпадурши», (№№ 2 и 11), «Письма из провинции» (№№ 2, 4, 5, 9, 10) и «Признаки времени» (№№ 1, 8, 9, 11), не считая рецензий и критических статей. Не менее продуктивным является и следующий, 1869 г., в течение которого Салтыков наряду с продолжением «Писем из провинции» (№№ 3, 8 и 11) и «Признаков времени» (№ 1) начинает печатание «Истории одного города» (№ 1), «Господ ташкентцев» (№№ 10 и 11) и, наконец, забытого теперь цикла «Для детей». Цикл этот имеет непосредственное

отношение к интересующему нас сейчас произведению. Ознакомимся с литературной историей его.

В февральской (2-й) книжке «О. З.» за 1869 г. Салтыков поместил три рассказа: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Годовщина», объединив их общим ироническим заглавием «Для детей». Рассказы были перенумерованы и снабжены таким примечанием: «Автор настоящих рассказов предполагает издать книжку для детского чтения, составленную из прозаических рассказов и стихотворений (последние принадлежат Н. А. Некрасову). Но предварительно он желал бы знать мнение публики, насколько намерение его осуществимо и полезно. С этой целью помещаются здесь образчики детских рассказов» («О. З.», 1869 г., 2, стр. 519). Таким образом это и было начало нового цикла. В следующем, мартовском № 3 появилось его продолжение, состоящее из двух рассказов «Дикий помещик» и «Добрая душа», понумерованных соответственно числами 4 и 5. Прерванное затем на ряд месяцев печатание «детских рассказов» Салтыков решил возобновить с осени. В письме от 9 июня 1869 г. к находившемуся тогда заграницей Н. А. Некрасову Салтыков писал: «Для 8-го номера у меня в виду по части беллетристики: повесть Левитова... Записки дьячка Маркович, да я кой-что приготовил «Для детей»[1]. Этим «кой-что» и были «Испорченные дети», появившиеся однако не в 8-й, а в 9-й книжке журнала. Правда, в печатном журнальном тексте заглавия «Для детей» нет, однако оно есть в сохранившейся рукописи, где очерк носит название «Дети-литераторы» (бумаги б. Пушкинского Дома, из архива М. М. Стасюлевича). Кроме того рассказ пронумерован римской цифрой VI, которая может лишь продолжать нумерацию выше упомянутых пяти рассказов. Из писем Салтыкова известно, что существовал замысел еще одного «детского рассказа», под названием «Повесть о том, как один пономарь хотел архиерейскую службу сослужить», но он, повидимому, написан не был[2].

Цикл «для детей» не был закончен. Удачно найденная здесь форма сказки как бы вытеснила самый замысел его (собрание различных рассказов и стихотворений) и явилась в дальнейшем тем жанром, в котором Салтыков создал свои наиболее популярные произведения. «Испорченные дети» наряду с очерками «Годовщина» и «Добрая душа» оказались таким образом за пределами цикла. Вероятно поэтому они не были включены Салтыковым в «Собрание» его сочинений и являются для современного читателя произведением в полной мере неизвестным.

Между тем «Испорченные дети» представляют большой художественный и историко-литературный интерес. Это типичная щедринская сатира, написанная в форме детских письменных сочинений на заданную тему. Темы сочинений — «Добрый служака» и «Добрый патриот» — есть в то же время и основные темы сатиры: бюрократия и «отечество». Обращает внимание своеобразная форма произведения, которая однако не является чем-либо принципиально новым для Щедрина. Литератор до мозга костей, Салтыков любил своим сатирическим гротескам придавать форму каких-либо письменных документов. В этом сказалось, вероятно, и бюрократическое прошлое сатирика. Напомним, что два центральных произведения Щедрина написаны: одно — в форме «Истории одного города», другое — в форме «Дневника провинциала в Петербурге», Кроме того, мы имеем: «Завещание моим детям», «Письма из провинции», «Письма к тетеньке», «Пестрые письма», в форме дневника написан «Круглый год», в форме мемуара «Пошехонская старина». Этот прием «документации» литературного материала широко использован Салтыковым и в тексте самих сатир (знаменитые мемуары, руководства и указы щедринских помпадуров и градоначальников, различные проекты и «конституции» в «Дневнике провинциала», «оправдательные документы» в «Истории одного города», жизнеописание купца Парамонова в виде... счета и такса Очищенного в «Современной идиллии» и мн. др.).

«Письменные сочинения» учеников и письменные же замечания и объяснения к ним педагога Сапиентова являются лишь новой вариацией этого приема. Причем подстрочные замечания Сапиентова и его заключительные резюме играют в общей композиции сатиры ту же роль, что и «Глумов»[3] в произведениях Салтыкова 70—80 гг. Неизменно противостоя точке зрения «автора», от имени которого ведется рассказ, Сапиентов в своих педагогических ремарках «серьезно»

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма 1845—1889 гг. Под ред. Н. В. Яковлева. Труды Пушкинского Дома при Российской академии наук, М.-Л., 1925 г., № 52; в дальнейшем всюду «Письма».

[2] Письмо М. Е Салтыкова к Н. А. Некрасову от 22 мая 1869 г. («Печать и революция», 1927 г., кн. 3, стр. 58).

[3] Герой комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты», настолько прочно освоенный Салтыковым, что он современным читателем воспринимается неизменно в качестве щедринского персонажа.

обсуждает, комментирует и оценивает рассказываемое и изображаемое, тем самым дешифрируя эзопов язык, раскрывая подлинный замысел сатиры. Стиль «замечаний» блестяще пародирует канцелярско-семинарский слог 50—60 гг. Отметим, что впервые этот прием иронических подстрочных примечаний «автора» был употреблен Щедриным в забытой ныне и не вошедшей в «собрание сочинений» юмореске его «Цензор в попыхах (лесть в виде грубости)», напечатанной в № 9 «Свистка» («Современник», 1863, кн. 1—2, подпись: Мих. Змиев-Младенцев).

Любопытно, что один из первоначальных замыслов «Истории одного города» (неосуществленный очерк «Историческая догадка») был задуман Салтыковым в форме «беседы учителя гимназии с учениками»[1]. Однако, приступив непосредственно к созданию «Истории», Салтыков гигантски расширил первоначальный замысел, что повело за собой к отказу от проектировавшейся формы. Ею он однако воспользовался в несколько измененном виде здесь.

Обращаемся непосредственно к интересующему нас тексту, воспроизводимому здесь по журнальной редакции 1869 года, которая и должна считаться окончательной. Разночтения, обнаруживаемые при сличении журнального текста с сохранившимся рукописным, являются несомненно результатом дополнительной работы Щедрина над произведением при его печатании, в корректуре; они однако настолько незначительны, что останавливаться на них в не специальном издании нет необходимости (за исключением указанного различия в самом заглавии произведения).

Открывающее очерк предисловие все посвящено характеристике семейства Младо-Сморчковских и педагога Сапиентова. В особых комментариях эта часть не нуждается. Отметим лишь, что в характеристике «маленького Вани»: «терпеть не мог никакой мелодии, кроме мелодии барабана, наконец, ел и пил всякую дрянь» и в описании его делового дня «пробуждение в 6 часов утра», «усиленная маршировка», пение «ура», «подверганье самого себя наказаньям» и др. — имеются уже черты, которые ровно через год придал Салтыков центральному образу «Истории одного города» Угрюм-Бурчееву, который тоже «вставал с зарею»... и тотчас же бил в барабан, «ел лошадиное мясо», наконец, «по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергал дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам»... Здесь же в описании Младо-Сморчковского 1-го — «Есть скорость, но нет стремительности; есть строгость, но нет непреклонности» — мы находим слова, включенные позднее, правда, с другой интонацией, в программную речь Брудастого («История одного города»): «Натиск, — сказал он, — и притом быстрота. Снисходительность и притом — строгость. И притом благоразумная твердость». Из других аналогий этой главы заслуживают быть упомянутыми «государственные младенцы», специалистом по изготовлению которых является Сапиентов. Через 3 года Салтыков посвятит этим «младенцам» «Третью параллель» своих «Ташкентцев приготовительного класса» («О. З.» 1872, № 1), где парафраза эта будет, однако, обозначать среду будущих юристов, а не провинциальных администраторов (градоначальников).

Есть в «предисловии» и злободневные намеки. Так, восклицание, невольно сорвавшееся с уст Катерины Павловны: «Иди, спасай царей!» — несомненно воспринималось современниками как намек на каракозовский выстрел 1866 г. и на тот разгул реакции, к участию в котором совершенно официально приглашались и «наиболее благонадежные элементы общества» (А. Корнилов. «Общественное движение при Александре III». М., 1909).

В следующем за «предисловием» очерке («Добрый служака». Из моих воспоминаний. Сочинение 13-летнего Гриши Младо-Сморчковского) заслуживает быть прежде всего отмеченной фабула сатиры — фантастические похождения атамана разбойников Туманова, подготавливающие его будущую административную деятельность.

«Сочинение сие... позволяет думать, что, будучи предварительно разбойником, (в рукописи добавлено: «и даже именно посему»), можно современем сделаться администратором (в рукописи: «градоначальником») — поясняет недвусмысленно замысел автора Сапиентов — этот alter ego Салтыкова. Следует признать, что в цензурном отношении замысел был очень смел по тем временам и бил не в бровь, а в глаз. Произвол, хищничество и самоуправство провинциальной администрации 50—60 гг. были исключительны, они создавали круговую поруку, покрывавшую явно преступных типов. Одного из них, человека с несомненным уголовным прошлым, хорошо знал Салтыков и лично. Это был пензенский гражданский губернатор В. П. Александровский, «помпадурство» которого (с 1862 по 1867 г.) как раз совпало с пребыванием Салтыкова в Пензе в должности управляющего Казенной

[1] См. об этом в письме Салтыкова к И. В. Павлову, опубликованном в статье: О. В-на. «М. Е. Салтыков-Щедрин о себе самом» (газета «Речь», 1914 г., № 88).

палатой (1865 г.). Действия этого губернатора Салтыков описал в своем письме к П. В. Анненкову от 2 марта 1865 г., которое закончил так: «Вот вам глава Пензенской губернии; остальное на него похоже, если не хуже. У меня начинают складываться очерки города Брюхова, но не думаю, чтобы вышло удачно. Надобно, чтобы и в самой пошлости было что-нибудь человеческое, а тут кроме навоза ничего нет» («Письма», № 34). Ниже мы еще отметим, что «Испорченные дети» очень многим обязаны именно пензенским наблюдениям Салтыкова и что таким образом часть материала, предназначавшаяся автором для «Очерков города Брюхова», попала и сюда.

Можно указать и на один литературный источник, который был использован Салтыковым в этой главе. Имею в виду этнографические очерки С. В. Максимова «Сибирь и каторга», печатавшиеся под разными заглавиями (по частям) в книжках «Отечественных записок» 1869 г. и бывшие таким образом хорошо известными Салтыкову[1]. Очерки давали обширный материал по уголовным деяниям сибирских «администраторов». Любопытно, что весь эпизод со спасением Паши Туманова из острога, путем «фокуса» с живой пирамидой, почти текстуально заимствован Салтыковым отсюда, равно как отсюда заимствована и сама фамилия героя — Туманов(у Максимова этот случай с бегством арестанта Туманова отнесен к Тобольскому острогу)[2].

Следует отметить, что развитая здесь нецензурная тема об администраторах-разбойниках была уже намечена Салтыковым несколько раньше в «Письмах из провинции» (письмо 5-е)[3].

Несмотря на то, что Салтыков придал своей злободневной сатире форму «детского повествования», явно пародируя в некоторых местах современных ему авторов примитивных «разбойничьих рассказов», цензура, как мы увидим ниже, обратила внимание на это место. Весьма злободневным являлось изложение «некоторых замечательнейших действий Младо-Сморчковского первого на занимаемом им посту», где Салтыков зло издевается над мероприятиями правительства и только что учрежденного земства. Мероприятия эти, официально направленные к повышению «благосостояния народного», фактически ложились лишь новым бременем на крестьянство, оказавшееся после «великих реформ» и без того в крайне трудном положении. В официальном отчете деятельности пензенского земства за 1865 г.[4], деятельности хорошо известной Салтыкову, мы найдем весь тот материал, который послужил об'ектом этой сатиры. Впрочем, картина, здесь данная, была типична и для других губерний России. Также как и в «предисловии», в ряде мест разбираемой главы мы находим отклики Салтыкова на тот реакционный курс правительства, о котором мы уже упоминали выше. Реакция особенно распоясалась в конце 60-х гг., когда шефом жандармов и главным начальником III отделения был назначен граф Петр Андреевич Шувалов (с 1866 по 1874 г.), который действительно «обуздал дух своеволия...», «поборников устности и гласности разослал по городам» и «вообще обуздал обывателей».

Любопытные препирательства Младо-Сморчковских первого и второго по поводу канцелярского слога являются сатирическим отзвуком тех «указов о сокращении переписки», которые так взволновали огромный канцелярско-бюрократический муравейник государственного аппарата России 60-х гг.; подробнее о них Салтыков говорит в «Письмах из провинции». Упоминаемая здесь же «педагогическая метода г. Миллера-Красовского», состоявшая в том, что «пощечины следовали одна за другою» — служила предметом оживленных общественных дискуссий в начале 60-х гг. Книга педагога обскуранта Миллер-Красовского «Основные законы воспитания», в которой рекомендовалось добиваться послушания посредством «сильного моментного потрясения» (т. е. пощечины), вышла еще в 1859 г., но не была забыта сатириком и через 10 лет.

Следует, наконец, несколько подробнее остановиться на том любопытном списке 12 дочерей Младо-Сморчковского и их мужей, которым заканчивается очерк «Добрый служака».

Выше было уже указано на ряд аналогий между «Историей одного города» и «Испорченными детьми». Но связь этих двух произведений не исчерпывается стилистическими соответствиями; она значительно глубже. Действительно, — основная тема сатиры — высшая провинциальная бюрократия, разрабатывавшаяся в щед-

[1] Написанная по поручению правительства книга С. В. Максимова «Тюрьма и ссыльные» была издана в 1862 г. «секретно»; статьи в «О. З.» представляют собою перепечатку ряда глав из этой книги.

[2] С. В. Максимов. На каторге. Собрание сочинений, изд. 4-е, СПБ, т. II, см. стр. 132—135.

[3] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений, изд. 4-е, т. X, см. ст. 473—474. В дальнейшем все ссылки — на это издание.

[4] См. в книге «25 лет Пензенского земства», М., 1894 г.

ринской сатире и ранее («Помпадуры и помпадурши»), дана в «Испорченных детях» уже в том обобщенном гротескно-сатирическом плане, который в известной мере предваряет будущий огромный синтез «Истории одного города». Известно, что этот синтез, не являющийся в целом пародией на историю России (против такого понимания энергично восставал сам Салтыков), в то же время облечен в форму исторической хроники, с привлечением обширного конкретного материала из русской истории, специально изучавшегося Салтыковым. Результаты этого изучения мы и видим в интересующем нас «списке». Это как бы «бросовый материал» который остался в творческой лаборатории сатирика после создания первых глав «Истории одного города»[1] и который он использовал здесь. Своим остроумным матримониальным списком Салтыков как бы «роднит», «сближает» своего анонимного героя — разбойника с реальными «силами» русской истории, со всеми этими временщиками, властителями, вельможными и царственными проходимцами. Гротескным приемом «списка» он удлиняет и расширяет перспективу своей сатиры, подводя ее к граням будущих мощных обобщений «Истории одного города». Таков смысл списка. Нам нет надобности прибегать к биографическим пояснениям. Камер-юнкер Монс, герцог курляндский Бирон, граф Кирилла Разумовский, бывший польский король Понятовский (имеется в виду последний польский король Станислав-Август, отрекшийся от престола по требованию Екатерины II), светлейший князь Потемкин-Таврический, граф Дмитриев-Мамонов, наконец, Аракчеев — все это широко известные исторические имена тех в большинстве своем «темных людей» XVIII столетия, которые, «попав в случай», делались всесильными фаворитами, временщиками, фактическими распорядителями судеб русского народа.

О «блестящем французском посланнике, герцоге Морни», мы скажем в комментарии к следующему очерку; здесь же необходимо еще пояснить непонятную для современного читателя характеристику одиннадцатой дочери: «Имела впоследствии огромное влияние на испанскую королеву Изабеллу, под именем сестры Патросинии. Погубив Изабеллу, бежала из Мадрида с уланом и была поймана в Баль-Мабиле».

В приведенных строках содержится отклик Салтыкова на испанские события 1868 г., которым уделялось много внимания в газетах того времени. В 1868 г. в Испании произошло очередное пронунциаменто, свергнувшее с престола королеву Изабеллу II (Марию-Луизу), скрывшуюся за границу, в Париж, вместе со своим придворным и фаворитом Марфори. Эпоха и имя этой королевы — символ реакции и политического гнета для Испании. Яростная католичка, Изабелла вместе с тем отличалась крайней распущенностью; она ввела при своем дворе нравы XVIII в. Особенно сильно было влияние на Изабеллу пресловутой монахини Патросинии — этого испанского Распутина в рясе. На все это и намекает здесь, правда мимоходом, Салтыков. Через 3 года в очерке «В больнице для умалишенных» («О. З.», 1873, кн. 2)[2] он посвятит этому эпизоду современной иностранной хроники несколько острых страниц. Упоминаемое здесь же название Баль-Мабиль есть наименование модного увеселительного заведения в Париже 60-х гг., пользовавшегося особенной популярностью у русских «гулящих людей за границей».

Наконец, «кавалер индустрии Сан-Фуа-ни-Луа» есть обычный для Щедрина персонаж, характеристика которого заключена уже в самой фамилии его. Французское выражение sans foi ni loi, буквально значащее «без веры и закона», можно перевести по-русски эпитетом «прожженный», «беспардонный» и т. п.[3]. Типы таких коммерческих дельцов, «кавалеров от индустрии» Салтыков блестяще вывел несколько позднее в «Дневнике провинциала в Петербурге».

Основным конструктивным образом третьего очерка («Добрый служака». Сочинение 12-летнего Сережи Младо-Сморчковского) является образ «откровенного ребенка». Парафраза раскрывается легко: «откровенный ребенок» — это, конечно, жандарм, охранник, правительственный и добровольный осведомитель, призванный к особо широкой деятельности разгулом реакции в конце 60-х гг. «Откровенный ребенок» — это лишь первоначальный набросок знаменитого «ташкентца,

[1] Напомним, что первые главы «Истории» появились в один год с «Испорченными детьми», но несколько раньше последних («О. З.», 1869 г., № 1).

[2] В собрание сочинений не вошло.

[3] Любопытная подробность для изучения вопроса о литературно-стилистических воздействиях на Щедрина: и «кавалер индустрии Сан-Фуа-ни-Луа» и упоминаемый здесь же «мосье Мушар» (mouchard—шпион) находят себе полные аналогии в персонажах «волшебной сказки» французского журналиста и сатирика Лабуле «Le prince caniche» характеризованных тем же методом (сказка была частично напечатана. В русск. перев. в «О. З.» за 1868 г.) и была таким образом хорошо известна Салтыкову). Напр. «граф Туш-а-Ту» (Touche à tout - до всего дотрогивающийся, за все берущийся), «барон Жеронт Плерар» (pleurard-плакса), «кавалер Пиборнь» (pieborgne- кривая сорока) и др.

обратившегося внутрь», выведенного Салтыковым в очерке «Они же», очерке, который должен был появиться через месяц после «Испорченных детей», но не появился, так как был вырезан цензурой из ноябрьской книжки журнала за 1869 г.

Поход правительства против «неблагонадежных элементов» в провинции, вакханалия сыска и полицейского наблюдения «на местах» составляют основное содержание этой главы. Гротескная причудливость образов и ситуаций, допущенная здесь Салтыковым, не помешала ему, в то же время, очень близко подойти к реальной жизни, которая в своей жуткой повседневности нередко опережала самые фантастические предположения.

Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить, например, распоряжение № 1 «откровенного ребенка», которым он «увеличил число своих добрых товарищей (т. е. осведомителей — *С. М.*) в такой мере, что вскоре на каждого обывателя считалось по одному доброму товарищу», с такой документальной записью авторитетного в этом отношении Н и к и т е н к о, относящейся к 1867 г.: «Граф Шувалов вносил два проекта в Государственный Совет. Один по поводу того, что все Поволжье исполнено дурного духа и потому необходимо все это пространство оцепить жандармскими агентами, разделив их на группы... Другой проект его касался усиления карательных мер против тайных обществ и против зловредных покушений в земских собраниях» («Записки и Дневники», т. II, стр. 325).

Для сравнения интересно также вспомнить третье «Письмо из провинции», где Салтыков писал: «Шпионство, наушничество и вольный донос до того одолели ее (провинцию — *С. М*), что некуда деваться порядочному человеку, нельзя совершить самого простого акта, чтобы не подвергнуться всякого рода зловредным толкованиям».

Побочной темой разбираемого очерка является тема «хищничества», которая связывает его с будущими «Господами ташкентцами». Но еще раньше «Испорченных детей» темы «хищника» и «хищничества» были намечены в «Письмах из провинции» и «Признаках времени», где в образах «хищников», «историографов» и «фофанов» Салтыков выводит все тех же «оглашенных недорослей» нашей сатиры. Потревоженные в своем экономическом благополучии фактом упразднения крепостного права, эти «оглашенные недоросли» (дворяне-крепостники) весьма скоро усвоили ту мысль, что смысл реформ заключался лишь в том, что «нужно было пошехонскому поту дать иное применение», и энергично принялись за деятельность на этом новом поприще. «Не та или иная сущность дела, не то или другое направление его, а именно лакомые куски составляют все содержание историографских наездов с их темною свитой вольных доносов и извещений»—так определял Салтыков эту деятельность в четвертом «Письме из провинции».

Наконец есть еще одно произведение, с которым весьма тесно связана данная глава — это недавно лишь опубликованный (Н. В. Яковлевым) рассказ Салтыкова «Приятное семейство» («Новый мир», 1931, кн. 7).

Описание города П., где проживает «приятное семейство», и «необыкновенной губернии» нашего очерка до крайности схожи. Черноземный город П., ** — это разумеется Пенза (в нашем очерке есть и прямое указание на это — «ныне я живу в имении моем, в Пензенской губернии»), давшая сатирику столь богатый материал. В рассказе имеется и ряд других любопытных аналогий; сравнительное изучение двух произведений могло бы дать вообще интересные результаты[1].

Таким образом, через «Приятное семейство», имеющее подзаголовок: «К вопросу о «Благонамеренных речах»,—«Испорченные дети» связываются и еще с одним циклом.

Нам остается пояснить те места и парафразы этой главы, которые могут быть непонятны современному читателю. В самом начале очерка говорится о том времени, когда «все ходили ощупью, ища конституций и не находя их», пока наконец, не «восторжествовала здравая политика». Здесь имеется в виду та кратковременная «либеральная весна» александровского царствования, которая, как известно, началась с проектов конституций, а кончилась аракчеевщиной. Далее нуждаются в пояснениях следующие строки: «Приехавши в П**, я... начал стороной выведывать... не разжигают ли акцизные чиновники народных страстей, какого рода конституции изготовляют чиновники контрольные и проч. и проч.». Здесь мы имеем намек на то сопротивление и недоверие, с которым относилась к новым учреждениям 60-х гг. и новой бюрократии (п и о н е р а м) наиболее реакционная часть тогдашнего общества — дворяне-крепостники (и с т о р и о г р а ф ы). Всю неосновательность такого недоверия со стороны крепостников ядовито разоблачает Салтыков в своем первом «Письме из провинции»: «уж на что благонамеренными пионерами явили себя акцизные чиновники, а какого переполоха наде-

[1] В частности, оно позволило бы, нам кажется, значительно передвинуть назад датировку рассказа, определяемую Н. В. Яковлевым концом 70-х гг.

лало их появление. «Нигилисты» — кричали одни. «Коммунисты» — кричали другие; и нужно было целую массу нечеловеческих усилий, чтоб доказать вселенной, что это совсем не нигилисты, а такие же историографы и столпы, как и все прочие. Точно такой же факт совершился на наших глазах с пионерами контрольными: их до тех пор упрекали в тайных наклонностях к конституционализму, пока они добрым своим поведением победоносно не доказали, что за ними не только к конституционализму, но и к счетоводству наклонностей никаких не водится».

В конце очерка имеется несколько загадочный и нуждающийся в пояснениях эпизод с «принцем Шарманом». Непосредственным поводом к созданию его и следующих за ним строк, посвященных французским событиям 2 декабря 1851 г. (государственный переворот, возведший на престол Луи-Наполеона), послужила, вероятно, только что вышедшая в 1869 г. в русском переводе книга Э. Тено «Париж и провинция 3 декабря 1851 г.» (СПБ., 1869). Книга вызвала большой интерес, ей между прочим была посвящена специальная статья в «Отечественных записках», («О. З.», 1869, кн. 2, стр. 535—566) и естественно, что Салтыков, всегда живо интересовавшийся французскими политическими делами, счел нужным воспользоваться возбужденными ею толками и откликнуться на них. Принц Шарман («le prince charmant» «чудесный принц» — персонаж французской сказки) — это конечно сам Луи-Наполеон, известный своими «волшебными» политическими авантюрами и чисто опереточными приемами для снискания «народной» популярности. Один из таких приемов, состоявший в инсценировке покушения на самого себя и последовавшего затем «чудесного спасения», и изображает сатирически Салтыков в «сцене в лесу».

Находящиеся несколько ниже строки: «потребовалась вдруг большая масса людей, умеющих владеть кастетами и сортидебалями» — расшифровываются как намек на те кровавые события, которыми ознаменовалось воцарение «нового императора» в Париже и провинции (Sortie de bal — вечерняя накидка, надеваемая после бала; здесь — в смысле вообще плаща, аттрибута, наряду с маской и кастетом, наемного убийцы-bravo).

Наконец, упоминаемые в тексте «мосье Мушар», и «граф (!) Морни», являются: первый — просто анонимной маской, введенной для характеристики атмосферы, в которой совершался переворот (mouchard — шпион, шпик), второй — историческим лицом — герцогом де-Морни (1811—1865), французским государственным деятелем, авантюристом чистой воды, фактическим руководителем переворота 1851 г. В 1856—57 г. он был французским послом в Петербурге, где скандально женился на русской аристократке, на что и намекает Салтыков.

Остальные щедринские парафразы вряд ли нужно раскрывать: укажем, впрочем, что под «крестьянской катастрофой» следует разуметь 19 февраля 1861 г., а словечком «фить» (чаще «фюить») Салтыков всегда обозначал административную высылку в места не столь отдаленные.

Два следующих рассказа, миниатюры «Добрый патриот», никакого комментария не требуют. Отметим лишь то, что первый из них представляет для исследователей большой интерес тем, что в нем, по существу говоря, мы находим первую «животную» сказку Щедрина, разрабатывать которую он стал позднее. Сказка содержит весьма смелые высказывания сатирика об отечестве — России, называемом здесь «сырой и темной норою». Именно эта сказка и вызвала особенное внимание члена Главного управления по делам печати Ф. М. Толстого.

В своем цензорском донесении по поводу 9-й книжки «О. З.» за 1869 г., полностью приведя текст сказки и заключительную к ней ремарку Сапиентова — «мысль недурна (т. е. мысль, что «эту сырую и темную нору» должно любить больше всего на свете», потому что она — «отечество» — *С. М.*), но выражена кратко и потому на будущее время надо стараться быть более обстоятельным», Толстой иронически добавляет: «обстоятельность эта далеко может повести». Далее он пишет: « В этом же рассказе описывается, как некто Туманов попал сначала в разбойничьи атаманы, а из атаманов прямо в губернаторы, и тут же иносказательно описывается происхождение учреждения жандармов в провинциях под названием «откровенных ребят». Все это не имеет, конечно, большого значения, но сильно напоминает междустрочную литературу 60-х годов».

По мнению Толстого, «Испорченные дети» Щедрина (наряду с анонимной статьей сентябрьской книжки «О направлении в литературе»), хотя и «не подают достаточных доводов к судебному преследованию», но должны быть «приняты к сведению, как крупный материал, для определения неодобрительного направления «Отчественных записок» (см. в книге Евгеньева — Максимова «В тисках реакции»).

В заключение следует указать, что ни в общей, ни в специальной литературе, посвященной Салтыкову, «Испорченные дети» не только не разбираются, но даже и почти не упоминаются, несмотря на то, что они бесспорно принадлежат к числу наиболее острых произведений сатирика.

С. Макашин

В. С. КУРОЧКИН

ПРИНЦ ЛУТОНЯ

Предисловие Демьяна Бедного
Комментарии А. Ефремина

ИСКРОМЕТНЫЙ

Настоящий, первый номер нашего нового журнала украшен «кукольной комедией» поэта-сатирика, В. С. Курочкина. В своей — нижеследующей—статье об этой «забытой сатире» тов. А. Ефремин поднимает актуальнейший вопрос о срочной необходимости пересмотра всего нашего литературного наследия вообще и критики и литературоведения в частности. В последней области «сила былого классового пристрастия» сказалась особливо. И редко на ком это пристрастие отразилось в такой мере, как на В. Курочкине. После похорон Курочкина Н. К. Михайловский писал с удивлением:

«Нас, пришедших проводить Курочкина туда, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но нет также ни песни, ни театра, ни литературы — нас было три-четыре десятка! Это было поразительно».

Ничего тут поразительного не было. И нет ничего поразительного в том, что у последующих критиков и литературоведов оказалась в забвении именно такая пьеса Курочкина, как «Лутоня».

Хоронили поэта-революционера, и «похоронили» — наглухо! — пьесу революционную. «Классово пристрастный», преобладающий элемент прошлых литературных ценителей и судей *знал, от какого поэта он отвернулся, о каком его произведении* он начисто «забыл».

Я думаю, тов. Ефремин напрасно недооценивает того результата, какой может дать расшифровка кукольных персонажей этой пьесы. Расшифровка показала бы нам; сколь велика революционная динамика пьесы, каким взрывчатым материалом она была начинена. Достаточно обратить внимание хотя бы на фигуру С л о н я я в кафтане, шитом золотом. Слоняй — личность коронованная. Но Слоняю стало опасно украшаться короной. Он пошел, «куда глядят глаза». Попал к мужику Лутоне и об'ясняет:

Загнала к тебе меня г р о з а.

Не от радости попал к Лутоне коронованный Слоняй, не добровольно, а

Значит, так сама судьба решила.

Горькая судьба, выходит. Это подчеркивается в дальнейшей речи Слоняя, об'являющего Лутоне:

Отдаю я все, что мне постыло,
Е с л и у ж у г о д н о т а к с у д ь б е,
Все мои владения — тебе,
Меч, кафтан, корону и кольчугу.

Вот до чего довела Слоняя гроза! Ото всего отказаться готов.

Теперь сравните с приведенным местом комедии выписку, скажем, из дневников Е. А. Штакеншнейдер (см. «Голос минувшего», 1916 г., № 4, стр. 45). Запись от 12 апреля 1861 г. — самый послеосвободительный катцен-яммер!

> Носятся слухи, что государь в тысячелетие России готовит ей сюрприз: хочет отречься от престола России. От этого легче не будет, но ему будет положительно легче.

Тут бы курочкинский Лутоня мог с равным основанием задать вопрос, который он ехидно задал Слоняю:

> Будто вам, взаправду, надоело
> День деньской слонять слоны без дела?

А Александр-«освободитель» мог по-слоняевски ответить:

> Что ж мне делать — я и сам не рад.

В самом деле до радости ли тут, если автор упомянутого мною дневника не без основания — с чувством жалости к обалделому царю — заканчивает дневную запись так:

> Зачем удвоенные караулы во дворце, зачем осматривают всех входящих во дворец с узлом, зачем эти убийственные предосторожности, кто выдумал бедному человеку эту пытку? Ведь не сам же он, за что же станет он себя казнить...

«Пытка!» «Казнить!» «Бедный человек» — это коронованный самодержец-то! Слух пошел: от престола отказаться хочет,

> Если уж угодно так судьбе.

А судьба нависла грозная. И вот о какой грозе писал В. Курочкин «забытую» пьесу. Вот какие громы гремят... в кукольной комедии!

В этой комедии надо разобраться да разобраться. И это будет первым шагом к выявлению подлинной, революционно-боевой, пламенно-агитационной сущности поэта, которому должно принадлежать в литературно-революционном пантеоне одно из первых, почетнейших мест.

Демьян Бедный

ПРИНЦ ЛУТОНЯ

(Кукольная комедия)

Несколько слов от автора-переводчика.

Предлагаемая шуточная комедия заимствована (я не могу по совести назвать свой веселый труд переводом) из вышедшей в 1871 году книжки «Théâtre des marionettes» par Marc Monnier и в подлиннике носит заглавие «Le roi Baboléin». Кроме нее в книге помещено шесть комедий, представляющих последовательно сатиры на европейские события последнего времени. «Le roi Baboléin», как сатира, не имеющая непосредственной цели и при общем ее литературном значении не заключающая в себе никаких политических намеков, представляет все удобства для ознакомления русской публики в переводе с замечательною книгою Марка Монье.

К ЧИТАТЕЛЮ

(Из предисловия Виктора Шербюллье к книге «Théâtre des marionettes»)

Друг-читатель, позволь тебе рекомендовать этот томик. Это сборник комедий в стихах и — не в обиду тебе — действие их происходит в фантазии, действуют же в них куклы. Не возражай мне раньше времени, что куклы не интересуют тебя, как существо относительно высшей породы. Марионетка пляшет в направлении, сообщаемом ей неведомою ниткою. Если ты можешь об'яснить мне, чем это определение

не подходит к нам, людям, я — клянусь тебе — соглашусь, что ты перехитрил меня. У нас, кукол, покрытых плотью, разум, конечно, из более тонкой материи, весь механизм наш сложнее, идеи не так просты и страсти менее непосредственны; мы любим пространные и нелепые рассуждения; мы громадными усилиями достигаем цели: удалиться как можно дальше от нашей природы. У нас нет заблуждения, на котором мы бы не построили теории, красноречиво доказывающей, что мы правы в нашей неправде — мы никак не можем в оправдание наших пороков ссылаться на наивную чистоту нашего сердца: условные требования чести сделали из нас педантов и софистов. Как неизмеримо откровеннее, наивнее и проще нас деревянные куклы! Им неизвестна путаница наших слов и понятий: у них лица, действительно, зеркала душ, и их страсти приводятся в движение нитками так же непроизвольно, как их жесты. Эти маленькие механизмы то поют, то плачут, то ругаются — как бог на душу положил — и при этом физиономии их сохраняют всегда одно и то же выражение. Они прямо вываливают все, что им ни придет в голову, беззаветно смеются или орут во все легкие, смотря по тому, какая их шевельнет нитка. И все это просто, все это уморительно-балаганно, хотя иногда в деревянных дощечках их груди вспыхивает такой гнев, перед которым бледнеет наше холодное, сдерживаемое теориями негодование.

Тебя, может быть, скандализируют палочные удары, обыкновенно в изобилии расточаемые марионетками в этом идеальном королевстве фантазии, где действительно палка является безапелляционным орудием решения наисложнейших вопросов. Не скандализируйся однако и не относись к бедным марионеткам презрительно. Не думаешь ли ты, что палочных ударов рассыпается кругом тебя меньше? Когда тебе самому делают честь, угощая ими тебя в форме несколько менее оскорбляющей твою гордость, неужели ты так наивен, что не чувствуешь на себе их силу? Друг-читатель, поверь, какая бы палка ни управляла нашими судьбами, она все равно отзывается больно в спине и в душе унижением.

Прими еще вот что во внимание. Во всех комедиях, которые мы привыкли видеть, сидя в театральных креслах, перед тобою обыкновенно проходят великодушные банкиры, бескорыстные чиновники, идеальные лавочники, олицетворяющие собою незыблемые гражданские и семейные начала. Все они действуют, как будто взаправду, рассуждают о добродетелях и процентных бумагах, вежливо расшаркиваются с дамами и девицами высшего и среднего круга, иногда даже с умеющими держать себя в обществе и роскошно одетыми пейзанами. Но в конце концов, прежде чем опуститься занавесу, молодой человек Артур непременно на глазах твоих соединяется узами Гименея с девицей Евгенией. Я ничего не имею против этого брака; это уж так определено свыше; но с незапамятных времен — свадьба Артура и Евгении и каждый день ничего больше, как свадьба Артура и Евгении — согласись, в этой развязке нет ничего тобою непредусмотренного, следовательно вряд ли она тебе может всегда доставлять удовольствие. Позабудь же на полчаса свои обычные зрелища, приложи глаз к стеклам вертепа, расставляемого перед тобою поэтом, и перенесись с ним без всякой задней мысли в наивные страны абсурда, чтобы позабыться на время «в чародействе красивых вымыслов». Ты увидишь между разными диковинками дровосека, злою игрой случая обратившегося в принца. Ты увидишь, как он сначала счастлив своим новым жребием, и как скоро затем следует разочарование, и он возвращается в лес свой. Его жена — воплощенная житейская муд-

рость, не лишенная своего рода безыскусственной грации и полная любви. Она рассуждает как нельзя лучше для куклы; правдивое чувство ее еще удивительнее: уверяю тебя, я не много знаю сердец, которые бились бы так верно и правильно, как это деревянное сердце. Послушай, например, ее рассуждения о тщете земного величия и преимуществах перед нею темной, спокойной доли. Все это, конечно, ты не раз слышал, но автор заставил для тебя говорить кукол их простым безыскусственным языком, чтобы нехитрые истины не затемнялись перед тобою обычными и только условно-необходимыми хитросплетениями.

Еще одно — и последне слово. Ты будешь смеяться, читая эти комедии — это удивительно много для нашего времени! Да, марионетки взяли на себя смелость быть веселыми: их слова могут разогнать твою меланхолию, и так как смех дело очень серьезное, может быть, ты и призадумаешься. Если же ты боишься приливов к голове крови и не хочешь думать — будь доволен тем, что ты посмеешься — все-таки выхватишь у неумолимой злобы жизни веселый час, в который забудешь нестройный тяжелый шум, иногда очень чувствительно терзающий слух твой в вечном поступательном движении нашей старой планеты.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КУКЛЫ:

Лутоня	1)
Лутониха	2) публицисты.
Слоняй	3)
Ясам	1)
Первый старец	2) шамбелланы.
Казначей	3)
Поэт	
Отец-командир	Мажордом.
Философ	Герольд.

I

ХИЖИНА В ЛЕСУ

Лутоня, Лутониха, Слоняй (за сценой сту

Лутоня.

Кто там?

Слоняй (за сценой).

Добрый человек, впусти.
(Входит). Здесь в лесу сбился я с пути.
Глушь кругом, даже нет подчасков.
Обогрей, накорми, будь ласков.

Лутоня

Доложу милости твоей —
Ты в избе у простых людей.
Что дал бог — кушай вместе с нами.
Хоть изба не красна углами —
Пирогов нетути у нас:
Хлеб да квас — вот и весь сказ.

Лутониха.

Не взыщи на мужицкой речи:
Коль пришел, значит, издалече,

Отдохни, господин честной.
Мелет вздор муженек-ат мой.
Мы живем, как бог велел, примерно,
Разносолов нету — это верно...
Ну, а коли каша не претит,
Так садись — будешь пьян и сыт.

Слоняй.

Очень много вам благодарен.

Лутоня.

Ничего, не серчай, брат-барин.
Ты привык в хоромах тожь, чай,
С сахаром в накладку пить чай,
А не то и с ренсковым ромом —
Как живут господа полным домом.
Ну, а здесь, барин, не взыщи:
Рому нет — днем с огнем ищи.

Лутониха.

Господин, прости! Мой медведь
День-деньской готов волчьи песни петь.
Уж послал мне бог мужичище!
Что твой поп — завистливы глазища.
Ведь облом — камаринский мужик
Мелет, благо, без костей язык.
Хаяльщик! Готов хоть солнце хаять.
Не на што — так хоть на месяц лаять,
Истинно: одну знал песню волк,
Перенял и ту мужичий толк.

Лутоня.

Нет, небось, по твоему, хоть плохо —
Не тужи, Лутонюшка, не охай!
— Не тужи — когда нам в диво хлеб,
А похлебку варим мы из щеп;
Квас-ат пьем, да квас же и хлебаем.
Хлеб до голых рук мы доедаем.
С топором в лесу ты в красный день
Знай — торчи, как обгорелый пень.
Будь еще, Лутоня, благодарен,
Что с трудов твоих жиреет барин,
Не жалей ни рук, ни плеч, ни ног,
Чтобы работал брюхом лежебок!

Лутониха.

Ой, Лутоня, как тебе не стыдно!
Господину слушать, чай, обидно.
Коли гостя к нам послал господь,
Так грешно-те всякий вздор молоть.
(Слоняю). Будьте гостем: примем вас, как можем.
Чай, и мы не камни тоже гложем,
А что мелет мой-то муженек —
С дуру-то, как с дубу — не в попрек.

Слоняй.

Ты, любезный, думаешь, превратно.
Знатным вовсе жить не так приятно.
Мы несчастней бедных во сто раз.

Лутоня.

Вот те на!

Слоняй.

Своя печаль у нас.

Лутоня.

Понимаем: не было печали...

Лутониха.

Ой, Лутоня!

Лутоня.

Черти накачали!

Лутониха.

Ой, Лутоня!

Лутоня.

Барин-то шутник.
Тоже, значит, без костей язык.
Ха, ха, ха! Так мы счастливей?

Слоняй.

Верно.

Лутоня.

Ха, ха, ха! Хотел бы я, примерно,
Чтоб свое, господское житье
Променял ты, значит, на мое.

Слоняй.

Я согласен.

Лутониха (мужу).

Эка молвил сглупа.
Ты держись, вошь, своего тулупа!
Ты — своим добром, а мы — горбом.
(Слоняю) Полно, барин, ладно мы живем:
Знай сверчок...

Лутоня.

Молчи, когда нет смысла.
Бабий ум — что бабье коромысло.
Не кривому тут судить уму.
(Слоняю). Милость вашу сам я не пойму.
Будто вам взаправду надоело
День-деньской слоны слонять без дела?

Слоняй.

Надоело — если говорят!
Чтож мне делать — я и сам не рад.
Надоел мне шум неугомонный.

(Сбрасывает с себя плащ и остается в шитом золотом кафтане).

Лутониха.

Батюшки!

Лутоня (ей).

Мотри: позолоченный!



ГРУППА РЕДАКЦИИ «ИСКРЫ

Сидят (слева направо): М. М. Стопановский, Д. Д. Минаев, Н. С. Курочкин, Н. Ломан (Гнут), Н. А. Степанов, В. С. Курочкин Г. З. Елисеев и П. И. Вейнберг. Стоят: Н. В. Иевлев, художник Волков, композитор А. С. Даргомыжский, В. Тоблин, гравер Куренков и С. Н. Степанов.

С фотографии (1860 г.), хранящейся в Институте Новой Русской Литературы

Слоняй.

Я хочу свободы наконец.
Рано утром бросил я дворец —
Даже стены в нем мне надоели —
Наудачу я пошел без цели,
Так себе, куда глядят глаза,
Загнала к тебе меня гроза —
Значит, так сама судьба решила —
Отдаю я все, что мне постыло,
Если уж угодно так судьбе,
Все мои владения — тебе,
Меч, кафтан, корону и кольчугу
За твои лохмотья и лачугу.

Лутоня (низко кланяясь).

Буду век тебя благословлять.

Лутониха.

Как тебя не знаю величать —
Господин — прынц.. ваше благородье —
Не модель, чтобы экие угодья
Отошли да за мужичью голь!
Сам умом раскинуть соизволь:
Рад ломить мужик-ат сиволапый
Не токма-што в прынцы, а хошь в папы, —
А послушай бабьяго ума —
Иногда премудрость в нем сама:
Ой! Трудна работа, тяжеленька,
Для того, чья рученька беленька!

Слоняй.

Не боюсь я никаких трудов,
Целый день рубить дрова готов.
Самый тяжкий честный труд полезней
Праздности — болезни из болезней.
(к Лутоне) Веришь ли, с здоровым крепким сном
Десять лет как я уж не знаком.
Ерзаю напрасно на кровати...
Принимать уж стал chloral hydrati.
Что ни с'ем — сейчас выходит вон,
Устрицы ем только да бульон,
Да и то без вкуса, без охоты.
С горя я и стал искать работы:
Труд придаст мне снова бодрый вид
И воротит сон и аппетит...
(С наслаждением) Как бы я кваску с работы попил!

Лутониха (спокойно).

Квас — ништо! Кисленек, жаль, да тепел.

Слоняй (так же).

Черный хлеб фунтами стал бы есть...

Лутоня (так же).

Хлеб хорош, когда приварок есть.

Слоняй (так же).

Попросту! посыпав крупной солью.

Лутониха.

Да, хлеб с солью да водица голью.

Слоняй.

Не пивал воды я никогда,
А ведь может чистая вода
Быть лекарством внутренним и внешним.

Лутониха.

Жаль, с душком вода в колодце здешнем.

Слоняй.

Повара и гастрономы врут.
Лучший соус и жаркое — труд.
(Лутоне) Ну? Идет? Твой труд, мое безделье.
Я вот здесь справляю новоселье.
Ты ступай сейчас же во дворец!

Лутониха.

Мой мужик-ат? Сохрани творец!
Господин-прынц — величать не знаю —
Где ему уж? Наша хата с краю.
Лапотнику место во дворце —
Разве што на заднем на крыльце.

Лутоня.

Цыц! Твоя, Лутониха, дорога
Длинная — от печки до порога.
Нешто мне закажешь все пути?

Лутониха.

Я на ум хотела навести.

Лутоня.

Бабий ум! Я, чай, не с проходимцем
Говорю, а с господином-прынцем.
(Слоняю) По рукам?

Лутониха.

Куды ты, лиходей!
Обожди смешить честных людей.
Прынц-Лутоня! Спал ли ты сегодня?

Лутоня.

Коли воля такова господня —
Как же мы насупротив пойдем?
Царь Давид был тоже пастухом.

Лутониха.

То-то, прынц — и с разума и с виду.
Приравнял себя к царю Давиду!
Царь Давид разбил народов тьмы...

Лутоня.

Обожди, управимся и мы!
Ведомость не в диво для Лутони.

Лутониха.

Ведомость?

Лутоня.

Под нумером, в законе.
Кажный день выходит в ей картёж.
Мы читали...

Лутониха.

Ой, Лутоня, врешь!

Лутоня.

Что мне врать? Небось, с дьячком читали.
Летось прынцы в город наш в'езжали...

Лутониха.

Ну?

Лутоня.

Так мне дьячек и прочитал
И картёж и целермуреням,
Как ходить, как ездить с этикетой.
Я знаком с политикою этой.

Лутониха.

Ишь слова без разуму дались.
Выше носа нюхаешь — сморкнись!

Лутоня.

Цыц! Не пикнуть!

Лутониха.

Так и замолчала.

Лутоня.

Глупая, пойдем спервоначала
Во дворец-ат.

Лутониха.

Думала! Пойдем!

Лутоня.

Коли, значит, не итти вдвоем...

Лутониха.

Так нейдешь? Вот так то больше складу.

Лутоня.

Коли так — один на троне сяду!

Слоняй.

Гей, Ясам! Иди сюда, Ясам.

Те же, Ясам (входит).

Ясам.

Ваше светлость, что угодно вам?

Слоняй.

Об'яви, немедля, всенародно,
Что сегодня мне благоугодно
Все дворцы, фруктовые сады,
С рыбами озера и пруды
И поля со всяким хлебом тоже
(Указывая на Лутоню)
Подарить вот этой глупой роже.
Такожде дарую: всех шутов,
Всех собак, квартальных и жрецов,
Прокуроров, адвокатов-пьявиц,
Все конюшни и тебя, мерзавец.
Понимаешь?

Ясам.

Слушаю-с.

Слоняй

Молчи!
Вот от всех дворцов моих ключи...
(Выбрасывает ключи и поворачивается к Лутоне, указывая на Ясама.)
Принц Лутоня! Эта вот скотина
Первого в моих владеньях чина,
Евнух, сводник, ростовщик и шут,
Первый визирь и первейший плут.
Он полезный человек, бывалый.
Воровство — порок в нем самый малый.
И за то угодно было нам,
То есть, мне, назвать его Ясам,
То есть: сам я. Действуя неправо,
Он во всем мне был рукою правой.
Бей его, но совещайся с ним,
И да будет он тобой самим.
(Ясаму) Грабь, каналья, восемь дней в неделе.
(Махнув обоими руками)
Ну, идите к чорту! Надоели!
(Подходит к Лутонихе)
Ну, а ты, Лутониха, друг мой,
Остаешься, что ли, здесь со мной?
Поживем, потрудимся, потужим...

Лутониха.

Нет, зачем же? Я уж лучше с мужем,
Коль послал господь такую шаль...
Глупого-то вдвое больше жаль.

Лутоня.

Муж с женою, что вода с мукою.
Извините, прынц, обеспокою:
Как вас звать?

Слоняй.

Я звался принц Слоняй.
Покорили предки этот край.
Он зовется «Не любо — не слушай»
И лежит на мысе «Бей баклуши».
А теперь простой я дворянин.
Властелин на мысе ты один.
Восседай с достоинством на троне.
Честь тебе и слава, принц Лутоня!

II

ЗАЛ ВО ДВОРЦЕ

Лутоня — в одежде принца на троне. Лутониха возле него. Входят Ясам, за ним шамбелланы

Лутоня.

Гей! Иди сюда, Ясам второй.
Я доволен, братец мой, тобой.
Мне пришлась по голове корона.
Эка шапка! Первый сорт для трона.

Как на печке, в горнице тепло.
Пол-ат склизкий, что твое стекло.
Трон-ат мягкий. Диво ли, что в свете
Бой идет за роскоши за эти.

Л у т о н и х а.

Так-то мягок, что спала б весь день.
Тут и царством править, быдто б, лень.

Я с а м.

Ваша светлость! Время наступает
Выхода большого. Подобает,
Чтоб супруга ваша в сей момент
Удалилась в свой аппартамент.

Л у т о н я.

Отчего же, братец мой, без бабы?
И она, чай, посидеть могла бы.

Я с а м.

Ваша светлость, это этикет.

Л у т о н я.

Этикета? (жене) Так уйди, мой свет.

Я с а м.

Шамбелланы, подходите к трону.
(Лутоне)
Соизвольте, принц, надеть корону.

Л у т о н я.

И без шапки, братец мой, жара.
Я надену, как придет пора.

Я с а м.

Ваша светлость, не дано вам права
Этикета нарушать устава.

Л у т о н я.

Этикеты? Ладно, коли так.
(Неловко надевает корону).
Помоги ж, осел, надеть колпак.

1-й ш а б е л л а н (тихо).

Кланяйся пред этаким холопом!

2-й (тоже).

Остолоп, так смотрит остолопом.

3-й (тоже).

Из лесу, так срублен топором.

П о э т (тоже).

Мужичишко, дрянью дрянь, облом!

1-й (подходя к Лутоне, громко).

Ваша светлость, мудрый сын Минервы,
Вас почтить за долг почел я первый.

2-й (тоже).

Вашу светлость первый горячо
Лобызать осмелюсь я в плечо.

3-й (тоже).

К вашим туфлям, ваша светлость, ныне
Приложусь я первый, как к святыне.

Поэт (тоже).

Первый я потомству и векам
Имя вашей светлости предам.

(Поэт, играя на лире)

Суровым вечером палящее светило
За черной тучею на запад уходило;
На всю вселенную простерлась ночи мгла,
Но наша родина, как день, была светла.
Мы ясно видели на дальнем небосклоне
Слиянье всех светил во образе Лутони.
Когда же с кесарской Лутонихи звезда
Смежилась — се! зима исчезла без следа!

Лутоня (в сторону).

Раскуси, поди-ка, в чем тут сила.
А умеет, леший, влезть без мыла,
В этикете, нечего сказать.

Ясам (Лутоне).

Следует господ-дворян обнять.

СТРАНИЦА РУКОПИСИ В. С. КУРОЧКИНА «СТАРЫЙ КАПРАЛ» (ПЕРЕВОД ИЗ БЕРАНЖЕ)

С подлинника, хранящегося в Институте Новой Русской Литературы

Лутоня.

Поцелуй под носом — не в кармане.
(Шамбелланам).
Обоймемся, господа-дворяне!

Ясам.

В вашу честь сложивши свой куплет,
Перстня с бриллиантом ждет поэт.

Лутоня.

За вранье-то это бриллианты?
Дороговньки при дворе таланты.

Ясам.

Принц, извольте помнить этикет.

Лутоня.

Этикету? (Поэту) Господин поэт,

Получите! (дает перстень) Только уж оставьте,
Напредки других болванов славьте.

Те же, Старец и Казначей.

Казначей.

Суд и право!

Старец.

Прав Изидин суд!

Казначей.

Чорт седой! Долговолосый шут!

Старец.

Мерзкая лягушка из болота!
Адовы утроба и ворота!

Ясам.

Ваша светлость, это казначей
Бей не палкой, а копейкой бей,
С ним воюет, как вода и суша,
Первый старец в «Нелюбо не слушай».

Старец.

Первый старец — истинно, мой сын,
Небеса я ведаю один.
Жрец я Озириса, Сераписа,
С головой собачьей Анубиса,
Жрец Бубасты кошки, жрец быка
Аписа, Ра — солнца, Фты — жука,
Жрец мартышки — Гамадрилла, Сона,
Ибиса и мыши Фараона.

Казначей.

Титулы-то все ли отхватал?
Принц, один мой титул — капитал,
Но он главный, в наши дни налоги
Платят все: народ, жрецы и боги.
Мы живем и веруем в кредит...
Ваша светлость, пусть же замолчит
Этот жрец кошачий и собачий.

Старец.

Несчастливец! Замолчи обаче!

Лутоня.

Помолчите оба, господа,
Коль хотите моего суда.
А то на-кось! лают, как собаки.
Чай пришли вы не к судье Шемяке!
Спорят, вздорят — леший разберет!
Говорите каждый в свой черед.

Старец.

Принц, извольте удалить от трона
Мерзкое исчадие Тифона.

Казначей.

Принц, извольте выгнать из дворца
Допотопных выдумок жреца.

Старец.

Или я в отместку за обиды
Прокляну вас именем Изиды.

Казначей.

Или я обиды не стерплю —
И казною печку затоплю!

Лутоня.

Рассудите, господа вельможи:
Ведь и мне не сладок выбор тоже.
Экие напасти с двух сторон:
Или проклят, или разорен!

Оба вместе.

Или, принц, усугубленным мщеньем
Упадет проклятье с разореньем!

Лутоня.

Тьфу ты, леший! Вот и выбирай!
Стало быть, и во дворце не рай.

Казначей.

Ваша светлость!

Старец.

Выслушай, мой сыне.

Казначей.

Нынче утром...

Старец.

Сын мой, утром ныне...

Казначей.

Во дворец с докладом я входил —
Вдруг ползет вот этот крокодил...

Старец.

У крыльца встречаюсь с этой харей —
Хуже нет ни в Хиве, ни в Бухаре.

Казначей.

Принц, представьте: норовит вперед!

Старец.

Принц, представьте: первым так и прет!

Казначей.

Лезет первый! Слышите ли: первый!

Старец.

И чтоб я шел сзади этой стервы!

Казначей.

Или нет ни званий, ни чинов!

Старец.

Нет скотов священных, нет богов!

Казначей.

Дисциплины, армии, закона!

Старец.

Озириса, Нейфы, Ихневмона!

Казначей.

Принц, судите...

Старец.

Сын мой, в пять минут...
Рассуди.

Казначей.

В минуту.

Старец.

Здесь!

Казначей.

Вот тут!

Лутоня.

Первым делом, господа вельможи:
Перед принцем ссориться не гоже.
Здесь дворец, поймите — не кабак...
А второе: рассуждаю так:
Слушать вас и горе-то и смех-то!
Шли бы вы, как ходят вдоль пришпехта
Рядышком, примерно муж с женой,
Хошь под ручку, хошь рука с рукой.

Поэт (играет на лире)

Се — сама премудрость, се — Минервин лик.
Се — сам Ибис — цапля, се — сам Апис-бык.
Буйные — изыде!
Кроткие, услышь:
Се речет к Изиде.
Фараона мышь.
Се — воссел на троне
С Нейфой Ихневмон —
Юный принц Лутоня,
Мудрый Соломон...

Шамбелланы.

Bravo! bis! (в сторону). Проклятый рифмоплет!

Ясам.

Ваша светлость! Псалмопевец ждет
Поощренья, гения по мерке,
Золотой в алмазах табакерки.

Лутоня (дает табакерку).

Получите, господин поэт (вслед ему),
Коль уже стыда в глазищах нет.

(Старец и казначей в дверях).

Казначей.

Становись же, что ли, моська, слева.

Старец.

Берегись священной цапли гнева!

Казначей.

Берегись, чтоб я те не загнул.

Старец.

Нигилист! Разбойник! Караул!

Казначей.

Вспомнишь, брат, и цаплю и аиста!

Старец.

Озирис! Спаси от нигилиста!

Лутоня.

Вы опять — кому быть впереди?
Сказанно: как муж с женой ходи.

Старец.

Сын мой, сам ты рассуди, нельзя же,
Чтоб нам честь была одна и та же.
Место справа подлежит жрецу,
Как почет духовному лицу.
Так велось в древнейшие эпохи,
При покойном...

Казначей.

При царе Горохе.
В наши дни — прогресс и капитал.

Лутоня.

Эки черти! Чорт бы вас побрал!
Лысый пес дерется с кошкой чахлой!
Чтобы духом вашим здесь не пахло —
Слева, справа, разом с двух сторон —
С глаз моих, в одну секунду вон!

(Старец и казначей бегут и дерутся).

Поэт (играя на лире).

Се!
Страшен Лутоня в грозной красе!
Очи разверзнет — Кнуфовы очи
В день обращают мрачные ночи,
Склонит их долу — в сумрак ночей
Блеск претворяет солнца лучей.
Се! Трепещите! Се — в хаос и мрак
Мир повергает Кесаря зрак! [1]

[1] В бумагах покойного В. С. Курочкина найден мною и другой вариант этой оды.

Се! Воспою Лутони гнев!
На трон для славы нашей сев,
Лутоня кротостью повит.
Когда ж в нем вспыхнет гнев, созрев,
Рыкает грозно он, как лев,
И прегрешивших не щадит.

(Примечание Н. С. Курочкина).

Лутоня.

Ты опять? Пошел же вон отсюда,
Чортов сын!

Шамбелланы.

Вон гадина, паскуда!
Жук навозный! Прокаженный шут!
Вон отсюда, подлый лизоблюд!

(Бьют поэта палками и прогоняют).

Первый шамбеллан (Лутоне).

Ваша светлость поступили с тактом.
Просвещенный взгляд ваш этим фактом
Обнаружен. Выгнан негодяй...
Как терпел доселе принц Слоняй?
Расточал ему почет и ласки —
А за что? За то, что пел коляски,
Дрожки, упряжь, сбрую, лошадей...

2-й.

От простого звания людей,
Как теперь зовут «меньшого брата»,
Что и ждать-то окромя разврата?
Ваша светлость, честь и слава вам,
Что с позором изгнан подлый хам!

3-й.

За версту несет от хама хамом.
Ваша светлость! Мудро в корне самом
Вырвали траву дурную вон.
Лезет во дворец со всех сторон
Всякий неуч, лапотник, аршинник,
Целовальник, дровосек и блинник.

Лутоня.

Ну, уж это милость ваша врет —
Дровосек не трогает господ!

1-й.

Ваша светлость о подобной дряни
Неприлично думать в вашем сане.
В городах еще туды-сюды
Не видать мужичьей бороды —
Хоть с немецким платьем все знакомы,
В деревнях так уже совсем обломы.

НА КАРИКАТУРЕ «КОНЦЕРТ БУДУЩЕЙ МУЗЫКИ В ПОЛЬЗУ ДОСТАТОЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ» ИЗОБРАЖЕНЫ:

Рядом с дирижирующим скелетом изображена группа журнала «Искра»: ее редактор Курочкин, карикатурист Н. Степанов и откупщик-меценат Кокорев, субсидировавший издание. Внизу в правом углу: трубач Некрасов, сидящий верхом на козле с бутылкой шампанского, барабанщик Утин и фаготист Усов. Центральную группу образуют: певец Бенедиктов, скрипач М. М. Достоевский, тромбонист Панаев, контрабасист Писемский. Слева критики Зотов и Серов, вооруженные гусиными перьями. Над ними в окне кассы Тургенев, один из учредителей «Общества». Рядом верхом на перьях поэты-переводчики Вейнберг (Гейне из Тамбова) и Ман.



КАРИКАТУРА НА ЛИТЕРАТОРОВ И ЖУРНАЛИСТОВ 60-х ГГ., СДЕЛАННАЯ В СВЯЗИ С УЧРЕЖДЕНИЕМ «ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ НЕДОСТАТОЧНЫМ ЛИТЕРАТОРАМ И УЧЕНЫМ».

С экземпляра, хранящегося в гравюрном кабинете Музея Изящных Искусств

Лутоня.

Да мужик-ат поит-кормит вас!
Буде врать-то! Замолчать сейчас!
Первого, кто пикнет — так и двину.

Ясам (удерживая его).

Ваша светлость сообразно чину...

Лутоня.

Так ты — первый? Ты? второй я сам?

Ясам.

Этикет не возбраняет вам
Обучать придворных, но умненько,
Отчески, келейно, вежливенько.

Лутоня.

Вежливенько! Дуй тебя горой!
Да на кой ты чорт Я сам второй,
Коли с сердцем мне чинить по нраву
Не даешь, как следует, расправу!
То надень им шапку, на-поди!
То, как пень, на выставке сиди,
Награждай поэта-попрошайку
И не смей сажать с собой хозяйку;
Лысый бес грозит тебя проклясть,
Крючкотворец старый — обокрасть,
И грызутся словно быдто звери,
Что войти не могут разом в двери,
Тут придворных шелопаев сброд, —
Без стыда хулят простой народ:
— Мужичье, мол! хамы да обломы!
Благо сами заползли в хоромы!
Будет вам, ужо — мужик-облом!
Вон, каналья, из моих хором!
А не то возьму вот эту палку,
Да как всех пойду лупить в повалку,
Не щадя господских вашин спин!...

Шамбелланы (убегая).

Всех прибьешь — останешься один!

III

СТОЛОВАЯ ВО ДВОРЦЕ

Лутоня, Мажордом, потом 1-й публицист

Лутоня.

Ну их всех! Ушли! Теперь с охотки
Хорошо б маненько выпить водки!
Заморили с самого утра!
Чай, давно ужь полдничать пора!

(Мажордому).

Эй ты, милый человече, живо!
Подавай закуску, водку, пиво —
Все, что есть в печи, на стол мечи!

Мажордом.

Ваша светлость, публицист...

Лутоня.

Молчи.

Мажордом.

Публицист пришел...

Лутоня.

Неси закуску!

Мажордом.

Он желает...

Лутоня.

Взять его в кутузку!

Мажордом.

Он с доносом...

Лутоня.

Засадить сейчас!

Мажордом (растворяя публицисту дверь).

Принц просить к себе изволят вас.

Лутоня.

Я сказал...

Мажордом.

При важности доноса
Без доклада входят и без спроса.

Лутоня.

Не донос мне нужен, а еда...

Мажордом.

Принц, донос важней всего всегда!

1-й публицист (входит).

Ваша светлость, первый я газетчик,
Тайных ков, подпольных смут разведчик.
Честь имею донести: поэт
Сочинил в стихах на вас памфлет.

Лутоня.

Давишний-то лазарь-попрошайка?

1-й публицист.

Вместе с ним дворян преступных шайка,
Удаленных ныне из дворца,
Против вашей светлости лица
Замышляя заговоры, ковы,
В бунт открытый перейти готовы!...

Лутоня.

В кандалы!

1-й публицист.

Принц, с ними казначей
«Бей не палкой, а копейкой бей»,
Овладев казенной вашей кассой,
Поставляет банде хлеб и мясо.

Лутоня.

Плут!

1-й публицист.

Он воплощал в себе кредит,
А кредит при деньгах не вредит,
А без денег только он и в силе.
Ваша светлость дурно поступили,
Выгнав казначея.

Лутоня.

Чорт ли в том!
Сам я крепок задним-ат умом.
Делать что — скажи.

1-й публицист.

Спасать основы.

Лутоня.

Ну?

1-й публицист.

Извольте, первым долгом, новый,
Для сего комиссию созвав,
Дисциплины начертать устав,
Разогнать, притиснув и прижав,
Подвижной правительства состав,
Так, чтобы, в соображенье взяв
Званье, род, сословье, чин и нрав,
Не было б близ трона человека
Возрастом моложе полувека.

Лутоня.

Всех прогнать велишь мне? Так и сам
Убирайся вон, ко всем чертям!

(Лакеям).

Есть давайте! Их не переслушать!

Те же, 2-й публицист.

2-й публицист (входя).

Ваша светлость, не извольте кушать.
На коленях смею донести...

Лутоня.

Да вставай! Чего тут пол мести!

2-й публицист.

Ваша светлость, как официозный
Журналист, донос пространный, грозный,
Честь имею ныне преподнесть.

Лутоня.

Леший, дьявол! Дай хоша поесть —
Или худо будет.

2-й публицист.

Будет худо,
Только, принц, дотроньтесь хоть до блюда...

Лутоня.

До тебя дотронусь — будешь худ!
Ребра все переломаю, плут!

2-й публицист.

Принц, мы все, как под богом, под вами:
Розгами, нагайками, плетями,
Принц, казни — но выслушай вперед:
Не бери куска сегодня в рот!

Лутоня.

Да скажи хоть...

2-й публицист.

Умоляю снова:
Не касайтесь вовсе до с'естного.

Лутоня.

Об'ясни ж мне толком, наконец.

2-й публицист.

Ваша светлость, в древности мудрец
Прорицал, что украшает троны
Более, чем скиптры и короны
Добродетель, коей в наши дни
Ваша светлость служите одни.
Ибо, что мы ныне примечаем?
Патриарх, поставленный над краем,
В качестве оплота против зла —
Верное подобие козла
В огороде... то бишь в вертограде.

(Таинственно).

Я далек от мысли о награде,
Но шепну, спасая вас и край:
Первый старец — первый негодяй.

Лутоня.

Леший! Дьявол! Убирайся к чорту!
Есть хочу, а вместо ложки ко рту,
То и дело прынцу тычет в нос
Плут на плута пасквильный донос.
Эй! Давай обедать! Люди, черти!

2-й публицист.

Принц, рабу нижайшему поверьте:
Ваш обед отравлен.

Лутоня.

Что ты? Как?

2-й публицист.

В хлебе, супе, в соусе мышьяк.

Лутоня.

Кем отравлен? Где мой старший повар?

2-й публицист.

Старший повар — в кухне общий говор —
Буде не совсем еще издох,

Пролежит три дня без задних ног.
Первый старец чуть не четверть водки
Приобщил его бездонной глотке.

Лутоня.

Первый старец?

2-й публицист.

С пьяным вслед за сим
Обменялся платьем он своим
(Мрачно).
И под курткой поварскою белой,
Черный план пустил спокойно в дело.

Лутоня.

А чего смотрели повара,
Судомойки, прачки, кучера?

2-й публицист.

Вашу светлость, отравляя ядом,
Первый старец встал к прислуге задом.
А у старцев — кто-ж тут виноват?
С поварами одинакий зад.

Лутоня.

Черти все — и спереди и сзади —
В поварском, в господском ли наряде!
И с чего он?

2-й публицист.

Ваша светлость, он
Вами здесь глубоко оскорблен.
Неприлично старцу, хоть злодею,
Уступать дорогу казначею.

Лутоня.

Так за это отравляет, слышь,
Первый старец, прынца, словно мышь.
Ну, хорош молельщик и предстатель!
Отравитель, изверг и предатель!
Я теперь, изволь-ка, голодай!
Удружил, спасибо принц Слоняй!
Ах, когда б заране знать да ведать!
Черти! Гей! Неси сейчас обедать!
Каково! И ухом не ведут
Господа лакеи. Где же плут,
Где Ясам второй, каналья первый?

2-й публицист.

Ваша светлость раздражите нервы
Понапрасну. Не придет Ясам.

Лутоня.

Он ушел?

2-й публицист.

По собственным делам.
Он хлопочет, чтобы в связи тесной
С вашею супругой жить совместно.

Лутоня.

Что ты врешь? С Лутонихой моей?

2-й публицист.

Вожделеньем он сгорает к ней.

Лутоня.

И она с ним?

2-й публицист.

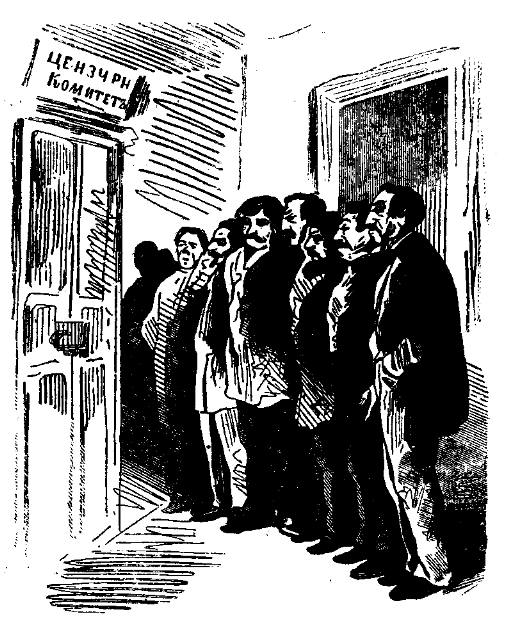
Утверждать не смею,
Что она с ним; он, однако, с нею.

Лутоня.

Значит...?!

2-й публицист.

Ваша светлость, виноват:
Принц Слоняй, однако, был рогат.



«РЕДАКТОРЫ ЖУРНАЛОВ ОТСТАИВАЮТ СВОИ СТАТЬИ»
Карикатура «Искры» 1862 г., № 32. Изображены: на переднем плане Н. Некрасов, за ним А. Краевский, В. Курочкин, С. Громека и М. Достоевский

Лутоня.

А! Так вот Ясам какого чина!
Захотела эта образина
Быть во всем, взаправду, мной самим!
Погоди же! Я расправлюсь с ним!

2-й публицист.

Принц, уж поздно.

Лутоня.

Поздно?

2-й публицист.

Тронуть вожжи
Кучер в полдень должен был — не позже.

Лутоня.

Он уехал?

2-й публицист.

С нею, не один —
Как у Гете, знаете? — dahin!

Лутоня.

Так чего ж ты мне точил балясы?

2-й публицист.

Первым делом, для спасенья расы,
Ваша светлость, чтобы принц был жив,
А второй и главный мой мотив:
Во вниманье взяв, что зла прогресса
Ангел наш, Лутониха-принцесса,
Не избегла, чистая вполне —
Вымолить, чтоб ваша светлость мне
Подписали строчку... нет! не строчку....

(На коленях).

А к прогрессу точку — только точку!

Лутоня.

Ах, ты, шут юродивый, шальной!

(Бьет его).

На, вот точка! На, вот с запятой!

(2-й публицист плачет).

Экой дурень! Присмирел, дружочек,
Мог бы я наставить много точек
На твоей, на глупой на спине —
Да дурак ты — значит, нужен мне.
Марш в погоню! Сядь на вороного!

(В догонку).

Да пришли хоть что-нибудь с'естного.

Те же, Отец-командир, потом Герольд

Отец-командир (входя).

Бить тревогу! Строиться в каре!

Лутоня.

Что случилось?

Отец-командир.

Ружья на пере-
Вес! Равняйсь! Дирекция направо!
Арш!

Лутоня.

Да кто он?

3-й публицист.

Наша честь и слава.
Командир всех наших войск.

Отец-командир.

На ру-
Ку!

3-й публицист.

Пришел, так значит не к добру.

Отец-командир.

Кладсь! Пли! Жай!

3-й публицист.

Страшатся командира
Больше, чем в бою, во время мира.
Десять тысяч с лишком мусульман,
И пятнадцать тысяч душ крестьян
Положил костьми, своей рукою...
Ужь пришел, так с весточкой дурною

Отец-командир

Стой-равняйсь!

Лутоня.

Едва ль страшнее чорт!

3-й публицист.

Принц, извольте выслушать рапорт.

Отец-командир (рапортует).

Ваша светлость! Все благополучно
Обстоит. Сейчас собственноручно
Усмирять я буду у ворот
Пред дворцом собравшийся народ.

Лутоня.

Бунт?

3-й публицист.

Бунт?

Мажордом.

Бунт?

Отец-командир.

Так точно: бунт народный.
Просит хлеба всякий сброд голодный.

Лутоня.

Знамо дело: всякий хочет есть.

Отец-командир.

Как же смеют прямо к принцу лезть?
У! Мужланы! Покормить их мне бы!

Лутоня.

Хлеб родится для мирской потребы.
Я отец народу — не злодей.

Герольд (народу, в окно).

Принц пришлет горячих калачей!

Отец-командир.

Розгачей-бы!

Лутоня.

Что?

Отец-командир.

Я — сам с собою.

(Шум и волнение за сценой усиливаются).

Лутоня.

Что опять там?

Герольд.

Голосят гурьбою:
Пить хотят.

Лутоня.

И водка им нужна?

Герольд (в окно).

Принц велел вам выкатить вина!

(Шум еще усиливается).

Лутоня.

Что еще?

Герольд.

Гуторят: принц-надежа,
Оченно плоха у нас одежа.

Лутоня.

Без одежи как же работать?
Дать одежу!

(Шум растет).

Что еще опять?

Герольд.

Требуют для жен своих и дочек
Кринолинов, вышитых сорочек.

Лутоня.

Ну, ужь это милость ваша врет:
Этого не требует народ.

Герольд.

Требуют для деток зимних кенег
И для светских развлечений денег.

Лутоня.

Что за притча! Вот народ чудной!

Герольд.

Требуют театров всей толпой!

Лутоня.

Что для них, в шуты пойду я, што ли?
Накормил, одел — чего ж·им боле?

Герольд.

Ваша светлость! К этому всему
Требует народ, чтоб вы ему
Отдали все аттрибуты власти:
Меч, корону, скипетр.

Лутоня.

Вот напасти!

Отец-командир.

Молодцы-ребятушки, ура!
Дать урок горяченький пора
Либеральным принцам-демократам,
Лебезящим перед младшим братом!

Лутоня.

Это ты? Отец-то командир?

Отец-командир.

Ваша светлость: это мой мундир.
Есть такая басенка Крылова:
Не теряйте по пустому слова,
Там, где нужно власть употребить:
Сечь, стрелять, колоть, палить, рубить.
Пусть ревут сироты, старцы, вдовы —
Были б только спасены основы.

Лутоня.

Командир, не верен твой расчет:
Чай, лежит в основе-то народ,
А как всех заколешь, да зарубишь —
Так основу, значит, и загубишь.

Те же, Философ.

Философ (входя).

Так вещает истина сама
Выводом Лутонина ума.
Истинно: народ есть основанье
И за тем общественное зданье
Вертикально принимает вид
Хаосообразных пирамид,
Разделенных правильно и вечно
Как продольно, так и поперечно.

Лутоня (герольду).

Землемер он, што ли, аль из тех,
Что, вон, строют?

Герольд.

Принц, он выше всех.
К построеньям лишь в пространстве склонен.
Он мудрец египетский — Астронин.
Астра — солнце. Нин. — должно быть Нин
По-халдейски значит: гражданин.
Он в Египте снял покров с Изиды,
Изучив на месте пирамиды.

Лутоня (философу)

Что ж нам делать, господин мудрец?

Философ.

Совместить начало и конец —
Разделить хаос на два хаоса.
Вот одно решение вопроса
В области динамики — и два,
Обратимся к статике едва.
Ибо мы, пирамиду построя
Для движенья, можем для покоя
Начертать горизонтально круг.
Этот круг, с пирáмидой сам друг,
В конусе — дает прогресс с застоем

Лутоня.

Да народ, ат как мы успокоим?

Философ.

Стоит только, чтоб смирить народ,
Конусу дать должный оборот,
Ибо в нем совмещена двоякость...

Лутоня (в сторону).

Хоть бы слово понял — эка пакость!

Философ.

В конусе — движенье и покой.
А закон один, весьма простой,
Аналогий единиц и множеств,
Всех иноя́дестве, тождеств и таковдеств,
Всех времен, народностей, систем,
Государств центральных — и затем
Диоцезов, графств, провинций, штатов,
Префектур, кантонов, комитатов,

Округов, сатрапий, фил и триб —
Для людей, животных, птиц, для рыб,
Для червей, амфибий и полипов, —
Для отдельных особей и типов,
На земле — сдается даже мне —
На других планетах: на луне,
На Сатурне, Марсе, на Венере —
С разницей в диаметре, в размере,
Но закон движения один:
Пирамида — или, проще: клин —
Клин за клином...

Лутоня.

Выбивать клин клином,
Что ли?

Философ.

Нет. Но в хаосе едином,
Разделенном на два — чтобы вдруг
Не упал пирамидальный круг,
Но вращался круглой пирамидой,
Под надежной вашею эгидой,
Чтобы, стоя, двигался народ —
Надлежит к стремящимся вперед,
Следуя примеру мудрых наций,
Применить закон экскорпораций.
Кто вперед — сейчас из ряду вон!
Реактивной акции закон
Не щадит для смелых построений
Областей и целых поколений.

(Восторженно).

Принц Лутоня! Вы — прогресса ось.
Государство — конус, как ни брось
Кверху ль, книзу ль — будет в каждом виде
В круге — центр, вершина — в пирамиде.
Ваша светлость! Пусть же весь народ
Вокруг вас завертится вперед.

Лутоня (в сторону, размышляя)

Я не понял...

Философ (в сторону)

Я польстил не дурно.
(Вслух) Принц!... И то сказал я не цензурно.

(Гордо).

Но я тем потомству буду мил,
Что с улыбкой правду говорил.

Те же, три публициста.

1-й

Принц!

2-й

Принц!

3-й

Принц!

Лутоня.

Вы что еще, уроды?

1-й

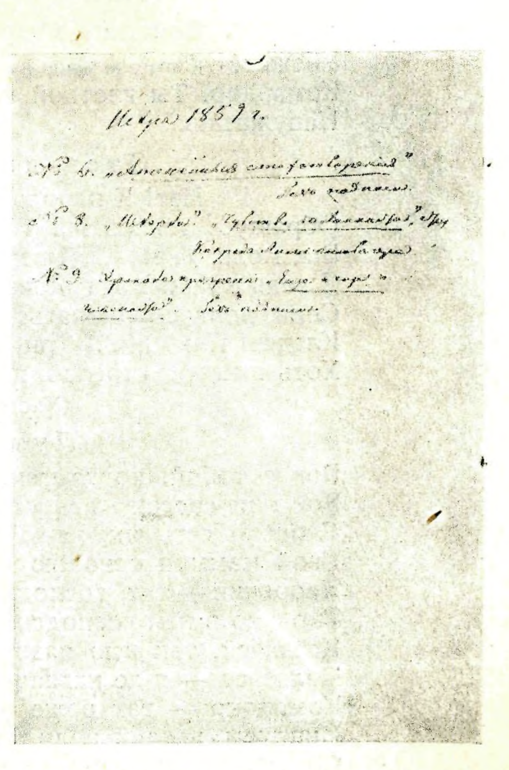
Государь...

2-й

Все выходы...

3-й

Все входы...


Искра 1859 г.
№ 6. ... Без подписи.
№ 8. ...
№ 9 ... Без подписи.

ПИСЬМО В. С. КУРОЧКИНА К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ ОТ 5 МАРТА 1862 ГОДА. НА ОБОРОТЕ ПИСЬМА ДАН ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА, НАПЕЧАТАННЫХ В «ИСКРЕ»

С подлинника, хранящегося в Институте Новой Русской Литературы

1-й

Заняты...

2-й

С рогатиной...

3-й

С дубьем...

Лутоня (гневно философу).

Это ты морочил здесь враньем!!
Чорт!

Философ (спокойно).

Нет, принц. Есть в конусе текучесть,
Государств решающая учесть;
Все равно: тиран, народ, палач —
Сильным будь — задача всех задач!

Лутоня.

Замолчи!

Философ (продолжает).

Сословных, уголовных
И — тем паче — конусо-верховных!

Лутоня (замахиваясь).

Я тебя!...

(Философ убегает).

Воистину мудрец —
Убежал. (К отцу командиру). Ну, выручай, отец-
Командир. Ты глоткой, что картечью,
Напужаешь...

Отец-командир.

Нет! К народу с речью
Обращусь теперь я... Так и так...
Вы, мол... Я, мол... Я ведь не дурак.
Я ведь храбр и в голове и в тыле.
Силы долг повиноваться силе.
Кладсь! Пли! Жай! Три темпа. Тот же счет,
Хоть в народ стреляй, хоть за народ.

(Уходит, смеясь).

Лутоня.

Бог с тобой, когда такой суровый!
Вот они спасают как основы!
Сколько есть их, каждый свой живот,
Свой маммон основою зовет.
Дворянин — так, господи, ты веси,
Сколько в нем господской этой спеси!
Казначей, так всю казну своей
Полагает — я-де казначей!
Командир — так роже богомерзкой
Нипочем, потехи ради зверской,
Сокрушить все царство, весь народ.
Кто тут гаже — чорт их разберет!
Да еще недоставало сраму —
И жена достанется Ясаму!
Ну их всех! Юродивый мудрец
Прокаженный лазарь, первый жрец —
Отравитель, изверг! Эки страсти!
Дай бог ноги! Не хочу и власти!
Тот же лес, что наш сосновый бор —
Так домой, Лутоня, за топор!

IV

ОТДЕЛЬНАЯ КОМНАТА ВО ДВОРЕ

Лутоня (один).

Нет тебя, Лутониха, со мною!
Некого мне звать теперь женою.
Заливаюсь я потоком слез,
Хошь бы ветер весточку принес

Хошь бы птичка мне прощебетала,
Где моя голубка запропала!
Чуяла ты ноне поутру,
Что дурить я вздумал не к добру,
Говорила, что не будет ладу.
Я сказал: один на троне сяду!
Истинно: один на троне сел —
И жену и царство проглядел!
Без тебя, желанная, Лутоне
Счастья нет, хоть в золотой короне,
И как перст, весь век свой одинок,
Буду лить горячих слез поток.

Лутоня, Мажордом.

Мажордом.

Ваша светлость...

Лутоня.

Буде врать, любезный!
Титулы мне ноне бесполезны.
Ваш дворец мне, как тюрьма, постыл...
Я — Лутоня, как и прежде был.

Мажордом.

Принц, толпа народа завладела
Всем дворцом...

Лутоня.

Так что ж, голубчик? Дело!
Пусть его хоть свалит, хоть сожжет.

Мажордом.

Депутата к вам прислал народ.

Лутоня.

Милый мой! Пущай без депутата
Все возьмут. Что взято, то и свято.

Мажордом.

Ваша светлость, вот и депутат.

Лутоня, Слоняй.

Слоняй.

Принц, извольте выслушать доклад.

Лутоня.

Принц Слоняй?

Слоняй.

Так точно, принц, мне лестно,
Что моя фамилья вам известна.

Лутоня.

Что за чорт!

Слоняй.

Там чорт или не чорт —
А короток будет мой рапорт.
Ваша светлость, я с дурною вестью.
Вон отсюда! Принц, вас просят честью.

Лутоня.

Я с охотой...

Слоняй.

Ну, мой друг, прощай!

Лутоня.

Что за притча! Господин Слоняй —
Вы-то как здесь?

Слоняй.

Я начальник в банде.
Все восстанье по моей команде.

Лутоня.

От часу не легче! Да к чему
Бунтовать вам было — не пойму.

Слоняй.

Чтобы трон свой возвратить — хоть силой.

Лутоня.

Да вольно ж его бросать вам было!

Слоняй.

Отвечай невеждам, мужикам!
Бросил сам — и возвращаю сам!
Хоть во мне мочалки, а не нервы —
В государстве все-таки я первый!
Принцем был, так принцем и умру.
Сам в хандре — и всех вгоню в хандру.
Ты прочти историю Нерона,
Так поймешь все обоянье трона.
Нет уж в лес вперед не побегу.
Захочу — все города сожгу.
Захочу — так с нынешним прогрессом,
Сделаю все царство темным лесом.
Лес ко мне — не я к нему приду.
Захочу при жизни быть в аду —
Сделаю из царства ад кромешный...

Лутоня.

Ну тебя! Угомонись, сердешный!
Это ли тебе еще не ад?
Я уйду — ведь я и сам не рад.

НА КАРИКАТУРЕ «КОНЦЕРТ РУССКОЙ ПЕЧАТИ» ИЗОБРАЖЕНЫ:

В среднем ряду, крайний справа министр внутренних дел П. А. Валуев с камертоном в руке. Возле него В. А. Цее в роли капельмейстера. Далее: В. Р. Зотов с шарманкой, наверху которой выскакивают танцующие куклы (жур. «Иллюстрация»). А. А. Краевский в роли певца (газ. «Голос»), П. С. Усов с муз. ящиком («Северная пчела»); Н. А. Некрасов с гитарой («Современник»), Г. Е. Благосветлов с гармонией («Русское слово»), А. Ф. Писемский с бубном («Библиотека для чтения»), И. С. Аксаков с балалайкой («День»), М. Н. Катков с волынкой («Русский вестник» и «Московские ведомости»), Н. Писаревский со свирелью («Современное слово»); за ним Капельман с корнет-а-пистоном («Journal de St. Pétersbourg»); ниже Н. Ф. Павлов с лирой («Наше время»), Трубников с костяшками («Биржевые ведомости»), В. Ф. Корш с трубой («Спб. ведомости»). Внизу, с листом «Очерков» официальный их редактор А. Н. Очкин, выезжающий верхом на негласном редакторе Г. С. Елисееве; В. С. Курочкин, играющий на цимбалах («Искра»); П. К. Меньков — на барабане («Военный сборник»); гр. Соллогуб в тарантасике («Народное богатство»), играет на треугольнике, — везет тарантасик Вернадский; А. Аскоченский («Домашняя беседа») в веригах и с костылем в руках, в виде юродивого, собирает подаяние. Н. Н. Страхов (Косица), перебирающий струны гуслей («Время»), М. Розенгейм с погремушками верхом на деревянной лошадке («Заноза»), Ротчев с колотушкой («Полицейские ведомости»), И. А. Гончаров зевая играющий на виолончели (оффициозная «Северная почта»), Илья Арсеньев с гобоем (политич. отдел «Сев. почты») и редактор «Русского инвалида» с барабаном. На самом верху: надтреснутый и с ослабевшей веревкой колокол («Колокол» Герцена); посредине, с распростертыми руками — А. Г. Петров, председатель Петербургского цензурного комитета, около него умеряющие концертантов цензоры А. В. Никитенко и В. Н. Бекетов. В углу — Россия на троне, затыкающая себе уши.



«КОНЦЕРТ РУССКОЙ ПЕЧАТИ»
Карикатура П. Бореля на литераторов и журналистов 60-х гг.
С экземпляра, хранящегося в гравюрном кабинете Музея Изящных Искусств

Слоняй.

А ты думал, мы живем здесь праздно,
День за днем, как вы — однообразно?
Намотай себе на бороде:
Праздность — там, у вас, в лесу, в труде!
Здесь — борьба и вечное движенье.

Лутоня.

Что ни день — то светопреставленье.

Слоняй.

Самолюбье, гордость, зависть, честь
Не дают ни спать, ни пить, ни есть.
Здесь, в броне законов и приличий,
Вечное стремленье за добычей.
Здесь не сеют люди и не жнут,
Но чужой, готовый, кровный труд
Превращают для себя, как маги,
В акции, процентные бумаги.
Ваш разврат, невежество, запой
Обирают жадною рукой
И дают патент статей доходных
Фурие всех ужасов народных, —
И ты думал — стану я бросать
Для тебя такую благодать?
Именем одним своим в народе
Ты внушал уж мысли о свободе,
В честь твою уж пьянствовал народ.
Я созвал, немедля, всякий сброд,
Встал, прямым Слоняем, перед фрунтом
И, как видишь, кончил дело бунтом.

Лутоня.

Ну, конец, так, стало быть, конец!
Ваша светлость, будь родной отец —
Об'яви, немедля, всенародно,
Что я помер, что тебе угодно...
Отпусти, отец, меня домой...

Слоняй.

Отчего ж? Останься здесь со мной!
Человек ты честный, судишь здраво,
Хочешь быть моей рукою правой?
Вознесу тебя, озолочу...

Лутоня.

Нет уж, ваша светлость, не хочу,
Ни чинов, ни денег, ни почета.
У меня теперь одна забота:
Снизойди на просьбицу одну —
Повели сыскать мою жену.
Охрани — спаси ее от срама.

Слоняй.

Будь спокоен, я сыскал Ясама.
И лишаю этого скота
Всех чинов, всех прав — и живота.
(Указывая на входящую Лутониху)
А тебя — с женой соединяю.

Лутоня.

Слава принцу — батюшке Слоняю!

Лутониха.

Ну, прощай, да помни, принц Слоняй:
Слов пустых, слоняясь, не роняй.
А веди-ка ты себя пристойно:
Верь мне — будешь жить и спать спокойно!

(Обращаясь к публике).

А теперь, честные господа,
Ожидаем вашего суда:
Здесь театр, мы куклы — а не люди.
Так уж строго не взыщите, буде
Кое слово брошено на глум,
Не равен час — западет и в ум.

ЗАБЫТАЯ САТИРА КУРОЧКИНА

Совершающаяся в наше время переоценка литературного наследия вскрывает со всей наглядностью классовый характер критики и литературоведения. Жрецы «науки» нарочито замалчивали — если только имели к тому малейшую возможность — те произведения, которые им невыгодно было популяризовать. Вот такой же участи и подверглась агитационная комедия В. Курочкина «Принц Лутоня». Симптоматично, что никто из писавших о Курочкине не касался «Лутони». Ни звука нету об этой революционной пьесе ни в книге Амфитеатрова «Забытый смех», ни у Скабичевского, ни у Венгерова, ни у Михайловского, ни у Владиславлева, ни у Лемке, ни в об'емистой «Истории русской литературы» XIX в. под редак. Д. Овсянико-Куликовского, ни у Соловьева-Андреевича, ни у Н. Энгельгардта, ни у Боборыкина, П. Быкова, И. Ясинского, ни у др. мемуаристов, критиков, библиографов, историков литературы, касавшихся деятельности Курочкина. Еще более удивительно, что ту же традицию продолжает советская «Литературная энциклопедия», (том V, В. Курочкин). Наконец, только что появившаяся книга Г. Лелевича «Поэзия революционных разночинцев» (ГИХЛ, 1931), содержащая отдельную главу о Курочкине, ни одним словом не упоминает «Принца Лутоню» [1].

Игнорирование «Принца Лутони» и извращение Лелевичем творческого облика Курочкина не случайно. Оно стоит в органической связи со всей концепцией книги Лелевича, — концепцией антиленинской, базирующейся на меньшевистски-троцкистском понимании вопросов литературы. Отсюда апологетическое отношение к плехановскому наследству, продолжателем худших ошибок которого выступает Г. Лелевич. Так например, поставивши в центре своей книги фигуру Некрасова, Лелевич пишет буквально следующее: «Классическую марксистскую характеристику Некрасова дал Г. В. Плеханов в своей знаменитой статье» (стр. 14). Но упомянутая статья Плеханова о Некрасове «классична» и «знаменита» именно меньшевистской трактовкой народничества. Книжка Лелевича в целом является открытым выступлением против марксистско-ленинского литературоведения.

Игнорирование «Лутони» ведет к серьезным результатам и совершенно искажает облик поэта, потому что именно в «Лутоне» поэт наиболее характерен, именно здесь наиболее выпукло сказывается классовое самосознание и самоутверждение тех общественных групп, от имени коих говорил поэт. Курочкина надлежит оценивать с точки зрения движущих сил революционного движения 60-х и 70-х годов. Тогда станут ясны его классовые позиции, а эти последние наиболее четко формулированы в «Принце Лутоне». В «Лутоне» ощутимо звучит призыв к революционному действию, к мятежу и бунту. «Принц Лутоня» дает лозунг захвата власти обездоленною беднотою.

Сам Лутоня — не кто иной, как представитель пауперизированного пореформенного крестьянства. «Крестьян освобождали в России сами помещики, помещичье правительство самодержавного царя. И эти «освободители» так повели дело, что крестьяне вышли на свободу, ободранные до нищеты» [2]. Слово Лутоня и обозначает ободранный до нищеты, таково его смысловое содержание. Имя Лутоня в святцах не значится, и Курочкиным оно взято не зря. Лутоха —

[1] Это тем более странно, что «Принц Лутоня» не забыт в библиографическом указателе А. Мезиер.

[2] *Ленин*, т. XI, ч. 2, стр. 220, изд. 1-е.

сообщает Даль, — липка, с которой содрано лыко. Лутошный — это значит: тощий, сухой. См. пословицу: гол, как лутошка. Лутошить — драть, хлестать кого. И еще имеется смысл у того же корня: лутошливый, значит сметливый. Ободранный до нищеты, битый, голый Лутоня — фигура, достаточно знакомая во времена царизма. Курочкин хотел бы видеть эту фигуру достаточно сознательной, сметливой, лутошливой. Революционное сознание масс представляется поэту необходимым условием революции, а революция рисовалась ему в виде массового восстания бедноты. Все это прошло мимо Г. Лелевича и привело его к кричаще-ошибочным заключениям.

В «Лутоне» Курочкин показывает в крестьянской бедноте те живые общественные силы, которые способны на революционное действие. Таким образом, Курочкин оказался дальновиднее тех, кто много времени спустя еще считал интеллигенцию единственною силою революции. Разумеется, революционнсть Курочкина это — революционность буржуазно-крестьянской демократии в России. Курочкин стоял за революционный путь, за решительное уничтожение всех крепостнических остатков, за тот путь буржуазного развития, который назван был Лениным «американским путем». В активной борьбе за «прусский» или «американский» путь развития Курочкин занял позицию революционно-крастьянской демократии. Вот почему его облик стал столь ненавистным всем представителям и защитникам «прусской» ориентации, всем либеральным критикам, публицистам, литературоведам и пр. и т. п. И естественно, что наибольшее раздражение в либеральном лагере должен был вызвать «Принц Лутоня».

«Принц Лутоня» впервые появился в малоизвестном журнале «Слово» за 1880 г., № 12. Случилось так, что пьеса выпала из поля зрения всех тех, кто писал о Курочкине. Между тем «Принц Лутоня» — одно из значительнейших творений не только в составе литературного наследия В. С. Курочкина, но и во всей художественной продукции 60-х гг. Интерес «Лутони» совсем особенный. Пьеска эта относится к той отрасли творчества, которую всегда практиковали, когда имели в виду агитационное воздействие на широкие массы. Несколько лет спустя по тому же пути пошла А. П. Барыкова («Царь Ахреян»); к тому же жанру относятся и «Федорушка» (приписывается А. К. Толстому), и революционные сказки, песни, былины неизвестных авторов из «Земли и Воли», «Народной Воли» и др. Позднее в том же стиле писал С. А. Басов-Верхоянцев («Конек-скакунок») и др.

И вот, соблюдая справедливость, надо сказать, что Курочкин опередил в этом смысле многих и многих: и авторов народнических агиток, и Барыкову, и Басова-Верхоянцева и многих других. Все они писали сказки, агитационные песни, поэмы и пр. Курочкин же сделал опыт применения самого актуального агитационного жанра, именно: жанра драматического лубка, кукольного театра-петрушки.

Курочкин воспользовался приемами народного кукольного театра, насытив его агитационным содержанием высокой социальной значимости. Для этого он прежде всего выбросил из состава кукол надоевших всем персонажей — этот традиционный хлам: цыгана, бабу-ягу, глупого чорта и т. п. Правда, Курочкин оставил в числе действующих лиц мужика. Но мужик оставлен для целей совсем особенных.

«Лутоню» напечатал Николай Степанович Курочкин, старший брат поэта, как об этом сообщается в предисловии к пьесе. В предисловии он уверяет, что «Лутоня» — самая-де невинная шутка, и если она не могла быть напечатана при жизни Василия Степановича, то лишь потому, что всякий пустячок превращался «в глазах подозрительной цензуры в какую-то предумышленную проповедь». И далее, нарочито льстя цензуре, Николай Степанович пишет, как он-де счастлив, что те времена прошли. Так лукавый литератор воспользовался либеральными послаблениями эпохи «диктатуры сердца», чтобы протащить в печать агитационную пьеску своего высокоодаренного брата.

С первых же строк сообщается для сведения бдительной цензуры, что «Принц Лутоня» заимствован из вышедшей в 1871 г. книжки «Théâtre des marionnettes par Marc Monnier» и в подлиннике носит название Le roi Babolein. Le roi Babolein как сатира, дескать, не имеет непосредственной цели и при общем ее литературном значении не заключает в себе никаких политических намеков... Глупый цензор пошел на удочку и попался, как нельзя более удачно. Он, видимо, не удосужился заглянуть в названную книгу Марка Монье, а ежели смотрел ее, то смотрел очень поверхностно. А суть в том, что оригинал Монье тоже сделал достаточно хитро и тоже рассчитал на обход бдительного ока. Братья Курочкины уверяют, будто сцены Марка Монье чужды политического смысла и не содержат никаких социальных намеков. При этом они ссылаются на предисловие Виктора Шербюлье. Но они благоразумно умалчивают о послесловии. А между тем таковое имеется — очень коротенькое послесловие, набранное петитом, — и в нем значится, что пьесы Монье не могли быть напечатаны во Франции, так как в них легко были разгаданы политические сатиры на императора и на императорский режим; что сатиры по этой причине пришлось печатать в Женеве, в Берне, в Невшателе, но только не на родине, так как там они немедля арестовывались.

Перестраховав себя всесторонними оговорками, Курочкин представил под обличием иностранного кукольного балагана чисто российские взаимоотношения. Сравнивая оригинальный текст Монье с переделкою Курочкина, мы убеждаемся, что поэт обнаружил огромное искусство, сумев в подцензурном тексте дать не только сатиру на политический режим царизма, но и высказать положение, что массы могут притти к власти лишь путем восстания. Когда мятежные толпы врываются во дворец, ликующий Лутоня возглашает: «Всё возьмут! Что взято, то и свято!» И эта фраза гремит, как боевой клич.

Надо сказать, что финал пьесы звучит несколько неожиданно: в нем исчезает боевой дух, коим дышит все произведение в целом. Чем об'яснить такое явление? А вот чем: «Принц Лутоня» напечатан не в том виде, как был написан. «К сожалению, — вспоминает Засодимский, — Николай Курочкин, смягчая окончание этой пьески, значительно изменил ее к худшему. Где в настоящее время находится подлинник «Лутони», мне неизвестно» (см. П. Засодимский. Из воспоминаний. Москва. 1908). Николай Курочкин, видимо, старался смягчить финал «Лутони» с тою целью, чтобы напечатанию пьесы не препятствовала цензура; больше ничем нельзя об'яснить переделку: Николай Степанович слишком высоко ставил дарование своего брата, чтобы беспричинно кромсать его творения.

Состав действующих лиц пьесы охватывает основные социальные слои. Здесь представлены хозяева режима, их верные слуги и эксплоатируемые массы. Из перечня персонажей не сразу уясняешь себе, кто такой, например, Первый старец. В оригинале, у Монье, он называется патриархом, т. е. главою церкви. В пьесе Курочкина функция его та же, как об этом свидетельствует его речь и встречные реплики. Наконец, для недогадливого читателя Первый старец назван в разных местах молельщиком, жрецом и предстателем. Достопримечательно, что в лице Первого старца подвергается осуждению и осмеянию именно высшее духовенство, т. е. те слои церкви, авторитет которых особенно бдительно охранялся.

Совсем незнакомое в российском обиходе слово шамбеллан должно означать крупнейшие придворные чины, высшее дворянство. Естественно, что в условиях самодержавия автор сатиры должен был соблюдать сугубую осторожность, если хотел проскочить сквозь рогатки цензуры. И все же поэтом сказано главное: шамбеллан сетует на то, что «Лезет во дворец со всех сторон всякий неуч, лапотник, аршинник, целовальник...» Буржуазные реформы 60-х гг., открывшие широко двери промышленному капитализму и ущемлявшие интересы крепостников, вызвали брюзгливое ворчание «благородного» дворянства.

Какие классы представлены Казначеем, об этом довольно недвусмысленно заявляет Ясам, рекомендуя его сферу деятельности так: «Бей не палкой, а копейкой бей». Да и сам Казначей не позволяет сомневаться насчет своей функции и довольно властно заявляет трону: «Принц, один мой титул — капитал, но он главный... Мы живем и веруем в кредит...» А когда корона продолжает еще упираться, представитель капитала грозит уже прямым разорением.

Весьма недвусмысленную характеристику получает глава правительства, Ясам. Вся соль референции заключается в том, что характеристика Ясама отражает качество самого царя, аннулируя легенду о «добрых царях» и неправедных министрах. Еще ярче выявляется истинная физиономия дворянского монарха и его волчья натура в заключительном монологе «Отвечай невеждам, мужикам». В самозабвенном упоении властью, после того как призрак революции минул, царь вопит: «Захочу — все города сожгу. Захочу, так с нынешним прогрессом сделаю все царство темным лесом... Сделаю из царства ад кромешный...» В условиях неприкрытой реакции приведенная речь весьма симптоматична.

Военщина олицетворена у Монье в характерной фигуре Капитана. Курочкин перелицевал Капитана в «Отца-командира» и дал замечательно рельефный, незабываемый персонаж солдафона, усмирителя «внутреннего врага».

Представители идеологии — философы, поэты, газетчики — пересажены Курочкиным на российскую почву с неменьшим успехом. Казенная публицистика Катковых («Московские ведомости»), Павловых («Наше время»), Скарятиных («Весть»), изуверские доносы Аскоченских («Домашняя беседа»); ультра-патриотические славословия казенных псалмопевцев-поэтов вроде Аполлона Майкова, П. Вяземского и Н. Щербины; социальная «философия» П. Юркевича, Н. Миллер-Красовского, Н. Страхова и пр. обскурантов, — все это запечатлено в сатирических строфах, посвященных Курочкиным выведенным в «Лутоне» Публицистам, Поэту и Философу.

Может быть, найдутся охотники видеть в художественно-сатирических персонажах «Принца Лутони» определенных исторических лиц, т. е. — в «Отце-командире» будут искать характерные черты, скажем, Муравьева-вешателя, в Первом старце — того или иного мракобеса церкви и т. п. Нечто подобное пытался сделать в отношении курочкинских стихов А. Амфитеатров. Так, в книге «Забытый смех» он во всех без исключения случаях тщится расшифровать подлинных лиц (торговцы, бюрократы, издатели и пр.), против которых будто бы направлено то или иное стихотворение, та или другая сатира. Но подобные ссылки не только

бесполезны: они вредны. Они снижают высокую социальную значимость сатиры до уровня поденки [1].

Мы еще не коснулись главного персонажа пьесы — мужичка Лутони. Лутоня начинен, как патрон, взрывчатыми материалами, и Курочкин дает возможность Лутоне высказаться. Лутоня — беднейший, пауперизованный крестьянин, безземельный и эксплоатируемый, вынужденный взяться за самый тяжелый вид отхожего промысла. Лутоня протестует против «прусского» метода буржуазного реформаторства. «Буржуазии выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демократическом направлении произошли медленнее, постепеннее, осторожнее, нерешительнее, путем реформ, а не путем революции; чтобы эти преобразования были как можно осторожнее по отношению к «почтенным» учреждениям крепостничества (вроде монархии); чтобы эти преобразования как можно меньше развивали революционной самодеятельности, инициативы и энергии простонародья, т. е. крестьянства и особенно рабочих» (Ленин. Собр. соч., т. VI, стр. 330, изд. 1-е). Курочкин устами Лутони сражается именно за революционную самодеятельность и энергию простанародья, т. е. крестьянства и рабочих. Вот в чем смысл «Принца Лутони», помимо того, что пьеса являет образец замечательной сатиры на помещичье-буржуазный строй царской России конца 60-х, начала 70-х гг.

Но вот что интересно: этою пьесою не ограничивается литературное наследие Курочкина. В. В. Чуйко сообщает: «За два или за три года до смерти, среди все более и более увеличивавшейся нужды, он (Курочкин) затеял целый ряд юмористических пьес на манер простонародных марионеток, писанных простонародным размером стиха на различные общественные темы с неподдельным простонародным юмором. Он успел написать несколько таких маленьких пьес... Пьески мне читал сам покойный Василий Степанович... Все эти пьески остаются до сих пор в рукописи... Чрезвычайно жаль, что до сих пор они не могли быть напечатаны» (В. В. Чуйко. Современная русская поэзия. СПБ. 1885). Сведения о чтении драм-миниатюр и о самих драмах чрезвычайно скудны и смутны. Внимания к ним не было. Нигде и никогда о них не вспоминалось. Было бы весьма печально, если бы они так и остались необнаруженными.

Чем можно об'яснить столь пренебрежительное отношение к архиву выдающегося поэта? В самом деле: архивисты и всяческие литературные копуги обшаривают все щели второстепенных и третьестепенных дворянских писателей. Извлечены из недр всяческих хранилищ письма, записки, варианты и разночтения таких лиц, которыми интересуются десятки или сотни специалистов. А вот архив первоклассного поэта революционной демократии пребывает в забвении. Литературы о Курочкине не много. Да и то, что написано, не дает полного представления об этом замечательном поэте-публицисте. Василий Степанович Курочкин — выдающийся поэт 60-х гг. В его строфах ощутительно звучат лозунги великих демократов-шестидесятников. Творчество его насыщено протестом против деспотизма помещичьего государства и против феодальной эксплоатации. Курочкин — непримиримый враг соглашательского российского либерализма. Классово-заостренный стих поэта сражался против дворянского литературного канона, за новые демократические формы, за литературу, рассчитанную на широкие массы. Курочкин является основоположником нашего газетного стихотворного фельетона. Он первый в России поэт-газетчик, носитель жанра публицистической поэзии, фельетонист, пародист, памфлетист, сатирик, агитатор, пропагандист, редактор самого популярного сатирического журнала 60-х гг. — «Искры» и непревзойденный переводчик Беранже.

Переводы Курочкина создали ему огромный круг читателей в самых разнообразных слоях населения. Дотоле неизвестный литератор, печатавшийся в малораспространенных журналах и газетах, он вдруг становится моднейшим поэтом. Переводы из Беранже в короткий срок выдержали ряд изданий: в 1858 г. — два издания в один год, — в 1864, 1867, 1869, 1874. Когда вышел первый сборник в 1858 г., впечатление от него было ошеломляющее. Редко какая книга производила такой эффект (см. воспоминания Н. Лейкина, С. Максимова и др.). Кстати сказать, сообщение И. И. Ясинского («Роман моей жизни», Л. 1926), будто Курочкин говорил ему: «По совести молвить, разве мой русский Беранже не лучше француза?» — если сообщение соответствует действительности, — свидетельствует, что и сам Курочкин смотрел на свои переводы, как истый поэт-публицист, поэт-агитатор, поэт-общественник. Беранже был в искусных руках Курочкина сильнейшим орудием для выражения в поэтической форме взглядов протестующего разночинца. В стихах Беранже, как и в переводах Курочкина, воплотились и боевой демократизм, и острая социальная насыщенность, и нетерпимость к классовому врагу, и оппозиция в отношении дворянско-классического литературного штампа, против которого протестовало классовое самосознание мелкого буржуа.

[1] Ознакомившись с заметкой тов. Демьяна Бедного, я выражаю полное свое согласие с расшифровкой такого рода, считая ее убедительной расшифровкой не художественного персонажа, а исторической ситуации.

В какой мере переводы Курочкина из Беранже органичны российской действительности, можно заключить по следующему. Граф Капнист в доносе министру внутренних дел сообщает: «Обладая легким, гибким и звучным стихом, Курочкин посвятил себя преимущественно не переводам, а переделке на русский лад песен Беранже. Сохраняя дух подлинника, он очень легко умеет применять разные куплеты Беранже к нашим современным обстоятельствам, так что в сущности Беранже является только сильным орудием, и под прикрытием его имени Курочкин преследует свои цели» (М. Лемке. Эпоха цензурных реформ).

Насколько доносчик был прав, можно судить по нижеописанному, например, обстоятельству. Однажды Курочкин выступил с публичным чтением своих произведений. Он читал «Сплетник» [1]. По этому поводу мемуарист Л. Пантелеев вспоминает: «На этом же вечере [2] Курочкин читал... Казалось, что потолок обрушится от рукоплесканий и криков, всякий раз сопровождавших слова: «Тише, тише, господа: господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда». Вечер закончился исполнением шестнадцати раз Марсельезы»...

Оригинальное поэтическое творчество Курочкина находится в неразрывной связи с его переводной деятельностью. Стих его оригинальных творений насыщен боевым пафосом борца. Поэт бодро призывает итти против старого мира, гнусного и отталкивающего («Старая песня» и др.), в котором преуспевают одни пошляки («Счастливец», «Общий знакомый», «Примерный факт» и др.) и карьеристы («Явление гласности» и др.). Ряд стихотворений посвящен бытовому укладу — косному, тупому, исполненному фальши и моральной грязи. К этому циклу относится полное горечи «Завещание», остроумная сатира «На праздниках» и мн. др. О силе поэта в обличении современности можно судить по выдающейся инвективе «В наше время». Это — гневная филиппика, брошенная в лицо помещичье-капиталистическому режиму. Весь хаос капиталистического города, пронизанный денежным азартом, классовым угнетением, катастрофической необеспеченностью, голодною нищетою, разнузданным развратом магнатов, беспринципным нигилизмом властителей, показан здесь с пластичной очевидностью. Курочкин изобличает социальные язвы не в качестве частных явлений: нет, зараза в'елась в государственное тело так глубоко, что нейтрализовать ее можно лишь хирургическим путем, т. е. вместе с коренным изменением политического строя. Финал стихотворения «Старичок в отставке» говорит об этом достаточно ясно. Ту же тему трактует и полное энергии стихотворение «Тик-так» и мн., мн. др.

Курочкин — большой мастер. Им создан ряд превосходных по форме стихотворений («Знаки препинания», «Жалоба чиновника» и мн. др.). Легенда, будто Курочкин не поэт, а куплетист, — эта легенда (вернее будет назвать ее не легендой, а злостной клеветой) создана в либеральном лагере литераторов, ненавидевших Курочкина за его революционный пафос. В радикальных и революционных кругах 60-х и 70-х гг. Курочкин пользовался огромным вниманием. Но в эпоху последующего десятилетия — 80-х гг. — поэт-демократ был нарочито и преднамеренно замолчан, затерт и осмеян. С приходом же в литературу декадентов, символистов, акмеистов и пр. представителей «чистого искусства» публицистическая поэзия, натурально, не имела никаких надежд на внимание.

Но в наше время, в момент расцвета социально насыщенного слова, внимание к поэту-бойцу должно быть восстановлено, тем более что в неизвестных архивах коснеют неопубликованные его произведения, которые, по свидетельству заслуживающих внимания авторитетов, стоят выше публикуемой здесь пьесы «Принц Лутоня».

А. Ефремин.

[1] Совершенно ясно, что заглавие «Сплетник» представляет собою смягчение из цензурных соображений. Самым подходящим было бы название «Шпион».

[2] 2 марта 1862 г. в Петербурге был устроен вечер в пользу отдела для пособия недостаточным студентам при литературном фонде (отдел был вскоре запрещен). Выступали Н. Некрасов, Н. Чернышевский, В. Курочкин и др. Вечер достопамятен как по овациям, выпавшим на долю Некрасова, Чернышевского и Курочкина, так и потому, что некоторые участники (профессор П. В. Павлов) поплатились за выступление ссылкой.

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ
I. ТРУДНО ПОВЕРИТЬ
II. ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Предисловие и комментарии И. И. Векслера

ИЗ ПРЕДИСТОРИИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ[1]

1. Решетников и народники

Решетников — одинокая фигура в русской литературе 60-х гг. — одинокая и в смысле творческом, и в обычном, житейском смысле. В связи с его именем шли ожесточенные классовые бои в литературе, он был одно время литературным знаменем революционной мелкой буржуазии; но писатель умер — и своя же литературная партия не знает, что о нем сказать:

«Мы не имеем никакой возможности писать о Ф. М., — заявляет первый биограф Решетникова — Г. И. Успенский: — материалов для этого у нас никаких нет»[2]. В другом месте Гл. Успенский поясняет: «Личное знакомство с Ф. М. для заинтересовавшегося в раз'яснении этого запутанного таланта было почти бесполезно... Он был угрюм, неразговорчив, необщителен и порою груб. Он всех сторонился, смотрел испуганным волком, подозрительным к самым искренним заявлениям дружбы»[3].

Дневник Решетникова, охватывающий 1864—68 гг., следовательно пору наиболее интенсивной творческой его работы и, казалось бы, наиболее тесной его связи с литературной средой, вскрывает причины этой странной отчужденности.

«Я еще ни с кем не познакомился, на меня никто не обращает внимания», — записывает Решетников в январе 1866 г., т. е. спустя два года после «Подлиповцев»; «в Петербурге лично со мною знакомы человека два-три, которые все-таки не знают сути», — читаем в октябрьской записи 1868 г., т. е. уже после «Глумовых», «Где лучше?» и после программной статьи «Отечественных записок», провозглашавшей Решетникова чуть ли не главой «новой литературы»[4]. Как бы предвидя неудобство положения своих будущих биографов, Решетников записывает: «...если мне придется умереть в Бресте[5], прежде от'езда в Петербург, то, которые интересуются мною, могут достать сведения очень неверные...» И хотя писа-

[1] В нашем распоряжении находятся решетниковские материалы, крайне недостаточно использованные прежними исследованиями, а частью и вовсе не использованные. В числе их и часть дневника, — повидимому та, которой когда-то пользовался М. А. Протопопов и которая с тех пор считалась затерянной. Материалы дают возможность внести серьезные поправки в построения товарищей (А. Дивильковский, А. Ефремин и др.), выступивших вполне своевременно с критикой традиционных взглядов на Решетникова и его творчество.

[2] Гл. У[спенский]. Ф. М. Решетников («Отечественные записки», 1871, № 4).

[3] Гл. Успенский. М. Ф. Решетников. Вступительная статья к Собр. соч. Решетникова, 1874, т. I (или Собр. соч. Гл. Успенского, 1908 г., т. VI). — Подчеркивания здесь и далее, специально не оговоренные, наши. — *И.*

[4] «Напрасные опасения» («Отечественные записки», 1868, № 10).

[5] С. 1867 по 1869 г. Решетников временами проживал в Брест-Литовске.

тель заявляет: «я сам веду себя так, что никто со мной не разговаривает», но не это его заявление об'ясняет дело, а те заметки, которыми переполнен дневник Решетникова и которые характеризуют отношение к нему, самому демократическому из писателей-разночинцев, близкой ему литературной среды. Заметки эти не очень выгодны для «братьев-писателей»: «В редакции «Современника» смотрят на меня с пренебрежением»; «придешь в редакцию, с тобой никто ничего не говорит»; «в течение года Вас. Курочкин не запомнил даже моего имени и отчества» и т. д. Некрасов ближе других подходил к Решетникову, но и у Некрасова не всегда хватало внимания, чуткости, а часто и простой деликатности.

Так сложились взаимоотношения Решетникова с близким ему литературным кругом; неудивительно, что в 1871 г. литераторы «Отечественных записок» ничего не могли рассказать своим читателям об авторе, которого они считали видным своим представителем и творчество которого противопоставляли творчеству дворянских писателей.

Тем не менее и биографы, и «воспоминатели» у Решетникова нашлись и среди друзей, и среди врагов. У первых получалось типичное народническое «житие», а у вторых, естественно, — брань и клевета. И там и здесь не хватало фактов, и там и здесь фантазировали. С легкой руки Гл. И. Успенского, «Грамотея» [1], «Сияния» [2] и др. лиц и органов печати разукрашенные фантазией «жития» долго служили, а частично и ныне служат источником «биографических» справок о Решетникове,— удивительных справок о его духовном происхождении, бурсацкой образовании, тюремном (двухлетнем!) заключении и даже о том, что «двадцати лет Решетников поступил чернорабочим на литейный завод». («Сияние»).

Мы не остановимся здесь на клевете реакционных и дворянских литераторов типа Е. Феоктистова [3], П. Ковалевского [4] или ставшего к концу 80-х гг. типичным бульварным фельетонистом В. Майнова [5]; первые два по классовой злобе, Майнов для дешевой сенсации в своих воспоминаниях грязнили и искажали облик писателя, громко заговорившего в русской литературе о русском рабочем классе. Отметим лишь, что даже близкие и расположенные к Решетникову люди, наблюдавшие его в тесном домашнем или дружеском кругу, — Новокрещенных, Скабичевский и др. — дают в своих воспоминаниях лишь отдельные черты и эпизоды, которые полезны для противопоставления клевете Феоктистовых, Ковалевских и Майновых, но совершенно не дают целостного очерка личности писателя. Подробные сведения о Решетникове сообщает также А. Панаева [6]. Но ее сообщение, в смысле верности натуре, такая же словесная фотография благообразно причесанного Решетникова, как обычно воспроизводимый и всем известный его фотографический портрет, исправленный и прикрашенный уже после смерти писателя.

Таково положение дела с биографией Решетникова. Немногим лучше оно и с творческой историей его произведений, и с критическим уяснением его творчества.

Мы упомянули, что Решетников одно время был знаменем для литературы революционной мелкой буржуазии в ее борьбе с литературой дворянской. И действительно: с 1868 по 1873 г. в так называемой «левой» литературе мало встречается выступлений, направленных против дворянской литературы, в которых творчество Решетникова не привлекалось бы как самый живой и яркий пример иных классовых задач, иного идейно-тематического содержания и иного творческого метода «новой» литературы сравнительно с литературой дворянской.

[1] 1871 г., № 8.

[2] 1872 г., № 19.

[3] Е. М. Феоктистов. Воспоминания («Прибой». Глава первая).

[4] П. М. Ковалевский. Встречи на жизненном пути — в издании «Литературные воспоминания». Д. В. Григоровича и П. М. Ковалевского, «Academia», 1928.

[5] Майнов. Встречи и столкновения («Новости» и «Биржевая газета» 1886, № 234).

[6] А. Я. Панаева. Воспоминания. «Academia» (неск. изданий), гл. XVIII.

Эти утверждения в одном были правильны: Решетников действительно дал образцы классово иной литературно-творческой практики, подлинно противостоявшие творческой практике художников-дворян; как увидим ниже, в творчестве Решетникова действительно отразились эстетические требования, развитые Чернышевским, как отрицание эстетического канона дворянской литературы. Это понимали и об этом заявляли с различными оговорками представители различных литературных направлений, отражавшие тогда в литературе политическую борьбу за пути капиталистического развития России: как борцы за «прусский путь», начиная от Тургенева и кончая Достоевским, так и тогдашние представители «американского пути» в лице «Отечественных записок».

«Н о в о г о с л о в а, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. Решетниковы еще ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль о необходимости чего-то нового в художественном слове (но уже не п о м е щ и ч ь е г о), хотя и выражают это в безобразном виде», писал Достоевский Н. Н. Страхову [1].

Заявление Тургенева о «трезвой правде» Решетникова общеизвестно: «как бы порадовался он (Белинский — *И. В.*) поэтическому дару Л. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова!» — заявлял он в «Воспоминаниях о Белинском» [2]. Борьбе за «новую» литературу посвящена упоминавшаяся выше программная статья «Отечественных записок» — «Напрасные опасения» [3], статья, заканчивавшаяся характеристикой творчества Решетникова как представителя этой «новой» литературы.

Естественно при таких условиях, что реакционный лагерь в борьбе с «левой литературой» также избрал об'ектом атак Решетникова. Так начались горячие дискуссии о Решетникове в литературной критике, — дискуссии, имевшие все признаки ожесточенной классовой борьбы.

В литературной борьбе революционной мелкой буржуазии с дворянско-буржуазным реформизмом и с реакцией, имевшей место в конце 60-х и 70-х гг., имя Решетникова начинает появляться с 1865 г., но по-настоящему борьба в связи с его творчеством развернулась в 1868 г. после выхода отдельным изданием «Подлиповцев» (1867 г.), опубликования «Глумовых» (1867 г.) и «Где лучше?» (1868 г). С тех пор борьба не прекращалась до самой смерти Решетникова, вспыхивая с каждым новым изданием его произведений. Мы не можем здесь подробно говорить об эпизодах этой борьбы, отметим лишь, что в борьбе приняли участие все политические группировки русской литературы 70-х гг., все сколько-нибудь заметные органы тогдашней прессы, все выдающиеся критики и публицисты различных лагерей: «Отечественные записки», «Дело», «Неделя» (Скабичевский, Гл. Успенский, Михайловский, Ткачев, Щелгунов, Цебрикова и в известной мере тогдашний В. Буренин) — от революции и радикализма; «Вестник Европы», «С.-Петербургские ведомости» (Е. Утин, А. Суворин-Незнакомец, Боборыкин) — от либерализма; «Заря», «Всемирный труд», «Русский вестник» (Авсеенко, Страхов, Н. Соловьев) — от реакционной и «услужающей» прессы и большой ряд других имен и изданий.

Казалось бы, что революционная и радикальная критика при таких обстоятельствах должна была глубоко исследовать вопрос о творчестве Решетникова, тем более, что борьба иногда перекидывалась и в ее собственные ряды (см., например, статью М. Тар-ць [4] в № 1 «Дела» за 1871 г.); однако дискуссии не продвинули особенно далеко изучение Решетникова. Реакционный буржуа В. Чуйко, в 1890 г. подводивший итоги критическим и историко-литературным изысканиям «левой» литературы о Решетникове, имел достаточные основания утверждать, что

[1] Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Письма, т. II, Гиз, 1930 г., стр. 365, подчеркнуто Достоевским.
[2] «Вестник Европы», 1863 г. № 4, стр. 727.
[3] Есть основания предполагать, что статья принадлежит М. Е. Салтыкову.
[4] М. В. Дальмерт.

«направленская критика» оказалась бессильной сказать о нем что-либо вполне конкретное и вразумительное.

И не суб'ективные качества «направленской критики» создали это положение; среди критиков 70-х гг. и позднейших были люди, по-своему далеко видевшие: судьба Решетникова в дореволюционной русской критике была исторически обусловлена.

Литературная борьба в конце 60-х и в 70-е гг., о которой мы говорили, хотя и велась в связи с творчеством Решетникова, но имела более глубокие основания. В литературном плане борьба шла за гегемонию в литературе. Начатая Чернышевским и Добролюбовым борьба эта диалектически развивалась, отражая развитие классовой борьбы в стране.

Эпоха конца 60-х и начала 70-х гг. была эпохой отрицания дворянской литературы и становления литературы мелкой буржуазии. Решетников, поскольку его творчество являлось действительным отрицанием помещичьей литературы, был важен и нужен для революционного крыла мелкобуржуазной литературы своею противоположностью писателям-дворянам. Об этой именно противоположности и говорили, ее-то и выдвигали на первый план критики мелкой буржуазии — Скабичевский, Ткачев, Шелгунов, анонимный автор статьи «Напрасные опасения» и даже, как мы видели, Достоевский.

Более внимательный и глубокий анализ решетниковского творчества, хотя бы и с тех методологических позиций, на которых стояла мелкобуржуазная критика, должен был явиться вторым этапом работы по изучению Решетникова, — работы «мирного времени». Но «на другой день после победы» Решетников для мелкой буржуазии был уже пройденной ступенью, а затем стал чужим.

К этому времени далеко зашел процесс философской эволюции мелкой буржуазии от Фейербаха и материализма 60-х гг. к Конту и «позитивизму» 70-х гг.; далеко также зашел процесс движения ее от непримиримости в отношении дворянской литературы к примирению с ней, с «преданиями», которые литература 40-х гг. «оставила молодому литературному поколению» («Напрасные опасения»), к исканию «точки соприкосновения народного реализма с идеальным головным реализмом Рудина» (Шелгунов).

Философские и литературно-эстетические сдвиги революционной мелкой буржуазии начала 70-х гг., конечно, не случайны: они знаменовали, что началась эволюция социально-политической мысли семидесятников в сторону от «преданий» 60-х гг. Белинский последнего периода, Чернышевский, Добролюбов — вся партия «Современника» в 50-е гг. выражала интересы крестьянства в классовой борьбе «кануна освобождения» и революционные настроения того же крестьянства в 60-е гг. Изменение революционной ситуации в деревне на рубеже 60-х и 70-х гг. и социально-экономические сдвиги в ней, укрепившие «благообразного» хозяйственного мужика, породили новые настроения и в мелкой буржуазии. Повидимому, здесь начала создаваться грань, разделившая впоследствии «старое и современное народничество», здесь начало процесса, в результате которого «из крестьянского социализма получилось радикально-демократическое представительство мелкобуржуазного крестьянства» [1].

Примирение в конце 60-х и начале 70-х гг. революционной мелкой буржуазии с дворянскими литературными традициями знаменовало, что литературно-философская и общественная мысль мелкой буржуазии начала новую стадию развития, — стадию отталкивания от традиций и эстетики 60-х гг. В дальнейшем следовало ожидать поворота в отношении народников к Решетникову; это и произошло в конце 70-х и в начале 80-х гг. Отрицательное отношение к Решетникову находим уже в критических статьях Михайловского в начале 80-х гг.; продолжается и развивается оно у Венгерова и у других народнических и «народолюбивых» критиков конца XIX и начала XX века. Исключением является апологетическая статья

[1] Ленин, Собр. соч., 3-е изд., т. I, стр. 175.

М. Протопопова, представляющая любопытную попытку при помощи художественного материала Решетникова воскресить у народнического эпигонства боевые настроения героической поры народничества. Выдвигая на первый план «деревенскую» тематику Решетникова, Протопопов первый в критике отмахнулся от решетниковского рабочего цикла, поставив его вне литературы.

Вспышка интереса к Решетникову накануне 1905 г. (в 1901 г. — в связи с 30-летней годовщиной смерти писателя) ничего нового не внесла, за исключением, пожалуй, концепции Андреевича-Соловьева о «подлиповщине» и «глумовщине». Быковы, Игнатовы, Колтановские пошли по пути, указанному Протопоповым; за ним же пошли и «марксиствующие» эпигоны мелкобуржуазной критики [1], причем некоторые из них повторяли ортодоксально-народническую оценку Решетникова Протопоповым и после Октябрьской революции [2].

2. Решетников и рабочий класс

Решетников — потомок приказного рода и, повидимому, старого приказного рода. На Урале эти роды несколько иначе складывались, чем в средней полосе России. Мальчик из горнорабочих детей попадал в заводскую школу, иногда проходил горнозаводское училище, затем делался конторщиком заводской конторы, а иногда шел и дальше по лестнице конторско-канцелярских чинов, числясь в то же время крепостным или «непременным» работником. В каждом почти произведении Решетникова из его горнозаводского цикла мы находим этих крепостных-чиновников: в «Скрипаче» — Мирон Перевалов, в «Горнозаводских людях» — Максим, в «Горнорабочих» — Илья Назарыч, в «Глумовых» — Курносов, сперва учитель, потом конторщик, — все эти «приказные» — дети горняков.

Немалое число мелких государственных служащих губернских или уездных «присутствий» также составляли прямые потомки рабочих уральских заводов.

«Между Мотовилихой и Пермью,— читаем в неопубликованной рукописи очерка Решетникова «Из провинции», — завязалась тесная дружба... Мотовилиха снабжает город хлебом, молоком, маслом и овощами... мотовилихинская грамотная молодежь служит в присутственных местах Перми». Население же Мотовилихи, по изысканию Решетникова, составилось из крепостного рабочего населения Егощинского и Мотовилихинского заводов.

«Посмотри в Тагиле на моего брата, а твоего дядю Алексея,— пишет Решетникову его воспитатель-дядя В. В. Решетников, — у него один же был сын, коего он так хорошо воспитал, что и писать вовсе не умеет... И теперь он в поте лица трудится тяжелою черною работой и снискивает себе кусок хлеба и вдобавок еще оплачивает за себя подати и разные повинности. А ты у меня из этого ига и бремя из'ят...»

Так невелико было расстояние между мелкой чиновной средой и средой, обремененной «игом» «тяжелой черной работы», податями и повинностями.

При этих условиях ярко выраженный, специфический демократизм самого Решетникова, его вполне определенные и чрезвычайно устойчивые общественные симпатии и антипатии не являются неожиданными. «Барин», «аристократ», «полубарин», «любит тереться около бар» — такие ярлыки он пришпиливает почти всем своим знакомым интеллигентского и полуинтеллигентского круга: родным своей жены — средней руки чиновникам и чиновницам; брестским ее сослуживцам и знакомым — военным врачам и инженерам; литераторам, с которыми Решетников сам сталкивался, и т. п. Каждый из этих людей, кто «не ходит про-

[1] И. Н. Кубиков. Рабочий класс в русской литературе (в 4-м издании 1928 г., главы II и III). Л. Войтоловский. Очерки истории русской литературы XIX — XX вв., ч. II. ГИЗ. М.-Л., 1928 г. и др.

[2] Протопоповская концепция, слегка модернизированная, в основном воспроизведена и в 1930 г. в статейке В. Белавина, приспособленной к школьному изданию решетниковских «Подлиповцев» («Дешевая библиотека классиков». Школьная серия. ГИЗ. М.-Л., 1930 г.).

ЧЕРНОВИК ПИСЬМА Ф. М. РЕШЕТНИКОВА К Н. А. НЕКРАСОВУ ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1865 г. О РОМАНЕ «ГОРНОРАБОЧИЕ»

С подлинника, хранящегося в Гос. Публичной Библиотеке в Ленинграде

сто», кто «не говорит просто с бедными людьми» — для Решетникова «барин» и «аристократ».

Невнимательный читатель Решетникова не всегда заметит перемену в авторском настроении при переходе от картин «аристократического» губернского быта, от салона, например, м-м Тележниковой к мастерской Эмилии Карловны Петерсон («Свой хлеб»), от Петра Ивановича Филимонова к рабочим Горшкову или Потемкину («Где лучше?»): Решетников до сухости сдержанно выражает свои чувства в творческом процессе. Но в дневнике его такие переходы от интеллигентских и полуинтеллигентских нравов к «рабочему человеку» ярки и выразительны. Вот умирает, простудившись на работе, муж кормилицы ребенка Решетникова Конон Дорофеевич. Решетников, подробно рассказывающий в дневнике о всех своих знакомых, подробно рассказал и о Кононе Дорофеевиче, о его болезнях и смерти; но рассказал с такой теплотой, нежностью и участием, каких у него нет почти никогда ни для кого из знакомых-интеллигентов.

У Решетникова органическая тяга к «рабочему человеку», органическое сочувствие мыслям и настроениям последнего.

Сохранились страницы рукописи третьей части повести «Между людьми», по неизвестным нам причинам выпавшие из повести. Страницы целиком посвящены питерским рабочим и мастеровым и в высшей степени характерны для Решетникова, чувствующего себя в рабочей толпе, как в родной среде, всецело разделяющего ее мысли и чувства и настроения. Из многих имеющихся здесь сцен, диалогов и характеристик рабочих приведем одну, уясняющую угол зрения самого автора на «рабочего человека»:

« — Вот ты мне скажи, коли ты умен, на чем ты и вся ваша братия пишет? — спрашивает в кабачке подвыпивший рабочий чиновника.

— Эк, спросил. На бумаге, разумеется...

— Ладно! А ты не сердись... А бумага-то из чего?

— Из тряпок.

— А тряпки кто делает?.. а бумагу кто делает?

— На фабрике делают.

— Ишь, сам сознался — на фабрике. Я седьмой год на бумажной фабрике-то мастером... Кабы нас не было, не было бы и тряпок и бумаги, ходил бы ты нагишом, и писать бы вам не на чем, и тебе бы денег не давали.

Рабочий сел на место. Толпа захохотала, проговорила:

— Что, брат? Ловко?

Чиновник что-то сказал, но его не слушали, и он сел в угол» [1].

Убеждение в исключительном социально-экономическом значении пролетариата — стойкое убеждение рабочих персонажей Решетникова и его самого.

«— А ведь поговаривают, что воля будет, — сказало несколько голосов.

— Уволят — хорошее дело. Да как погонят с завода, скажут — ты теперь вольный...

— Эка штука! А кто работать станет? Нет, шалишь! Без меня не обойтись им» [2].

Это сказано еще только «пробующим перо» юношей Решетниковым в 1861 г. Но мысль эта идет через все его творчество.

Из сообщения Г. Успенского известно, что в Екатеринбурге на юношу Решетникова имел сильное влияние рабочий екатеринбургского монетного двора Фотеев, по предположению Новокрещенных обучавшийся своему искусству в Петербурге и, в свою очередь, испытавший влияние радикального и революционного студенчества. Этот Фотеев подсказал Решетникову мысль уехать в центр и мысль сочинениями «делать людям пользу»; но, повидимому, не один Фотеев,

[1] Архив Юдина — Рукописное отделение ИНЛИ при АН СССР.

[2] «Скрипач». Из заводской жизни. Соч. Ф. Решетникова. г. Пермь, 1861 г. (Рукоп. отд. ИНЛИ АН СССР).

из числа рабочих, был литературным консультантом Решетникова; обращался он за советами и к другим рабочим-екатеринбуржцам.

И вот в 1865 г., когда Решетников переживает резкий творческий кризис, когда старые темы были исчерпаны в статьях «Северной Пчелы», в «Подлиповцах», в «Ставленнике», а новых тем не нащупывалось, когда его вещи браковались в «Современнике» одна за другой, он вспоминает о рабочей консультации. Забракованными оказались «Горнорабочие», первый этнографический очерк[1].

Решетникову, в течение двух последних лет почти не писавшему на горнозаводские темы, был дорог этот очерк, и непринятие его «Современником» к напечатанию[2] автора сильно огорчило. Настроение с'ездить на родину у Решетникова к тому времени созрело. Решетников решает проверить свое произведение старым, испытанным способом. «Не знаю, что делать с «Горнорабочими»? Повезу к горнорабочим и почитаю с Фотеевым...» (Дневник, 9 мая 1868).

К сожалению, никаких письменных материалов не только о литературных, но и о личных связях Решетникова с рабочими, в частности с Фотеевым, пока не разыскано; не разыскана и та часть дневника, по которой Гл. Успенский сообщает свои сведения о дружбе Решетникова с Фотеевым.

В спайке, в единомыслии, наконец в личной связи Решетникова с рабочим людом Петербурга и с горнорабочими Урала мы имеем совершенно ясные указания на органическую близость Решетникова к рабочим.

И, наоборот, нет нигде никаких следов о такой или подобной связи Решетникова с деревней; о деревне, о деревенских делах Решетников думает и пишет постольку, поскольку ею интересовался любой литератор его времени.

Прямой показатель тяги Решетникова к рабочему — не только еще далеко не полный биографический материал, которым мы располагаем, но и все литературное наследие Решетникова.

А. Дивильковский заявляет, что «все произведения последнего периода творчества Решетникова (после «Где лучше?») как бы намеренно избегают чисто пролетарских тем. Лишь посмертный очерк полупрозаического вида «Осиновцы» затрагивает опять-таки жизнь рабочих Мотовилихи». Это утверждение А. Дивильковского не подтверждается фактами. Интерес и влечение к пролетарским темам никогда не угасали в Решетникове: он лелеет план романа о петербургских рабочих, задуманный им еще в 66 г., и не раз возвращается к этому замыслу в своем дневнике; буквально накануне смерти он строит с Новокрещенных план о новой литературной экскурсии на Урал; есть данные о том, что в 69-м и 70-м гг. Решетников не прекращал собирания материалов к роману о петербургских рабочих.

Рабочая тематика, наконец, не чужда и чисто, казалось бы, интеллигентскому проблемному роману «Свой хлеб». В своем творчестве Решетников прочно стоял на позициях рабочей тематики.

Таков Решетников в его отношениях к «рабочему человеку».

И нет никакой надобности модернизировать Решетникова, приукрашивать его, как это делает А. Дивильковский, а вслед за ним и А. Ефремин, когда утверждает, что Решетников «и сам работал на Мотовилихинском заводе в качестве литейщика... плавал с бурлаками... просиживал ночи над архивами пролетарских мартирологов»... Дивильковский же договаривается до «конспирации» и «революционной техники». Не нужны эти пышные украшения, искажающие историческую перспективу и несовместимые с исторической личностью Решетникова.

[1] Не надо смешивать с незаконченным печатанием романом «Горнорабочие». Никаких следов рукописи под этим заглавием до нас не дошло. Есть все основания предполагать, что опубликованный после смерти писателя очерк «Осиновцы» и есть забракованные «Современником» «Горнорабочие».

[2] Равно и прочитанная Некрасовым нотация за торопливое, излишне самоуверенное и небрежное письмо.

Работа на заводе, о которой Решетников рассказывает в черновике своего письма А. Н. Благовещенскому, — эпизод его поездки в родные места в 1865 г. Из писательского профессионального интереса Решетников пробирался на заводы с приятелями из заводских рабочих, достигая этого путем какой-то мистификации заводского начальства: видимо пробовал принять участие в работе друзей — «мастеровых», причем его «чуть воротом не зашибло» и «смеху было довольно». Особого значения этому придавать нельзя, тем более, что простой подсчет времени пребывания Решетникова в 1865 г. в Перми, Соликамске, Екатеринбурге, Чердыни, Усольи совершенно исключает возможность работы всерьез.

Никаких «архивов пролетарских мартирологов» Решетников также не изучал, если не считать чтения документов по разным горнозаводским делам, подсудным екатеринбургскому уездному суду, в бытность его чиновником этого суда. С бурлаками Решетников плавал, как и все пассажиры на пароходах фирмы «Кавказ и Меркурий», или какой-либо иной...

3. Социально-политическая позиция Решетникова

Установилась традиция вскрывать тематику Решетникова путем анализа чисто внешних, фабулистических ее элементов. В частности, И. Н. Кубиков, усмотрев в настроениях разночинной интеллигенции 60-х гг. «путь личного самоосвобождения, умственного и материального, и путь активного вмешательства в жизнь во имя ее дальнейшего благоустройства», сетует, что «герои Решетникова не в состоянии думать об общечеловеческой правде (?)», что из них «ни на ком нельзя отдохнуть от кошмаров жизни и от неизбежной, но слишком узкой мечты о личной сытости»[1] и что, следовательно, тема Решетникова — это тема о поисках «где лучше?»

Напрашивается параллель с анализом тематики Решетникова, сделанным за 15 лет до Кубикова уже упоминавшимся нами В. Чуйко, подходивщим к Решетникову с законченно-буржуазных позиций.

«Столкновение с цивилизацией он (Решетников) понимал только со стороны страдания первобытного человека, он понимал только естественные права человека: право на пищу, на тепло, на одежду, на воздух; другие права ему казались не то что сомнительными, а какими-то искусственными, придуманными с целью пригнетения одних людей другими» [2].

Нам представляется, что классовое чутье Чуйко подсказало ему более правильное понимание тематики Решетникова, чем Кубикову его печалование об «общечеловеческой правде». Решетников действительно был убежден, что в условиях экономического и обусловленного им социального неравенства «права» придуманы «для пригнетения одних людей другими», хотя и не умел этого выразить в тех терминах, которыми мы пользуемся:

«—Теперь я очень хорошо понял, что те, которые ратуют за свободу, или богачи, или такие люди, которые пользуются особенным почтением тех, которые давят человечество. Настоящей свободы человеку нет; человек всегда будет подчиняться другому и будет находиться в зависимости от людей богатых. Бедному человеку с ничтожным званием нечего и думать о свободе» (Дневник, 3 декабря 1865 г.). Эта оценка благ формальной свободы при экономическом гнете и составляет идейно-тематическую сторону всего решетниковского творчества зрелого периода. Прекрасно понял это редактировавший решетниковский роман «Где лучше» М. Е. Салтыков, определив проблему романа как проблему о «безвыходности некоторых отношений» [3].

«Безвыходность некоторых отношений», т. е. неразрешимость социальных противоречий, неразрешимость проблемы бедности в условиях общества, в котором

[1] «Дело». 1916 г., № 3, стр. 12, 16, 17.
[2] «Наблюдатель» 1891 г., № 8, стр. 61, подчеркнуто Чуйко.
[3] М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. ГИЗ. 1925, стр. 54.

есть люди «ничтожного звания»,— эта мысль проходит через романы Решетникова, через большинство его очерков и рассказов.

Но знал ли Решетников выход из противоречия, видел ли он единственный для «человечества» путь, на котором они могли бы быть разрешены? — Не знал и не видел. Его политическая мысль была крайне бедна и незрела. Он не разбирается в сущности программных установок радикального реформизма и революции, боровшихся в лице партий «Русского Слова» и «Современника», и готов был поддерживать то тех, то других; он совсем по-мещански путает активных революционеров своего времени с пресловутыми «нигилистами» базаровско-писаревского типа. Он против борьбы революционеров с самодержавием, и выстрел Каракозова не только не встречает у него никакого сочувствия, но он решительно отмежевывается от «злоумышленника». Он думает, что защита рабочего класса вполне совпадает с интересами правительства, и готов агитировать последнее в этом направлении. Он далек от установления какой бы то ни было связи царского самодержавия с «Строгановыми, Демидовыми и прочими дармоедами» [1].

Отрицательное отношение Решетникова к революционным действиям и революционным деятелям его времени не только результат слабости и бедности его политической мысли; оно осложнено еще и его подозрительным недоверием к либерализму, радикализму и революционности интеллигенции.

Есть основания утверждать, что революционную борьбу своего времени Решетников считает «господским» классовым делом.

И тем не менее он решительно отмежевывается не только от реакции, но и от буржуазного и дворянско-либерального лагеря. В этом отношении он совсем не похож на своего полупролетарского предшественника в русской литературе И. Т. Кокорева, который не считал, например, зазорным работать в погодинском «Москвитянине». Своим званием сотрудника «Современника» он гордится; когда органы революционной и радикальной мелкобуржуазной прессы — «Современник» и «Русское Слово» — были разгромлены, Решетников не допускает и мысли о возможности сотрудничать хотя бы в «Отечественных записках» Краевского.

Несочувствие Решетникова революционной борьбе, подозрительное отношение к интеллигенции [2], низкий уровень политического сознания и несомненный социальный пессимизм — совершенно определенно свидетельствуют, что идеологически Решетников не стоит на уровне передовой части рабочего класса своего времени.

А. С. Бубнов утверждает: «Есть все основания считать, что началом формирования (Северно-русского рабочего) Союза был 1876 г.». Инициаторы этой первой революционной рабочей организации несомненно прошли революционную школу значительно раньше. Рассказ Плеханова о его первых встречах с революционными рабочими также относится к 1876 г., но среди своих гостей рабочих он отмечает и «стажеров» — тюремных сидельцев [3]. По словам Плеханова, колпинские рабочие тотчас же после каракозовского покушения сложили песню:

«Каракозову спасибо, что хотел убить царя...»

В 1877 г. рабочий Петр Алексеев уже произносит свою знаменитую речь перед судом особого присутствия Сената: «Русскому рабочему народу остается только надеяться на себя и не от кого ждать помощи, кроме от нашей интеллигентной молодежи... Она одна... неразлучно пойдет с нами, пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего класса, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах».

И П. Алексеев и деятели Северно-русского рабочего союза — Халтурин и Обнорский — вышли из рабочих кружков конца 60-х гг. Заявление А. Ефремина,

[1] Черновик письма к Н. А. Благовещенскому. Архив Решетникова, ЛГПБ.
[2] Это ни в какой мере не оправдывает высокомерного отношения литературной интеллигенции к самому Решетникову, что так явно сквозит в записях его дневника.
[3] Плеханов. Собр. соч., т. III, стр. 130.

что «в то время еще в России не было идеологов рабочего класса»[1], конечно, неверно: они были; только Решетников стоял далеко позади этих идеологов и вообще передовиков рабочего класса конца 60-х и начала 70-х гг. прошлого века. «Героя в смысле передового бойца» нет в его романах не потому, как думает Дивильковский, что его не было в жизни[2]; «герои» были, но Решетников был неспособен понять их.

Но в каком же лагере художественный материал Решетникова являлся оружием борьбы? К какому лагерю причислить его самого? Его художественным материалом долгое время пользовался лагерь революции и пользовался правильно. В борьбе за «американский» путь развития, в борьбе за революционные методы чистки страны от остатков феодализма тема Решетникова о «неразрешимости некоторых отношений» была острым оружием, и это понимали и Некрасов, и Салтыков. Своеобразие Решетникова в том, что этот свой вывод он делает, разрешая проблему освобождения пролетариата от экономического рабства. Несмотря на то, что в практической жизни Решетников отрицательно относился к конкретным фактам современного ему революционного движения, художественным своим материалом, проблематикой своего творчества он звал к революционному разрешению вопроса о судьбах капитализма в России. Да и самое его отрицательное отношение к революции, как мы видели, осложнялось недоверием к интеллигентскому ее авангарду.

В свое время Соловьев-Андреевич удачно применил термины «глумовщина» и «подлиповщина» в классификации рабочих персонажей Решетникова. «Подлиповщина» — мужик, выгнанный из деревни земельной теснотой и дикой бедностью, результатом «освободительной» реформы 61-го года, выгнанный в бурлаки, в сезонные рабочие, на железнодорожное строительство, на фабрики и заводы и т. д. «Глумовщина» — «освобожденный» от крепостной или «непременной» работы прирожденный рабочий.

Известные нам юношеские произведения Решетникова — неопубликованный «Скрипач» и полуопубликованный «Раскольник», произведения первого периода литературной его работы «Горнозаводские люди», «Осиновцы», незаконченный печатанием роман «Горнорабочие», прерванный печатанием на 2-й части роман «Глумовы», роман «Где лучше?» и ряд очерков и рассказов — вся эта основная часть произведений Решетникова посвящена «глумовщине». Мало того, здесь именно Решетников с особой остротой и ставит свою проблему о свободе для «бедного человека ничтожного звания». Здесь центр его творчества.

Не безынтересно, что свои рабочие романы, в частности «Горнорабочие», Решетников ставит выше «Подлиповцев», два раза возвращаясь к этому в письмах к Некрасову (черновик одного письма нами здесь воспроизводится). «По моему мнению этот роман будет лучше «Подлиповцев», пишет он в одном письме. И в следующем письме (февраль 1866 г.) опять: «Неужели мой роман хуже «Подлиповцев»? в «Горнорабочих» больше страданий, чем в «Подлиповцах», это каторга, только в другом виде».

Решетников — бытописатель «глумовщины». Но и «подлиповщина» не выпадает из поля его зрения: после «Подлиповцев» он не раз к ней возвращается и дает целую серию очерков и «сцен»: «Старые и новые знакомые», «На заработки», «В деревню», «Женщины Никольского рынка» и ряд других. Большое внимание он уделяет рабочим, связанным так или иначе с деревней, и в романе «Где лучше?» Наряду с оседлым питерским рабочим (Петров, Горшковы, Потемкин и др.), наряду с «таракановскими» выходцами в романе дана большая группа крестьян, устремившихся в сторону на заработки. Их Решетников слабо диференцирует, они выступают в романе сплошной массой, окружением прибывших в Петербург Горшковых. Но они постоянно в поле авторских интересов.

[1] «На литературном посту», 1931, № 9, стр. 25.
[2] «Красная новь», 1928, № 12, стр. 26.

Однако интерес Решетникова к «подлиповщине» совершенно не тот, который обычно «проявляет к ней любой народнический автор, рассматривая полуфабричного-полукрестьянина как отбившуюся от стада овцу и всемерно желая скорейшего возвращения ее в «мир». Решетников совершенно не верит в безусловную необходимость такого возвращения. Например, Ивану и Павлу («Подлиповцы») незачем возвращаться в деревню: « развитие их началось с тех пор, как отец повел их в город. В деревне их уму не предстояло развития впереди»[1]. Не возвратятся в деревню и питерские рабочие, хотя у них и есть там «свой дом»: «об деревне говорить нечего»[2].

Мы имеем все основания утверждать, что в русской литературе 60-х гг. Решетников представляет промышленный пролетариат. Но только одно это представительство не дает нам права утверждать, что в его лице мы имеем «пролетписателя» хотя бы и «начального часа»[3]. «Начальный час», как мы видели, имел уже тогда рабочих вождей, идеология которых была на уровне идеологии передовых бойцов за социализм, а в предвидении путей, которыми пойдет русская революция, подчас и выше их: «подымется мускулистая рука миллионов рабочего класса, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах». Только того писателя, который стоял на уровне э т о й идеологии, мы могли бы назвать пролетписателем, «лучом на полвека вперед»[4].

Не был таким «лучом» Решетников; да, кажется нам, и никто в литературе 60-х гг. не был. И тем не менее Решетников социально близок и дорог тем, чем он был на самом деле: п и с а т е л е м, к р о в н о с в я з а н н ы м с р а б о ч и м к л а с с о м, з н а в ш и м е г о н у ж д ы и б о л и и п р о т е с т о в а в ш и м, н а с к о л ь к о х в а т а л о п о н и м а н и я, п р о т и в «к а т о р г и», в к о т о р о й р а б о ч и й к л а с с н а х о д и л с я.

Решетников — не пролетарская литература, но ее предистория.

И. В е к с л е р

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ

ОЧЕРК ИЗ КВАРТИРНЫХ НРАВОВ.

Один бедный литератор, недавно приехавший из провинции, где жена его имеет казенное место, рассказывал мне вот что. Нанял он в большом доме на Большом проспекте комнатку. Квартиру снимает полька, с которой жена литератора была знакома прежде. Комнатка, которую нанял литератор за 8 руб. в месяц, состояла из пяти стен, из коих две составляли двое дверей — одну, выходящую в прихожую, стеклянную, с разбитыми, но невыпавшими стеклами, сквозь щели которых все-таки можно было видеть, что делается внутри комнатки, и другую, наискось этой, между печкой и третьей стеной, заставленной комодом; третья стена, выходящая в коридор, имеет окно вверху с тремя стеклами; в четвертой стене заключается окно с шестью стеклами, начинающееся от пятой стены, капитальной. В углу комнаты круглая печь с чугунными заслонками, которые имеют назначение запирать печь, когда дрова разгорятся, и она таким образом нагревается, не имея вьюшек; но все-таки через восемь часов делается в комнатке холодно. Зато она имеет то достоинство, что в ней слышно, что говорится в трех соседних с нею комнатах. Когда литератор нанял эту комнатку, у хозяйки не было еще жильцов и не

[1] «Подлиповцы». 1867, стр. 111.
[2] «Где лучше»?», 1869, стр. 390.
[3] Д и в и л ь к о в с к и й. «Красная новь», 1928, № 12.
[4] Там же, стр. 255.

было даже мебели, так что он после отдачи задатка маялся с женой и дочкой, только что начавшей бегать, кое-где. Невесело прожил литератор с семьей пять дней в этой квартире, потому что печь топили через день двумя полешками, так что с большим трудом можно было сварить для дочки кашу; дочка заболела и стала плакать, а это в то время уже бывшим в квартире жильцам не нравилось, и они стали говорить хозяйке, чтоб она отказала литератору в квартире. Жена литератора, приезжавшая в столицу на короткое время, нерадостно провела в комнатке мужа время и уехала с девочкой на службу.

Остался литератор один в комнатке и заскучал. Денег два рубля, на них не много разгуляешься, а получишь долги нескоро, потому что приехал-то в такое время, когда ни у кого денег нет..., т. е. еще не началась подписка. И стал он домоседом, стал выпивать по рюмочке, да закусывать горькой редечкой.

Скоро он узнал, кто жильцы: в одной комнате, напротив него, живут два студента поляка, в другой тоже студент поляк, в третьей — заштатный чиновник, имеющий русскую фамилию, в четвертой — хозяйка с помощницами, тоже польками. Ну,— думает литератор,— не в свои я сани сел, чего доброго жильцы невзлюбят литератора. Однако, собравши кое-какие долги, отдал хозяйке за месяц вперед. И живет литератор день, два, неделю ничего, начинает свыкаться с одинокой жизнью, не сближаясь с жильцами, хотя один из них даже и кланялся ему раза два. Нет ему никакого дела до соседей, и думает: и соседям до меня нет дела. Но чорт силен на искушения: надо, говорит, узнать, что они за люди, нельзя ли с ними время провести. И узнал он из ихней жизни то, что чиновник два дня сидит безвыходно дома, а если и придет откуда-нибудь, так ласкает старую кухарку. Стал замечать литератор, что чиновнику нравится соседство молоденьких швей и что он все чаще разговаривает с ними и через стену, и в дверях. Двое студентов все больше дома сидят и занимаются книгами; к ним ходит много гостей и кухарка их любит. Прожил литератор месяц на квартире и ни с кем не познакомился, держал себя так же, как и сосед его за печкой. «Вот,— думает литератор,— соседям моим весело живется: они то и дело трутся около девушек. И приятелей у них много, и угощаются они хорошо — значит лучше тебя обеспечены; кабы деньги были, угостил бы я их, а то какое без денег знакомство». Однако стал литератор замечать, что и соседи им интересуются.

— Кто живет напротив?

— Какой-то литератор.

— Как фамилия?

— Ляшкин.

— Неужели?!

— А что?

— Да ведь он в X участвовал.

«Ну,— думает литератор,— дело плохо. Станут, пожалуй, приглашать к себе, затаскают... Стану-ка я от них подальше». Но напрасно так думал литератор: сколько он ни встречался с соседями в коридоре,— все отворачивались от него,— значит презирают. Ну, и плевать. И ведет литератор скромную жизнь: встанет, чайку попьет, попишет и, как попадется забористое место,— хватит водки, и прощай работа. Рюмочка за рюмочкой, и напьется к вечеру, а утром нужно итти куда-нибудь по делам. А тут кухарка не стала мести пол, а если и затопит печь, так для того, чтобы не топить плиту, а

изготовить кушанье, согреть утюги в комнате литератора. Смотрит, смотрит литератор, надоест эта возня, ругань кухарки, что чугуны в печь не лезут,— а сказать совестно, что она своей варкой все тепло у литератора расходует, так как печь закрывали, когда в ней не было ни одного уголька. Да как было и не претендовать литератору, когда ни у одного жильца печи не топят, самовары подают им тотчас же, как они спросят, и после чаю они уходят, а спросит литератор теплой воды, а старуха говорит: подождешь.

Он просит Христа ради, ссылается на холод.

— Успеешь, не велик барин.

«Ну, коли я не барин,— думает литератор,— нечего и просить самовара». И не стал просить ничего. Литератора совсем забыли. От этого у него сделалось сыро, холодно, грязно, развелось множество блох. Хотел он купить себе щетку — пожалел денег, хозяйской помел — пол портит. Плюнул на все и дня три провалялся на своем крошечном диване под теплым пальто, попивая от холода водку.

«Нет,— думает литератор,— надо подарить всеми уважаемую нашу старуху Дарью Адамовну».

Дал ей рубль, и что же!.. вымыла пол, окошко вытерла, печь истопила и даже сапоги худые вычистила...

Зато невзлюбила литератора хозяйка.

— Этому пьянице,— говорила она раз,— ничего не нужно давать и делать, кроме воды на чай, да и то не больше двух раз.

А старуха приносит ему вдруг целый самовар. Раньше старуха приносила два чайника — один с чаем, другой с кипятком, и чашку чайную.

— Зачем ты ему самовар носишь?

— Ну, а как? — удивляется старуха.

«Литератор Ляшкин Дарье Адамовне рубль подарил», — говорят жильцы, хлопая ладонями старуху.

Чиновник подружился с двумя студентами: они у него и он у них часто бывают. Думает литератор: чем он хуже чиновника?

И раскусил...

Раз вечером идет литератор на черный ход мимо двери, где живет чиновник и слышит:

— Это он, Ляшкин, написал донос,— говорил чиновник.

Кровь прилила к литераторской голове. «Господи,— думает,— что за напасть такая!»

В тот же вечер у студентов были гости, а литератор сидел затворившись и писал статейку.

— Ляшкин женат! — вдруг послышалось ему из соседней комнаты.

Он бросил перо.

— Но он развелся с ней, теперь живет с метресой. А она, вероятно, имеет там душеньку.

— Хозяйка говорила, что он взял ее бедную и как женился, обоим нечего стало есть. Вот он и выхлопотал ей место.

— Скотина! хорош литератор!

— Она, жена его, говорила хозяйке, что они оба приносят пользу обществу: оба работают.

— Знаем мы ихнюю работу! Известно, акушерки выходят из... и все...

— Но кто же он-то? Дворянинишка или студент?

— Это какой-то отставной писчишка.

Бедному литератору показался очень занятным этот разговор, но я,— рассказывает он,— сидел, как пригвожденный к месту, потому

что тут про меня, про литературу и мою жену говорились такие вещи, какие я не ожидал от студентов. Но в семье не без урода, и литератор успокоился.

Квартира ему все-так нравилась: ему приносили обед из кухмистерской, он жил среди промышленного класса. Сенная — рукой подать, и надеялся прожить до тех пор, покуда бог грехи терпит.

«А мало ли что жильцы говорят! — думает литератор,— на всякий роток не накинешь платок; позовут меня — ладно, а мне с какой стати звать их, когда я не имею тех средств, какие имеют они. Опять, о чем мне и говорить-то с ними: они — дети помещиков, говорят о женщинах, картежной игре: о чем больше толковать за водкой или пивом. Отчего и не посплетничать, когда книги брошены в сторону. Ведь не все же слушают лекции для пользы науке. Ну, а что мне знакомиться с такими студентами, которые готовятся быть господами. У меня и без них есть честные, хорошие люди, с которыми и без водки и без карт проводится весело время». Случалось и надоедали соседи литератору своими песнями, плясками, скачками по-козлиному,— ведь и литератор был молод, но между его знакомыми все-таки плясунов и скакунов теперь нет.

Одно только удивляло литератора: откуда это они знают, что он горькая, беспробудная пьяница, когда он большую половину суток читает или пишет? Мне хотелось,— говорил он,— сказать им, что они ошибаются; мне хотелось рассказать им, почему я не живу с женою вместе здесь, почему я и там не могу жить с ней; хотел сказать им, что студентам неприлично говорить худо о всякой женщине, не зная ее, что если так понимать брак и обвинять мужа и жену в том, что они, по случаю добывания себе куска хлеба и для пользы обществу, не могут жить вместе несколько месяцев в году,— значит чего и языки чесать о доставлении женщине самостоятельной жизни...

Наконец узнал литератор, почему соседи называют его пьяницей.

Приходит кухарка утром в девять часов. Дверь заперта. Он давно пробудился, но не встал, потому что холодно.

Встает, кладет чаю в чайник и ложится снова.

— Лежит! — слышит он голос старухи из кухни.

В комнате хозяйки хохот. Чиновник мычит; соседи хохочут.

После того как старуха уносит посуду, литератор запирает дверь и сидит взаперти до тех пор, пока не принесут газету, и опять запирается. Два дня подряд литератор до третьего часу не был дома. Газету читали жильцы. Двери были заперты.

— Газета! — кричит швея, идя по коридору и шурша бумагой.

— Давайте — он пьян,— говорит жилец.

А литератор был трезв. Такой отзыв взбесил его, и он пошел, взял газету и потом после обеда не отпирал уж дверей до утра. — Каюсь, — говорил он,— был выпивши.

Со следующего дня литератор водку бросил совсем и принялся крепко за работу. Я, говорит, стал писать с раннего утра, т. е. с 4 часов, и до поздней ночи и даже первую ночь не мог спать от блох, но обошлось и без водки дело. В первый день даже и обедать не ходил. Второй день прошел лучше первого: я, говорит он, сделался совсем свежим человеком. Работа моя шла отлично.

К вечеру литератор устал и прилег на диванчик с трубкой. В комнате, противоположной стеклянным дверям, какой-то оратор говорит без умолку, и вдруг литератор слышит свою фамилию.

— Это такой пьяница, что я и не видывал. Притом, должно быть, развратник.

— Но на что он пьет?

— Не знаю. Пишет где-то. Его жена много денег получила.

«Хороши,— думает он,— студенты, что не читают ничего, кроме газет».

Потом слышит, что оратор начал рассказ о соседе чиновнике, и из этого рассказа он узнал, что оратору надоел чиновник, не нравится, что он пустой человек, хочет споить оратора, и рассказал происхождение его отставки: чиновника уволили будто бы вследствие литераторского доноса. Далее оратор начал расписывать историю литератора и его жены.

Про литератора оратор говорил, что он что-то пишет, и ему хотелось бы узнать, каково он пишет. Литератора это заинтересовало, но чем дальше он слушал, тем больше находил в этом рассказе неправды и какой-то злобы: «я, говорит, был оподлен и огажен». Но и тут думает он: пусть их, мое к ним не прильнет.

— И отчего бы ему не притти к нам! — слышит литератор.

Литератор подумал: итти разве и сказать, что они ошибаются, считая меня таким мерзким человеком.

— Я бы ему поставил полуштоф. На, мол, пьянствуй и спи здесь, по крайней мере тебя видно будет.

Этого-то уж литератор никак не ожидал.

Когда, говорит, я пил чай, пришел чиновник с гостем. По голосу видно, что он подкутивши. Вошел в комнату и говорит громко про литератора, что тот про него написал донос в одной газете и его вследствие этого уволили.

Это говорилось так уверенно и так громко, что литератору стало ясно, что чиновник положительно думает, что он доносчик, а так как чиновник шатается по гостиницам и имеет приятелей, то немудрено, что про литератора далеко пойдет слава, а по этому литератору, пожалуй, будут судить и о других...

— Я пойду к нему... он выписывает эти газеты, и попрошу его об'ясниться,— говорил чиновник.

— Зачем! — унимал его приятель.

— Нет, я пойду. Я налицо Ляшкина приведу... Ляшкин дома? — спросил он кухарку. Та сказала.

Литератор сел за книгу. Двери чиновник запер. Кухарка взяла посуду. Хозяйка в это время рубила капусту в кухне.

— Что Ляшкин делает? — спросила хозяйка кухарку.

— Книгу читает.

— Надо его позвать. Видно, что-нибудь жена неприятное пишет, что он все сидит дома. Поди, позови его кофе пить.

Мне так сделалось горько и обидно, что я запер дверь.

— Заперся! — говорит кухарка.

Вышел чиновник.

— Ляшкин дома? — спросил он хозяйку.

— Заперся... Он пьян.

— Но есть огонь. Я пойду к нему. Я его и пьяного приведу.

Литератор погасил свечку.

Но гость скоро ушел, и чиновник заперся.

— Пьет! Все пьет! — услышал литератор из противоположной комнаты через стену.

— Удивительно,— говорит чиновник тоже через стену.

— Совсем спился!

— Он писал сегодня,— сказала старуха.

— Может ли что пьяница написать. — Скоро один жилец ушел.

— Доносчик, каналья! Ребра ему, мерзавцу, надо пересчитать! — кричал чиновник.

Меня,— говорит литератор,— трясло от злости, я оделся, пошел в кухню и услыхал:

— Надо ему отказать. У нас давно просят эту комнату. Это скотина какая-то, даже никому не кланяется,— говорила хозяйка.

Литератор вошел в кухню, но от злости ничего не мог выговорить. Мысли его перепутались, и он пошел на задний ход, чтобы немножко освежиться.

Затем много было говорено насчет литератора неприятного. Он хотел об'ясниться с хозяйкой и поговорить с чиновником. Попросил Дарью Адамовну спросить хозяйку: звала ли его она к себе, или нет? Та спросила.

Хозяйка захохотала, девицы тоже и убежали из кухни в свою комнату.

Пришел жилец-оратор.

— Каков Ляшкин-то! ха-ха! — говорил чиновник.

— Ляшкин пьян?

— Какова каналья! к хозяйке напрашивается.

Теперь уже разговор шел на все три комнаты. Студента в соседней со мной комнате не было дома и он ничего не знал.

— Да он с ума сошел!

— Спился.

— Он зарежется.

— Господи! Вот беда. Да он нас зарежет всех.

— Надо за доктором послать; в часть его отправить, каналью.

Разговор на эту тему продолжался с полчаса. Литератор то зажигал свечку, то гасил, потому что к его комнате то и дело подходили.

— Огонь!

— Пьет!!

— Погасил!

— Ну, теперь зарежется...

Литератор не знал, что ему делать. Итти куда-нибудь,— не к кому. Чиновник ушел за полицией; в это время пришел сосед.

Одевшись, литератор пошел к хозяйке.

— Послушайте,— начал литератор дрожащим голосом,— что это вы за историю поднимаете на мой счет?

— Какую! Господь с вами! — сказала хозяйка.

— Как какую: все говорят, что я пьян. Ведь я не глух.

— Полноте! Вы ослышались: это говорят про гостя одного жильца. А мы все о вас хорошего мнения. Никто о вас дурного не говорил, потому что вы примерный жилец.

Я, — говорит литератор, — решительно не понимал — не во сне ли все это я слышал?

— Я вам говорю, что дело идет обо мне. Я вовсе не пьян, а если и выпивал раньше понемногу, так я теперь совершенно ни капли не беру в рот.

— Полноте... До этого никому нет дела. Да и жильцы вас не знают.

Я ушел, думая, что действительно я обслышался, и стал ждать дворника. Во всей квартире было тихо.

Наконец, вошел в кухню дворник.

— Ляшкин, вы говорите, зарезаться хочет. Зарезался? — спросил дворник.

— Нет! ступай! — сказала хозяйка шопотом.

— То-то. — Дворник ушел.

— Опять я должно быть обслышался,—говорит литератор.

Но вдруг заговорили вполголоса.

— Какая шельма!

— Какое у него ухо! Должно быть, он верно пишет!

Огонь литератор погасил и встал в двери, для того, чтобы удостовериться: не обслышался-ли он, сидя на диванчике; но теперь уже говорили шопотом, смеялись громко. Сперва удивлялись тому, что он хорошо подслушал, но потом, вероятно, пришли, к тому убеждению, что его можно обмануть тем, что он обслышался, и стали говорить в таком роде:

— А мы и не знали, что он пьяница. Сам сказал, что раньше выпивал.

— Вот и видно — может ли он что хорошее писать.

— А эти пьяницы, впрочем, талантливые люди, — заметил чиновник.

— Да мы его вовсе не считали пьяницей.



Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

С фотографии (1864 г.), хранящейся в Институте Новой Русской Литературы

«Господи, — думает литератор, — что это? Кого они разыгрывают из меня? Неужели со мной горячка? Но с чего?»

Зажег литератор свечку. Прочитал несколько строк из новой работы... «Нет! Они из меня дурака строят: или, может быть, они думают, что я действительно пьян, или хотят выжить меня». И литератор решил искать квартиру.

— Посмотрите, спит ли он, — говорит девушка швея.

Кто-то выходит в коридор и говорит:

— Огонь.

— Выпивает, — заметил сосед, услыхав, что я стал выколачивать из трубки пепел.

— А ведь он ничего теперь не помнит.

Всех разговоров было много; были всякие.

Литератор взял книгу, но слова прыгали; голова отяжелела.

Вдруг заперли все двери. Вероятно, боялись, чтобы литератор не убил кого-нибудь, или чтобы еще чего-нибудь не подслушал.

Литератор не спал всю ночь.

Кое-как дождался он света и написал хозяйке записку, что с'езжает с ее квартиры через пять дней, а не теперь, потому что нужно дождаться с почты повестки; изложил мысль, что он не дурак, такая история могла б и пьяному показаться неприличной, и просил ее, во-первых, передать жильцам, чтобы они были насчет жильца-литератора вежливее. В заключение просил чиновника об'яснить ему, действитель-

но ли он думает, что донос написал литератор. Если он ему не об'яснит, то это его мнение грозил опубликовать в газетах. В Р. S. выставил число своего от'езда из Петербурга в провинцию, так что, по словам чиновника, оказывается, что донос напечатан раньше от'езда литератора в провинцию.

Все жильцы целых два часа шептались. Одно только литератор слышал: они настаивали у хозяйки,чтобы его прогнать в этот же день.

Когда дома осталось только двое жильцов, литератор пошел умываться, и что же! хозяйка ему сказала, что он это все во сне видел.

Но не то оказалось на деле, как потом литератор через два часа пришел домой:

Половина жильцов были пьяны, к ним то и дело приходили гости и, приходя спрашивали:

— Что за история?

— Скандал!

— Чтобы чем худым не кончилось! Он, пожалуй, опишет нас в газетах. Фамилии выставит.

— Пусть-ка он попробует! Мы напишем, что он пьяница, — все это в бреду написано.

— Надо всех студентов сговорить, чтоб и они написали, что он пьяница, негодяй, мерзавец.

А через три часа еще хуже. Пили все жильцы, за исключением одного, которого не было дома.

— Надо выгнать его!

— Ох, дорого бы я дал, если б он мне теперь на глаза попался.

— Хозяйка, выгоните его сейчас, сию минуту. Мы вам заплатим деньги.

— Ах, что Ляшкин мне наделал. Охо-хо, хозяйка

— Его из Х** выгнали.

— Он в И** вас опишет.

— Где ему в И**: его отовсюду прогнали.

— Да что он писал до сих пор?

— Я вам говорю, он не литератор — мазурик! вор!! Хозяйка, заприте все двери, чтобы он не обокрал вас и нас.

И действительно, от литератора заперлись крепко и говорить о литераторе собирались к хозяйке. Чтобы пройти к ней с чистого хода, нужно было отворить трое дверей, которые прежде никогда не запирались.

На другой день хозяйку усиленно просили выгнать литератора; говорили, что если он будет жить в этих краях, то ему не будет покою. Но хозяйке было совестно отказывать ему, да и не хотелось ей возвращать ему деньги.

Литератор с'ехал с квартиры и его от'езду все жильцы аплодировали.

Передавая этот рассказ со слов литератора, автор не ручается за достоверность его. А если он действителен, то очень жалеет, что в изгнании литератора принимали участие люди развитые, на которых общество привыкло смотреть с доверием. В семье не без урода. И этим автор вовсе не хочет защищать литератора, который, действительно, может быть, переехал на эту квартиру, жил на ней и с'ехал с нее в белой горячке.

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Недавно я обедал в одной из петербургских кухмистерских. По окончании обеда, я стал читать газету, но так как в комнате было много народу и каждый человек был уже навеселе, то чтение казалось не совсем удобно: крупные происшествия врезывались в голову; газету приходилось класть назад, потому что рассказы людей были интереснее печатного. Наконец, меня заинтересовал один господин, недавно пришедший. Он был среднего роста, одетый в пальто неказистой формы — так что сразу можно было отличить в нем человека мастерового, на голове мерлушчатая шапка. Лицо его было избито и обезображено так, что сразу можно было подумать, что этого мастерового избили на каком-нибудь вечере... [1] при получке денег.

В нашей кухмистерской обедают люди почтенные, и потому многие из обедающих подозрительно взглянули на обезображенную физиономию вошедшего, когда он велел подать себе обед и потом сел к одному пустому столу, охая при каждом повороте головы, при движениях руками.

— Да у те есть ли деньги-то? спросила его разбитная женщина.

— Есть... дайте... если можно, — проговорил он больным голосом и вынул деньги.

Сидевший за противоположным окном мастер-немец, лицом к нему, спросил его:

— Угостили хорошо?

— Нафилармонили, — произнес избитый.

— Где же?

— На филармоническом вечере.

— На каком? — спросили двое господ в меховых пальто, собиравшихся уже выходить.

Избитый повторил сказанное.

— Да мы сами там были. Это было седьмого января, в Дворянском собрании.

— Да. Восьмого января такого-то года была моя свадьба, но на ней не было такой филармонии.

— Странно... мы были сами, но у нас рожи не избиты.

— То-то што вы были в Дворянском собрании, слушали музыку настоящую, а я, вместо Дворянского собрания, попал сперва в участок, а потом в часть и надо мной была исполнена такая отличная музыка, о которой всю жизнь не забудешь.

— Должно быть, ты был где-нибудь около части, а не Дворянского собрания?

— То-то и есть, что я Дворянское собрание, т. е. дом-то, только едва-едва разглядел... Да! славный был вечер. Сегодня ходил в баню, попарил синяки, да что-то плохо помогло. Придется верно похворать недельку-другую... Буду я об этом вечере, буду я о нем вспоминать всю жизнь... Но вам, господа, не советую, когда вы будете немножко выпивши, как был и я седьмого числа, искать развлечений: как раз угодите на такой вечер.

— Но как же тебя черти угораздили попасть на такую комедию?

— Очень просто. Слыхал я, что 7 января будет в Дворянском собрании филармонический вечер или концерт, — право забыл. Знал я только, что там будет хорошая музыка и пение, но не знал, когда начало. Раньше я не ходил брать билета, потому что у меня не было времени,

[1] Одно слово редакцией «Нового обозрения» не разобрано, о чем имеется сноска в газете.

а живу я от Дворянского собрания за четыре версты; такие же газеты, в которых можно узнать о концерте, не всегда достанешь, если имеешь много работы и тебе некогда часто расхаживать по кухмистерским. Ну. вот, седьмого января, в это незабвенное для меня число, я отправился к Дворянскому собранию. Надо вам заметить, что у меня время дорого, я машинист, и если я поехал, то, значит, у меня было свободное время, и я этим временем располагал, как умел. Но чорт меня сунул зайти в портерную и выпить две кружки пива, от чего я и засиделся в портерной до шести часов. Ну, думаю, если я теперь не поеду, то мне пожалуй и не удастся в другой раз послушать филармонического концерта. Надо будет во что бы то ни стало добыть билет. Поехал. Приезжаю. Около Собрания стоят кареты. Ну, думаю, еще приехал рано, и на хорах мне придется преть. Тут я спохватился, что я забыл очки, но, чтобы не опоздать покупкой билета, я подхожу к одному под'езду и спрашиваю городового:

— Куда на хоры?

— Билет!

— Покажите, где мне можно получить билет.

Но городовой пошел отгонять извозчика, и я пошел в другой под'езд. Отворивши двери, я увидел много уже одевающихся людей и, думая, что я попал не туда, пошел в третий под'езд, но там меня схватил за рукав полицмейстер.

— Куда?

— На концерт.

— Кто такой?

— Мастеровой.

— Ты, братец, пьян, — не знаешь, куда лезешь. Городовой, взять его в участок!

И меня городовой повел в участок.

И начал я скорбеть!.. Горько мне стало; лучше было дома поиграть на гармонии, чем разыскивать дураку концерты.

— Это куда же вы меня ведете? — спросил я городового.

— Узнаешь — куда! Увидишь филантронию... Мы тебя поучим, как по дворянским собраниям шляться.

— Послушайте... Да ведь я хотел за свои деньги слушать.

— Ну.. ну.. иди знай вперед! — И он толкнул меня, потом взял извозчика.

— Што же это такое? Пиво, што ли, бродит в моей голове. Нет! городовой сидит рядом, смотрит как-то неприятно на меня, считая меня за мазурика.

— За что же меня взяли-то? — спросил я городового.

— Не ругай полковника.

— Разве я ругал? И как вам не стыдно говорить-то это?

— Ты, братец, не ругайся... Нынче...

Но он не кончил — мы под'ехали к под'езду участка.

Городовой мне велел подниматься по лестнице. Поднялся. Узкая прихожая с полукруглым окном в канцелярию, что-то вроде стола и люльки — вероятно, диван с провалившейся подушкой. Из канцелярии вышел высокий человек в эполетах.

— Откуда? — спросил он городового.

Тот сказал.

— Кто ты такой? — крикнул на меня офицер так, что как будто я убил человека.

— Мастеровой... Я шел слушать филармонический концерт.

— А! — И я был оглушен здоровою оплеухою, от которой меня отшатнуло в сторону.

— Што вы деретесь-то? — сказал я.

Но я был оглушен уже двумя офицерскими оплеухами.

— Он полковника обругал пьяницей, — пояснил городовой.

— А! ты так! Вот... вот! Бей его, мерзавца! Бей его до полусмерти!

И меня били жестоко. Я лежал на полу и только молился: господи, укроти филармонию... Никогда больше не стану разыскивать хороших концертов.

Слава богу, оставили целого, но сильно измятого.

Наконец, городовой повел меня в часть; но мы шли немного, городовой взял извозчика. От городового я узнал, что филармонический концерт уже давно окончился, и тут-то я спохватился, что я сунулся в воду, не спросясь броду. Городовой был вежлив и сообщил мне, что меня, быть может, и выпустят завтра.

О, роковое это слово «быть может»!

— А бить будут? — спросил я городового.

— Накладут...

— Но за что? за что, господи! — возопил я.

Долго мы ехали от участка в часть; много миновали мы народу. Весь хмель у меня прошел от побоев, стыдно мне было людей, тех людей, которые шли пешком. Попадались даже и пьяные, и я бы дорого дал городовому, если бы он меня пустил, но городовой помалкивал и извозчик говорил про меня: знать, впервые привелось на саночках кататься. Ишь, любите даром ездить, мазурики эдакие!.. Пусти тебя пешком — небось убежишь ведь!..

Было уже темно, как мы приехали в часть; но здесь уже угощение было получше.

Сперва меня ударил городовой за то, что я не стал платить извозчику деньги, и, отняв у меня портмонэ, сам рассчитался с извозчиком, потом портмонэ возвратил мне.

— При бумаге из участку... Обругал полковника, — сказал городовой дежурному.

— Ты?.. ты обругал! — закричал дежурный офицер, сопровождая слова ударами.

Я молчал. Тут было людно, мрачно. Голова моя и бока мои начали болеть.

— Што ж ты молчиш? — крикнул другой — повидимому, из подчасков, ударив меня в шею, так что я толкнулся на что-то твердое, но оттуда тотчас же отскочил от удара в угол.

— Как вы смеете драться?! — крикнул я с остервенением, но меня вытолкали в дверь на двор и через три минуты втолкнули с побоями в темную, большую, грязную, вонючую избу — не избу, комнату — не комнату, подвал — не подвал, освещенный лампой с керосином. В ней слышалось множество голосов, в нее доходили откуда-то песни, свистки, ругань.

— Вот тебе и филармония! — проговорил я.

— Зададим мы тебе гармонию. Раздеть его! — крикнул дежурный городовым.

Я не стал давать своей одежды, но я не знал полицейских порядков: я был здесь, как игрушка, как котенок, которого ребятишки пичкают и таскают за хвост, как угодно. Так над моей особой излавчивались отличным образом, колотя в щеки, по голове, в грудь и особенно в шею. И я молчал, думая: скоро ли они мне отведут квартиру. Но долго еще сопровождалось отрезвление. С меня было снято все, кроме

рубашки и подштанников; но зато теперь больнее были удары, голые мои ноги зябли от холодного сырого пола.

Думал ли я когда-нибудь попасть так неожиданно в этот вертеп?

Наконец, меня втолкнули в удушливый темный коридор, по обеим сторонам которого сквозь деревянные решетки едва мелькал огонь и откуда выглядывали, как призраки в тумане, люди в рубахах или рваных поддевках. По обеим сторонам народ говорил, ругался, по коридору кто-то ходил, и сопровождали меня удары до двери в одну камору, называемую мышеловкой. Эта камора сажени полторы длины, около сажени ширины и сажени полторы вышины, с полукруглым окном почти около потолка над нарами, устроенными на поларшина от полу, с когда-то крашеными охрой стенами, с отстающей уже штукатуркой, с грязным полом, на который постоянно плюют, — была пропитана махоркой и другим запахом. Камора освещалась изломанной лампой; в каморе топилась печь; у двери висело ведро с водой. Камора была набита людьми: народ сидел и лежал на нарах, лежал под нарами, сидел на полу, стоял около стен.

— Пьяницу привели! спрыски надо делать, — кричали арестанты.

Я стоял середи полу; меня не пускали ни на нары, ни под нары, ни на пол.

— Дайте барину подушку!

И меня ударили в шею.

— Братцы, меня уже много били! — сказал я, плача.

— Дайте ему платочек слезы утереть.

Я не буду описывать вам всего подробно, как меня били. Но в каморе били меня немного. Я сказал арестантам, что у меня есть деньги, которые отобрал от меня дежурный, и обещался дать им рубль перед выпуском. За это мне дозволили лечь на нары и даже давали покурить табаку. Но с непривычки, братцы мои, да еще избитому, не очень-то приятно лежать на голых досках, подложивши под голову кулак. Но еще неприятнее, вместо филармонического концерта, попасть в мышеловку.

Камора наша не запиралась на замок и так как она находилась рядом с отхожим местом, то дверь отпирали часто; к нам приходили посетители, которые приходили посмотреть на пьяницу, но я лежал, прикинувшись очень больным.

— Саданите его хорошенько, чтобы он чувствовал, каково в часть попадать.

— Чувствую, други! Ох, как чувствую... Едва жив.

— Не беспокойся — не убьют. Здесь бьют ловко, умеючи. Хорошу-ли ты науку-то прошел?

— Хорошу.

— То-то. От нас еще достанется — свезут в больницу, а потом и на кладбище.

— Да разве они смеют бить?

— Толкуй. Место такое, што бить можно: начальство не побьет, мы побьем.

После ужина пришел дежурный, посмотреть меня.

— Жив ли ты? — спросил он у меня.

— Не бейте меня, ради Христа, — взмолился я.

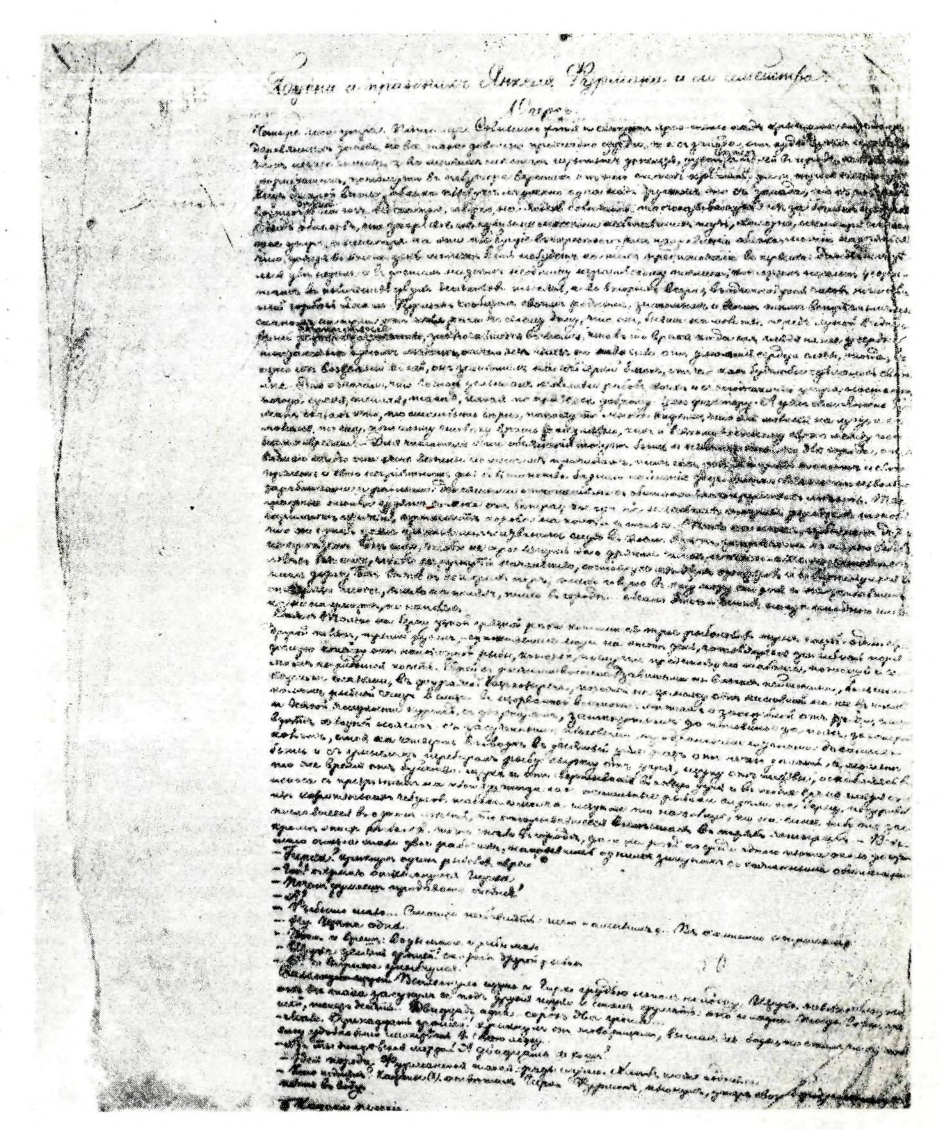
Но он повернулся, а потом проговорил арестантам:

— Берегите его! смотрите... что будет, донести мне,— и он ушел.

— Ловко же они его побили.

Немного погодя по коридору разнесся чей-то вой.

— Пьяницу обивают! — кричали с радостию арестанты.



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ОЧЕРКА Ф. М. РЕШЕТНИКОВА «БУДНИ И ПРАЗДНИК ЯНКЕЛЯ ФУРМАНА И ЕГО СЕМЕЙСТВА».
С подлинника, хранящегося в Гос. Публичной Библиотеке в Ленинграде

— Неужели здесь, в участке, и в части начальство всегда бьет пьяниц?

— Вытрезвляет отлично. В другой раз не захочешь.

— Еще бы!..

Пришел другой пьяница, но его лицо было не избито. Он плакал и говорил, что у него нет ни копейки денег, и его не пускали даже на пол.

— Ты не на концерт ли ходил? — спросил я товарища, когда меня вновь прибывший арестант из т у т о ш н и х стащил с нар.

— Нет! городового обругал.

Я рассказал свои похождения, и арестанты прозвали меня филимонией.

Ночь я пролежал под нарами, где даже и повернуться было нельзя и куда сверху в щели плевали старосты и хозяева этой каморы. Такое удовольствие мне досталось еще потому, что я обещал арестантам

деньги, но другого пьяницу арестанты довели до того, что он ушел жаловаться дежурному, который и велел ему ночевать где-то в коридоре.

А очень приятно лежать под нарами, особенно когда арестанты поют песни... Хоть эти песни не совсем хороши, но их слушаешь даром; а в Дворянском собрании мне на хоры пришлось бы заплатить рубль, да кроме того, платить за одежду...

Утром я получил свою одежду и облекся в нее. Не украли ее; даже платок был в целости, только я никак не ожидал, что спину моего пальто разрисуют мелом, так что без щетки этот круг с крестом в середине никак не сотрешь. И вот с этим крестом на другой день мне пришлось прежде получения свободы исходить пол-Петербурга от части к двум участкам и притти с ним домой.

КОММЕНТАРИИ

В 1884—85 гг. в отдаленном тифлисском «Новом обозрении» были опубликованы впервые два рассказа Решетникова: «Филармонический концерт» (№ 47, от 18 февраля 1884 г.) и «Трудно поверить» (№ 548, от 28 июля 1885 г.).

Затерянные на столбцах газеты, не имевшей широкого распространения, оба рассказа оставались неизвестными и библиографам Решетникова (Быков, Венгеров, Мезьер), и его редакторам. Лишь теперь впервые рассказы эти переиздаются в «Литературном наследстве».

Как видно из примечаний редакции «Нового обозрения», рассказы доставлены «вдовой покойного писателя» — первый «при любезном содействии» и посредничестве Гл. И. Успенского, второй — «при любезном посредничестве Н. Я. Николадзе».

Оба рассказа написаны зимой 1867/68 г., когда Решетников оставался в Петербурге один, без семьи, жившей в Брест-Литовске; оба отражают действительные переживания Ф. М.

Рассказ «Трудно поверить» был написан в ноябре 1867 г. для «Искры», но «Курочкин его не напечатал, назвав «белой горячкой» (Дневник, 31 октября 1868 г.) Рассказ действительно отражает болезненное состояние Решетникова. Заброшенность, материальные лишения, на которые постоянно указывали биографы Решетникова и авторы воспоминаний о нем, не все и не главное для определения его как социальной личности, хотя и это входит в комплекс впечатлений, выносимых из рассказа; главное — исключительное одиночество Решетникова в тех кругах интеллигенции и интеллигентского мещанства, куда забросила его судьба. Это одиночество, повидимому, разлагающе влияло на его психику, что сказывалось в еще большей отчужденности его от тех людей, с которыми он жил. Его дневник — сплошной крик человека, задыхающегося в кругу чуждых и далеких людей. Герой рассказа «Трудно поверить» ничего не имеет общего ни со студентами, ни с чиновниками, обитателями той же квартиры, в которой он живет. Все это не только чужие, но и враждебные, по отчужденности от них, герою-автору люди, более чужие и враждебные, чем арестанты и жандармы полицейской части, избивающие его в «Филармоническом концерте».

Не трудно понять, почему Курочкин отказался от рассказа. Потребовалось 14 лет, протекших после смерти автора, чтобы рассказ нашел приют в «Новом обозрении».

А между тем рассказ как художественное произведение бесспорен и должен занять место в ряду лучших произведений Решетникова. Рассказ очень характерен для художественной манеры Решетникова. Еще критика шестидесятников пыталась определить основной характер решетниковского реализма.

«...Он дает короткие факты, внешние признаки внутренних состояний, и уже от восприимчивости читателя зависит понять и почувствовать их силу и глубину. У него нет эффектных сцен, об ужасах он говорит очень просто, как о вещи обыкновенной, повседневной, будничной» (Шелгунов).

Анализ творческого метода Решетникова, такого близкого к требованиям материалистической эстетики Чернышевского,— дело будущего. Своеобразный решетниковский реализм в письме, в основном верно охарактеризованный Шелгуновым,— неот’емлемая принадлежность этого метода. В «Трудно поверить» этот реализм исключительно интересен, так как применен к явлениям больной человеческой психики.

По словам редакции газеты, рукопись второго рассказа — «Филармонический концерт» — доставлена в сильно потертом виде; три слова в тексте редакция

восстановила по догадке. Рассказ, напечатанный 13 лет спустя после смерти писателя, написан в январе 1868 г.

Очевидно попытки поместить рассказ в каком-либо столичном издании имели место, но рассказ по предельному своему реализму в зарисовке полицейских нравов был явно нецензурным. Только надежда на большую снисходительность окраинной цензуры, расчет на «давность лет», на незаинтересованность провинциальных властей в оберегании чести столичной полиции мог подсказать Гл. И. Успенскому попытку пристроить рассказ далеко от Петербурга.

Однако уверенности в снисходительности и провинциальных властей вначале не было: Н. Николадзе, сотрудник «Нового обозрения», также «содействовавший, по словам редакции, этой вынужденной переброске произведения петербургского писателя на страницы далекой окраинной газеты, пишет С. С. Решетниковой: «Статью Вашего покойного мужа я послал в редакцию газеты «Новое обозрение», откуда вы на этих днях и получите деньги 25 руб., если рассказ «Филармонический концерт» будет дозволен цензурой» [1].

Рассказ основан на личном горьком опыте знакомства Ф. М. с нормами полицейской заботы о благочинии. Гл. Успенский в биографии Решетникова рассказывает, что в бумагах писателя он нашел «прошение, адресованное Ф. М. к СПБ обер-полицмейстеру. В прошении этом Решетников рассказывает следующее. Вздумалось ему пойти однажды в концерт. Прочитавши афишу и не заметив, что она вчерашняя, старая, он отправился в Дворянское собрание, где вероятно уже происходило что-нибудь другое. Городовой не пустил Ф. М. в под'езд, он пошел в другой — и там не пустили, «прогнали прочь», по собственному его выражению. Ф. М. рассердился и ответил, на него прикрикнули: куда ты лезешь? кто ты такой? — «Мастеровой!» — ответил Ф. М. Результатом такого ответа было то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый, без денег и без кольца. «Довожу об этом до сведения вашего п-ва, — писал он в прошении. — Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые *не били народ*» [2]... Этому «народу» и так придется получить много всякой всячины! [3].

Гл. Успенский относит это прошение к «доказательствам истинной любви к человеку» [4]; Ленин из опубликованного Успенским материала сделал другой вывод: «Лет тридцать пять тому назад,— писал В. И. в первой статье «Случайные заметки» («Бей, но не до смерти» — «Заря», 1901, № 1) — с одним известным русским писателем, Ф. М. Решетниковым, случилась неприятная история».

В. И. в статье передает содержание приведенного нами отрывка и приводит цитату из прошения Ф. М. — «чтобы *не били народ*».

«— Скромное желание, которым так давно уже осмеливался утруждать русский писатель начальника столичной полиции (продолжает Ленин), осталось и по сие время невыполненным и остается *невыполнимым* [5] при наших политических порядках. Но в настоящее время взоры всякого честного человека, измученного созерцанием зверства и насилия, привлекает к себе новое могучее движение, собирающее силы, чтобы смести с лица русской земли всякое зверство и осуществить лучшие идеалы человечества» (*Ленин*, Соч., 3-е изд., т. IV, стр. 89—90).

Таково было впечатление от факта, легшего в основу рассказа Решетникова, у Ленина-читателя, Ленина-публициста. Совершенно очевидно, что петербургская цензура была по-своему права, не разрешая к печати художественного претворения этого факта, так невозмутимо, спокойно переданного Решетниковым и такого жуткого в его манере об'ективно-реалистического письма.

И. Векслер

---

[1] ЛГПБ, Архив Решетникова, письмо Н. Николадзе от 16 февраля 1884 г.

[2] Курсив и отточия Гл. Успенского (документ отсутствует).

[3] Собрание сочинений Решетникова, 1874, т. I, стр. 53; в архиве Решетникова ЛГПБ этого документа нет.

[4] Там же.

[5] Курсив Ленина.

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ

ЗА ЛЕНИНСКИЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Обзор учебников по истории русской литературы XIX и XX вв.; Львова-Рогачевского, Евгеньева-Максимова, Кубикова, Горбачева, Майзеля, Войтоловского, Назаренко.

УЧЕБНИКИ КАК УЧАСТОК КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

Наступление пролетариата на капиталистические элементы в стране, выкорчевывание питающих эти классы частновладельческих форм хозяйства сопровождаются развернутым наступлением пролетариата на всех участках идеологического фронта. Борьбе в области экономической и политической соответствует обострение классовой борьбы во всех областях идеологии. Наступая на бешено сопротивляющегося классового врага, пролетариат и здесь в борьбе с враждебными буржуазными, реакционными, идеалистическими теориями, а также с ревизионистскими теориями меньшевиствующего идеализма и механицизма, закаляет свою собственную теорию и, принимая и в этих областях метод марксизма-ленинизма, укрепляет свою идейную гегемонию на всех участках идеологического фронта.

Письмо тов. Сталина в редакцию «Пролетарской революции» мобилизует партию на борьбу за «кровные интересы большевизма» против троцкистской и др. буржуазной контрабанды на идеологическом фронте, против опасности «гнилого либерализма», граничащего с прямой изменой делу партии и рабочего класса.

Борьба с буржуазными идеалистическими теориями в философии (Лосев и др.), буржуазными теориями в исторических науках (Платонов, Тарле), разгром механистов, а также меньшевистских теорий и меньшевиствующего идеализма в различных науках (Громан, Суханов, Рубин, Переверзев и др.), разоблачение троцкистских контрабандистов и т. д.,— все это свидетельствует о решительном наступлении пролетариата в области идеологии на позиции классового врага, маскирующегося зачастую приспособленческой маской марксистской терминологии (Рубин, Переверзев, троцкистский контрабандист Горбачев и др.).

Даже такая, казалось бы, отдаленная от прямой классовой борьбы область, как область учебников, является такой же ареной ожесточенной классовой борьбы, как и другие участки идеологического фронта, тем более, что сфера влияния этих учебников захватывает широчайшие и важнейшие участки подрастающих кадров пролетарской и революционной молодежи, не всегда достаточно закаленной для того, чтобы самостоятельно дать отпор и разоблачение тончайшим формам буржуазных влияний, проводимых зачастую этими учебниками.

В области литературной науки в течение долгого времени откровенно буржуазные учебники и книги были зачастую единственными пособиями, да еще рекомендуемыми зачастую людьми, пользовавшимися репутацией марксистов. Так область поэтики, а кое в чем и истории русской литературы (поэзии главным образом) была почти целиком «на откупу» у формалистов, этой реакционнейшей буржуазной школы 20-х гг. нашего века. Формалистов усиленно издавали некоторые издательства. Формалистов рекомендовали, хотя и не без оговорки, Л. Троцкий, Г. Горбачев, Г. Лелевич и Н. Бухарин. У формалистов советовали учиться и их использовать, «подводя под них социологическую базу» (Горбачев). Одно из издательств выпустило несколькими изданиями и в значительном тираже для пользования широчайшими слоями рабкоров и селькоров книгу одного из наиболее схоластических формалистов Г. Шенгели: «Как писать статьи, стихи и рассказы». Уже в 1931 г. Лен. отд. ГИХЛ'а выпустило 5 изданием «Теорию литературы» формалиста Томашевского, а «Издательство писателей в Ленинграде»— «Современное стиховедение»,— книгу буржуазного схоласта и догматика Пяста.

Если формалисты были долгое время «гегемонами» в области поэтики и отчасти истории русской поэзии, то основными учебниками и пособиями по истории русской литературы XX и особенно XIX в. снабжали книжный рынок главным образом эклектики и эпигоны культурно-исторической школы (Сакулин и мн. др.), деля свое исключительное положение в пределах XIX в. с механистами и меньшевиками Переверзевым, Кубиковым и др., а в истории до XIX в. с механистом Келтуялой.

Целью настоящего обзора является показ того, как безобразно обстоит дело в области учебников по истории русской литературы XIX и XX вв. Обзор охватывает наиболее «известные» и во всяком случае наиболее переиздававшиеся и реко-

мендованные учебники, а также учебники и пособия авторов, незаслуженно пользовавшихся до сих пор репутацией марксистов и считавших себя таковыми. Из представителей последнего типа выпадает в настоящем обзоре ряд авторов, которые ввиду обилия изданных ими книг нуждаются в самостоятельном обзоре (например П. С. Коган, В. П. Полонский и др.), либо уже получили в марксистской критике достаточно правильную оценку своих работ как антимарксистских, антиленинских (Троцкий, Воронский и др.). Выпадает из этого обзора также ряд марксистских работ по истории русской литературы, нуждающихся в большой критике (например, работы А. В. Луначарского, В. Полянского и др.). Из старых работ, пользовавшихся кое у кого репутацией марксистских, выпадают две книги давно не переиздававшегося Соловьева-Андреевича. Во всяком случае, за исключением работ П. С. Когана, в обзор вошли все наиболее пользуемые и даже рекомендуемые учебники и пособия по истории руской литературы главным образом XIX и отчасти XX вв., из числа не подвергавшихся до сих пор достаточной критике со стороны марксистского литературоведения.

БУРЖУАЗНЫЕ ЭПИГОНЫ.

Недавно скончался В. Л. Львов-Рогачевский, автор многочисленных историко-литературных работ. Его работы («Новейшая русская литература», «Художественная литература революционного десятилетия», «Очерки пролетарской литературы» и др.) пользуются широкой популярностью: в школе их прорабатывают, им верят, по ним знакомятся со всей историей новейшей русской литературы, начиная со второй половины прошлого века и кончая нашими днями. Между тем, прорабатывать их можно лишь в критическом смысле, верить им нельзя, знакомиться по ним с историей русской литературы невозможно. Наиболее популярной книгой Львова-Рогачевского, еще к 1927 г. выдержавшей семь изданий, является «Новейшая русская литература», охватывающая период времени со второй половины XIX в. вплоть до начала второй четверти XX в. Эта работа, снабженная, кстати сказать, кратким методологическим введением, дает наиболее интересный и показательный материал для характеристики типично буржуазных литературоведческих позиций Львова-Рогачевского.

Еще в предисловии к 5-му изданию своей книги, датированном 1925 г., Львов-Рогачевский спешит определить свое методологическое кредо. «При занятиях по литературе,— пишет он,— мы должны сочетать марксистский метод с достижениями формальной школы». Подчеркивая далее, что «эти достижения критически разрабатываются и используются только как материал», Львов-Рогачевский аргументирует необходимость «сочетания» марксистского метода с этими достижениями тем, что «мы должны знакомиться н е т о л ь к о с и д е о л о г и е й х у д о ж н и к а (разрядка Л. Р.), связанного с классом, но и с теми приемами и средствами, пользуясь которыми этот художник преобразует явления действительности в «перл создания», в художественные произведения». Нет нужды приводить «критические» замечания Львова-Рогачевского по поводу формального метода. Эти замечания исходят полностью из позиций явно идеалистических («Формальная школа знает только анализ приема. Она забывает, что у писателей не только приемы, но и цели»). Путь «синтеза» марксистского метода с достижениями формальной школы враждебен марксистскому монистическому анализу литературного стиля. Марксист рассматривает все компоненты художественного произведения как противоречивое диалектическое единство, организованное идеологией художника, его классовым мировоззрением. Для марксиста неприемлема постановка вопроса, требующая анализа «не только идеологии, но и художественных «приемов и средств», ибо в диалектико-материалистическом литературоведческом анализе «приемы и средства» осмысливаются как выражение мировоззрения, организующего весь идейно-художественный комплекс произведения.

Наличие этой постановки вопроса у Львова-Рогачевского свидетельствует о стремлении «дополнить» марксистский метод формалистскими теориями, а по существу прикрыть марксистской терминологией и тем самым протащить буржуазную методологию формализма.

«Классовая и д е о л о г и я художника или ученого далеко не заполняет все с о д е р ж а н и е их творчества, и часто то, что х о т е л с к а з а т ь художник, противоречит тому, что н е в о л ь н о с к а з а л о с ь», пишет Львов-Рогачевский в своем методологическом введении (7). Типично буржуазная логика! Считая «приемы и средства» фактами содержания, но не идеологии, автор естественно пришел к тому, что «классовая идеология не заполняет все содержание» художественного творчества.

В этой связи характерны те возражения, которые Львов-Рогачевский делает Переверзеву по поводу социальной основы творчества Достоевского. Правильно констатируя, что у Переверзева «огрублен социологический подход», Львов-Ро-

гачевский поясняет, в чем состоит это «огрубление»: В. Ф. Переверзев недостаточно учитывал индивидуальные черты Ф. М. Достоевского при об'яснении раздвоения его психики, не учитывал его болезненности (132). Эта «поправка» целиком понятна в свете предыдущих высказываний Львова-Рогачевского на тему о соотношении классовой идеологии и содержания в художественном произведении. Если классовая идеология не покрывает содержания произведения, то вполне естественным становится учет других факторов, влияющих на содержание в не меньшей, чем идеология, степени. К числу этих факторов в конкретном примере с Достоевским Львов-Рогачевский относит болезненность автора «Братьев Карамазовых» и «Преступления и наказания». Так Львов-Рогачевский и здесь протаскивает голый суб'ективизм, идеализм чистейшей воды.

Вторая ошибка, сделанная Львовым-Рогачевским в этой же короткой цитате, состоит в неправильном понимании суб'ективных и об'ективных моментов в художественном творчестве. «Часто, что хотел сказать художник, противоречит тому, что невольно сказалось». Такие случаи действительно имеют место. Являются ли они, однако, подтверждением того, что «классовая идеология» художника не заполняет все содержание его творчества»? Наоборот, Львов-Рогачевский выступает здесь как представитель буржуазного литературоведения, сознательно искажающий в своих классовых целях марксизм и протаскивающий откровенные идеалистические теории. На самом же деле противоречие между суб'ективными намерениями художника и об'ективно-классовым смыслом его творчества может быть об'яснено лишь определяющим действием классовой идеологии. Как бы хороши ни были замыслы Вяч. Шишкова в «Дикольче», об'ективно получилась кулацкая вещь.

Из всего вышесказанного с достаточной ясностью вытекает общая характеристика методологических позиций Львова-Рогачевского. Стремление «дополнить» марксизм теми или иными идеалистическими теориями (будь то теория приема, заимствованная у формалистов, или психологическая теория, заимствованная у Овсянико-Куликовского) — такова сущность этих позиций. Обширная «марксистская» фразеология маскирует совершаемую Львовым-Рогачевским подмену марксизма эклектической похлебкой, состоящей из обрывков всевозможных идеалистических теорий и оправдываемой необходимостью изучения литературы «во всей сложности ее форм и проявлений».

Однако методологическое введение бледнеет на фоне конкретно-исследовательского существа книги Львова-Рогачевского. Критические и литературоведческие оценки, даваемые автором «Новейшей русской литературы» на протяжении своего исторического обзора, могут послужить примером буржуазной «конкретной критики». Наш «критик» распоясывается здесь во всю и показывает свое подлинное лицо. Здесь его «критика» становится политическим выступлением классового врага, не скрывающим своего антисоветского острия. Только классовый враг мог написать следующие строки о Борисе Зайцеве, контрреволюционном поэте, в 1922 г. эмигрировавшем в Италию: «Италия — вторая родина — даст ему материал для таких же поэтических произведений, какими были его «Венеция» и другие итальянские очерки, точно впитавшие в себя золото в лазури». Львов-Рогачевский пишет следующие строки об архибуржуазном писателе Сергееве-Ценском: «В его больной душе, тоскующей по ярком, прекрасном и сильном человеке, живут две души, друг другу чуждые, и жаждут разделения: душа Мефистофеля из того же Щигровского уезда, откуда пришел тургеневский Гамлет, и душа Франциска Ассизского». Наконец, Львов-Рогачевский не находит других слов о Н. Гумилеве, расстрелянном за участие в контрреволюционном заговоре: «Сквозь огонь и бури современности прошел этот бесстрастный, закованный в железные доспехи рыцарь средневековья и наложил свою печать на все свои книги». Эти цитаты дают достаточно убедительные свидетельства, как буржуазный критик использует благодушие советских издательств для апологетики классово враждебной пролетариату литературы.

Львов-Рогачевский использует историю литературы, чтобы замазать ее классовое существо. Исчисляя в составе истории русской литературы пять периодов, Львов-Рогачевский характеризует эти пять периодов таким образом. Первый период — «связан с крепостной Россией, с дворянской усадьбой, с дворянской культурой». Второй период — «связан пореформенными отношениями с городским чердаком и подвалом, с крестьянской избой». Третий и четвертый периоды — «связаны с новой городской буржуазной Россией и дают содержание новейшей русской литературе». Наконец, пятый период открывается в послереволюционные годы, «когда на авансцену истории выступили пролетариат и крестьянство».

Эта периодизация весьма красноречива. Она заострена против ленинского понимания руского исторического процесса. Эта периодизация, берущая литературу города или литературу деревни как единую литературу, дающая подход территориальный, культурнический, какой угодно, только не классовый, обнаруживает

явную попытку буржуазного идеолога протащить свои классовые идеи. Именно в результате этого подхода Лев Толстой попадает у Львова-Рогачевского под одну рубрику с Гумилевым, Достоевский с Бальмонтом, Горький с Андреевым. Именно в результате этого подхода группа кулацких поэтов об'единяется под названием «Новокрестьянские писатели» и выдается за певцов трудового крестьянства, получившего «право на песнь» после революции. Такая «слепота» в определении классового эквивалента творчества того или иного писателя либо группы писателей не является единичным случаем, а характеризует всю книгу Львова-Рогачевского, являясь актом сознательной классовой маскировки.

Об акмеистах — поэтах, представлявших группу, до конца враждебную идеям пролетарской революции, Львов-Рогачевский пишет: «Они влюблены в интенсивный колорит, в рельефные отчетливые формы, в чеканные детали, в стройность и размеренность линий».

Антимарксистские, антипролетарские позиции Львова-Рогачевского особенно ярко вырисовываются на материале современной литературы. Пролетарскую литературу Львов-Рогачевский игнорирует вообще. В главе, посвященной пролетарским писателям, Львов-Рогачевский останавливается на предреволюционной эпохе, бегло говорит о периоде «Кузницы», Пролеткульта и совершенно по-барски отмахивается от нового периода развития пролетарской литературы, представленного группой «Октябрь» и Всесоюзной ассоциацией пролетарских писателей: «ВАПП и МАПП ведут в 1925 г. решительную борьбу против попутчиков... В писательской среде создается тяжелая атмосфера вражды». Резолюцию ЦК о политике партии в области художественной литературы Львов-Рогачевский противопоставляет напостовской линии: «Оздоровляющую струю,— пишет он,— вносит резолюция ЦК». Эта позиция прекрасно об'ясняет симпатию, которую Львов-Рогачевский питает к группе «Перевал». «Характерная черта творчества перевальцев — художественная добросовестность, искренность переживаний». С этой же позицией целиком согласуется и ориентация на попутчиков первого призыва (Всеволод Иванов, Б. Пильняк, Л. Сейфуллина). Львов-Рогачевский, захлебываясь, пишет о том, что «бескрайная Сибирь, мужицкая стихия родили творчество Вс. Иванова», о том, что Иванов «открыл нам Сибирь во всей ее первобытной красочности», о том, что Иванов стремится понять Сибирь «с помощью интуиции, а не готовой директивы», и т. д.

Обобщая все эти высказывания, надо сделать вывод, что творчество Львова-Рогачевского — яркий пример протаскивания враждебных пролетариату буржуазно-идеалистических теорий. Книги Львова-Рогачевского под лаком марксистообразной фразеологии искажают процесс литературного развития. Легенда о Львове-Рогачевском-марксисте, поддерживавшаяся иными Фатовыми (см. Ив. Розанов «Путеводитель по современной русской литературе»), должна быть разрушена. Лицо классового врага, протаскивающего откровенно реакционные идеи буржуазии, достаточно откровенно выглядывает из-под маски радикальной фразеологии, которая не должна больше обманывать рабфаковца и пролетарского студента.

«Очерки истории русской литературы» Л. Войтоловского претендуют на репутацию марксистской работы уже по заголовку введения: «Задачи марксистской критики». Однако уже классификация периодов чужда марксистско-ленинской методологии, само название отделов не выдерживает критики. Так, второй отдел «Новые голоса» охватывает творчество Кольцова, Огарева, Шевченко и Никитина. Становится непонятным, почему автор очерков лишает права «нового голоса» Рылеева, Бестужева и др. Разве это не новые голоса своей эпохи? В отдел «Святая хозяйственность» наряду с Некрасовым и Салтыковым включены Островский и Достоевский и т. д. и т. п. Названия отделов случайны, произвольны. Они не характеризуют содержание отделов и характер творчества отдельных групп писателей.

Могут ли, однако, очерки удовлетворить в целом потребности массового читателя и научить его правильно воспринимать и использовать литературное наследство как «колыбель будущего»? На этот вопрос дают отрицательный ответ сами очерки.

Основной их порок заключается в неправильном понимании искусства, в частности, литературы, которая, по Войтоловскому, есть формула движения жизни, источник живого общения человека с окружающим миром. «Красота — по определению Войтоловского — есть «сущность искусства». Идейное содержание как основа искусства, выхолащивается, устраняется автором очерка. Политическая направленность и мировоззрение автора не играют для Войтоловского решающей роли. Однако для марксиста роль художественного произведения определяется классовой идеей, положенной в основу произведения, а не качеством эффекта, произведенного в читательской среде, как то неправильно утверждает Войтоловский в согласии с Горбачевым и Иоффе. По утверждению автора очерков «очарование красоты заключается в том, что она заражает настроением и чувством худож-

ника», что сущность искусства состоит в эстетическом наслаждении; легко вскрывается единодушие автора с Аксельрод, которая «отличительными свойствами и целью искусства» считает «удовлетворение» эстетической потребности человека, корни которой лежат в биологии» («Вопросы искусства», «Красная новь», кн. 6 за 1926 г., стр. 150). Расхождение с марксистским искусствознанием очевидно. Войтоловский своим определением сводит искусство как явление социальное к законам биологии вкупе с эмпириомонистами и со всякого рода вульгаризаторами марксизма.

Утверждая эстетическое наслаждение в качестве спецификума искусства, автор очерков само искусство об'являет вечным. Так он «красоту», выраженную в произведениях Диккенса, Толстого Л., Аксакова, Гете и Чехова, считает «бессмертным в искусстве». Из этого следует, что литературное наследство классиков мы должны использовать как абсолют, а не критически, в целях создания своего пролетарского искусства. Старое искусство рассматривается Войтоловским не как исторически пройденный этап, а как нечто существующее вне времени. Здесь Войтоловский повторяет вслед за буржуазными социологами, учеными типа Соловьева-Андреевича, давно опровергнутую вредную теорийку о надклассовости искусства. Чего, например, стоит такое утверждение Войтоловского: «...у поэзии имеются свои эмоционально-идейные способы воздействия, такие же неумирающие, прочные и неизменные, как солнце, весна и любовь... Произведения великих поэтов никогда не теряют своей юности».

Отрицая правдивость в искусстве, считая ее продуктом «сомнительного глубокомыслия критиков» и утверждая, что «от искусства мы постоянно требуем («эстетической лжи»)», и этим отталкиваясь от переверзианского определения искусства как простого повторения социального характера, Войтоловский приходит к отрицанию классового познания действительности искусством и борьбы за ее изменение.

Выступая в своих очерках против формалистов, Войтоловский неизменно скатывается к ним сведением идеи произведения к эффекту восприятия, пониманием искусства как системы приемов. С другой стороны, в ряде случаев при рассмотрении творчества отдельных писателей Войтоловским выпячивается идейно-тематическая сторона их творчества.

Связывая творчество писателя с «центральной идеей» данной эпохи, автор очерков готов видеть во всех его произведениях замаскированное выражение ее. Такой центральной идеей пушкинского времени он считает убеждение помещика в «убыточности барщинной системы хозяйства», заставившее последнего «возвысить голос в пользу раскрепощения мужика». Это и был, по Войтоловскому, фундамент для постройки идеологии декабристов. Все многообразные сюжеты в творчестве Пушкина служат якобы для выражения единственной темы: декабристов. Для доказательства этого положения автор очерков готов видеть замаскированное выражение идеи декабристов и в таких произведениях Пушкина, как «Египетские ночи». По его мнению они явились следствием необходимости скрыть современность «под пылью столетий», от «недремлющего ока цензуры». Поэтому Войтоловский готов видеть в «Египетских ночах» аллегорическое изображение декабристов, где Клеопатра служит символом, «посредством которого поэт передает нам свою идею, свои тайные мысли», а ложе Клеопатры сравнивается с Сенатской площадью.

Такой подход сузил все многообразие творчества Пушкина, затемнил социально-политическую обусловленность его произведений как единства, замененного исканиями литературной фальшивки.

Рассматривая творчество Л. Толстого, Войтоловский считает, что «тема о греховной любви и соблазнах плоти принадлежит к числу наиболее острых и запутанных вопросов и в творчестве и в мировоззрении Толстого». Более трех четвертей написанного в очерках посвящается разбору отношения писателя к смерти и к любви, но не показаны, не вскрыты его идеи, как «зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания». Толстой не показан писателем, который «...стоит на точке зрения патриархального наивного крестьянства и переносит его психологию в свою критику, в свое учение», в котором слились «протест миллионов крестьян и их отчаяние» (Ленин).

Рассматривая творчество Некрасова, Войтоловский и здесь не изменяет себе. И если Пушкина он провозглашает революционным демократом, а всю его поэзию «проникнутою революционным пафосом декабристов», то Некрасова считает «глашатаем боевых настроений, выразителем и путеводной звездой своей эпохи». Здесь им забываются такие немаловажные штрихи, как наличие у последнего пережитков дворянской психологии и патриархального страха перед капитализмом.

Второстепенные писатели использованы Войтоловским очень мало. Первостепенные — рассматриваются вне своего литературного окружения и поэтому вос-

принимаются изолированно. В очерках почти ничего не говорится о пушкинской плеяде. И совсем мало о народниках.

Можно было бы говорить еще и еще об очерках. Мы нашли бы в них и «фатальную игру экономических сил». Узнали бы, что «Тургенев родился романистом», что «литературные события находились в состоянии варки после разгрома 1905 г.» и т. д. и т. п.

Другой порок очерков: насилие над замыслом автора, искажающее характер творчества ряда писателей. Механицизм в соединении с идеализмом делают очерки эклектическим винегретом, в котором нашли себе место идейки и буржуазно-социологической школы, и шулятиковщина, и переверзианство и т. п.

Буржуазным эпигоном, соединяющим посылки культурно-исторической школы с защитным пользованием марксистской терминологией, является и автор популярного пособия «Очерк истории новейшей русской литературы». В. Евгеньев-Максимов — литературовед дооктябрьской либерально-социологической школы сакулинско-венгеровского типа — признает необходимость изучения литературы «в тесной связи с эволюцией в хозяйственной жизни страны, а также в связи с явлениями политической жизни».

Эта «связь», «взаимозависимость», «обусловленность» понимается однако автором «Очерка новейшей литературы» в качестве системы параллельно идущих рядов, подлежащих учету историка литературы при изучении литературных фактов эпохи.

Начнем с периодизации русского историко-литературного процесса XIX—XX вв., которую дает автор «Очерка» во введении к 3-му изданию книги.

Первый период, с начала XIX в. до Крымской кампании, определяется тем, «что предпосылкой социально-экономических отношений в стране являлась система хозяйства, основанного на крепостном труде крестьян. Это — дворянский период нашей литературы».

Второй период охватывает 25-летие от Крымской кампании до 1 марта 1881 г. Он характеризуется, по В. Максимову «приходом в литературу представителей умственного пролетариата», т. е. разночинцев.

Третий период хронологически укладывается в рамки с 1881 по 1917 г. и тоже характеризуется господством в литературе разночинца. Однако, по словам Максимова, «если разночинец первого призыва и был горожанином, то взоры его были прикованы к деревне. Разночинец второго призыва, иными словами разночинец 80-х, 90-х, 900-х гг., теснейшим образом связан с городом, и город властвует над его сознанием».

Приведенная периодизация является не чем иным, как антиленинской исторической концепцией, сводящей, по сути дела, весь литературный процесс к истории интеллигенции, борющейся за «внеклассовые, внесословные» этические принципы.

«Очерк» Евгеньева-Максимова охватывает русскую литературу с 80-х гг. до 1926—27 г., т. е. посвящен в основном третьему периоду. Хотя во введении упоминается, что этот период определяет «все явственнее и явственнее ощущаемое» развитие капитализма, особенно промышленного капитализма, мы напрасно будем искать в книге отражения в литературных фактах этой эпохи классовых противоречий.

Следуя традиционному буржуазно-социологическому образцу, книга разбита на хронологические разделы: «восьмидесятые годы», «девяностые годы» и т. п.

Каждому литературному десятилетию предпослана статья на тему «Хозяйственная жизнь и политическое положение» и статья «Общественные и литературные течения». Далее идут обзоры творчества отдельных писателей на основе довольно произвольного отнесения их в ту или иную хронологическую рубрику.

Книга Евгеньева-Максимова насквозь компилятивна, представляя худший вид компиляции, так как и Венгеров, и Иванов-Разумник, и Горнфельд, и Айхенвальд, и Чуковский, и Воронский, Лелевич, Горбачев и много, много других источников создают невообразимый методологический разнобой — от суб'ективного идеализма до опошленной карикатуры на марксизм.

«Очерк» рассматривает историю литературы либо как историю индивидуальных внеобщественных сознаний писателей, либо как историю сознаний отдельных групп русской интеллигенции вне выяснения точного классового их облика.

Вот почему, например, в главе о Короленко есть сколько угодно патетики, восторженного преклонения перед «великим гуманистом», но нет разбора ни его ставки на буржуазно-либеральный «прогресс», ни идеи о «сверхклассовой» интеллигенции, ни других «мелочей», вне учета коих не понять ленинских оценок, данных народничеству 90-х гг. как реакционно-мистической «философии эпохи», как шагу «назад от Чернышевского» и т. п.

Совершенно запутывает Евгеньев-Максимов классовую природу русского символизма, когда пишет:

«Для представителей старшего поколения символистов символизм был в конечном итоге литературной формой, для представителей младшего поколения — мировоззрением».

О Леониде Андрееве в книге сказано очень много похвальных слов. Реакционная идеология Андреева однако тщательно замазана. «В идеологии его произведений и в его стиле — большое количество уязвимых мест даже с точки зрения не слишком придирчивого критика, — пишет Евгеньев-Максимов. — И все же каждый беспристрастный читатель из чтения его произведений должен вынести убеждение, что они принадлежат перу большого и оригинального художника, у которого были свои идеи: пусть иногда ошибочные (?), и который «умел их высказывать по-своему».

Таким образом, вместо раскрытия классового смысла художественного метода Андреева перед нами по существу апология писателя-реакционера.

В главе о литературе послеоктябрьского периода можно найти целый ряд клеветнических по отношению к пролетарской литературе утверждений относительно впадения «в состояние анабиоза» литературы в ближайшее время после Октября. Ничем не сдерживаемый «историк» обливает потоками клеветы литературу.

Оказывается, что «омертвение литературу вызывалось причинами порядка чисто психологического: психика деятелей литературы, особенно художественной литературы, в такой мере была потрясена проносящимся революционным ураганом, что в значительной степени утеряла способность, на время, конечно, к художественному творчеству».

Вместо классовой оценки той борьбы, которой буржуазно-дворянские писатели встретили Октябрьскую революцию, вместо указания на то, что сам пролетариат, занятый на фронтах, еще не успел создать больших писательских кадров — проблема поставлена на «психологическую» почву замазывания существа вопроса, замазывания классовой борьбы.

Ни богдановские теории о поэзии коллективного опыта, ни вредная роль воронщины, ни троцкизм в вопросах о пролетарском искусстве ни в какой степени в книге не раскрыты. Автор сам стоит на позициях Троцкого в ряде существенных положений. Это, естественно, не мешает ему держаться другой рукой и за формализм, заявляя, что в лице Эйхенбаума мы имеем «одного из авторитетнейших представителей современного научного «формализма».

Поэзия Клюева, Орешина, Есенина, вдаждебный классовый смысл которой очевиден, рассматривается как «поэзия народа», определяется, в полном согласии с Львовым-Рогачевским, в качестве «крестьянской поэзии», тем самым тщательно замазывается буржуазно-кулацкая сущность этих писателей.

Элементы буржуазного социологизма и попытки пользования марксистской терминологией могут обмануть и обманывают неопытного читателя в истинной сущности буржуазно-либеральных трактовок русской литературы и русского исторического процесса, представленных разбираемыми книгами. Разобранные авторы являются лишь наиболее характерными представителями довольно многочисленной фаланги «Евгеньевых-Рогачевских», до сих пор состязающихся между собой в деле буржуазного извращения классовых основ литературного процесса. Только «гнилым либерализмом», наличествующим среди некоторой части работников наших издательств, можно об'яснить их печатание и распространение.

МЕНЬШЕВИСТСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Известно, что Переверзев и его последователи всячески пропагандировали свое меньшевистское понимание литературы. Известно, что переверзевская методология одно время прочно проникла в программы и преподавание истории литературы в нашей высшей и средней школе. Но, не ограничиваясь этим, даже систему заочного обучения переверзевцы использовали для распространения своей антимарксистской, антиленинской литературоведческой концепции.

Для примера возьмем «Введение в изучение литературы», выпущенное Бюро заочного обучения при педфаке 2-го МГУ. Начинается оно с обзора марксистских работ о литературе. Здесь встречаются имена Беспалова и Лежнева, ссылка на Лелевича и на страницы из бухаринской «Теории исторического материализма». Но тщетно мы стали бы искать во всем «Введении» хоть малейшее упоминание о статьях Ленина о литературе. Впрочем, странного здесь ничего нет. Разумеется, знакомство учащихся с высказываниями Ленина — не в интересах составителей программ, твердо стоящих на антиленинских установках.

Зато в «Введении» широко использована маскировка ссылками на Плеханова. Однако чрезвычайно характерно, что именно берется у Плеханова — верные его или ошибочные, с точки зрения марксизма, положения. Ответ на это мы получаем на первых же страницах. Широко использовано неверное понимание Пле-

хановым искусства как игры, выдвижение как специфического признака антиутилитарности искусства.

После обильных цитат из Бюхера игра (и искусство) определяется таким образом: «игра порождается стремлением снова испытать удовольствие, причиняемое употреблением в дело силы». Итак, удовольствие — вот основа искусства. Совершенно ясно, что таким образом заранее исключается понимание искусства как орудия классовой борьбы.

Действительно, на стр. 20, при определении художественной литературы в обществе классовом, мы видим, зачем понадобилось приведенное выше понимание искусства в обществе первобытном. Вот как определяет «Введение» художественную литературу: она «в первобытном обществе есть словесное образное отражение производственного процесса, нужное для упорядочения и облегчения работы, а в обществе классовом — словесное отражение производственных отношений, необходимое для организации класса и его психики».

Окончательно поставив таким образом все переверзевские точки над **и**, составители программ продолжают развивать свои положения. Недостаток места заставил авторов особенно сжато, ярко и обнаженно показать, куда ведут их утверждения, какой политический смысл имеют они. Доказать, что пролетарская литература (как и всякая другая) не может служить средством об'ективного познания действительности и уничтожить боевую идейную направленность литературы рабочего класса — вот задачи, стоящие перед «Введением».

Поэтому нас не удивит непрестанное повторение определения литературы как «служащей заодно и средством воплощения своего классового «я», и средством отмежевывания себя от других классов», как «словесного образного отражения производственных отношений, необходимого для организации класса в его бытии».

Всюду очень крепко подчеркнута невозможность познания ино-классового бытия как для писателя, так и для читателя, подчеркнута бессмысленность попыток изобразить образно чужое бытие, ибо оно «всегда будет бледным, несовершенным».

Как ясно видны здесь переверзевские корни литфронтовцев! Ведь это именно они вопили о ненужности «образно» показывать классового врага, срывать с него маску, этим самым об'ективно помогая классовому врагу, выбивая из рук пролетариата острое оружие классовой борьбы. И именно практика пролетарской литературы (например, Ставский в «Разбеге»), показывая кулака как он есть помогает рабочему классу и опрокидывает литфронтовско-переверзевские утверждения о том, что «классовость искусства только в том, что оно отражает классовое бытие».

Это саморазоблачение поистине великолепно. Авторы программ каждую минуту клянутся марксизмом, на каждой странице подчеркивая, что «искусство классового общества всегда отражает классовое бытие». Эта аксиома не так невинна, как кажется на первый взгляд. Подчеркивание генезиса понадобилось переверзевцам лишь для того, чтоб умолчать о функции литературы, о классовой борьбе. Меньшевистское литературоведение выносит борьбу классов за пределы литературы. Общественные группы движутся во времени и пространстве, не сталкиваясь друг с другом, и занимаются самопознанием и самоорганизацией. История перестала существовать.

По мнению верных учеников Переверзева не может быть, разумеется, и речи о идейной направленности в литературе.

В свое время Беспалов, Гельфанд и Зонин утверждали, что они были с Переверзевым постольку, поскольку он бил формалистов и эклектиков. Оставляя в стороне лицемерность этого утверждения, нужно подчеркнуть то, как Переверзев «критиковал» врагов марксизма. В «Введении» истинная целеустремленность переверзевской критики обнажена достаточно откровенно. Будто бы критикуя «теорию экономического интереса», авторы направляют свои удары против всякого сознательного подчинения художником своего творчества интересам класса. Также, опровергая теорию факторов, переверзевцы отбрасывают всякую возможность связи политической борьбы и литературы, еще раз определяя последнюю как «своеобразное отражение об'ективного бытия», т. е. производственных отношений. Здесь на минуту авторы называют имя свое, приветствуя выступление Переверзева на конференции словесников.

Разумеется, говоря о желании попутчиков приблизиться к пролетариату, меньшевики от литературоведения заявляют, что «желание это, как бы высоко его ни оценивать, делу помочь не может. Об'ективную природу идеологий изменить нельзя». Они пытаются сорвать переход лучшей части интеллигенции на позиции пролетариата, превращение попутчиков в союзников.

Разумеется, меньшевики утверждают (понятно, трусливо) отсутствие пролетарской литературы, вытаскивая реакционное троцкистское определение «искусство— занятие мирное».

Мировой меньшевизм безуспешно пытается обезоружить рабочий класс, поставить его на колени перед буржуазией и тем спасти капитализм. Переверзев со своей школой попытался сделать это дело на литературоведческом фронте классовой борьбы. Попытка оказалась произведенной с негодными средствами, но разоблачение подобных попыток еще далеко не закончено, поскольку враг еще неоднократно будет хвататься за выбитое из его рук оружие.

Среди историков литературы нашего времени далеко не последнее место занимает И. Кубиков, работы которого «Классики русской литературы», «Рабочий класс в русской литературе», «Литературные очерки» и др. до сих пор рекомендуются программами рабфаков, школ взрослых, соцвоса, техникумов и т. д. как марксистские работы. На самом же деле эти книги пронизаны концепцией насквозь меньшевистской, оппортунистической.

И. Кубиков, старый меньшевик, вошедший в пооктябрьскую науку о литературе с вполне сложившимися меньшевистскими взглядами, не мог не превратить старые споры и теоретические разногласия с большевиками в самые непосредственные практические разногласия, используя фронт литературы. Известно, что практика не только не стирает наших разногласий с меньшевиками, а, напротив, обостряет их. Так случилось и с И. Кубиковым. Помимо разбора классиков его работы посвящены большей частью писателям эпохи расцвета меньшевистской идеологии (1903—1908 гг.) — Треневу, Вольнову, Бибику, Свирскому, Касаткину, А. Яковлеву, Бессалько, Р. Григорьеву, Анскому и другим.

Разбирая художественные произведения эпохи реакции (наиболее, очевидно, понятной автору), Кубиков нигде не указывает на самостоятельность пролетариата в буржуазном кризисе, не разоблачает измен либерализма, забывает о боевых длительных интересах пролетариата ради минутных настроений рабочих, «их положений и отношений». Главным образом экономические формы борьбы пролетариата находятся в поле зрения Кубикова (см. его разбор произведений Зарубина, Мамина, Анского и др.). Он вносит путаницу в сознание читателя, приравнивая к решительной победе открытые выступления еврейской молодежи (свобода собраний) в повестях Анского, рабочих в пьесе Горького «Враги» и др. Эти выступления не могли еще являться настоящей победой, для которой были необходимы не только экономические корни, но и политическая борьба в особенности. К политической же борьбе, изображенной в художественных произведениях (см. его разбор произведений М. Горького, Ляшко, Бессалько, Серафимовича, Гладкова и др.), он повертывается спиной, сужает значение ее размаха, принижает ее задачи. Разбирая, например, произведения Горького — «Мать», «Враги» и др., Кубиков останавливается, главным образом, на экономической борьбе рабочих, — героев этих произведений, указывая иногда на политический характер этой борьбы, большей же частью совсем не останавливаясь на политической стороне произведений, ограничиваясь рассуждениями о пейзажной живописи, композиции образов и т. п.

Очень путано и сбивчиво подводит Кубиков общественно-экономическую основу под художественные произведения, почти не говорит о борьбе за определенные завоевания пролетариата и совершенно оставляет в тени боевые задачи последнего. Если автор описывает промышленный центр, как например, Нефедов в своих очерках, то только потому,—заявляет Кубиков,—что быт населения этого центра «достоин большого художника».

Рассуждая о социалистах-утопистах 40—60-х гг., Кубиков не видит экономических условий, породивших эту группу, не видит классовой борьбы и значения протеста «разночинцев» как отражения крестьянской революции, затушевывая тем самым различие между реакционными и революционно-демократическими группами мелкой буржуазии, представленной им единым потоком в ходе русского исторического процесса. Он ни слова не говорит об экономических причинах, породивших, например, народнические тенденции творчества Г. Успенского. Совершенно не обусловлены им социальные корни творчества М. Горького на отдельных этапах его развития, Шмелева и других, не обосновано изменение классового состава интеллигенции, входящей в революционные партии на различных этапах ее истории (при разборе произведений Р. Григорьева), и т. д. и т. п. По Кубикову, не социально-экономические условия приводят пролетариат к мысле о второй революции (после 1905 г.), а кружковая работа, культурно-просветительные общества, главным образом, благодаря которым рабочие делались революционерами-практиками. С особенной теплотой и любовью останавливается он на героях произведений Р. Григорьева, Айзмана или Анского, культуртрегерах, на кризисе революционных переживаний (например, на переживаниях Берла из «Тернового куста» Айзмана, рабочих из произведений Р. Григорьева и проч.). И это характерно для меньшевика-историка литературы: в годы реакции, которые он освещает, меньшевизм видоизменился в ликвидаторство, обнаруживая свое родство с либерализмом, отказался от борьбы за новую революцию в России, от нелегальной организации, от подполья, отучая рабочих от революционной борьбы. Недостатки романа А. Бибика

«На черной полосе» Кубиков видит в том, что его герой «капитулирует перед исторически неизбежной в условиях того времени мелкой работой». И эту мелкую работу Кубиков возводит в революционную, по его мнению, теорию «маленьких дел», называемых им «сознательными началами», заостряет внимание на тех произведениях, в которых описывается легальная экономическая борьба в эпоху реакции, выделяет, например, произведения Анского, в которых проповедуется право «открытого проявления тех или иных симпатий». Он ставит в особую заслугу Анскому, что тот «правдиво» сумел показать громадное значение «биржи» (место собраний еврейских рабочих.—*Авт*) для воспитания рабочей молодежи... Различные политические фракции имели на «бирже» свои места. И это было настолько в порядке вещей, что полицейский останавливает какого-нибудь знакомого и говорит: «Ты чего, Мендель, сюда на чужую «биржу» залез? У вас своя «серовская» биржа есть, там и ходи. Порядок соблюдай!». Так умиляется критик идиллической картине рабочего политического воспитания под защитой полицейских. С гордостью «партийца» констатирует он, что «рабочая партия» (нужно понимать меньшевиков) пользуется авторитетом у обывателей города, которые несут ее вождям свои житейские жалобы друг на друга. И даже больше: эта организация пользуется авторитетом хозяев-предпринимателей, обращающихся к ней для урегулирования вопроса со стачкой. «Так развернутое рабочее движение вовлекает в свое русло весь город», — торжествующе восклицает «критик», подчеркивая тенденцию Анского, а главным образом свою собственную, показать сотрудничество классов, согласно меньшевистским идеалам. И. Кубиков нарочито выбирает такие произведения, которыми можно оправдать позиции меньшевиков, выдвигавших тогда лозунг использования легальных возможностей как самодовлеющую цель.

Даже беспробудное пьянство рабочих, описанное Г. Успенским с целью показать разлагающее влияние капитализма на крестьян («Власть земли», и др.), об'ясняется Кубиковым отсутствием «здоровых праздничных начал», а не социально-экономическими условиями, в которых находились рабочие. Культработа рассматривается им, главным образом, с точки зрения отвлечения рабочих от пьянства, а не как революционное средство агитации и пропаганды. Кубиков задерживает внимание читателя на таких «социалистах», героях произведений, которые в культурно-просветительных кружках, в воскресных чтениях видят самодовлеющую цель и идеалом своим ставят просветительство (например, Черемисов из романа Станюковича «Без исхода»). Вместо того чтобы уделить внимание отражению контрреволюционного натиска буржуазии, Кубиков бесплодно, беззубо расхваливает социалистов-«просветителей», не ставя определенно задач рабочего класса, не защищая их до конца, словом, вполне в духе оппортунистической политики социал-демократов. Классовую борьбу в литературе и вскрытие ее в художественных произведениях Кубиков обходит молчанием, подменяет показом тенденции художественной литературы к воцарению мира и любви на земле, мира и любви между рабочими и капиталистами. Он боится победы пролетариата, отпугивает рабочих от нее, игнорирует лозунги, зовущие к ней. Так, лозунг «Коммунистического манифеста»: «пролетариям нечего терять, кроме своих цепей» приводится им несколько раз, но в первой своей части — без указания на призыв к борьбе, к «приобретению целого мира». Терпение и кротость крепостных крестьян, бурлаков, еврейских ремесленников, горнозаводских и других рабочих показаны с точки зрения жаления их как несчастных и обездоленных, без стремления их к победе. В критике лучшего произведения С. Юшкевича «Еврей» нет классового вывода. «Во имя человечества должна жить рабочая молодежь» — вот идеал Кубикова; ему только грустно, например, при описании Маминым-Сибиряком встречи рабочими своего хозяина, при которой «десятка два катальных и доменных рабочих живо отпрягли лошадей и потащили дорожный экипаж на себе». Его не возмущают невыкорчеванные остатки рабьего отношения к своим хозяевам.

В рассказе Серафимовича «Степные люди» Кубиков просмотрел основную мысль, которую можно извлечь из произведения, — эксплоатацию калмыков, обман, надувательство и всякие иные меры, свойственные «просвещенным» предпринимателям, применяющим свой капитал в некультурной степи среди кочевников. Кубиков все свел к проблеме психологических переживаний диких людей. Не мог уловить он классовых взаимоотношений и в рассказе «На льдине», зависимость самоеда Сорьки от кулака, сведя все к трагедии погибающего и передаче его переживаний. У самоедов, по мнению Кубикова, нет классов, нет эксплоатации, — есть «трагически сложившееся положение вещей». Политические задачи представителя соц.-демократии диктуют Кубикову стремление замазать классовые взаимоотношения на далеком Севере. И вся книга «Рабочий класс в русской литературе» не показывает роста революционного самосознания рабочего класса, перехода пролетариата из класса «в себе» в класс «для себя», не показывает социально-экономического

фона, на котором развивалось это самосознание, не вскрывает идеологию авторов, сквозь призму которой преломляется рабочее движение.

По-меньшевистски ставит Кубиков вопрос о взаимоотношении пролетариата и крестьянства, ни в одной из работ не упоминая о диктатуре пролетариата. Исследуя произведения эпохи буржуазно-демократической революции, он игнорирует ленинскую постановку вопроса о перерастании ее в пролетарскую, социалистическую революцию. Излагая содержание романа «Рыбаки» Григоровича, Кубиков останавливается на мысли автора-дворянина о разлагающем действии рабочего на крестьянина, но в то же время игнорирует ленинскую установку об организующем и воспитательном значении рабочих для крестьянства.

Особенно подчеркивается Кубиковым противоречие в мировоззрении рабочего и крестьянина, разрыв их идеологий. Это противоречие обосновывается критиком при разборе рассказа Ляшко «Льдинка на солнце», где это взаимное непонимание особенно углубляется. Крестьяне охвачены чисто личной корыстью при дележе помещичьего имущества. Недоверие и ненависть питают они к рабочему-односельчанину, упрекавшему их в этом, видевшему «полную невозможность внести дух творческого созидания в жизнь деревни». Критик останавливается на том месте в рассказе Ляшко «Голубиное дыхание», где голодные рабочие вступают в борьбу с крестьянами, везущими в город хлеб, и где герой рассказа Алексей погибает при попытке примирить враждующих. Кубиков по-своему освещает это место, игнорируя ведущую роль пролетариата по отношению к крестьянству, и в этом вопросе лежит корень принципиального расхождения его, Кубикова, с марксистами. Плетясь в хвосте меньшевиков, Кубиков до сих пор (с 1905 г.) по-плехановски ставит вопрос о классах, способных быть движущей силой русской революции, об основных условиях победы революции. Меньшевистская платформа Кубикова сказалась и в его оценке работы партии после 1905 г. В книге «Рабочий класс в русской литературе» он пишет: «Появилось стремление всецело уйти в себя и переоценить свое отношение к социализму и рабочему классу». «Во главе движения стояли интеллигенты, поражающие своей монолитностью, своей исключительной преданностью рабочему движению», — громогласно заявляет Кубиков, указывая, таким образом, на интеллигенцию как на единый поток передовой общественной мысли, как на основную движущую силу русской революции и в то же время оправдывая отступление основной ее массы (в период 1908—1911 гг.). Кубиков активно выступает против ленинского анализа движения пролетариата эпохи между двумя революциями, сознательно искажает политическую ситуацию момента, — отсюда рассмотрение литературы с точки зрения притупления политических противоречий, отсюда оправдывание богоискательства, этой идеалистической философии, этой новой фракции в партии. Кубиков об'ясняет богоискательство крестьянским религиозным кризисом, квалифицирует это движение как «ценный дар, который вносили рабочие в широкое пролетарское движение» (см. его разбор «Врагов» Горького). Говоря красивые слова о движении революции вперед, Кубиков в сущности толкает ее назад. И хотя он пытается исходить из обоснования под'ема революции борьбой классов, но в то же время освещает такие способы действия пролетариата или отдельных групп его, которые указывают не на под'ем революции, а на ее упадок.

Итак, историко-литературный процесс представлен Кубиковым сквозь призму идеологии матерого меньшевика, рабочее движение — согласно программе и тактике «правого крыла социал-демократии». Вслед за Плехановым Кубиков заменяет самостоятельную линию рабочего класса приспособлением последнего к либеральной буржуазии, нигде ни словом не обмолвясь о политике большевиков в эпоху реакции.

Но, может быть, Кубиков внес ценный вклад в области отдельных проблем методологии литературы, может быть, его работы представляют теоретическую или иную ценность отдельными своими сторонами? И этого, разумеется, нет. Установившиеся взгляды историко-литературной школы берутся Кубиковым на-веру, без критического к ним отношения, применяются им при обосновании своих положений без каких-либо переоценок. Иногда, впрочем, им используются «новейшие исследователи»; так, творчество Гоголя разобрано им по Переверзеву. Кубиков исходит из двойственного начала в творчестве Гоголя, связанного с мелкопоместной средой. При разборе творчества Л. Толстого во многом использована работа Б. Эйхенбаума о Толстом. В заимствованиях у других исследователей наш историк литературы совершенно непритязателен: Воронский и Воровский, Переверзев и Тынянов, Эйхенбаум и Войтоловский, Горбачев и Троцкий, Котляревский и Неведомский, Айхенвальд и Гроссман, Плеханов и Фриче одинаково являются его авторитетами, одинаково рекомендуются им читателям.

Такой конгломерат «авторитетов» не мог не отразиться на позиции Кубикова. Художественные произведения рассматриваются им по-меньшевистски: с точки зрения быта (все произведения в кн. «Рабочий класс в русской литературе»), с точки

зрения красивости их (Свирский), с точки зрения биографического метода (Пушкин, Белинский, Некрасов, Нечаев и др.), с точки зрения биологизма (Наумов, родившийся с «протестующим началом»). Некрасов, по Кубикову, глубже и значительнее Никитина, — почему — об'яснений нет. Г. Успенский «правильно» отображает жизнь, но с точки зрения идеологии какого класса — неизвестно. Мамин-Сибиряк— писатель значительный и правдивый, в то время как Решетников—никакого интереса не представляет, Белинский — либерал, эстет, созерцатель и д. т. и т. п. Такой беспринципной эклектикой кормит Кубиков учащихся и читателей, дезориентируя их, внося сумятицу в их сознание. Самое исследование произведений сводится им главным образом к пересказу их в меньшевистской интерпретации. Некритически восприняты Кубиковым и периодизация русской литературы по векам и десятилетиям с утверждением эпохи торгового капитала как отдельной общественной формации. Всего понемногу использовал Кубиков из затхлого наследия буржуазной науки. Марксистская методология осталась для него враждебна и непонятна. Классовые черты произведения рассматриваются им как «наслоение на творчество писателя», идеология которого игнорируется или квалифицируется совершенно произвольно.

Литературоведческая концепция Кубикова во многом смыкается с установками Воронского, являющегося для Кубикова наибольшим авторитетом. Тезис Воронского — искусство — познание жизни, иллюстрация ее — подводится Кубиковым под свои работы. Литературу он рассматривает как «средство познания нашего прошлого и настоящего», без учета действенного значения ее «как определенного фактора.

Художественные произведения представляют для Кубикова познавательный интерес, только тематический, но не классовый! Созерцательность — основной порок методологии Воронского — Кубиков кладет в основу своих работ. Исследуемых писателей он рассматривает с точки зрения их миросозерцания. Так Горький, по Кубикову, стремясь выйти из-под гнета узкомещанской среды, «находит успокоение в созерцании загородной природы, в звуках музыки и самое главное в чтении разнообразных книг». Этот мир книжных и музыкальных вымыслов, преклонение перед статической красотой природы и делают, по Кубикову, М. Горького романтиком.

Замазывая, искажая социально-экономические условия, в которых развивался талант Максима Горького, классовую идеологию художника, революционный под'ем пролетариата (90 гг.), Кубиков не мог найти социологического обоснования романтизма Горького, явившегося результатом неоформившихся революционных стремлений рабочего класса.

Созерцательность Кубикова не дает ему возможности рассматривать художественные произведения как действенный фактор.

«Любовь к человечеству», жаление страждущих — вот основной стержень, по Кубикову, по которому движутся единым потоком русские художники всех эпох и классов. Ко всем художникам-классикам относится он любовно, у всех склонен видеть больше положительных, «светлых» сторон. Ленинское понимание исторического процесса для него чуждо и непонятно.

Кубиков выдвигает и углубляет тезис Воронского об особой слабости пролетарской литературы, понимая, впрочем, под пролетарской литературой произведения с рабочей тематикой. «Будущий историк с великим изумлением остановится перед этим довольно любопытным явлением нашего времени», — с грустью восклицает он в 1928 г., когда пролетарская литература вышла уже из периода становления на путь подступа к гегемонии. «Писать о жизни несложившейся трудно», грустит вместе с Воронским Кубиков, не замечая образцов пролетарского творчества.

Меньшевистская клевета на советскую действительность прет из совета Кубикова учиться описывать быт рабочего у Г. Успенского, умевшего изучать скорбь крестьянства и городской бедноты. «Где тот пролетарский писатель, который взял бы цифры заработной платы, цифры рабочего бюджета, и, проверив эти цифры в самой действительности, художественно претворил бы их в горести и радости рабочей жизни? Такого пролетарского Гл. Успенского нет...»—горестно восклицает Кубиков в 1928 г., уже в эпоху реконструктивного периода, в эпоху творческого под'ема рабочих масс, которые не только зависят от цифр, но и сами создают их. А в это время Кубиков призывает художников духовно гореть так, чтобы «ощущать на себе лохмотья бедняков» — сиречь рабочих...

Концепция историко-литературных работ Кубикова — это концепция буржуазного интеллигента - меньшевика, не уверенного в пролетариате как в гегемоне, отрывающего литературу от партийных задач класса. Оппортунистическая тенденция Кубикова в области исследования фактов литературы противостоит задачам пролетарской литературы — определить свои новые тактические задачи.

Кубиков подделывает меньшевизм под большевизм, эклектизм под диалектику, затуманивая сознание читателя кажущимся учитыванием всех сторон историче-

ского и литературного процесса, всех тенденций развития, противоречий и проч., на самом же деле не давая никакого цельного понимания в этой области.

Литературоведение Кубикова — не что иное, как классово враждебная меньшевистская вылазка, направления против литературной практики пролетариата.

ТРОЦКИСТСКИЕ КОНТРАБАНДИСТЫ НА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Существует большое количество библиографических указателей, щедро раздающих эпитет марксистской критики самым разнообразным людям вплоть до откровенного идеалиста Воронского, фор-соца Арватова и соцфора (социолога-формалиста) Тальникова. Не желая загромождать наш обзор явными и давно разоблаченными идеалистами и формалистами вроде перечисленных, остановимся только на тех, кто до самого последнего времени пользовался марксистской репутацией в самых широких кругах, не имея на то однако никаких об'ективных данных. Таков в первую очередь ленинградский историк литературы Г. Е. Горбачев.

Его многочисленные историко-литературные книги («Современная русская литература», «Капитализм и русская литература» и др.), выдержавшие по три издания и имеющие хождение по всем школам Советского Союза в качестве учебных пособий, представляют собой прямую вылазку агентуры троцкизма в области литературоведения под прикрытием «об'ективной» литературной науки.

Тов. Сталин в письме в редакцию журнала «Пролетарская Революция» («О некоторых вопросах истории большевизма») говорит: «Троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии. Вот почему либерализм в отношении троцкизма, хотя бы и разбитого и замаскированного, есть головотяпство, граничащее с преступлением, изменой рабочему классу. Вот почему попытки некоторых «литераторов» и «историков» протащить контрабандой в нашу литературу замаскированный троцкистский хлам должны встречать со стороны большевиков решительный отпор».

Книги Георгия Горбачева представляют как раз такую троцкистскую контрабанду, фальсифицирующую марксистскую литературную науку с явной целью облить троцкистской грязью нашу партию, ее генеральную линию, наше социалистическое строительство, нашу действительность в целом.

Некоторые места книги «Современная русская литература» (вышедшей в 1931 году) по своему смыслу ничем не отличаются от контрреволюционных троцкистских листовок, так как дают типично троцкистскую оценку нашей действительности: «Буржуазная психология имеет корни не только в культурной традиции прошлого, но и в остатках капиталистических социальных отношений нашей жизни, каковы: неизбежное пока и довольно резкое пока неравенство в оплате труда, наличие частного капитала и частных интересов, индивидуалистический характер удовлетворения ряда общественных потребностей, невежество масс, общественная пассивность громадных групп населения. Поэтому буржуазные настроения проникают и в ряды и самых молодых, вышедших порой из пролетариата и даже входящих в ВКП(б) интеллигентов: врачей, юристов, инженеров, научных работников, писателей, артистов, администраторов (особенно окраинных) и т. д.» (стр. 75).

Двумя страницами далее Горбачев довершает свою мысль такой чудовищно-клеветнической характеристикой нашей эпохи, которая уже не оставляет никакого сомнения в том, что перед нами от'явленный враг социалистического наступления, проводимого под руководством большевистской партии, враг, представляющий ничем не прикрытую агентуру троцкизма в литературоведении.

«Развитию буржуазных настроений среди промежуточных групп сильнее всего, понятно, содействует влияние буржуазной и мелкобуржуазной экономики, далеко не переделанного быта, бюрократических извращений нашего государства. Эти буржуазные влияния не могут не усилиться в первые годы реконструктивного процесса в хозяйстве, когда темп роста государственной промышленности, определяющей в основном удельный вес социалистических элементов нашего хозяйства, замедляется по сравнению с окончившимся периодом восстановления производительных сил. Медленное и трудное в ближайшие годы развитие коллективистических начинаний в сельском хозяйстве не может пока парализовать отрицательных последствий диференциации деревни и начинающегося относительного аграрного перенаселения». Чем, как не троцкистской вылазкой, направленной против генеральной линии партии, можно об'яснить то, что это клеветническое утверждение о затухании нашей социалистической промышленности и замедлении темпов коллективизации появилось на страницах учебника в 1931 году, когда партия добилась небывалых успехов в деле социалистической реконструкции нашей промышленности, когда Советский Союз на глазах у всего мира развернул огромное соцстроительство, когда свыше 60% крестьянства перешло на базу коллективизации, когда завершается построение фундамента социалистической экономики в нашей стране!

С типичными меньшевистскими мерками, противопоставляя себя целиком Ленину, но зато перефразируя, а часто и просто сочувственно цитируя Рафаила Григорьева — Горбачев подходит к оценке крупнейшего пролетарского писателя М. Горького:

«Мы причисляем Горького к интеллигентски демократической группе писателей...» («Совр. русск. литература», стр. 32).

Троцкист Горбачев не останавливается и перед прямой клеветой на М. Горького: «Горький по сути своего отношения к революционной борьбе в России был об'ективно ближе к меньшевикам, т. е. к левому социал-демократическому крылу буржуазной демократии» (там же).

Каким образом Горбачев пишет о Горьком в 31 году, в книге, выдерживающей 3-е издание?

Об'ясняя возвращение Горького к активно политической деятельности, которую ведет в настояще время писатель, Горбачев по-своему, по-меньшевистски характеризует современную полосу нашего социалистического развития, окрашивая ее, по рецепту Троцкого, как действительность якобы термидорианского перерождения:

«Горький вновь становится нам близким и нужным», вразумительно раз'ясняет нам профессор Горбачев, для того, чтобы сгладить беспросветную темноту «наших дней, дней борьбы с безграмотностью, пьянством, самоуверенным невежеством, небрежностью в работе, грубостью быта, хамством и хулиганством, неумением делать практическое дело, неуважением к духовным и материальным ценностям, созданным работой многих поколений»... «Но надо помнить, что подход Горького к культуре никогда не был классово выдержанным» (там же, стр. 37).

В одном абзаце Горбачев таким образом ухитряется провести своеобразную борьбу на «два фронта».

Во-первых, он троцкистскими красками рисует нашу действительность, используя легальные возможности для того, чтобы обвинить ее в термидорианском перерождении, а, во-вторых, направляет удар на А. М. Горького, на глазах у всего мира, дающего пример лучшей пролетарской классовой сознательности, оказывающего активную помощь партии в деле социалистической переделки нашей страны, в деле реализации задач культурной революции, в деле пропаганды коммунизма во всем мире.

Чрезвычайно любопытно, что имя Ленина Горбачев употребляет только для маскировки. Он пишет буквально следующее:

«Удовлетворительны для марксистского сознания в качестве исходных точек дальнейшей работы характеристики идеологии Льва Толстого, данные Лениным, Андреевичем (!) и — как это ни покажется странным — Овсянико-Куликовским (!!) и характеристики целого ряда писателей, анализировавшихся Кранихфельдом (!!!).

Это чудовищное сочетание имен и пренебрежение к Ленину поистине мог допустить только троцкист Горбачев, для которого ничего не стоит поставить рядом Ленина, махиста Андреевича, буржуазного профессора Овсянико-Куликовского и буржуазно-либерального журналиста Кранихфельда («Капитализм и русская литература», стр. 108).

Троцкизм-меньшевизм Георгия Горбачева показывает свои уши отовсюду: им пронизано и понимание Горбачевым русского исторического процесса, и отношение к проблеме попутничества, и понимание всех других основных историко-литературных вопросов.

Большая часть литературно-критических работ Г. Горбачева носит характер историко-литературный и посвящена изучению русского литературного процесса в рамках XIX и XX вв. Естественно будет, касаясь методологии этих историко-литературных исследований, поставить в первую очередь вопрос о той исторической концепции, которой придерживался Горбачев в отношении изучаемых им периодов.

Не следует забывать хотя бы того, что В. Ф. Переверзев наиболее отчетливо обнаружил меньшевистский характер своих высказываний именно в части трактовок русского исторического процесса, заимствуя их у Плеханова и других меньшевиков.

Чем характеризуется меньшевистская концепция русского исторического процесса? И Г. Плеханов, и А. Мартынов, и П. Аксельрод заимствовали свою теорию происхождения русского государства у буржуазного историка С. Соловьева и помещика Б. Чичерина. Представителям старой науки нужно было замазать классовый характер крестьянской реформы, прикрыть классовый характер государственной власти, протащить апологию классового сотрудничества, и они это сделали, создав теорию внеклассового происхождения государства в целях обороны от кочевников (Соловьев) и теорию закрепощения всех сословий, в том числе и помещиков, для несения повинностей государству (Чичерин). Таким образом, государственная власть трактуется этими учеными как внеклассовая или надклассовая сила, двигающая вперед всю страну на основе сотрудничества всех классов.

и всех сословий и их одинакового служения государству. Эту же мысль развивают и все меньшевики.

По Плеханову, «ход развития всякого данного общества» определяется не только борьбой классов, но и их «дружным сотрудничеством там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений». В приведенной формулировке отчетливо заложено и будущее оборончество Плеханова, и его постоянное тяготение к союзу с либеральной буржуазией.

У народников раньше и Л. Троцкого позже та же самая теория государственной власти как надклассовой силы имела целью оправдать бланкистскую теорию захвата власти у первых и теорию перманентной революции у Троцкого, обнаруживая в обоих случаях игнорирование реальных сил борющихся классов (непонимание Троцким необходимости союза с крестьянством).

Как же выглядит историческая концепция Г. Горбачева?

Торговый капитал, «раздавив феодализм», создает в целях управления и защиты своих границ (оборонческая теория происхождения государственной власти) чисто дворянское правительство, закрепощая помещиков как «условных землевладельцев» (буржуазно-меньшевистская теория закрепощения классов).

Так обнаруживается, что, исходя по видимости из материалистической классовой теории происхождения государственной власти, Горбачев решает ее механистически (власть торгового капитала), игнорируя ленинскую концепцию самодержавия как режима помещичьего, основанного на «гигантском землевладении крепостников-помещиков», приспосабливающихся к требованиям сначала торгового, а затем промышленного капитала, но не теряющего из-за этого своих черт. В дальнейшем же Горбачев вовсе скатывается к плехановской и троцкистской идеалистической теории оборонческого характера государственной власти и теории закрепощения классов надклассовым по существу правительством.

Не лучше обстоит у Горбачева и со второй половиной XIX в. Не желая затягивать эту часть, остановимся только на оценке Горбачевым великих утопистов-социалистов. Пытаясь отправляться от ленинской постановки вопроса, Горбачев опять-таки успокаивается на плехановской. Превращая Чернышевского и других народников в прямых деятелей буржуазной революции, Горбачев скатывается к согласию с клеветнической оценкой утопического социализма Достоевским, т. е. становится на ту точку зрения, которая прежде всего обнаружила меньшевистский характер высказываний В. Ф. Переверзева, работу которого о Достоевском Горбачев, кстати сказать, считает «замечательной» (стр. 97).

«Достоевский, — пишет Горбачев, — действительно подверг убийственной критике утопический социализм с точки зрения исторической и психологической диалектики».

Горбачев замазывает, что «убийственной» и «блестящей» критике можно подвергнуть утопический социализм, только стоя на позициях марксизма-ленинизма. И это замечание о том, что критика Достоевского бьет революцию не пролетарскую, а мелкобуржуазную, не оправдывает ни в малейшей степени возмутительного сваливания революционеров типа Чернышевского или Нечаева в одну кучу со Смердяковым, отразившим, как в зеркале, по выражению Горбачева, «подлинную морду» кулацких и капиталистических героев «эпохи бурного первоначального накопления».

Для того чтобы покончить с историческими взглядами Горбачева, следует все же остановиться на его определении попутничества, ибо и здесь отчетливо сказываются политические корни исторических воззрений Горбачева.

В статье «Л. Троцкий как литературный критик и проблемы пролетарской литературы», в статье, в которой мы встречаем характернейшие авторские признания зависимости многих своих литературных взглядов от Троцкого, Горбачев пишет:

«Нужно отметить как одну из крупнейших заслуг книги Л. Троцкого правильную в общем постановку им вопроса о «мужиковствующих», по его формулировке, писателях. Мысль т. Троцкого заключается в утверждении, что, поскольку у нас долгое время будут существовать два класса — пролетариат и крестьянство, — будет существовать между двумя этими классами и интеллигенция, сохраняющая некоторую самостоятельность в своих колебаниях между ними».

В приведенной — «правильной», по Горбачеву, «постановке вопроса» заключается типичная для Троцкого оценка крестьянства как одноклассовой, антисоциалистической группы, искажение роли крестьянства в капиталистическом обществе и в условиях диктатуры пролетариата, замазывание того, что между капиталистическими классами и пролетариатом колеблется интеллигенция, а не между пролетариатом и крестьянством.

Выясняя причину усиления буржуазных влияний в литературе к началу реконструктивного периода, Горбачев полностью становится на позиции троцкистской

теории «затухания» государственной промышленности, т. е. теории, сближающей «левого» Троцкого с наиболее откровенными посылками правого оппортунизма.

Так и в исторических и в политических взглядах встает перед нами Горбачев как откровенный контрабандист системы троцкистских взглядов. Таков же Горбачев и в своих литературоведческих установках, будучи, как и Троцкий, типичным буржуазным эклектиком-идеалистом.

Общей со всеми другими эклектиками чертой является для Г. Горбачева разрыв формы и содержания, непонимание их единства. Почти вся книга Горбачева «Капитализм и русская литература» построена на анализе «содержания», понятого к тому же чрезвычайно упрощенно (зачастую в порядке простого изложения тематики), и оторванном формалистском анализе стилистики.

Так, отвечая на вопрос, почему не только буржуазная интеллигенция, но и революционная литературно-квалифицированная среда долго не признавала Д. Бедного «настоящим» поэтом, Горбачев основное об'яснение видит в том, что «Д. Бедный писал преимущественно в... «запретной», «низкой» манере, «литературно не воспринимавшейся» после Бальмонта, Брюсова, Блока» [1].

Явно чувствуя, что он таким об'яснением «обеими ногами попадает в формалистское болото», Горбачев пытается спасти дело кавычками, но этим только обличает отсутствие теоретического мужества.

Не спасают кавычки Горбачева и тогда, когда он пытается говорить о «чисто литературном» значении Демьяна Бедного как поэта, видя это значение в том, что Демьян Бедный снова взвел на высоты поэзии басню, пародию, сатиру и т. д., а также политическую оду, что он сблизил газету и «настоящую» поэзию, что он подлинно демократизировал язык поэзии и ввел в него «жаргон» публицистики, митинга, газетной хроники» [2]. Приведенное высказывание слово в слово повторяет то, что писал любезный Горбачеву Б. Эйхенбаум о поэзии Некрасова. В конечном счете мы имеем у Горбачева совершенно формалистское представление о формировании классовых стилей, где идейный вымысел писателя сводится фактически к нулю, ибо идеологию создает сам «материал», а «идеологические недостатки» относятся за счет «деформирующей силы выбранного жанра».

Герои в этой странной системе «живут по законам жанра» (стр. 52), а «образ создается в значительной мере стилем и композицией, по которым он, этот «литературный герой», живет (стр. 41). Словом, «законов» у «литературного героя» оказывается столько, что его «жизнь» по Горбачеву превращается в настоящую авантюрную поэму, в которой выветриваются и последние следы идеологии, допущенной Горбачевым для прилику, в виде «идейного замысла» автора.

Полную свою формулировку находит методология Горбачева в следующей фразе: «Один и тот же материал у разных писателей облекается в самые разные «формы» стиля, композиции, образов, эноционально-идеологической окраски и т. д. При этом жанр и идеология, сливаясь в художественное единство с тематикой, материалом, изменяют, деформируют, «искажают», делают иным по действию на читателя жизненный материал. Но и материал, сам деформируясь, деформирует жанры и «замыслы», устремления автора. Материал, идеология и стиль образуют единство во взаимодействии и в социально-эстетическом эффекте произведения. Этот эффект или потенция этого эффекта в разной среде и есть «идея» произведения».

Итак, идеология ставится Горбачевым на одну доску с «материалом», «стилем» (в его формалистском понимании стиля), «композицией», «жанром» и т. д. Очевидно, что подобным толкованием сводится на-нет самое значение идеологии. Там же, где Горбачев пытается об'яснить «форму» социологически, он скатывается на позиции вульгарного материализма.

Так, совершенно по-переверзевски, повторяет Горбачев механистическое выведение композиции произведений усадебных художников из медленного, неподвижного уклада поместного быта.

«Четкие, замкнутые в строгие формы» стихи В. Брюсова, «веские и многозначительные слова», язык довольно скупой и сжатый «отражает, по мнению Горбачева, лучшие черты его предков, деловых, расчетливых, активных буржуа, выбившихся из рабского состояния энергией, упорством, самоограничением».

Не случайно после этого ссылается Горбачев на работу В. Ф. Переверзева о Достоевском, называя ее «замечательной». «Поправляя» Переверзева, с точки зрения лефовской теории «социального заказа», Горбачев полностью становится на позиции столь игнорируемого им И. И. Иоффе, заявляя, что литературное произведение вне его читательского восприятия — лишь «груда испорченной знаками бумаги».

[1] «Современная русская литература», стр. 51.
[2] Там же, стр. 52.

Однако и этой релятивистской установкой не исчерпывается все «богатство» горбачевской методологии.

По Горбачеву, оказывается, что «основное содержание художественного творчества Толстого заключается в изображении глубочайших корней и детальнейших проявлений тех душевных переживаний, которые можно признать общечеловеческими для почти всего классового общества, что в «Анне Карениной» было гениально изображено общечеловеческое, родовое, физиологическое, то, что остается неизменным во многие совершенно различные эпохи жизни человечества», что Толстым изображается главным образом не историческое, а психо-физиологическое, «психология возраста, пола, болезни, трудовых процессов, половых переживаний, абстрагированных от социальной обстановки».

Обходя оценки Горбачевым ряда других писателей прошлого, остановимся только на его отношении к Горькому. Соглашаясь, по видимости, с Лениным в том, что «Горький порой настолько правильно выражал идейные стремления пролетариата в художественно-литературной форме», что «некоторые произведения Горького могут считаться пролетарскими», Горбачев своей общей оценкой Горького превращает это согласие в клеветническое политиканство, ибо с приведенным только что определением никак не уживается утверждение, что Горький — «человек, не связанный с пролетариатом, тесно связанный с буржуазной интеллигенцией, под конец своей жизни не смог, по существу, пойти дальше буржуазно-демократической революционности», что «Горький, по сути своего отношения к революционной борьбе в России, был и остался меньшевиком, занимая нейтральную позицию «благожелательного непонимания», неизбежно приводящую порою снова близко к лагерю врагов коммунизма и новой российской общественности».

«Конечно, — пишет Горбачев, — писатели-реалисты десятых годов по происхождению, воспитанию, по культурной традиции принадлежат не к одной общественной группе. Но все эти писатели близки по общему мировоззрению и подходу к жизни. Между ними нельзя провести резкой классовой грани ни по их литературной манере, ни по политическим симпатиям, ни по мироощущению. Никакой идеологической или художественной борьбы внутри реализма десятых годов по линии классового происхождения его представителей не было».

Вся чудовищность подобного утверждения, в котором Горбачев тщательно замазывает классовый характер литературы, вскроется еще больше, если перечислить, каких именно художников включает Горбачев в «единую группу», реализма, внутри которого будто бы нет классовой борьбы и размежевания. Горький, Куприн, Бунин, Арцыбашев, Замятин, А. Толстой, Шмелев, Тренев и т. д. — таковы представители этой «единой» группы; если же к ней прибавить еще акмеистов, которых Горбачев считает представителями «возрождения реализма в поэзии» (там же, стр. 15), то картина будет полной. В «единой» классовой группе оказываются и поместный писатель Бунин, и представители городской буржуазии, и мелкобуржуазной интеллигенции, а Максим Горький «мирно» уживается рядом с акмеистами — этими бардами империалистических классов.

Давая общий очерк новобуржуазной литературы, Горбачев, по существу, становится на буржуазные позиции, считая, что представители старых классов, неспособные приноровиться к новым условиям, усвоить новую, хотя бы и буржуазную, но совершенно своеобразную «советски-буржуазную» психологию, «обречены на вырождение и гибель».

Отрицание возможности создания в литературе новобуржуазного героя ведет к известной защите Горбачевым клеветнического новобуржуазного по идеологии романа Грабаря. Недооценка опасностей буржуазной идеологии сказывается и в горбачевском отнесении Клюева и Клычкова к мелкобуржуазной литературе. Эту недооценку не снимает полностью оговорка о том, что названные писатели «связаны с близкой к кулачеству частью крестьянства» (там же, стр. 111).

Так, недооценивая враждебного нам классового содержания одних писателей, Горбачев левацки отталкивает в буржуазный лагерь некоторых других мелкобуржуазных попутчиков, хотя бы и частично, в лагерь литературы новобуржуазной, как он это сделал с М. Слонимским, Мариэттой Шагинян, М. Зощенко.

Вскрыть до конца существо творческих лозунгов и «позиций» Горбачева как руководящей фигуры бывшего «литфронта» можно лишь проанализировав те конкретные произведения, на которые ссылаются «литфронтовцы», и противопоставив их трактовкам другие. В плане настоящей работы достаточно будет указать, что «творческие» взгляды Горбачева вытекают из его литературно-политических и методологических установок. Для Горбачева, который сближается с теоретиками «Лефа» по линии «плодотворного» использования формального метода, характерно сближение с «Лефом» и по ряду творческих вопросов. Переоценка степени овла-

дения пролетарской литературой творческим методом диалектического материализма, провозглашение в качестве писателей наиболее к этому методу приближающихся тт. Маяковского, Вишневского, Кина, Эрдберга и др. (т. е. как раз товарищей, страдающих наибольшими остатками схематизма и романтизма), провозглашение лозунгов «левой» федерации и вместе с тем заушение ряда левых попутчиков, пренебрежительное отношение к проблеме перевода основной массы попутчиков на рельсы пролетарской идеологии, выдвижение лозунгов «начисто положительного» и «начисто отрицательного», «публицистического» отношения к действительности, подмена проблемы творческого метода формалистской теорией смены жанров, обвинение основного творческого ядра РАПП в бюрократическом или правооппортунистическом перерождении (Фадеев, Либединский, Чумандрин и др.), — все это свидетельствует о явных остатках пролеткультовско-богдановских теорий в воззрениях Горбачева. Ничего странного нет после этого в том, что именно на основе общих им обоим неизжитых пролеткультовских установок слились группы Горбачева и Беспалова в единый литературно-политический и творческий блок, снимая свои вчерашние «разногласия» и выступая с одними обвинениями против линии партии, проводимой РАПП. Если же сопоставить еще взгляды б. переверзевца и нынешнего меньшевиствующего идеалиста Беспалова с формалистскими и воронскими взглядами Горбачева, то «странность» в сближении составных частей право-«левого» блока, представляемого в литературе б. «литфронтом», еще более уменьшится.

Необходимо решительно поставить вопрос о партийной ответственности соратников Горбачева по бывшему «литфронту», прикрывавших меньшевистские высказывания Беспалова, Зонина и др., с одной стороны, и откровенную троцкистскую контрабанду—с другой.

ЛИТФРОНТОВСКОЕ ОХВОСТЬЕ В РОЛИ ЛИТЕРАТУРОВЕДА

Появившийся недавно на книжном рынке «Краткий очерк современной русской литературы» М. Майзеля должен привлечь наше внимание как новая антиленинская вылазка представителя горбачевской школы на фронте литературоведения.

М. Майзель ставит задачей синтетическое обозрение всех главнейших этапов литературного развития за последние 20—25 лет.

Потребность в такого рода работе, на первое время хотя бы и краткой, очевидна. Посмотрим, однако, в какой мере «Очерк» справляется с поставленной задачей.

Первый раздел книги («Накануне Октября») совсем не отвечает методологическому намерению автора освещать литературный процесс «под углом зрения борьбы различных классовых идеологий».

М. Майзель уклоняется от анализа литературной продукции предоктябрьской эпохи и подменяет его наспех собранным материалом о милитаристических настроениях писателей: Ф. Сологуба, В. Брюсова, Г. Иванова, С. Городецкого, Н. Гумилева и др.

Последние (настроения) раскрываются на основе дневников, мемуаров, эпистолярных источников и лишь изредка извлекаются из произведений буржуазно-дворянских эпигонов русской литературы.

Эстетское сердце побеждает «марксистский» разум раздвоенного критика, и милитаристические стихи Гумилева находят у Майзеля вполне «достойную» оценку: «...Формальная их ценность была на много выше всей остальной военной поэзии. Реакционная идея подымается поэтому на такую художественную высоту, которая была незнакома рептилиям из «Лукоморья» и «Войны» (стр. 11).

«Марксиствующий» критик непрочь, таким образом, диференцировать империалистскую литературу и в другом плане, эстетско-формалистском, чтобы выделить корифеев литературы от пресмыкающихся рептилий.

Впрочем, Майзель формализмом грешит не в порядке забывчивости: генезис акмеизма он выводит целиком по формалистскому рецепту (см. «Русская Мысль» № 12, 1916 г., Жирмунский, «Преодоление символизма»). Майзель пишет: «В виде реакции на поэзию символистов незадолго до войны возникает новое литературное направление — акмеизм...».

Борьба классовых идеологий в стиле подменяется борьбой стилей без классовых идеологий. Не все ли равно?

Разоблачая патриотически-шовинистическую литературу эпохи империалистической войны, М. Майзель непрочь сообщить читателю некоторые пикантные подробности вроде того, что Л. Андреев вырабатывал «без усилия» в газете «Русская Воля» 40—50 тыс. довоенных рублей, освещает развитие лубочной патриотической литературы и т. п.

Таким образом, первая глава книги не вскрывает подлинного процесса литературного распада предреволюционной поры, скользит по верхам, не устанавливает

подлинного социально-классового генезиса стилевых фактов. Напрасно мы будем искать выпрямления методологической линии в последующих разделах «Очерка».

Литература эпохи военного коммунизма, процессы идейно-творческой диференциации писательства этой поры даны на основе документации, привлекаемой обычно исследователем литературы в качестве подсобного, а не основного материала. Непомерно большое место уделено журналистике 1919—1922 гг. и в частности «Запискам мечтателей», где в это время Андрей Белый обрушивался на «тиранию» марксизма и «чрезвычаек» и проповедывал штейнерианскую философию индивидуализма.

Автор «Очерка» отказался от разоблачения полной художественной никчемности пасквильных произведений Е. Замятина. О рассказе «Пещера» говорится, например: «И впрямь можно поверить, что с Октябрьской революцией кончилась культурная история человечества, что вновь торжествует дикий и ветхий Адам» (стр. 30).

«Раз'яснение» Майзеля по этому поводу («делая обобщение на основании наблюденных частностей, автор совершил коренную ошибку») далеко не раскрывает истинной причины реакционной идеологии Замятина, так как ключ ее возводится не к идеологии буржуазного класса, активно сопротивляющегося революции, а к внешне-эмпирическому творческому моменту. Дело не в том, чтобы указать на «обобщение частностей», дело в раскрытии закономерностей, обусловивших идейно-классовые позиции, толкающие писателя на путь такого рода «обобщений».

Раскрытию реакционной литературы В. Розанова М. Майзель предпочитает изложение «Апокалипсиса нашего времени», где Розанов, как и А. Белый, сетует на голод и «чрезвычайки».

Аналогичная операция проделывается и с Вл. Лидиным. Автор «Очерка» высказывает следующий взгляд на «распад старой интеллигенции» в эпоху военного коммунизма. «Материальные лишения, соединенные с сознанием моральной обреченности, оторванности от целительного для художника потока живой жизни, обусловили идейный распад, приведший в эти годы основную массу дореволюционной интеллигенции к длительному кризису» (стр. 56).

У критика не хватило элементарной силы противодействия, которая необходима при чтении мемуарной литературы даже рядовому читателю.

Это помешало М. Майзелю рассмотреть «под углом зрения борьбы различных классовых идеологий», как было провозглашено в предисловии, подлинную диференциацию интеллигенции в эпоху военного коммунизма. Часть последней и тогда *пошла за коммунизмом, переборов вместе с пролетариатом голод и лишения*. Причину же идейного распада буржуазно-дворянской интеллигентской верхушки было бы наивным искать только в материальных лишениях. Достаточно в этом смысле вспомнить В. Брюсова, присоединившегося в эти годы к революции.

М. Майзель последователен в своем ученичестве у Горбачева. Поэзию Клюева и Есенина он называет «крестьянствующей литературой», перефразировав известное выражение Троцкого «мужиковствующие», примененное к отдельным попутчикам. Клюев и Есенин до 1918 г., по Майзелю, выражают настроения «всего крестьянства».

Это происходит потому, что Майзель (несмотря на обильное цитирование непонятого им. В. И. Ленина) исходит из троцкистской клеветы, будто бы главным на первом этапе Октябрьской революции является не свержение власти буржуазии и переход власти в руки пролетариата, а доведение до конца буржуазной революции.

Вот почему Майзель доходит до возможности делать вывод, что «при такого рода политике советской власти в отношении крестьянства первоначальные революционные настроения Клюева и в еще большей степени Есенина находились в полном соответствии с насущными, жизненными интересами их класса».

К месту будет напомнить раз'яснение т. Сталина, что «противопоставлять поддержку крестьянства в целом в Октябре и после Октября факту подготовки Октября под лозунгом диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства — значит ничего не понять в ленинизме».

Майзель ничего не понимает в ленинизме, замазывая социалистический характер Октябрьской революции.

Буржуазно-кулацкий характер творчества Клюева, Есенина, Клычкова замазывался в нашей критике долгие годы, и причина этого — троцкизм и воронщина, боровшиеся с марксистской литературной критикой.

Тем более вредным является после поучительной борьбы с Вяч. Полонским топтание на троцкистских по существу позициях (см. статью о Клюеве в «Литературе и революции»).

Литературу эпохи хозяйственного восстановления и реконструктивного периода М. Майзель не смог синтетически показать, наметив хотя бы приблизительно основные закономерности ее развития. Совершенно недопустимым в этом смысле является отсутствие в «Очерке» главы о крестьянской (пролетарско-колхозной) литерату-

ре, давшей десятки имен (Карпов, Замойский, Дорогойченко, Дюбин, Пермитин, Никитин, Горбунов, Кочин и др.).

При непропорционально большом внимании к отдельным попутчикам (Бабель, Пильняк) и необуржуазным писателям (И. Эренбург) в «Очерке» совершенно не осталось места для учета таких крупных явлений перестраивающейся попутнической литературы, как «Соть» Л. Леонова. Только какие-то «особые» причины, выходящие за пределы об'ективного литературного исследования, могли продиктовать также полное умолчание о творчестве М. Чумандрина.

Впрочем, было бы совершенно ошибочным здесь упоминать об исследовании. Работа М. Майзеля далека от каких бы то ни было попыток создать самостоятельное критическое обобщение опыта современной литературы.

Она преисполнена ссылок на Горбачева, В. Полонского, без должного теоретического преодоления излагает взгляды по отдельным вопросам Л. Троцкого и А. Воронского. Попытки собственного научного «становления» не выходят за пределы некритически усвоенного Плеханова.

Наконец, совершенно курьезно в «Очерке» разрешается судьба творческого метода пролетарской литературы. Если недавно в нашей литературной полемике совершенно законно фигурировал термин «раздраженный эклектизм», то в отношении М. Майзеля его уместно было бы перефразировать: «растерянный эклектизм».

На стр. 70 «Очерка» о Ю. Либединском говорится, что последний «придает своим героям живые черты лица и анализирует их внутренний мир и поступки со стороны не только психологии, но и социальной обусловленности. Этот художественный метод не мог не дать самых благотворных результатов».

Четырьмя страницами дальше, в главе о А. Фадееве «Разгром», выступает как результат творческой борьбы «за развернутое психологически-реалистическое изображение действительности на основе классового анализа характера и явлений. Лозунг психологического реализма в данном месте оценивается как «переход пролетарской литературы на высшую ступень, соответствовавшую эстетическим и идеологическим потребностям успешно завершившегося периода хозяйственного восстановления».

Однако Майзель не долго держится такого рода творческих «воззрений». В главе о творческом методе (стр. 185) констатируется, что психологический реализм «на деле привел к бездейственной психологизации, пассивно-созерцательному отношению к действительности» и т. д. и т. п.

В патетических тонах Майзель разбирает «Выстрел» Безыменского, об'являя его «отличным образцом публицистической, целеустремленной, насквозь динамичной поэзии».

Не вдаваясь в рассмотрение вопросов творческого метода, отметим эти внезапные повороты курса на 180°.

Впрочем, они обусловлены. Автор «Очерка» — литфронтовец — отразил в своей работе сущность теоретических установок «литфронта». Поверхностное хождение по литературным нивам, стремление замазать в литературном факте общественно-классовые закономерности рядом с бравурной претензией Майзеля на «публицистичность» идут вразрез с революционной, подлинной публицистичностью Ленина—Маркса. Будучи учеником и соратником Горбачева в литературоведении и литературной политике, Майзель, как мы это видели выше, скатывается на троцкистские позиции и в прямых политических высказываниях (ср. также отрицание буржуазной опасности и провозглашение контрреволюционной буржуазии — «советской», «пассивной» и т. д.).

«Очерк современной литературы» М. Майзеля следует рассматривать как классово враждебную вылазку, содержащую яростные нападки на ленинское литературоведение и троцкистски клевещущую на пролетарскую литературу.

БУРЖУАЗНАЯ ВЕРМИШЕЛЬ ПОД ФЛАГОМ МАРКСИЗМА

Девять изданий, 150 тысяч экземпляров — таково распространение книги Назаренко «История русской литературы XIX века». Сотни тысяч учащихся пользуются этим «пособием», принимая его за марксистский учебник. Между тем ни грана марксизма этот учебник в себе не заключает.

«Труд» Назаренко по-своему «оригинален». Это — пестрый монтаж высказываний различных буржуазных и меньшевистских ученых. Переписывая эти высказывания, Назаренко всячески пытается замести следы. Он поясняет: «Дабы не за-

труднять учащихся многочисленными мнениями и избежать некоторой пестроты, я не всегда пользуюсь кавычками и сносками». Последнее 9-е издание (выпущено ГИХЛ в 1931 г.), как сообщается в предисловии, подверглось «фундаментальной переделке». Примером этой «фундаментальной переделки» может служить глава о Гоголе. Раньше она пестрела неоднократными ссылками на Переверзева. Было, например, прямо указано, что «характеристики героев взяты из работы В. Ф. Переверзева». Теперь сносок нет. Нет, в частности, и указанного примечания. Но характеристики остались прежними. Выброшены только отдельные слова и выражения, приобретшие «опасную» известность. Такова ловкость рук Назаренко. Так усыпляет он бдительность читателя, так маскирует он протаскивание меньшевистской концепции Переверзева и других враждебных марксизму-ленинизму теорий.

В свое время Кубиков изобличал Назаренко в литературном хищничестве. Отвечая ему, Назаренко писал: «Художник-писатель или критик, а также ученый или педагог находятся среди огромнейшей массы разнообразных материалов, однако «заимствуют» они только то, что совпадает с их воззрениями». Замечательное признание! Переписывая высказывания Кубикова, Когана, Сакулина, Аксельрод, Соловьева, Амфитеатрова, Горбачева, Переверзева, Л. Гроссмана, Горбова, член партии Назаренко заявляет, что его воззрения совпадают с воззрениями этих буржуазных ученых, меньшевиков и троцкистов. Он превращает свой учебник в рупор буржуазной идеологии на литературном фронте.

К 9-му изданию Назаренко заново написал предисловие. Вряд ли можно уместить на двух страничках больше путаных, ошибочных, враждебных марксизму-ленинизму положений. Здесь развивается переверзевское понимание системы образов, стиля и т. д. Здесь ставится знак равенства между художниками всех классов в смысле их возможностей познавать об'ективную действительность. Считая, что литература должна изучаться лишь «в связи» с классовой борьбой, Назаренко договаривается до того, что «необходимо изучать творчество класса, а не класс по творчеству».

Далее намечается схема истории литературы XIX в. Эта схема извращает историю классовой борьбы в России, дает антимарксистское, антиленинское построение истории литературы. По этой схеме дворянские писатели берутся совершенно изолированно от буржуазных. Если Карамзин, Жуковский, Гоголь отнесены к писателям реакционно-крепостнического дворянства, то Пушкин и Лермонтов отнесены к либерально-буржуазным писателям, Булгарин, Загоскин — к буржуазным, Полевой — к мелкобуржуазным. Толстой оказывается на одной доске с Фетом и Тютчевым. Андреев, Сологуб, Арцыбашев, Клюев, Есенин, Короленко, Горький, Вересаев, Серафимович, Ляшко и Демьян Бедный об'единяются в одну группировку мелкобуржуазных писателей! Такова схемка!

Разумеется, в ней ни слова нет о борьбе двух путей развития капитализма в России. Это учение Ленина о двух путях, на основе которого только и можно строить марксистско-ленинскую историю русской литературы, совершенно игнорируется Назаренко на протяжении всей книги: и в освещении исторических процессов и при анализе творчества отдельных писателей. Лишь в одном месте Назаренко пишет: «Здесь уместно (!—*Авт.*) напомнить (!—*Авт.*) ленинское учение о прусском и американском путях развития капитализма». Но это «уместное напоминание» остается неуместным аллилуйя, никак не связанным со всей книгой, которая исходит из враждебного ленинизму либерально-буржуазного понимания русского исторического процесса.

К творчеству отдельных писателей Назаренко подходит не с марксистско-ленинских позиций, а с позиций различных буржуазных ученых, труды которых он рабски переписывает. Буржуазный социологизм, реакционно-идеалистические взгляды, необычайная беспринципность, развязная и пошлая обывательщина заполняют страницы книги. О Фонвизине, например, мы узнаем только, что он «для своего времени был также либералом» и «являлся блестящим представителем дидактической струи классического стиля»; Рылеев «скорбит о народе» и «протестует против гнета и насилия», и т. д. Какова классовая идеология писателя, интересы какого класса он защищает — неизвестно.

Особенности творчества Баратынского Назаренко рассматривает как результат исключения поэта из пажеского корпуса за кражу. Воздействие Байрона на Пушкина, оказывается, «несомненно зародилось под влиянием тропической (!—*Авт.*) природы юга (!—*Авт.*)». По признаку «реалистического направления» Назаренко об'единяет в одну группу и реакционных дворянско-буржуазных писателей (Бунин, Сергеев-Ценский, Куприн) и пролетарских писателей (Горький, Серафимович, Ляшко), которые, оказывается, «неровными, неуверенными шагами шли... к пролетариату и крестьянству». По существу здесь Назаренко отрицает пролетарскую литературу и в полном согласии с троцкистом Горбачевым рассматривает пролетарских писателей как буржуазно-демократических.

Назаренко открыто становится на меньшевистские позиции противопоставления литературы и классовой идеологии, художника и политика. Как счастливую случайность он, например, отмечает, что «байронические поэмы Пушкина совпадают с его тогдашним политическим мировоззрением». Обычно же у Пушкина проявляется «характерная для поэта двойственность». Пушкин как идеолог находится в резком противоречии с Пушкиным как художником. У Гоголя тоже классовая природа писателя и его сатирический талант противостоят как равноценные силы.

Немудрено, что Бунин у Назаренко оказывается одиночкой, не связанной ни с каким классом. «Прежде чем стать эмигрантом Бунин давно уже был изгнанником на родине. Он шел особняком от людей — холодный, равнодушный, и его слова никого не увлекали, никому не были нужны». Немудрено, что эволюция Бальмонта об'ясняется так: «идеологический груз бальмонтовской поэзии незначителен: поэтому ему было так легко свои восторженные гимны рабочим и труду 1905 г. при наступлении реакции быстро переключить на другой лад; нечто подобное произошло с поэтом и в 1917 г.: гимны революции, сложенные в советской России, когда он очутился за границей, быстро заменились проклятьем и клеветой против Страны советов».

Показательна для антимарксистских, антиленинских позиций Назаренко глава о Толстом. Старательно переписывая высказывания Аксельрод, Когана, Сакулина, Андреевича и других «классиков марксизма», Назаренко столь же старательно обходит Ленина. Правда, в конце главы он приводит две цитаты Ленина, но вся глава резко противоречит ленинской оценке Толстого. Назаренко ни слова не говорит о «кричащих противоречиях» (Ленин) Толстого, о выражении им «тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России» (Ленин). Назаренко усиленно подчеркивает, что «помещичье-барская» идеология Толстого оставалась «стройной» и «цельной» «до конца жизни». В то же время Назаренко старательно повторяет высказывания буржуазных ученых о том, что общебиологические проблемы, физиология являются основной сущностью творчества Толстого.

Нередко наш «марксист» откровенно становится на «общечеловеческую» точку зрения. Так, он видит ценность Пушкина в том, что писатель «создает крупнейшие общечеловеческие образцы страстей». (Не потому ли Назаренко дает лозунг «назад к Пушкину»?) «Анализируя» творчество Тютчева, Назаренко пишет: «Осень бывает в жизни каждого человека, к какому бы классу он ни принадлежал. И хотя у него осеннее настроение будет иметь своеобразную, не тютчевскую окраску, но нечто общее с тютчевским настроением тут все-таки будет».

По поводу одного из стихотворений Тютчева Назаренко говорит: «Но понятен и общечеловеческий элемент, здесь имеющийся: периоды отупения, зачерствелости, «мертвенности души» знакомы всякому, и прав поэт: они ужаснее самого страдания». Выступая 17 декабря 1931 г. в ЛИЯ ЛОКА Назаренко не только не подверг критике эти свои реакционно-буржуазные взгляды, но наоборот, развил и углубил их, заявив, что литературовед обязан искать в творчестве писателя общечеловеческих мотивов, что в изображении осени, зимы и т. д. дается не классовое, а общечеловеческое отношение к природе. Этим самым Назаренко укрепляет себя в роли воинствующего глашатая реакционных буржуазно-идеалистических взглядов.

В параграфах о «художественном значении» творчества того или иного писателя самый неприкрытый формализм тесно переплетается с самым откровенным переверзианством.

Таков «марксистский» анализ, таково «марксистское» построение истории литературы в книге Назаренко. Мы уже не говорим о множестве «глубокомысленных» анекдотически-пошлых рассуждений нашего «исследователя».

Стоя на чуждых марксизму-ленинизму позициях, находясь в полном плену у буржуазных теоретиков, Назаренко контрабандой протаскивает антимарксистские взгляды на русский исторический процесс, фальсифицирует историю классовой борьбы в России. Вместо процесса жестокой классовой борьбы Назаренко рисует «смену», механический процесс умирания одних классов и нарождения других. В 60-х годах «на смену дворянской идеологии, медленно уходящей со сцены, появляется буржуазная радикальная идеология». Позднее «на смену разлагающейся и сходящей со сцены старой дворянской буржуазной интеллигенции выступает новый социальный слой либеральной демократической интеллигенции».

Назаренко постоянно подменяет классовую борьбу в обществе борьбой «общества» с царской властью, которая таким образом ставится над классами. Вот один из многочисленных примеров: «Постепенное крушение веры русского общества в реформы свыше, обусловленный этим постепенный переход с либерального пути на революционную дорогу борьбы с самодержавным правительством — особенность 60-х годов».

Назаренко чужды указания Ленина, что «борьба крестьян и помещиков проходит красной нитью через всю пореформенную историю России...» У Назаренко дело решается иначе и проще: «крепостное право пало, началось переустройство жизни».

Антиленинскую оценку дает Назаренко народничеству. Он рассматривает народников как разночинную интеллигенцию, являющуюся самостоятельной «третьей силой», у которой «ссора с капитализмом и увлечение социально-реформистскими учениями». Здесь наш «марксист» выступает, таким образом, с эсеровской точкой зрения.

Если по Ленину народнические теории и программы являются действительно идейным облачением крестьянской борьбы за землю, то по Назаренко «интеллигентские лозунги демократизма и народничества частично отвечают либеральному барству, частично буржуазии».

Назаренко «обогащает» науку целым рядом откровений вроде того, что Лавров «положил грань между естественными взглядами писаревщины и материализмом Карла Маркса»; что Сен-Симон был «пламенным сторонником и пропагандистом организованного капитализма», что Струве когда-то являлся марксистом и т. д.

Характеризуя Плеханова, Луначарского, Фриче как «выдающихся критиков-марксистов», Назаренко ни слова не говорит об их ошибках, молчит и о меньшивизме Плеханова, о богоискательстве и других извращениях марксизма у Луначарского, о механистических ошибках Фриче и т. д.

Таким образом, учащимся дается извращенное представление об указанных деятелях.

Протаскивает Назаренко и меньшевистскую, реформистскую контрабанду. Так, он утверждает, что рабочему классу «необходимо захватить производство, а через него и власть». А в другом месте заявляет о «стремлении революционного пролетариата к материальному экономическому равенству». Октябрьская революция определяется как «подлинная рабоче-крестьянская революция» без всяких пояснений. Также без всякой расшифровки, без указания на роль пролетариата «основным двигателем революции» об'является рабоче-крестьянская масса. Назаренко целиком присоединяется к буржуазной теории, подменяющей классовую борьбу борьбой за существование, за приспособление к среде. Он пишет: «Правильно рассудив, что человек вынужден итти путем необходимости именно потому, что он хочет жить, боится смерти, а жить, значит приспособляться к среде и ее законам, — Кириллов хочет совершить прыжок из царства необходимости в царство свободы».

Письмо т. Сталина в редакцию «Пролетарская революция» открывает новый этап в социалистическом наступлении пролетариата на идеологическом фронте. Письмо т. Сталина со всей остротой ставит задачу большевистской идейной нетерпимости, партийности науки, задачу беспощадного разоблачения всяких вылазок классового врага на идеологическом фронте, всяких проявлений гнилого либерализма к этим вылазкам.

По носителям этого либерализма должен быть открыт беспощадный большевистский огонь. Во сто крат он должен быть беспощаднее по отношению к таким проповедникам буржуазных теорий, как Назаренко, который выступает в роли прямого агента, воинствующего глашатая буржуазных идеологий на литературоведческом фронте, который контрабандой протаскивает антиленинские меньшевистские политические взгляды. Учебник Назаренко — враждебная марксизму-ленинизму вреднейшая книга. (Поразительно, как ГИХЛ допустил ее переиздание в 1931 г. Это и есть, гнилой либерализм!) Вред ее тем более велик, что Назаренко всячески пытается замаскироваться, обмануть бдительность читателя. Он не ставит кавычек, не указывает имен обворованных им буржуазных ученых, склоняет слова «экономика», «класс», маскируя буржуазные и меньшевистские взгляды под марксизм. Литературная деятельность Назаренко должна получить резкую политическую оценку. Тем более резкую, что Назаренко до сих пор не хочет признать вредность своих позиций. Выступая в ЛИЯ ЛОКА он заявил, что учебник его является марксистской книгой, страдающей лишь отдельными недостатками. Здесь же он дальше развивал свои антимарксистские буржуазно-идеалистические взгляды (об общечеловеческих мотивах и др.) и, наконец, договорился до прямой клеветы на партию, заявив, что «до сих пор мы (кто это «мы», т. Назаренко?) были беспризорными», что «мы ничем не помогли рабочим и крестьянам, тянущимся к литературе». Отсюда естественно возникает вопрос о совместимости взглядов Назаренко с дальнейшим пребыванием в коммунистической партии. Необходимо положить конец распространению антимарксистской враждебной ленинизму книги Назаренко. Необходимо оградить учащихся от того вреда, который она приносит. Буржуазная вермишель должна быть до конца разоблачена и из'ята из числа пособий, рекомендуемых для школы.

ЗА ЛЕНИНСКИЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

В период победоносного наступления пролетариата на капиталистические элементы в стране, в период ожесточенной классовой борьбы и бешеного сопротивления классового врага на всех участках идеологического фронта громадное значение в деле укрепления идейной гегемонии пролетариата и во всех областях идеологии имеет борьба за чистоту ленинской линии, непримиримость в борьбе с малейшими отклонениями от ленинизма. Разбитые в открытом бою троцкисты и др. представители контрреволюционной буржуазии пытаются использовать всякую возможность для протаскивания своих [illegible]

Особое значение в деле укрепления идеологических позиций пролетариата имеет подготовка кадров во всех областях идеологии. Ликвидация неграмотности в Ленинграде и Москве, успехи по этой линии во всей стране, всеобщее обучение и рост сети культурно-воспитательных учреждений, призыв ударников в литературу, рост самодеятельного движения во всех областях искусств и т. д. и т. п. — все это свидетельствует о могучих успехах культурной революции на базе успешной борьбы за достройку фундамента социализма в третьем, решающем году, о могучих тенденциях преодоления противоположности между трудом физическим и умственным. Растут вузы и рабфаки, курсы, кружки и т. д. и т. п., включающие в борьбу за овладение областями идеологий широчайшие массы рабочих и колхозников. Бурный и неуклонный рост тиражей газет, политико-экономических, философских и литературных изданий, периодических и не периодических, показывает необычайный в истории темп овладения широчайшими массами культурой, бывшей до сих пор привилегией «избранных» из господствующих классов. Рост тиражей ленинских изданий показывает, что учение Ленина и Сталина овладевает массами, вооружая их в борьбе за социализм.

На фоне этих процессов особо нетерпимым становится наличие на книжном рынке в разделе учебников по истории русской литературы, к изучению и ленинскому пониманию которой стремятся миллионные массы, большого количества буржуазных, меньшевистских и эклектических учебников, являющихся проводниками буржуазных влияний в литературе.

Борьба с троцкистскими контрабандистами в литературоведении, борьба со всеми формами просачивания буржуазной идеологии через литературу и литературную науку, беспощадная борьба с малейшими проявлениями «гнилого либерализма» к идеям классового врага,—все эти задачи, указанные тов. Сталиным в его историческом письме, являются основой дальнейшего развертывания марксистско-ленинского литературоведения. Только в беспощадной борьбе за «кровные интересы большевизма», в том числе и в литературной науке, могут быть правильно разрешены и ее положительные задачи.

Именно теперь, когда разгромлена школа меньшевика Переверзева в литературоведении, когда разоблачены и разоблачаются троцкистские контрабандисты в литературной науке, когда поставлен вопрос о критике взглядов Плеханова на основе изучения ленинского наследства, на основе ленинского понимания партийности литературы и искусства, — особенно остро встает вопрос о необходимости учебника по истории русской литературы, учебника, который бы исходил из ленинской концепции русского исторического процесса, из ленинского понимания партийного характера литературы.

Такой учебник должен быть, но он не может появиться из воздуха. Его надо организовать на основе коллективной работы марксистов-литературоведов, как был организован ряд учебников по диамату, истмату, истории и т. д. Комакадемия в лице своих литературных институтов в Москве и в Ленинграде должна немедленно взяться за это дело и на основе социалистического соревнования и ударничества в кратчайшие сроки выпустить в свет ряд учебников по истории и теории литературы.

Молодые растущие литературные кадры в лице рабфаковцев, вузовцев и ударников пролетарской литературы требуют ленинского учебника по истории литературы. Он должен быть написан. И он будет написан!

Бригада ЛИЯ ЛОКА и лапповской группы критиков «На литературном посту»:

М. Бердников.
Ф. Бутенко.
И. Гринберг.
Л. Левин.
Н. Лесючевский.
С. Малахов.
Т. Ухмылова.

Х Р О Н И К А

1. ЦЕНТРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СССР

Литературные богатства, хранящиеся в архивах ЦАУ, очень значительны. Дать сколько-нибудь исчерпывающие сведения о них в беглой заметке немыслимо. Ограничимся поэтому кратким перечнем литературных фондов, поступивших и хранящихся в особом отделе Государственного архива феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ) за последние полтора-два года.

Здесь можно отметить несколько поступлений историко-литературного характера: архив лицейского товарища А. С. Пушкина — кн. А. М. Горчакова, в котором хранятся подлинные рукописи Пушкина и другие ценные историко-литературные материалы; бумаги кн. М. С. Волконского, сына декабриста, издателя «Записок» отца и матери — С. Г. и М. Н. Волконских; часть архива известного судебного деятеля и писателя А. Ф. Кони; архив редактора-издателя газеты «Новое Время» А. С. Суворина; архив редактора-издателя газеты «Петербургские Ведомости» Э. Э. Ухтомского и архив редакции газеты «Речь», центрального органа кадетской партии. Все эти архивы содержат как литературный и мемуарный, так и довольно богатый эпистолярный материал. Помимо рукописей литературных, принадлежащих перу самих архивообразователей, их писем, дневников, или воспоминаний, здесь находятся рукописи или письма других писателей, публицистов и поэтов самых различных литературных направлений — Бальмонта, Блока, Боборыкина, Бунина, Волынского, Гиппиус, Короленко, Лескова, Мережковского, Надсона, Островского, Соллогуба, Толстого, Чехова и др. Кроме того, следует указать, что в составе других архивов частных лиц, поступивших в последние годы в особый отдел, имеются отдельные литературные произведения, дневники и мемуары; над исследованием этих материалов ведется работа в настоящее время.

Из архивных материалов историко-литературного характера, полученных значительно ранее, подготовлены, частью подготовляются следующие документальные публикации: по документам С. А. Соболевского — «Из неизданных писем В. К. Кюхельбекера к С. А. Соболевскому» и «Пушкин по архиву С. А. Соболевского»; по документам Остафьевского архива князей Вяземских — «К истории дуэли и смерти А. С. Пушкина»; «Переписка И. С. Тургенева с П. В. Анненковым».

Кроме указанных выше литературных архивов отдельных лиц Центральное архивное управление хранит такие фонды, как материалы департамента полиции, III Отделения канцелярии е. и. в., цензурных комитетов. Разработка этих фондов, выявление в них материалов историко-литературного характера — ближайшая задача ЦАУ.

2. МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ СССР

За последние годы архив Музея Революции СССР пополнился среди других приобретений, рядом документов историко-литературного характера. В архив поступил автограф-черновик поэмы. В. К. Кюхельбекера «Давид»; два автографа М. Е. Салтыкова-Щедрина: первый автограф — «Опись градоначальникам, в разное время в город Глупов от российского правительства поставленным» (интересный вариант третьей главы «Истории одного города») и второй автограф — «Благонамеренная повесть. Вступление» (отрывок задуманного Салтыковым и незаконченного романа-пародии на «Анну Каренину»); рукопись статьи В. Г. Короленко «Обращение к русскому обществу» и др.

Из эпистолярного наследия в архив поступили письма Аксакова — 2 п. (1871 и 1883), Амфитеатрова — 6 п., из них 3 к М. Горькому (1908); Анненкова — 1 п. (1883), Боборыкина — 1 п. (1910); Вигеля — 1 п. (без даты); Воейкова — 2 п. (1821 и 1827); Вяземского — 1 п. (1844); Гоголя — письмо к сестре (от 10/VIII—1840 г.); Максима Горького — 2 п. к Пятницкому (дек. 1905), 4 п. к Жаковой, 1 п. к Шатунову (1909), 1 п. к Тихонову, 2 п. к Мицкевичу (1927), 3 п. (1907, 1912 и без даты); Греча—3 п. к Булгарину; Григоровича — 1 п. (б. д.); Добролюбова — копия письма с собственноручными отметками Чернышевского; Достоевского — 2 записки к Александрову (1873 и 1877); Жуковского — 1 п. (б. д.) и 1 записка к Булгарину (б. д.); Короленко — 2 п. (1909); Кропоткина — 2 п. к Венгеровой (1906), 1 п. к Гинзбургу (1906) и 1 п. к Лазареву (б. д.); Кюхельбехера — ряд писем к родным на фр. и русск. яз. (30-е гг.); Мордовцева — 2 п. к Лейкину (1898 и 1901); Михайловского — 1 п.; Толстого — 1 п. к Лазареву и открытка к Семенову; Тургенева — 1 п. к Анненкову (1870) и записка (1879); Чехова — 1 п. к Лейкину (1892); Якубовича — 3 п. (1897, 1900 и 1906). Кроме того, в материалах богатого архива Богучарского имеются письма к нему: Амфитеатрова, Батюшкова, Венгерова, Вербицкой, Гершензона,

Горького, Короленко, Семевского, В. Серошевского, Щеголева, Эртеля, Якубовича. В архиве находятся также рукописные материалы для биографии А. И. Герцена (Н. Белозерского) и Н. Г. Чернышевского (статьи Батуринского и Штейна), статья о беллетристе Авдееве и др.

Библиотека Музея Революции обагатилась собранием печатной нелегальной («потаенной») литературы, издававшейся как за границей, так и России (стихотворения декабристов, Огарева, Туманского, Шумахера, сочинения Салтыкова-Щедрина, Чернышевского, Горького, Толстого, Короленко).

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. ЛЕНИНА

Историко-литературные материалы Ленинской библиотеки сосредоточены в Секторе рукописей, распадающемся на три крупных отдела: 1) отдел старых рукописей, 2) отдел новых рукописей и 3) кабинет им. Л. Н. Толстого. За последние два года сектором проведена большая работа — организационная и исследовательская. Каталогизация рукописей ведется по четырем линиям: 1) предметный каталог, 2) именной, 3) хронологический и 4) художественный, в котором регистрируются все рукописи, имеющие художественные украшения.

В обработку поступили собрания рукописных материалов Чехова, Горького, Короленко, Вересаева, Серафимовича, Телешева, Толстого, Чичерина, Аксакова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Мамина-Сибиряка и целый ряд других литературных материалов. Среди новых приобретений и по количеству и по значению выделяется громадное собрание писем декабристов, переписывавшихся с декабристом Пущиным. В двенадцати больших переплетах оно заключает в себе более 1 500 писем. В 1931 году Сектору рукописей посчастливилось приобрести автографы А. С. Пушкина, найденные в Симбирске. Совсем новых текстов среди них немного, более значительное количество их содержат хорошо известные произведения Пушкина, автографы которых оставались неизвестными. Здесь рукописи сказок, «Капитанской дочки», стихотворения «Я думал сердце позабыло», планы «Русского Пелама» и несколько критических статей.

Сотрудниками Сектора рукописей приготовлены к печати письма Огарева к Грановскому, записные книжки Достоевского письма Аненнкова к Тургеневу, материалы по декабристам и др.

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Отдел письменности Государственного Исторического Музея хранит большое количество историко-литературного материала; славяно-русские рукописные книги XI—XVII вв. (20.000 томов); рукописные сборники и книги XVIII—XIX вв; собрание архивных материалов исторических и литературных. Архивные фонды Отдела заключают в себе материалы почти о всех русских писателей XVIII—XIX вв.

Кроме того, в отделе имеется ряд архивов, несомненно заключающих в себе историко-литературные материалы (в том числе и эпистолярные), но еще совсем или в достаточной мере не разработанных. Таковы, напр. богатые архивы Александра и Алексея Веселовских, В. М. Лаврова, С. А. Юрьева и др.

Выявление историко-литературного материала этих архивов — одна из задач отдела.

За последние годы в разных изданиях был опубликован ряд материалов ГИМ'а: «А. С. Грибоедов в Персии» (письма к Мазаровичу, Рыхлевскому и Ермолову); «Записки» А. О. Смирновой; «Письма А. С. Пушкина к И. В. Киреевскому»; «Николай I и К. П. Брюллов в «Чортовых куклах» Н. С. Лескова; «Плач — памфлет о крепостной доле» и др. В выходящем скоро сборнике «Звенья» печатаются четыре письма А. С. Грибоедова (из арх. Муравьевых и Мухановых).

Редакционная коллегия: *Л. Авербах, И. Ипполит (Ситковский) и Ф. Раскольников*
Отв. редактор — *И. Ипполит* **Зав. редакцией** — *И. Зильберштейн*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Опечатка

По техническому недосмотру допущена неправильная нумерация страниц. Начало статьи Д. О. Заславского должно быть обозначено 165-й страницей, а отпечатано 185-й.